

ТАЙНЫ **И**

Век XIX



Жан-Луи Гуро
СЕРКО

Д. Пешков
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Л. Гроссман
БАРХАТНЫЙ ДИКТАТОР

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах

И ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XIX

**Жан-Луи Гуро
СЕРКО**

Д. Пешков

**ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ**

Л. Гроссман

**БАРХАТНЫЙ
ДИКТАТОР**

КУРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1999

УДК 82/89

ББК 84 (4)

Г95

Составитель

А. Л. СИНКЕЛЬШТЕЙН

Г95 Гуро Ж.-Л. Серко: Роман / Пер. с фр. Н. Шапошниковой; Д. Пешков. Путевые заметки; Гроссман Л. Бархатный диктатор: Биографический роман. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1999. — 336 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).

ISBN 5-300-02586-0

Включенные в книгу произведения повествуют о России конца XIX века.

Необычайное путешествие с Дальнего Востока до Петербурга, проделанное верхом казачьим сотником Дмитрием Пешковым, описано в романе Ж.-Л. Гуро и «Путевых заметках» самого путешественника.

В трагической судьбе молодого российского писателя Всеволода Гаршина, описанной в романе Л. Гроссмана, отражается жизнь самодержавного Петербурга 80-х годов.

УДК 82/89

ББК 84 (4)

ISBN 5-300-02586-0

© ТЕРРА—Книжный клуб, 1999

Жан-Луи Гуро

СЕРКО

НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ

(предисловие к роману Ж.-Л. Гуро «Серко»)

Лет десять назад в Музей коневодства неожиданно пришла из Парижа посылка с книгами. Около десятка новых изданий в красочных глянцевых обложках были посвящены разным проблемам, связанным с лошадьми и конным спортом. Заголовки гласили: «Мой опыт дрессировки», «Человек и лошадь», «Книга об упряжи», «Лошадь и традиции Северной Африки» и т. п. Книги представляли большую ценность для библиотеки музея. Хотелось поблагодарить отправителя столь щедрого дара, но, к сожалению, он оставался неизвестен. Ясно было лишь, что все присланные книги выпущены французским издательством «Караколь», был указан и его адрес. Благодарность отправили в издательство, а вскоре пришел и ответ на наше письмо, подпись Жаном-Луи Гуро — совладельцем и директором «Караколя». Тут уж мы вспомнили этого энергичного и любознательного гостя из Франции, посетившего музей незадолго до получения упомянутых книг и детально осмотревшего нашу экспозицию.

Это было первое наше знакомство, положившее начало многолетнему сотрудничеству. В следующий приезд в Москву Жан-Луи снова в музее. На этот раз его очень заинтересовал рассказ о замечательном достижении нашего соотечественника копната 26-го драгунского полка Михаила Асеева, который в 1889 году совершил дальний конный пробег из Лубен Киевской губернии, где был расквартирован полк, в Париж на Всемирную выставку. Гуро интересовали детали этого пробега, он просил дать посвященные ему публикации и фотографии, что мы и выполнили. На основе этих материалов Гуро подготовил статью, которая была опубликована в Париже в газете «Либерасьон» 21 мая 1989 г. и чуть позже у нас в «Московских новостях».

Следующая наша встреча состоялась в конце того же года в Париже. По инициативе Гуро меня пригласили вместе с группой русских специалистов посетить международную конную выставку «Салон дю шеваль» и показать на ней несколько

картин из фондов нашего музея. Небольшая экспозиция прошла с успехом. Я же имел случай убедиться, что мой французский друг не только любит лошадей, интересуется всем, что с ними связано, издает иппологическую литературу и сам пишет на «конные» темы, но и активно занимается конным спортом и имеет своих лошадей. Выяснилось, что он задумал дальний конный пробег, в чем-то повторяющий поездку корнета Асеева, но еще более длительный и, разумеется, в обратном направлении — из Франции в Россию.

Человек дела, Гуро не стал откладывать выполнение этого замысла. Он приобрел двух лошадей французской рысистой породы и стал готовить их к пробегу. Как истинный француз и к тому же журналист, Гуро выбрал для старта и финиша знаменательные даты. Он выехал из Парижа в традиционно отмечавшийся в СССР День международной солидарности трудящихся 1 мая. Поездка на расстояние 3333 км продолжалась 75 дней и завершилась на Красной площади в Москве 14 июля 1990 г., в День взятия Бастилии — национального праздника Франции. Встречали Гуро сотрудники французского посольства, прилетевшие из Парижа члены семьи, российские конники и, конечно, представители прессы и телевидения. Было шампанское, звучали приветствия и хвалебные речи. Гуро вполне заслужил! В наши дни, когда путешествия верхом стали анахронизмом, он, проезжая ежедневно по 40—60 км, смог покрыть огромное расстояние и доказал, что мужеством и выносливостью современный человек ничуть не уступает своим предкам.

На следующий день в воскресенье Гуро и его коней приветствовали на Центральном московском ипподроме. Затем лошади Робэн и Прэнс, прошедшие от Парижа до Москвы то под седлом своего неутомимого хозяина, то в поводу за ним, были подарены М. С. Горбачеву. Их приняла жена президента СССР и по его желанию передала в детскую школу верховой езды при конноспортивном комплексе Битца. Свое седло Гуро подарил Музею коневодства в память о том, что именно здесь он впервые услышал о корнете Асееве, о его поездке в Париж, о других сверхдальных конных пробегах русских кавалеристов.

Особо сильное впечатление произвел на Жана-Луи рассказ о казачьем сотнике Дмитрии Пешкове, проехавшем верхом на коне местной амурской породы по кличке Серко с Дальнего Востока — из Благовещенска — до Петербурга. Начатая 7 ноября 1889 г. поездка проходила в значительной части по таежным дорогам и тропам в условиях суровой сибирской зимы. За долгую дорогу мужественному всаднику и его неприхотливому и выносливому коню пришлось подвергаться многочисленным опасностям, преодолевать множество препятствий. На берега Невы Пешков прибыл 19 мая 1890 г. Ему была устроена торжественная встреча, вручена государственная награда. Гранди-

ознность этого свершения не может оставить равнодушным и человека, неискушенного в верховой езде. Тем более потрясающим оно показалось спортсмену, испытавшему на собственном опыте всю трудность многодневной поездки в седле даже по благоустроенному маршруту и в теплые летние месяцы.

Гуро решил рассказать о подвигах русских кавалеристов своим соотечественникам. Им был организован перевод на французский язык и издание во Франции путевого дневника Дм. Пешкова. В книгу, вышедшую в 1994 г., он включил также репортажи американского журналиста Томаса Стивенса, который совершил в 1890 г. большую конную поездку по европейской России, встретил по пути Пешкова и описал эту встречу. Позднее была переведена и издана книга Л. В. Евдокимова о корнете М. Асееве.

Между тем Гуро еще много раз побывал в России, посетил самые отдаленные ее края вплоть до Бурятии и Якутии. Он продолжил деловые связи с русскими коневодами. Желая возродить старинную русскую традицию почитания Святых Флора и Лавра, считавшихся в России покровителями коневодства, Жан-Луи заказал московскому художнику Вл. Семенову копию с древнерусской иконы XVII в. «Чудо о Флоре и Лавре», оплатил ее и принес эту великолепную работу в дар единственной сохранившейся в Москве Церкви во имя святых Флора и Лавра, что у Павелецкого вокзала. Несколько лет назад Гуро выступил инициатором восстановления единственного в мире кладбища лошадей, принадлежащих императорскому двору, в Царском Селе. В настоящее время в Санкт-Петербурге уже создан комитет по осуществлению этого проекта, в работе которого он активно принимает участие.

Еще до того, как был обнаружен дневник Д. А. Пешкова, у Гуро возникла идея создать кинофильм, повествующий о подвиге казачьего сотника. По причинам, о которых он говорит в послесловии ко французскому изданию этой книги, замысел не был осуществлен. Тогда Гуро переделал написанный им сценарий в роман, сохранивший, впрочем, многие стилистические и композиционные особенности, присущие сценарной форме. Это и некоторая фрагментарность, и обилие эффектных сцен, и прямые указания на возможность интересно снять тот или иной эпизод. Что касается фабулы романа, то автор признает, что за исключением факта поездки Пешкова от Благовещенска до Санкт-Петербурга, она «выдумана». Правда, он тут же пишет, что «с самого начала решил ограничить свое воображение. Не будучи чистой правдой, все должно быть правдоподобным. И даже более того — достоверным». Для этой цели автор добросовестно проштудировал множество научных, архивных, литературных материалов, посвященных Российской империи в XIX в., ее природе, быту и нравах многочисленных народов и народностей, ее населяющих, о чем

свидетельствует обширная библиография, приведенная во французском издании.

По совести говоря, автор во многих случаях отступает от этого зарока. Думаю, что французский читатель, знакомый с русской историей, с русским бытом только по книгам французских авторов, вряд ли заметил в романе «Серко», вышедшем в 1996 г. в издательстве «Фавр» (Швейцария—Франция), какие-либо несообразности. Во Франции книга имеет огромный успех: первое издание полностью разошлось с прилавков книжных магазинов в считанные два месяца, и в настоящее время уже вышло второе ее издание. Другое дело читатель русский, он их найдет сколько угодно и в сюжетных ходах, и в бытовых сценах, и в речи персонажей. Впрочем, это, несомненно, представляет и свой интерес: любопытно узнать, какими видят нас, нашу историю, наш быт даже доброжелательный иностранец, не раз бывавший в России. Не уверен также, что книги русских авторов, описывающих жизнь французов, свободны от точно таких же или подобных им, мягко выражаясь, неточностей. Оставим же их на совести создателей остроюжетных книг и фильмов. И поблагодарим Жана-Луи Гуро за его благородное желание прославить подвиг казачьего сотника Дмитрия Алексеевича Пешкова.

Д. Гуревич,
директор музея коневодства
Московской сельскохозяйственной
академии им. К. А. Тимирязева

Стоит лучшая пора года — осень. Она раскинулась во всем своем великолепии, раскрасив тайгу всеми видами и оттенками красок, от золотых до красных, переливающихся и меняющихся в разное время дня в зависимости от положения солнца.

Легкий ветерок срывает рыжие листья с берез и осин. По дубам и липам то и дело снуют белки, слышен безудержный птичий гвалт.

Раздувая ноздри, лошадь вдыхает свежий утренний воздух. Всадник, красивый молодой человек, брюнет лет 25—30, с большими черными усами, одетый в строгий темного цвета казачий мундир, смотрит вдаль. Он стоит на холме, и кажется, будто он выше раскинувшихся под ногами бесконечных просторов. Далеко вокруг видны равнины и холмы, луга и леса, пересеченные ручьями и речками, несущимися к долине, где величаво несет свои воды река, которая так заслуживает своего названия именно в это время года, — Амур, что означает на одном из местных языков: большая темная река.

Человек и лошадь замерли, будто хотели бы впитать в себя всю величавую прелесть пейзажа с его дикой нежностью, мягкостью, тишиной.

Неожиданно слабый звук выстрела заставляет их вздрогнуть. Стaiи вспугнутых птиц с шумом разлетаются, вереща, взметая листву, задевая крыльями гладь реки.

Что это? Отдаленные раскаты грома? Вряд ли: небо как раз выдалось чисто, голубое, ни единого облачка. Уши лошади настороженно поворачиваются в сторону, откуда раздается второй выстрел, затем третий, а потом уже и настоящая пальба, приглушенная расстоянием перестрелка. Она доносится откуда-то издалека. Оттуда — из-за ложбины.

— Пойдем посмотрим! — говорит казак лошади, и та быстро спускается по склону, галопом проносится по пространству два-три километра, вброд переходит ручей, поднимая снопы брызг, и опять в быстрой скачке взирается по противоположному берегу.

Добравшись до верха, лошадь и казак останавливаются, ждут. Звуки слышны отчетливее и ближе. Лесная чаща закрывает обзор, и они ориентируются по слуху. Вместе с выстрелами теперь доносятся дикий хохот, шум безудержной гульбы.

Чтобы узнать наконец, что здесь происходит, приходится еще пробраться между деревьями и раздвинуть ветки.

Казак не верит своим глазам. На лице его любопытство постепенно сменяется изумлением, а затем и выражением ужаса. То, что творится там, внизу, на обширной равнине, походит на страшный сон.

Три белокурых вихрастых весельчака, воля во всю глотку, галопом носятся за табуном из сотни мечущихся в паническом страхе лошадей. Несмотря на их неуклюжие уловки и беспорядочные движения, можно понять, что они стараются направить бедных животных к воронкообразному расколу — коридору из вбитых в землю кольев, чтобы те оказались в этой случайной ловушке.

Объятые безумным страхом низкорослые, но сильные лошади галопом разбегаются в разные стороны. Те, что уже попались в ловушку, пытаются вырваться к другим, которым удалось ее избежать. Они перескакивают препятствия из дощатых перекладин, сбиваются преграды. И вот уже плывут по реке, их ноздри невероятно раздуваются, легкие качают воздух во всю силу. Выпученные глаза, длинные взлохмаченные, растрепанные гривы придают им вид взбесившихся животных.

Их смятение еще пуще раззадоривает веселье трех разнужденных всадников, и те стреляют, гогота во всю глотку, прямо в лошадей, хотя и попадают в цель через раз.

Пьяные в стельку, они едва держатся в седле. После каждого выстрела один из них испускает звучный рык и заливается диким хохотом. Другой, держа в обеих руках по карабину, без конца бессмысленно взывает: «За царя! За царя!».

Вдруг он наклоняется, его тошнит, и это забавляет третьего, тот, держа в одной руке револьвер, в другой флягу с водкой, давится от смеха, целился в лошадь и убивает ее наповал.

По земле уже валяется с десяток лошадиных трупов, другие лошади бьются в агонии, в конвульсиях, кровь струится у них из ноздрей.

А бойня продолжается.

Стоя наверху, казак тщетно надрывает горло, пытается им кричать, но никто не обращает на него внимания.

— Остановитесь! Прекратите! — что есть мочи вопит он.

Из старенькой одностволки он стреляет в воздух, но оттуда, снизу его не могут услышать.

Тогда, выхватив небольшую саблю, галопом он устремляется к месту происшествия.

Но вдруг на равнине появляется пятый всадник. Во весь опор он подскакивает к тем троим, размахивает руками, кричит непонятные слова. По его одежде, по его медного цвета лицу, а потом и по узким глазам казак сразу же узнает тунгуса. Это скотовод. Он пытается встать между пьяницами и остатками табуна, угрожает кнутом и на своем языке ругает

трех мерзавцев с раскрасневшимися мордами и налившимися кровью глазами. Один из них, тот, что неустанно взывает к своему императору, направляет оба свои карабина в сторону неожиданного защитника лошадей и стреляет, опять вскрикивая: «За царя! За царя!». Убитый наповал тунгус вылетает из седла и тяжело падает наземь.

Именно в этот момент казак налетает на пьяниц, ударом наотмашь сшибает одного, потом другого, усмиряет и третьего. Прежде чем его лошадь успевает остановиться, он уже прыгает на землю и быстро укладывает убийц животами на седла, головами по одну сторону, ногами по другую, связав их в мгновение ока прямо на их же собственных лошадях.

Потом подбирает оружие, которое те побросали на поле бойни: немецкие револьверы, американские карабины, среди которых оказывается великолепный винчестер, — его затвором молодой человек дает себе волю поиграть, а потом спокойным, но твердым шагом идет выстрелом в голову положить конец страданиям раненых лошадей.

Все так же спокойно он отвязывает от своего седла топорик, из ветвей сооружает нечто вроде носилок, ветвями же прикрепив их к луке своего седла. Укладывает на них убитого тунгуса. Долго смотрит на него, потом покрывает его попоной, садится в седло и трогается в путь, ведя за собою мрачную вереницу, состоящую из похоронной повозки и лошадей с арестованными.

Приостановившись на высоком холме, он осматривает картину учиненного здесь опустошения. Десятки стервятников уже осаждают убитых лошадей.

А поодаль пострадавший табун успокаивается. Если некоторые из лошадей еще трусят мелкой рысью, высоко держа головы и хвосты по ветру, большая часть животных все же принимается щипать траву, редеющую по лугам в осениюю пору.

Странного вида караван наконец выходит к расположенной у берега реки казачьей станице, которая скорее походит на обычную сибирскую деревню, чем на гарнизонное поселение. Примерно пятьдесят изб выстроились по обе стороны одной улицы, на которой дети забавляются тем, что бросают камешки в разгуливающих там же свиней. Каждый домик окружен садом, обнесенным оградой из кое-как обструганных кольев. Женщины развешивают белье, старики колют дрова, складывают их на зиму. Вокруг пасутся коровы, овцы, их сторожат собаки.

Заметив молодого человека, с сумрачным видом ведущего за собою похоронные носилки и лошадей, на которых сраженные водкой и полученными ударами так и лежат в дурмане трое негодяев, два казака устремляются ему навстречу.

— Ваше благородие! Ваше благородие! Что случилось?

— Бросьте-ка этих за решетку, — отвечает им тот, без всякого обхождения стаскивая троих арестованных и отвязывая их от седел простым взмахом ножа. — Передайте Изингу, что его сына убили.

Сбегается с полдюжины казаков. Офицер оставляет на них мертвого тунгуса, арестованных и их лошадей. Но собственно ручно отводит своего коня на конюшню, в простой дощатый сарай при избе, состоящей из одной полутемной комнаты.

В темноте можно с трудом разглядеть мебель: стол, скамья, два-три стула, шкаф. В углу — кирпичная кладка печи с лежанкой, на которой расстелен матрац и брошено несколько подушек.

На это убогое жилище печально смотрит икона. Молодой человек зажигает свечу, направляется к самовару, наливает воду, разжигает его. Ставит наверх чайник, потом на столе появляются стакан, сахарница, чернильница, перо и бумага. Он усаживается, наливает себе чаю, кладет в рот кусочек сахара, делает глоток, минуту раздумывает и вдруг восклицает:

— Так зачем же, Боже ты мой? Зачем они это сделали?

Резко отодвигает расставленные перед ним предметы, вскакивает и кидается наружу. Широкими шагами идет по деревне, ударом ноги распахивает дверь в домик, который служит здешним острогом. Трое бандитов валяются на полу, связанные по рукам и ногам. Храпят.

— Буди их, — говорит он сторожу, и тот, до тех пор, пока молодчики не просыпаются, ведрами плещет им воду прямо в лицо.

— За царя! — изрыгает один из них, еле ворочая языком и глупо посмеиваясь.

— Ну-ка, быстро развязывай, сука, а то, смотри, как бы тебе не было очень худо, — бормочет другой.

— Казак, подлюга, ты у меня наешься усами, — говорит третий, а его сотоварищи разражаются хохотом.

Давно уже крепясь и стараясь не взрываться, сотник все-таки не выдерживает и теряет спокойствие.

— Слушайте, подонки мерзкие! Вы для начала мне скажите, кто вы, после чего объясните тихо, спокойно и с подробностями, что вам здесь понадобилось, откуда у вас заграничное оружие, у кого выиграли этих лошадей, почему убили тунгуса и с какой каторги бежали. А нет, так до утра будете пить только речную водицу, да и до конца жизни, ежели уж так выйдет!

Разговор оказывается нелегким, но в конце концов офицер узнает, что все трое — Григорий, Алексей и Федор — работают на одного из крупных московских барышников — Сергея Александровича Буварина, торговца лошадьми.

У Буварина есть намерение, как рассказывают его сподручные, создать именно в Благовещенске огромные бойни и цеха по консервированию и засолу лошадиного мяса!

Благовещенск — это окружной центр, примерно в пятидесяти верстах от станицы сотника Пешкова.

Производственные цеха сейчас строятся. Работать в полную силу начнут не ранее чем через год, но Буварин уже сделал несколько закупок. В момент, когда разыгралась эта драма, его загонщики вели к месту первый табун из сотни лошадей, закупленных у тунгусских скотоводов.

— А вы сказали им, зачем покупаете лошадей? — спросил офицер, вызвав этим насмешки всей троицы.

— Ну-ка скажи, дурья твоя башка, их, что ли, это дело? Что, видите ли, станет с их лошадьми! Твои жабы морды-то тут причем?

— Вам известно, кто тот, вот та жабья морда, которую вы утром убили? Это Муктан. А Муктан — сын Изингу. А Изингу — вождь тунгусов. А тунгусы — главные во всем здешнем краю скотоводы, они выращивают лошадей. Для начала торговли с ними не очень складно вы взялись за дело.

— Да как ты их различаешь, всех этих карликов? — спрашивает, брызгая слюной, один из плохо еще пропрезвевших арестованных.

— У них у всех головы, что сущеные груши, все — на одно лицо!

Сотник предпочитает не отвечать. Его скорее интересует другое: почему Буварин избрал Благовещенск для устройства своего дела.

— Ты что же, не в курсе, балда ты соленая, — отвечает Григорий, — здесь же скоро построят железку, а Благовещенск будет главное место стройки.

— Да кто вот рельсы будет здесь прокладывать? — продолжает Федор. — Кто будет проводить Транссибирскую? Сюда приедут настоящие мужики. А таким парням надо будет хорошо жрать. Ты думаешь, чем их кормить будут? Вашими лесными ягодками, так что ли? Нет уж: вашими дермовыми клячками!

Пешков стиснул зубы, сжал кулаки, ударом ноги оттолкнул табуретку, и она разбилась о стену. Вне себя Дмитрий вышел из острога.

С улицы он еще слышал отдаленный голос Федора, который между взрывами смеха вскричал: «За царя! За царя!».

Стараясь восстановить спокойное расположение духа, казак глубоко вздохнул и медленным шагом вернулся к себе в избу, где наконец окончательно принял за составление длинного отчета и закончил его подписью: «Дмитрий Николаевич Пешков, сотник казачьего полка Благовещенского-на-Амуре округа, 24 сентября 1889 года».

Он накануне перечел отчет, в нескольких местах исправил ошибки, вышел на порог и позвал своего денщика.

— Петр! Езжай в Благовещенск, вези полковнику и быстро. Постарайся так, чтобы отчет у меня был до завтрашнего вечера.

И явно вконец усталый, сотник содрал с себя сапоги и растянулся в чем был у себя на матраце из конского волоса.

На рассвете Пешков выходит из дома, вдыхает свежий воздух, зевая, потягивается. Во дворе напротив молодая казачка весело машет ему рукой.

— Здравствуй, Люба, — говорит он ей.

Красивое, улыбчивое лицо Любы обрамлено цветной косынкой, из-под которой висит длинная светлая коса. На ней широкое платье с фартуком, но тесный верх обрисовывает дородные формы.

— Люба, перестань же надоедать его благородию, — кричит старик с бородой, выходя из избы. — Да потопралливайся, неси дров!

Люба, краснея, оборачивается и идет исполнять свою работу. Дмитрий Николаевич провожает ее глазами.

Между тем, взгляд его привлекает другое зрелище: вдалеке группа всадников рысью направляется к казачьей станице. Их человек двадцать. Это тунгусы разных возрастов, они одеты в разноцветные костюмы, напоминающие одежду краснокожих. Всевозможные амулеты и брелоки висят на снаряжении их косматых лошадок.

Пешков выходит со своего участка и становится по самой середине единственной станичной улицы. Без беспокойства и без вражды смотрит он, как подъезжают к нему эти гости, чьи медные лица вовсе не смиренны, а оружие, хотя и архаичное, выглядит не вполне мирно.

— Добро пожаловать тебе, Изингу, — говорит Пешков, обращаясь к старику, едущему во главе небольшой колонны всадников, которые по его знаку останавливаются.

— Привет тебе, Дмитрий Николаевич. Я приехал за сыном и его убийцами.

— Твой сын принадлежит тебе, Изингу. Но его душа отлетела к духам, а его убийцы подлежат царского суду, — отвечает сотник на тунгусском языке. — Ты можешь увезти сына, но я должен задержать тех, кто его убил.

Лицо старика остается бесстрастным, но некоторое недовольство закипает среди молодых тунгусов, они протестуют и произносят слова о мести.

Старик поднимает руку, чтобы заставить их замолчать. И спокойно продолжает:

— Я знаю тебя с давних пор, сотник. Хорошо знаю и твоего отца, казака станицы Албацинской, он смелый человек. Хотя ты еще и молод, знаю, что ты мудр. Знаю, что ты спра-

ведлив. Отдай мне моего сына и хорошо расскажи царю все, что ты видел.

Пешков делает знак казакам, которые тем временем сбегаются к своему молодому начальнику. Они приносят труп Муктана, который тунгусы осторожно укладывают на катафалк вроде того, какой у него был накануне.

Тунгусы едут обратно, молча возвращаются в свою деревню, расположенную в нескольких десятках верст отсюда, на берегу речки. Издали, подъезжая к их деревне, можно подумать, что это стоянка индейского племени сиу. Тунгусские хижины и в самом деле странным образом походят на индейские «типи». Только с близкого расстояния замечаешь, что поставленные конусом шесты покрыты не холстиной или брезентовыми шкурами, а кусками нарезанной березовой коры.

Сидя на стволах поваленных деревьев, под сенью большой ивы, три старухи с обеспокоенными лицами, посасывая трубы, переговариваются. Поодаль от чумов (так тунгусы называют свои хижины) женщины суетятся вокруг костра. Они коптят рыбу, выловленную в речке по соседству, куда сейчас пригнали на водопой лошадей. Дети по пояс в воде пытаются заколоть гарпуном кету.

Как только прибывает мрачная процессия, каждый оставляет свое занятие и подходит к вернувшимся мужчинам, торопясь приняться за сложные приготовления к похоронной церемонии. Умершего кладут на деревянный помост. Его одежду собирают и в четко определенном порядке раскладывают на земле. На верхнюю его одежду вроде плаща возлагается его шапка из беличьего меха, вышитая голубыми бусинами, его сапоги и рукавицы кладут рядом с ней. Вслед за этим приносят рыболовное и охотничье снаряжение — все эти предметы методично разламывают.

Похоронный ритуал, в котором, как видно, каждый знает свою роль и свое место, продолжается до поздней ночи при свете большого костра, под звуки барабана и бубенчиков...

А в казачьей станице беспокойно спит Пешков — одним глазом или скорее одним ухом. Едва засыпав, что лает собака, он бросается наружу, высакивает на улицу, всматривается в темноту в надежде разглядеть Петра, своего деничника, возвращающегося из Благовещенска с распоряжениями полковника.

Ночь спокойная: только и слышно, как степенно перекатываются волны на реке. Да вдруг раздается случайный собачий лай. Пешков немного медлит в ожидании, но снаружи уже довольно свежо. Опять направляется к дому, чтобы еще поспать, но слышит вдруг, что его кто-то тихо подзывает.

— Эй, Митенька!

Это Люба — стоит с распущенными волосами и делает ему знак подойти. На ней ночная рубашка из толстой холстины, но все же выглядит она соблазнительно. Казак подходит. Она через забор берет его за руку и украдкой целует.

— Вот дурная ты, Любаша, — шепотом говорит ей молодой человек. — Увидит тебя здесь старый твой муж, ведь побьет кнутом!

Любаша со смехом фыркает, но быстро бежит к своей избе, так как вдруг с противоположной стороны деревни принимаются тявкать собаки. Вдалеке появляется силуэт. Слышен глухой стук копыт — это скачет всадник.

Пешков узнает своего денщика, выбегает навстречу, берет его лошадь под уздцы.

— Ну как, Петр? Чего ты так поздно-то?

— Из-за полковника, господин сотник. Он мне приказал точно вам передать, чтобы вы, не мешкая, отпустили троих людей, сопровождающих лошадей.

— Что сделать?

— Отпустить их, господин сотник! Стоял на своем, сказал, надо сделать срочно.

На лице молодого офицера изображается недоверие.

— Петр, ты что, али выпил?

— Нет, господин сотник. Вот вам крест. Не ошибаюсь. Полковник хочет, чтобы вы сейчас же выпустили арестованных.

Ошеломленный, Пешков темнеет лицом. Отпускает лошадь денщика и отворачивается от него, чтобы легче было подумать. Вдруг он резко оборачивается к Петру и кричит:

— Мне письменный приказ нужен. Слышал? Письменный! ПИСЬМЕННЫЙ!

У бедняги денщика сконфуженно-озадаченный вид, но это никак не успокаивает сотника. Пешков широкими шагами отправляется к тюрьме и, с шумом толкая дверь, громко требует:

— Эй вы там, встать! Давай, давай, просыпайся, свиныерыла!

Сапогами расталкивает спящих и хватается за карабин сторожа, чтобы прикладом потормозить ничего не понимающих арестованных. Те начинают кричать:

— А? Что, белены обьянся? Свихнулся, что ли?

— Так вот! Вроде я должен вас выпустить! И вроде это очень даже спешно! Хорошо, хорошо! А ты, — говорит он, обращаясь к пораженному сторожу, — иди, иди за лошадьми. Я сам отвезу этих господ.

— Так сейчас же ночь, ваше благородие!

— Ну и что? Темноты испугался?

Пока полусонные казаки выводят лошадей, сотник, который никак не может отойти от захлестнувшей его злости, сам, не стесняясь, стягивает веревки за спинами троих арестованных, и их кое-как водружают на лошадей.

— Ваше благородие! Сейчас не езжайте! Один не езжайте! — робко говорят казаки своему разъяренному командиру.
— Пошли! Вперед! — бормочет тот своей лошади.

Вооруженный до зубов, заткнув за пояс револьверы арестантов и за переднюю луку седла сложив их же карабины, сотник удаляется в ночь, толкая перед собою троих красавцев, которые, вдруг забеспокоившись, перестают заноситься и хвататься.

Вымокшие до костей всадники доеzzжают до места, откуда открывается вид на Благовещенск.

Светлеет. После ночных ливневых дождей облака рассеиваются. Заря встает восхитительная — большой диск светло-желтого солнца искрит воды Амура.

Но не похоже, чтобы наши герои интересовались пейзажем. Пешков, у которого дурное настроение развеялось, едет уже впереди своего — ни дать ни взять — взвода. Самого его едва видно из-под большой попоны, в которую он завернулся с головы до ног и от этого стал похож на привидение. За собою он тянет чумбуром связанных вместе одну за другой лошадей, на которых трое недавних лихачей теперь коченеют от холода и валятся от усталости...

Когда они въезжают в город, там уж начинается утреннее оживление. Китайцы в голубой одежде, часто с косичкой, открывают свои лавочки. Рыбаки-гиляки, свирепые желтые человечки, стараются сбыть свою рыбу. Капканые охотники, золотоискатели, разного рода торгаши с преступного вида лицами, длинными волосами и грязными бородами бродят по улочкам, обходя лужи. Они мимоходом рассеяно бросают взгляды на арестантов.

Гудит стоящий вдоль берега реки огромный колесный пароход, из его трубы тянется жиденький дымок.

Десятки облепивших пристань семей переселенцев являются собою весьма жалкую картину. Их привлек мираж сибирских богатств, и кто вот уже год, а кто и более, они побросали свои бедные деревни в европейской части России и наехали в эти места, где надеются получить помощь, земли, сколотить состояние. Сидя на вещах, женщины пытаются укачивать малышей, закутанных в огромные тряпичные свертки. Одетые по большей части в откровенные лохмотья, их мужья стоят в каком-то оцепенении, покорно ожидая неизвестно чего.

Счастливые, что появилось неожиданное развлечение, мальчишки окружают казака, забрасывают его вопросами и идут за ним, припрыгивая на одной ноге, до самого входа в казармы.

Часовые узнают сотника, здороваются с ним и открывают ворота, ведущие в довольно большую военную деревню, в которой все сооружения — деревянные, кроме маленького розового зданьца, видного по другую сторону обширного плаца. К

этому домику в неоклассическом стиле и направляется Пешков, не раздумывая: видно, знает здешние места.

Он еще не спрыгнул на землю, как в дверном проеме появляется красивый худощавый старик, гордо носящий мундир старшего офицера.

Заметив его, сотник подтягивается и приветствует его.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

Тот, в свою очередь, здоровается с молодым человеком, какой-то момент строгим взглядом рассматривает его странный эскорт и, входя обратно в дом, бросает сотнику:

— Следуй за мной!

В простом строгом кабинете с превосходно натертым воском пакетом атмосфера устанавливается напряженная. Полковник смотрит прямо в лицо своему подчиненному. А тот, небритый, вымокший, покрытый грязью, усталый, однако безукоризненно стоит по стойке смирино, никак не лишенный выпреки.

— Садитесь, — вдруг говорит ему старик начальник. Потом, помолчав какое-то время, продолжает: — Дмитрий Николаевич, разве ваш денщик не передал вам моего приказа?

— Я не получил никакого приказа, ваше высокоблагородие, никакого письменного приказа.

— Письменный или устный, приказ остается приказом, дорогой мой Пешков. Арестованных нужно немедленно отпустить на свободу!

— Но, ваше высокоблагородие, это же убийцы! Они нагло убили тунгуса, Муктана, родного сына вашего старинного друга Изингу! Они поубивали его лошадей! Разгулялись! Это же подлецы!

— Знаю, что они сделали, сотник. Прочел ваш отчет. Но приказ есть приказ. У меня приказ от самого губернатора, с которым только вчера я весь день вел переговоры по телефону. Его не на шутку разозлил арест этих людей. Их нужно отпустить!

— Отпустите их вы сами, ваше высокоблагородие!

— Дмитрий Николаевич! Понимаю ваши чувства, — отеческим тоном продолжает старый офицер. — Но речь идет об очень деликатном деле. Ваши арестованные работают на Буварина. А это весьма могущественный человек. Он на прекрасном счету в Санкт-Петербурге. Вхож к царю, — подчеркивает полковник, указывая на портрет Александра III на стене.

— С какого же времени мясники стали входи к императору? — просто спрашивает Пешков.

— Молодой человек, если бы вы лучше знали историю своей страны, вы бы вспомнили, кстати, что знаменитый Меньшиков, могущественный фаворит Петра Великого, был всего-навсего сыном конюха! И потом, господин Буварин не мясник. Это богатый поставщик лошадей. Он уже поставлял императо-

ру отменных верховых лошадей. Это настоящий лошадник, великолепный специалист.

— Интересный специалист! Как можно вести на бойню лошадей, у которых для службы в здешних местах есть столько хороших качеств. Вы же, ваше высокоблагородие, сами это знаете. Низкорослые, но невероятные лошадки. Они пройдут всюду, никогда не устают, переносят большие морозы, вовсе не требуют забот и хлопот. А кроме того, если этот Буварин всех их отправит на бойню, на что нам-то тогда рассчитывать, когда нужно будет пополнять армию конским составом? Чем мы будем укомплектовывать наши полки? Может быть, пересесть на оленей?

— Не делайте из людей дураков, мой друг. В верхах они там все предусматривают. Как раз вопрос и состоит в том, чтобы улучшить качество лошадей, поступающих на пополнение в войска и отныне снабжать нас будут донскими лошадьми.

— Вот это да, еще новости? — вдруг спрашивает сотник, вскакивая со стула. — Это же полный идиотизм!

— Сядьте, Пешков, сядьте. Донские лошади — отменные. Они — слава наших европейских предков, донских казаков. В императорском Главном штабе считают, что наступило время придать азиатским войскам его величества побольше внешней молодцеватости. Нам заменят лошадей, обновят оружие и улучшат мундиры.

— Но, ваше высокоблагородие, что же мы станем делать с донскими лошадьми здесь, у нас? В первую же зиму они все погибнут. У нас уже есть превосходные лошади, зачем же их менять! И потом, откуда мы возьмем себе донских лошадей?

— На господина Буварина возложена забота нас ими снабдить.

— Буварин! Ах, начинаю понимать. Вот ловкач! С одной стороны, за бесценок он затыкает нам глотку, с другой, из наших лошадок делает колбасу. Зарабатывает и там, и здесь. Это же гениально, ну и сволочь! Ваше высокоблагородие! Вы не можете этого допустить!

Старый офицер поглубже садится в кресло. Горбится, становится на десяток лет старше.

Долго молчит, потом говорит неуверенным голосом:

— Но голубчик, Дмитрий Николаевич, что же я могу сделать? Все это уже было решено в верхах. Теперь делать нечего. Впрочем, губернатор лично должен прибыть к нам на будущей неделе для того, чтобы распорядиться исполнительной стороной дела. Мне предстоит собрать в Благовещенск сотников со всей округи, всех станичных командиров, всех казачьих офицеров.

— Так вот! — приходит в воодушевление Пешков. — Это же случай, лучше не придумаешь, чтобы показать губернатору, на что способны наши лошади. Мы ему покажем отличный номер — век не забудет, все глаза свои просмотрит на наших лошадей! Потом по-другому ему уже не поступить, он объяс-

нит царю, что его Генеральный штаб собирается совершить огромную глупость. Надо остановить бойню! Ваше высокоблагородие, разрешите мне все это устроить в лучшем виде!

— Делай как знаешь, голубчик, — с огромным усилием отвечает ему удрученный старик. — Но не слишком надейся...

В седле у полковника и вовсе первоклассная выправка. Несмотря на возраст, на горячашемся коне он держится так же прямо, как молоденький выпускник военного училища при получении офицерских погон. За ним, по большой дороге, расположенной в густом лесу, теперь стоящем в золотой листве, коротким галопом следует эскорт из двадцати казаков.

По знаку командира колонна замедляет ход, переходит на рысь, затем на шаг и чуть дальше останавливается. Полковник смотрит на карманные часы и подает знак своим людям встать по обеим сторонам дороги лицом к ней в шеренги, между которыми остается он сам, с трудом сдерживая своего нетерпеливого молодого коня.

В свежем утреннем воздухе большими клубами валит пар от лошадиных морд. Легкий туман словно голубоватой кисеей стелится по усеянной пестрой лесной просеке. Лошади *жу*ют удила, топчутся по земле, всхрапывают — только это и нарушает здешнюю мертвую тишину.

Все спокойно, так спокойно, что небольшое стадо кабанов уверенно, не спеша постукивая копытцами, переходит дорогу...

Через какое-то время слышится, если напрячь ухо, что-то вроде отдаленного позвякивания. Сухой и мерный звук постепенно разрастается. На горизонте все еще ничего не видно, но полковник, встав в стременах, оборачивается к своим казакам и объявляет:

— Господа, а вот и его превосходительство губернатор! Подтянитесь и держите лошадей!

В самом деле, теперь становится слышно, как звон бубенцов перекрывается все более различимым стуком копыт. И вот, возникшая из тумана, неожиданно на дорогу выскакивают три белые лошади — они с неимоверным шумом тащат быстроходную упряжку. Над оглоблями раскрашенная дуга, к ней подвешены колокольчики, они заливаются над кореником, а тот, тараща глаза, бежит быстрой рысью. По бокам, выгнув в стороны шеи, две другие лошади скачут легким галопом — почти летят по воздуху.

Трезвон колокольчиков, двенадцать копыт топчут сухие листья, в которых скрипят колеса коляски, да окрики кучера — весь этот внезапный шум вызывает некоторый беспорядок среди красиво выровнявшихся казаков, перед которыми губернатор, впрочем, даже не соблаговолил остановиться, не удостоил их такой чести.

Полковник приказывает своим людям двигаться следом за роскошной тройкой. Пуская вперед свою лошадь, он подъезжает к экипажу. Поднятый верх мешает ему видеть пассажиров.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство! — кричит тем не менее полковник, пришпоривая свою скачущую галопом лошадь. — Вы только что изволили въехать в Благовещенский округ.

Ему в ответ только затянутая в печатку рука, показавшись из-под верха коляски, машет в знак одобрения. Сдерживая лошадь, полковник отстает от тройки и едет дальше во главе възвода, следующего за ним на небольшом расстоянии.

Отставая далеко позади, личная свита губернатора с некоторым трудом спасается за безудержным вихрем несущейся тройкой.

Свита губернатора состоит из команды в два десятка солдат и пяти-шести карет. Последняя из карет — великолепная берлинна, запряженная парой вороных лошадей, и вокруг нее, сопровождая именно ее, скачут три всадника-блондинки: Григорий, Алексей, Федор...

Тройка во весь опор влетает на просторный плац благовещенского гарнизона, а за ней по пятам следует казачий отряд.

Из недр коляски с явным трудом высаживается губернатор. Его тучное туловище наконец появляется, потом тяжело встает над коляской. Лицо обрюзглое. Расплывшиеся черты его выдают человека скорее слабохарактерного, чем доброго.

Этот высокого положения чиновник настолько гружен, что когда он выходит из экипажа, тот сначала сильно кренится, а потом, наконец освободившись от его ноги на подножке, еще долго качается.

— А где же все мои спутники? — спрашивает он у полковника, вовсе не удостаивая того взглядом.

— Они следуют за вами, ваше превосходительство, — отвечает офицер, однако так и не получая возможности обратить на себя взгляд собеседника. И продолжает: — Могу ли я тем временем представить вашему превосходительству офицеров, охраняющих границы империи его величества? Для вашей встречи мы собрали командиров со всех станций округа. Это благодаря им царская власть соблюдается вплоть до самых отдаленных пределов азиатских владений его императорского величества, это они охраняют порядок и спокойствие, препятствуют вторжениям китайцев, помогают устраиваться переселенцам, покровительствуют...

— Ладно, ладно, — прерывает его губернатор. — Покажите же мне ваших героев!

А они как раз все здесь: примерно тридцать всадников, сидя на своих маленьких серых, гнедых, пегих и рыжих лошадках,

безукоризненно выстроились перед розовым домиком полковника, и тот начинает проводить им смотр.

Походка у губернатора тяжелая, дышит он коротко, с шумом. Ему бы поскорее где-нибудь сесть, поэтому он торопится отделаться от этой процедуры. Полковник же, напротив, не спешит. Останавливается перед каждым всадником, объявляет его чин, имя, отчество и фамилию.

Когда дело доходит до Пешкова, у того взгляд будто бы вдруг застывает: дело в том, что он только что заметил своих недавних арестантов, они как раз въезжают на плац вместе со всей прибывшей колонной.

— А вот и наш дорогой друг Буварин, — восклицает губернатор, протягивая обе свои жирные руки к подъезжающей великолепной берлинке, вокруг которой суетятся и те трое, в мгновение ока узнанные Пешковым.

Один из них устремляется к паре запряженных в карету лошадей, другой поспешно открывает дверцу и опускает подножку, а третий в это время придерживает под уздцы лошадей своих сотоварищей.

— Сергей Александрович, дорогой мой! — слышится трубный глас губернатора, обращенный к весьма элегантному восьмидесятилетнему старцу, который только что выбрался из кареты.

— Не очень устали, ваше превосходительство? — спрашивает Буварин, расплывшись в любезной улыбке, которая, однако, не придает ему обаяния.

— Подобные путешествия изнуряют меня, дорогой мой. Я разбит. Пойдемте же присядем!

— Господа, не угодно ли вам следовать за мной, — вмешивается полковник. — Вы сможете отдохнуть и развлечься. Мои люди приготовили небольшой праздник в вашу честь. Будьте любезны, присаживайтесь, — говорит он им, указывая на кресла, расставленные на небольшом дощатом помосте, установленном по случаю.

— В чем состоит представление? — спрашивает Буварин, за спину которого устраиваются и трое его сподручных.

— Ваша репутация лошадника, господин Буварин, навела на мысль показать вам чрезвычайные качества наших лошадок. Они сами себя вам покажут и вас, знатока, мы просто в этом уверены, должны прямо-таки очаровать, — отвечает полковник, усаживаясь между ним и губернатором.

Он жестом подает знак начинать представление.

И вот перед зрителями начинается нечто потрясающее — казачья трюковая скачка, иначе джигитовка. Ничего общего с современной спортивной вольтижировкой, когда девочки в тесно облегающих танцевальных костюмах и с бантом в волосах исполняют прелестные гимнастические фигуры на спинах бегущих по кругу лошадей. Казачья джигитовка исполнена воин-

ского духа, это стремительная скачка по прямой, и она требует от наездника силы и ловкости, а от лошади — выносливости и закалки. Грубая и в то же время полная изящества, для одних она — простой набор акробатических номеров, для других — настоящая хореография¹.

На казачьем плацу номера следуют один за другим. Отобранные Пешковым наездники, все в пыли и поту, выкладываясь до последнего. Они знают цель и в своем рвении идут на любой риск, показывая все более смелые трюки, по одному или группами по два, по четыре, по шесть наездников, то вставая в седле, то опрокинувшись вниз головой и ухватившись за шею лошади, то свечей вставая на луку седла, то вытягиваясь в горизонтальном положении вдоль бока лошади или одной ногой удерживаясь в стременах, предлагая зрителю полюбоваться на захватывающую удаль казачьей верховой езды.

В завершение этого грандиозного зрелища сам Пешков, вылетел прямо к помосту, где сидят зрители. Зычно вскрикивая, он встает в стременах и неожиданно кидается влево, спускается по боку скачущей лошади, проскальзывает у нее под животом, вскидывается с другой стороны, хватается за луку седла и, сделав великолепный прыжок, вновь оказывается в седле как раз вовремя, чтобы резко остановить лошадь уже в нескольких сантиметрах от помоста, на котором губернатор, ужаснувшись, не может удержаться от того, чтобы не отпрянуть назад.

Пешков сам взмылен, лошадь его запыхалась, но все так же резва. Молодой офицер, довольный удавшимся спектаклем, бросает вопросительный взгляд на полковника. Тот, наклоняясь к губернатору, говорит:

— Это сотник Пешков, который подготовил представление. Ну как, ваше превосходительство, понравилось?

Грузный губернатор поворачивается к торговцу лошадьми, за которым с наглым видом сидят Алексей, Григорий и Федор, и спрашивает:

— Что вы об этом думаете, Сергей Александрович?

— Все цирковые номера очень интересны, ваше превосходительство. Все это как раз показывает, что здесь есть великолепные наездники. Они и впрямь заслуживают лучших верховых лошадей. На донских лошадях — вот это будет скачка! Они делаются гордостью императорских полков.

Пешков с трудом сдерживает гнев и разочарование. По щеке у него катится слеза, которую он старается скрыть, под-

¹ Во всяком случае, это точка зрения Пьера Пахомова, француза русского происхождения, великолепного наездника и актера (он дублировал Омара Шарифа во всех сценах с лошадьми во время киносъемок по известному роману Жозефа Кесселя «Всадники»), который принес из запад великую казачью традицию, по которой джигитовка является для него «хореографическим действием вокруг лошади».

нимая голову и устремляя глаза к небу. Утренний туман стущается, все вокруг сереет, и вот уже падает первый редкий снег...

Большой банкетный зал уставлен бесчисленными блюдами, рюмками, графинами, салатницами, тарелками — происходит самое что ни на есть русское застолье. В своем красивом розовом доме полковник дает обед в честь губернатора и его свиты.

Соленые огурцы, квашенная капуста, свежие овощи, вареное мясо, копченая рыба, дымящийся борщ. Все едет, пьют. Рекой течет водка, произносятся тосты за тостами.

Схватив со стола огромную колбасину, Буварин обращается к хозяину дома:

— Очень скоро, ваше высокоблагородие, вместо надоевшей свиной колбасы вы сможете здесь отведать и конины! Мои консервные заводы уже приступили к производству. Пользуясь случаем, — говорит он, вставая с рюмкой в руке, — спешу поблагодарить его превосходительство господина губернатора за то, что он согласился совершить дальнее путешествие в Благовещенск, чтобы присутствовать при торжественном их открытии!

Слегка пошатываясь, Буварин роняет за собой стул. Обернувшись, он удивленно смотрит, что там случилось, и продолжает:

— Позвольте же мне, господа, поднять бокал за великолепных амурских лошадок, из которых, я в этом совершенно уверен, получатся приотличнейшие амурские колбаски!

Его шутка вовсе не забавляет полковника. С самого начала обеда тот замыкается в себе и держится отчужденно, но она вызывает взрыв веселья у гостей, включая и губернатора, огромное брюхо которого начинает студенисто трястись от смеха. А на улице продолжает медленно падать снег, и казарменный плац постепенно заносит тонким белым слоем. У входа ждут упряжки, и наконец в дверях появляются разгоряченные угождением еще более красный, чем обычно, губернатор и еще более сияющий Буварин.

Губернатор решает незамедлительно приступить теперь к церемонии открытия производственных цехов, которые строятся в пригороде Благовещенска.

Полковник с угрюмым видом дает приказ Пешкову встать во главе процессии, все трогаются в путь и быстро прибывают на место.

Серое небо, темный смешанный с грязью снег придают обширному очищенному от леса участку земли какой-то мрачный погребальный вид. Повсюду еще валяются стволы спиленных деревьев среди разбитых ящиков, перевернутых бочек, брошенных тачек, повозок. Стройка не закончена, но ряд

больших зданий уже возведен, и они дают представление об общем замысле предприятия.

Здесь царит лихорадочная деятельность.

В загоне Пешков замечает лошадей, как ему кажется, из того самого табуна, за расправой с которой, теперь уже почти две недели тому назад, он застал Алексея, Григория и Федора. Да и эта троица тоже здесь, и ему недолго приходится сомневаться насчет этих лошадок: с самыми низкопробными ужимками мерзавцы показывают ему на них...

Длинный ряд загонов позволяет отобрать и рассорттировать животных, перед тем как направить их к бойне. А там — лошадей забивают массами.

И выглядит это ужасно.

Иногда сразу забить лошадь не удается. Некоторые животные вырываются, брызгая по стенам густой и темной кровью. Некоторые защищаются, но большинство лошадей все же словно цепенеют от того, что с ними происходит, и бесшумно валятся.

Затем им перерезают глотку, собирают их кровь в бочонки, которые сразу отправляют по цехам, где из нее делают километры кровяных колбас, называемых «суюаи». Тушки животных с выпущенной кровью на повозках отправляют в помещение, где их расчленяют и разделяют. Скелеты подвешиваются на крюки и потом распределяются между разными производствами, где цеха соединяются с сарайми, в которых в любое время года стоят наготове повозки, предназначающиеся для развозки товара.

Буварин немало гордится тем, на какую широкую промышленную ногу ставится его производство, он показывает губернатору свое детище, после того как последний перерезает ленту, целует девочку, которая подносит ему цветы, и жмет руки главным распорядителям предприятия.

Там, где в чанах кипит кровянистая жижа, Буварин долго и с множеством подробностей рассказывает. Здесь, объясняет он, готовится мясо жеребят в желе. Там коптят казз.

— Казз — это соленые ребра (на 100 кг сырья требуется 3 кг соли, 50 гр селитры и 150 гр сахара), несколько дней их выдерживают в бочках при температуре в 5°, потом коптят при 40° около 20 часов и, наконец, при 12°—13° просушивают. Это вкуснейшее блюдо. Попробуйте сами, ваше превосходительство.

Буварин неиссякаем. Он дает рецепты приготовления чужука — копченой колбасы, азипа — вареной колбасы.

Он пожевывает кусок жайи (копченого конского окорока), предлагает окружающим отведать кусочек жаля, жирного копченого шейного гребня. Самое же приятное он приберегает к концу:

— Картá делается из необезжиренной прямой кишки, ее выворачивают, просаливают и коптят. Это истинное лакомство!

Губернатор уезжает, а вместе с ним исчезает надежда заставить Санкт-Петербург пересмотреть свое решение.

Вечером в помещении офицерской столовой казаки обсуждают события дня: джигитовка ни к чему не привела, бойня лошадей началась, а теперь вот и снег пошел.

День 5 октября 1889 года оказался весьма безрадостным.

Весь вечер люди курят, пьют, стараются утопить в рюмке водки и свое разочарование, гнев, печаль. По всем углам плохо освещенного помещения идут бесконечные разговоры, раздаются печальные песни, шумные, но быстрые затухающие споры, и мало-помалу, с наступлением ночи начинают слышаться храп и всхлипывания напившихся казаков.

Сидя в конце стола, Пешков погрузился в грустные мысли и отклоняет все предложения выпить.

— Нет, дружище, — отвечает он. — Ты же знаешь, я не пью. А хочешь со мной выпить, неси сюда стакан чаю или квасу.

Одному из казаков, менее пьяному, нежели другие, удается наконец отыскать то, что просит Пешков, и он приносит ему именно стакан квасу.

— Ваше благородие, — говорит он ему, — съездили бы да доложили все как есть самому царю. Уж точно ведь он не знает, что здесь у нас творится.

Пешков не обращает на слова полуপьяного казака никакого внимания.

— Ваше благородие, — настаивает последний, — вы разве не слышали о корнете Михаиле Васильевиче Асееве? Его отец был казачьим батальонным командиром, а сам он командовал отрядом стрелков 26-го драгунского полка в Лубнах, в Малороссии, в нескольких верстах от Киева.

Пешков явно отказывается его слушать. Он витаet в облаках. Но казак упрямо гнет свою линию. Он дергает сотника за рукав.

— Ваше благородие! Вы же ведь очень даже хорошо об этом слышали! Всего тому месяцев 5—6 назад. Он выехал из Лубен 16 апреля, а приехал в Париж 19 мая, с ним были две добрые кобылы. 2475 верст за 33 дня — вот это да! Так вот, когда царь-то об этом узнал, он позвал корнета, и того определили в императорскую гвардию!

Тут Пешков словно очнулся.

— Чего? Что ты там такое плетешь? Что сделал царь? Ну-ка повтори-ка мне эту историю еще раз...

— Ваше благородие, — весь засиял казак. — Уже битый час как я вам твержу, что надо бы поехать к царю. Езжайте, объясните ему все как есть. Он поймет. Он же в лошадях разбирается.

Пешков вскакивает, хватает своего собеседника, обнимает его, целует опять бросается обнимать его, потом пускается в

пляс, от которого просыпаются заснувшие казаки и взбадриваются музыканты. Он хлопает в ладоши, стучит каблуками.

— Ребята! Просыпайтесь! Я придумал¹. Поеду в Санкт-Петербург на нашей лошадке! Покажу им, чего они стоят, наши низкоросленькие! Вставайте! Предлагаю выпить! Музыка!..

Гармонь, балалайка сначала медленно раскачиваются. Будто просыпаясь, инструменты зевают, потягиваются, отходят. Мало-помалу они оживляются, усиливают звук, скорость, начинается веселье. Вскоре первый, за ним еще два, потом десять плясунов начинают крутиться, вертеться, вихрем носиться по комнате...

Всю ночь напролет благовещенский гарнизон в необузданном ритме казацких плясок отмечает счастливую мысль, что пришла на ум сотнику Дмитрию Николаевичу Пешкову...

Когда на утро после ночного разгула казаки открывают дверь во двор, перед ними открывается совсем иной вид округи: все покрыто толстым слоем снега.

Пешков щурит глаза, ослепленный белизной, сияющей в лучах утреннего тусклого солнца.

Он переходит казарменный плац, по колено увязая в искрящейся снежной пыли, и добирается до розового дома полковника. Дверь завалена сугробом, он разбрасывает ногой снег.

Несмотря на ранний час, полковник уже в кабинете. Безукоризненно затянутый в мундир, сшитый точно по нему, аккуратно причесанный и гладко выбритый, он являет собою до смешного полную противоположность тому, как теперь выглядит его подчиненный, в помятом кителе и обвислых брюках, с небритой щетиной и всклокоченными начесанными волосами.

— Пешков! — восклицает молодцеватый старик. — Что это с вами?

— Ничего, ваше высокоблагородие, — в возбуждении отвечает сотник бодрым голосом. — Вот пришел просить у вас отпуск на шесть месяцев. Мне бы уехать на шесть месяцев. Да нет, даже на десять выйдет... Ну, не больше чем на год.

Старый офицер поражен до глубины души.

— Отпуск на целый год?!

— Да, ваше высокоблагородие, но это нужно для полка. Ради доброго дела. Хочу доказать, что у нас здесь самые лучшие лошади в империи. Раз губернатор не пожелал этому поверить, я хочу это делом подтвердить. Поеду в Санкт-Петербург на одной из наших лошадей, и это и будет лучшим доказательством. Уверен, что смогу убедить в этом царя.

¹ Именно подвиг Асеева вдохновил Пешкова на его путешествие: по этому поводу — см. «Журнал Коннозаводства», Спб., май 1890, с. 129.

— Убедить царя?! — повторяет за ним неприятно удивленный и раздосадованный полковник. Потом, чуть поразмыслив, он говорит: — Когда же вы хотите ехать?

— Да сейчас же, ваше высокоблагородие, хоть завтра, хоть послезавтра, как дадите мне отпуск.

— Дмитрий Николаевич, голубчик, вы разве не заметили, какой ночью выпал снег? Начинаются холода!

— Так вот именно, ваше высокоблагородие, вы же знаете, что это самое удобное время года, чтобы ехать. Нет грязи, нет болот, все замерзло, можно запросто проехать по реке, по озеру. А в тайге, на снегу и дорогу лучше видно.

— Безусловно, но все же сейчас время не подходящее для прогулок, когда на градуснике вот-вот будет $-30, 40, 50^\circ$!

— Ваше высокоблагородие, — торжественным тоном отвечает Пешков, — это же не просто прогуляться, это значит бросить вызов. Нужно же как-то кое-кому доказать: наши лошадки выносливы во всем. В самых тяжелых условиях. Переносят мороз, голод, усталость.

— А вы, Пешков, сами-то уверены ли, что сможете так же хорошо все выдержать?

— Во всяком случае у нас нет выбора, ваше высокоблагородие. Если мы ничего не будем делать, весной опять начнут забивать у нас лошадей. Мне нужно поспеть в Санкт-Петербург самое позднее в мае.

— Но вы безумец, мой друг! Санкт-Петербург более чем в 8000 верст отсюда! Даже выехав завтра, как можете вы рассчитывать прибыть туда в мае? Это же неосуществимо, да еще с одной только лошадью. Да, между прочим, какую же вы возьмете лошадь?

Сотник чувствует, что старый офицер только что, вот сейчас ему уступил.

Перед тем как ответить, он на миг задумывается.

— Повидаюсь со старым Изингу. Попрошу у него лошадь, пусть даст мне самую лучшую. Он мне поможет!

Тепло одетые, удобно сидя глубоко в седле, Изингу и Пешков едут рысью, бок о бок, нога к ноге. Короткие лошадиные ноги мерно постукивают о землю, несмотря на неровности почвы. На полном ходу они опускаются и поднимаются, словно поршень мотора. Как игла у швейной машины, только ткань, которую они прошивают, — тонкий ковер из снега и листьев.

Оба всадника взбираются и спускаются по поросшим лесом холмам огромного края. Они не разговаривают друг с другом, слишком занятые тем, что всматриваются в проносящийся мимо пейзаж.

Вдруг Изингу останавливается как вкопанный. Наклоняется, чтобы лучше рассмотреть идущие по земле следы, остав-

ленные здесь каким-то зверем. Широкие их отпечатки позволяют ясно разглядеть подушечки с торчащими когтями.

— Медведь? — спрашивает Пешков.

— Нет, — сумрачно отвечает старый тунгус. — Нужно очень осторегаться, сотник! Это тигр!

Оба продолжают езду, но теперь уже шагом. Изингу едет впереди. Его взгляд обыскивает тайгу, он внимателен к каждому движению, к самым незначительным знакам. Выглядит озабоченным. Что касается Пешкова, тот явно волновался: снял через голову ремень надетого за спину ружья и теперь крепко держит оружие в руке.

Старый тунгусский вождь опять останавливается, сходит с лошади. Лес здесь гуще. Оба продолжают свои поиски следа, спешившись, и тянут лошадей за собой. Они продвигаются осторожными шагами, скользя между деревьями, избегая задевать острые хвойные ветви, перепрыгивая через нагромождения валежника. Время от времени Изингу застывает, прислушивается,нюхает воздух, рассматривает почву, потом вновь пускается в путь. Пешков наблюдает за своим спутником, останавливается, когда тот это делает, идет дальше, когда тот двигается вперед. Оба напряжены до последней степени.

Но вот лошадь сотника по какой-то причине встает, фыркает, отказывается идти. Молодой офицер оборачивается к ней, чтобы подбодрить норовистое животное. И в самый этот момент высекивает тигр и проносится всего в нескольких метрах от Пешкова, тот падает ничком, стреляя наугад... Когда он встает, хищник уже исчезает в лесу.

Старый тунгус подходит к казаку.

— Тебе повезло, сотник, — говорит он. — Теперь поспешим к лошадям, пока тигр не разогнал табун! Мы недалеко.

Им хватает четверти часа на то, чтобы выехать на обширную лесную поляну, образовавшуюся в лощине, по дну которой вьется широкое ложе валунов. В это время года речка почти высыхает и малое количество воды в ней уже промерзает. По ту сторону этой ленты камней склон погружен в тень и полностью занесен снегом. Но с их стороны солнце растопило белый снежный слой большими прогалинами, в которых виднеется густая побуревшая за зиму трава — этим и лакомится с явным удовольствием сотня лошадок с набитыми животами.

— Вот! — с гордостью говорит старый скотовод по-тунгусски. — Вот самые лучшие лошади на свете! Этот табун лучше всех на Амуре. Здесь самые сильные кобылы скрещены с самыми нетерпеливыми жеребцами. Мой отец тоже так скрещивал. И до него отец моего отца. И отец отца моего отца — тоже. Так было и еще раньше, в самые древние времена, с тех пор, когда один из наших прапращиков привел сюда девять жеребцов из Манчжурии. После меня Муктан тоже продолжил бы это дело, если бы люди твоего племени не убили его. Нигде ты не

найдешь лошадей выносливее, смелее, живее этих. Выбирай, сотник! Бери какую хочешь лошадь! Она повезет тебя, не бойся, до самого края царской земли. И даже далее, если захочешь!

Пешков улыбается старику и долго любуется на пестрый табун. Масти самые разные, но больше всего гнедых, серых и рыжих. Лошади небольшие, высотой от 130 до 140 см в холке, ноги у них сильные. Даже жеребята, встав на свои тоненькие ножки, кажутся приземистыми. Этих лошадей можно было бы посчитать неповоротливыми, но это не так: они просто-напросто коренастые. Из-за этой их некоторой неотесанности кажется, будто они очень спокойные, но не стоит слишком полагаться на это первое впечатление. Ибо у этих лошадок кровь играет.

Недолго, впрочем, это и заметить. Серая лошадь у кромки леса перестает щипать траву. Она резко разгибает шею. Насторожено вглядываясь, поднимает голову и издает продолжительное ржание, которое разносится по всей долине. Это тревога. Все лошади в табуне прекращают пасть. Самые молодые в испуге галопом разбегаются во все стороны, ища спасительного бока своих маток.

— Тигр! — вскрикивает тунгус, показывая казаку на то, что тем временем проделывает серая лошадь.

А та выпрямляется во весь рост, словно хочет вырасти на несколько сантиметров, медленной рысью величественно бежит вдоль леса. Переходит на шаг и шумно вдыхает ноздрями воздух. Резко останавливается, роняет несколько навозных комков с поднятым хвостом, опять пускается галопом. Опять ржет и держится вызывающе, поворачивается крупом в сторону леса.

Лошади в табуне начинают нервничать.

Пешков замечает гибкое тело тигра, он пробирается между деревьями на опушке леса, к лошадке, которая вместо того, чтобы пуститься бежать от него, явно ждет, пока хищник подойдет достаточно близко, чтобы с силой его лягнуть¹.

Коварная кошка сжимается, готовится прыгнуть. Пешков вскидывает ружье и стреляет, тигр убегает, но табун охватывает общая паника, и он в безумном страхе беспорядочно разбегается.

А серой лошадке требуется время, чтобы догнать беглецов, успокоить маток, восстановить безмятежное спокойствие на пастище.

¹ Несмотря на то, что большинство знатоков лошадей, которым я показывал эту рукопись, посчитали нужным высказать противоположное мнение, в описанной сцене нет ничего неправдоподобного. Перед опасностью первым рефлексом лошади, конечно, окажется стремительное бегство, но бывают и исключения. В рассказе о невероятном путешествии, да еще — пешком! — в 1820-е годы через всю Сибирь один британский морской капитан, слегка эксцентричная личность, Джон Даунс Кошран, вспоминает, например, о битве между лошадью и медведем. И этот плут-англичанин сумел без зазрения совести воспользоваться мясом как одного, так и другого животного, ибо оба эти противника «бились насмерть накануне».

— Хочешь этого коня? — спрашивает Изингу. — Ты прав, сотник! Это вожак стада. Это особая лошадь. Смелая, ты видел! Этот конь отвезет тебя куда хочешь.

— Сколько ему лет?

— Тринадцать, но он еще крепкий. Ты пылкий по молодости лет, сотник. А у него мудрость, опытность.

— Какая у него кличка?

— Вы, русские, хотите давать клички всему, что движется! Называй его, как тебе нравится! Когда я говорил о нем моему сыну, я называл его «Серый». Как говорят «серый» по-русски?

— Серый.

— Ну вот, зови его Серый, если тебе это приятно! Не двигайся, пойду приведу его тебе.

Старый тунгус отъезжает не быстрым галопом, вот он оказывается возле серой лошади и, не спешиваясь, прямо из седла накидывает ей на шею веревку, ловко завязывает ее и получается недоуздок. Галопом возвращается, останавливается точно перед казаком, протягивает ему веревку и говорит:

— Вот тебе конь, сотник! Пусть он отвезет тебя к царю и пусть отнесутся справедливо к смерти моего сына!

— Справедливость восторжествует, Изингу. Клянусь тебе!

— Доброго пути тебе! Да помогут тебе духи! — говорит старик, роясь за пазухой, вытаскивает что-то вроде амулета и надевает казаку на шею.

После этого от гривы своей собственной лошади он отцепляет брелок, видимо, тоже магический талисман, и вешает его в густой гриве Серого, тихим голосом что-то приговаривая у самого уха лошади. Та будто внимательно слушает и понимает то, что ему говорит старый тунгус. И, качнув головой, будто бы соглашается.

— Вот, сотник! — говорит Изингу. — Эта лошадь будет служить тебе и слушаться тебя, пока не умрет. На ночь я останусь здесь, хочу посмотреть, вдруг тигр еще раз нападет на табун¹. Прощай!

На дворе уже ночь, когда Дмитрий Николаевич возвращается в станицу, сидя верхом на своей лошади и ведя за собою Серого на поводу. Деревня спит. Надо сказать, что при морозе минус 15°очных дозоров не требуется. Скрип обледенелого

¹ На мысль о такой сцене навел меня Антонин Россильон. Это он подсказал мне изобразить дело так, что сотник обратится к какому-нибудь старцу-мудрецу, последователю вековых традиций и знатоку местных тайн разведения лошадей, для того, чтобы выбрать себе лошадь в дорогу. Такой ход показался мне удачным. А «историческая правда» — менее поэтична: если верить «Журналу Коннозаводства» за июнь 1890 года, «Пешков купил себе лошадь у одного казака в станице Константиновской, в ста верстах от Благовещенска». В журнале даже упоминается и цена — 150 рублей!

снега под копытами будит собак, и те принимаются лаять. Но сейчас в окнах изб, из труб которых выются легкие дымки, не мелькает ни оного огонька.

В лунном свете блестит снег. Это удивительное сияние позволяет казаку легко сообразить, куда идти, хорошо разглядеть все, отвести лошадей на конюшню. Наскоро набросав на пол добрый слой соломы, он ставит Серого в стойло. Потом, забросав охапку сена ему в кормушку, подходит к своему новому спутнику, похлопывает его по шее и говорит:

— Ну ладно, поспи хорошенько, Серенький мой! Серок! Серко! Пусть тебе снятся добрые сны! Сам я умучился, пойду лягу. Завтра мы начнем работать. Увидишь, мы с тобой хорошо поладим.

Пешков быстро расседливает лошадь, с силой обтирает ее соломой и спешит к себе, прихватив с собой седло и поводья, которые складывает в углу у себя в комнате, рядом с шашкой и ружьем.

— Холодно в доме-то, — говорит молодой человек, дуя на застывшие пальцы.

Раздувает огонь и вот уже сидит и жует хлеб от большой краухи, отпивая мелкими глотками обжигающий чай. Стаскивает сапоги, ложится на свой матрац из конского волоса и с головой укутывается в толстую большую медвежью шкуру.

...Он еще крепко спит, когда из конюшни начинает доноситься странный треск, шум разрушения, мерно повторяющиеся удары. Только когда стук и треск набирает полную силу, наконец казак пробуждается от богатырского сна. Неожиданно грохот заставляет его вскочить. Словно кто-то колет дрова, ломает доски — может быть, выломал дверь?

Пешков спрыгивает с кровати, хватает ружье и кидается наружу. Отсветы луны на серебристом снегу позволяют четко разглядеть серую лошадку: еще больше взлохмаченная, чем обычно, она радостно скакет во дворе у сотника, дыша во все ноздри, словно, наглотавшись воды, попала наконец на воздух. Ясно: Серый боится замкнутого пространства! А сам будто весьма гордится собой. Ворота конюшни распахнуты, дверь дениника разнесена в куски.

— Ну, говори-ка мне, Серко, что это ты такой шум учил? Иди спать, слушайся меня, — говорит ему казак, улыбаясь и глядя на то, что предстало перед его глазами. — Не хочешь спать, так дай же хоть другим поспать, — прибавляет он, надевая недоузок на лошадь, чтобы опять отвести Серко в конюшню.

Но в тот самый момент, когда они только входят в конюшню, Серый отскакивает назад, вырывает веревку из рук своего нового хозяина и опять весело скакет по участку вокруг дома сотника.

Казак не успел даже надеть сапоги, когда выскакивал во двор, поэтому сейчас чувствует холод в ногах. Входит в избу и кричит:

— Ладно, тебе же хуже! Хочешь спать на улице — твое дело. А мне еще поспать надо!.. Утром посчитаемся, — прибавляет он, хлопая дверью.

У серой лошадки хитрый взгляд. Она удовлетворенно ржет...

Сотник с трудом просыпается. Садится на край кровати, потягивается, зевает во весь рот, трет глаза, потом смотрит на часы.

— Боженьки мои! Поздно-то как, — вскрикивает он, прыжком оказываясь на ногах.

Натягивает сапоги, подходит к лохани, разбивает тонкий ледок на поверхности воды и шумно умывается. Перед осколком зеркала приглаживает волосы, расчесывает густые черные усы. Но очень скоро внимание его привлекает то, что он замечает в окне.

Наскоро доодевшись, он выходит во двор. Здесь собралась целая толпа. Вся деревня сбежалась смотреть на забавную лошадку. Среди первых, облокотившись на изгородь, стоит Люба. Как только она видит молодого человека, лицо ее освещается широкой улыбкой.

— Здравствуй, Дмитрий, — бросает она ему. — Откуда ты взял такого шута горохового?

На самом деле Серый занимается тем, что показывает фокусы. Он гарцует вдоль изгороди, неожиданно опускает голову между передними ногами, срывается в галоп, встает на дыбы, лягается, замирает, опять, как по воздуху, несется рысью, внезапно меняет направление, трясет шеей, останавливается и бьет копытом снег, с наслаждением катается на спине по грязному снегу. Вдруг вскакивает, встряхивается и осыпает мокрыми комьями снега любопытных, а те с хохотом разбегаются.

Серко, Серенький, да ты, оказывается, и впрямь фокусник. Но какой же симпатичный сорванец. Чертовски симпатичный.

Росту он не больше метра тридцати пяти. Заросший густой зимней шерстью, Серко походит на большой волосатый ком. Грива густая, челка торчком, из-под нее едва виднеются подвижные, как флюгера, маленькие уши. Глаза живые, всегда настороженные, взгляд хитрый. Голова слегка горбоносая, и если шея и коротковата, то спина — как раз наоборот, очень длинная и отменно прямая. Крестец мощный, хвост высоко приставлен к массивному крупу. Ноги стройные, внизу толстые и прочные.

— Этот плут, видно, ладно несет седока, — говорит молодой офицер своим казакам, стоящим среди зевак. — Петруша! Надень-ка ему мое седло, — приказывает он своему денщику, тот бросается в избу и выходит оттуда с седлом.

Увы, Серко не закончил еще своих номеров. Он не подпускает к себе, и бедняга Петр, с седлом и уздечкой в руках, топчется вокруг лошади, и никак ему не удается положить ей на спину седло. Дело кончается тем, что Петр, запутавшись ногами в волочащихся по земле поводьях, падает во весь рост в снег к неимоверному удовольствию публики, для которой такое зрелище — лучше не придумаешь.

Теперь уже несколько казаков пытаются изловить Серко, а тот, проявляя большую ловкость, увертывается от наседающих на него со всех сторон преследователей. Лошадке явно не нравится эта игра. Слегка запыхавшись от погони, она вдруг останавливается как вкопанная посреди двора и с вызывающим видом поворачивается мордой к своим противникам.

Пешков, хватаясь за живот, падает со смеху.

Он все еще улыбается, когда, решая положить конец представлению, подходит с недоузком в руке к своей ретивой лошадке. На сей раз конь не выказывает никакого сопротивления. Он дается в руки казаку и послушно следует за своим новым хозяином, а тот кричит в сторону зрителей:

— Ну все, хватит, позабавились! Расходись! Освободите место!

Потом, обращаясь к Серко, приговаривает:

— А мы с тобой, дружочек, много еще должны сделать!

Пешков направляется к конюшне, но на сей раз осторегается тащить туда за собою Серко. Довольствуется тем, что привязывает его к кольцу, что поближе к навесу, где в невообразимом беспорядке навалена разная утварь, старая повозка, огромная наковальня, всевозможные инструменты, да и самые бесполезные предметы: вышедшие из употребления удила, ржавая пара стремян, хомут с вылезшей соломой, тачка без колеса, сломанный стул и множество прочих сокровищ.

Из груды хлама молодому человеку удается выудить большую щетку и скребницу, при помощи которых он тщательно расчесывает своего будущего спутника по дальней дороге.

— Ваше благородие, вы это оставьте! — говорит денщик. — Этим я займусь.

— И не думай, Петр, — возражает Пешков. — Дай мне это сделать самому, ведь чтобы побольше узнать свою лошадь, ничего лучше не придумаешь, как хорошенько ее почистить... Другое дело, — прибавляет он, разглядывая ноги Серко, — коли хочешь пользу принести, сходи-ка разогрей кузнецкий

горн и сыщи мне гвоздей на этой свалке. Лошадь нужно подковать!

Пока Петр выполняет просьбу, молодой офицер принимается с силой прочесывать густую шерсть Серко, чтобы счистить с нее заскорузлые сухие комья грязи.

Потом движения его делаются мягче, он осторожно проводит щеткой по голове лошади, между ушами, по шее. В его спутанной гриве встречается и амулет, повешенный туда Изингу. С пристрастием Пешков принимается расчесывать челку, что в особенности нравится лошади, которая от удовольствия неимоверно вытягивает кончик носа.

По мере того как чистит лошадь, Пешков, сантиметр за сантиметром, изучает его тело и с удовлетворением отмечает, что его Серко отменно здоров. На нем нет даже следов потертостей от упряжи, ни на спине, ни под подпругой... сухожилия сухие. Щетки хорошо защищают бабки, там не видно ни одной трещины. На хвосте нет расчесов, и нет у лошади насекомых.

Что и говорить, старый тунгус над ним не подшутил: Серый в отличном состоянии.

— Ваше благородие! Горн разжег. Железо красное, — говорит Петр, протягивая Пешкову кузнецкие клещи и молоток.

Пешков — ловкий кузнец. Раскаленным брускам на наковальне он придает форму четырех лошадиных подков. В каждой из них пробивает по восемь отверстий, маленьких прямоугольных дыр, в которые потом войдут гвозди. Он вытягивает металлические отвороты, которые позволяют лучше укрепить подковы на копытах. Затем сильными ударами молотка-ручника с миллиметровой точностью он придает им нужное направление.

В продолжение всей этой операции Серко не дрогнул, несмотря на пугающее дыхание горна и грохот работы на наковальне, на снопы искр. Он не беспокоится и тогда, когда Дмитрий принимается за его ноги, отрезает и опиливает копыта и вбивает в них большие гвозди, крепит подковы. Может быть, он находит все это даже несколько скучным занятием, но stoически терпеливо ожидает конца, пользуясь попросту случаем, чтобы вздремнуть.

Когда сквозь полузакрытые веки Серко замечает, что хозяин несет упряжь, он вдруг просыпается, вновь обретает всю свою живость. И когда Пешков кладет ему на спину сложенную в несколько раз попону, потом седло, он выпрямляется, будто хочет стать повыше.

Затянув подпруги, взнудзив и отвязав Серко, Пешков любуется им и с удовольствием отмечает, что его конь не лишен выпрявки. Он ведет его на улицу, вскакивает в седло и пускает рысью. При выезде из деревни он уже скачет галопом и исчезает вдали.

С порога своего дома Люба смотрит на происходящее. Она дрожит от холода, но не уходит, ждет возвращения удалого казака. И когда тот наконец возвращается, она с улыбкой подходит.

- Доволен им, Митенька?
- Очень даже доволен, Любаша. Лошадка — что надо.
- Так ты уезжаешь?
- Да, Любушка. Думаю даже, уеду уже завтра.
- Завтра? Так скоро? В самый канун Архангела Михаила. Подождал бы еще немного, хоть до праздника, — говорит она, отворачивая голову, чтобы скрыть слезы¹.

Дмитрий Николаевич уютно свернулся под теплой медвежьей шкурой. Он спит...

Тихий скрип двери. По комнате проходит тень, приближается к кровати. Это Люба, она роняет на пол накинутый на плечи платок, потом и ночную рубашку.

Густым светлым волосам не удается прикрыть ее великолепной груди. Так, совсем голой она взбирается на кровать, приподнимает шкуру и прижимается к казаку.

А тот что-то невнятно бормочет сквозь зубы, поворачивается и вдруг выпрямляется.

— Люба! Ты все-таки совсем сумасшедшая! Что же ты здесь делаешь? Это невозможно! А ну марш домой! Твой престарелый муж...

Но она бесстыдно заставляет его замолчать, прижимаясь губами к его рту. Сопротивление длится недолго. И всю ночь напролет влюбленные предаются пылким порывам нежной любви...

На рассвете Люба нехотя высвобождается из сильных рук спящего глубоким сном своего красавца-казака. Она наскоро надевает рубашку из грубого холста и тихо, ступая на цыпочках, уходит, поцеловав на прощание в лоб своего любовника.

Казак приоткрывает один глаз и с блаженным видом опять засыпает.

Но ненадолго. Очень скоро его будят бранные вопли старика из дома напротив: тот застал свою молодую супругу на месте преступления.

¹ Праздник, о котором говорит здесь молодая женщина, — это то, что у православных христиан называется Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. По юлианскому календарю, который употреблялся в России, этот значительный праздник отмечался 8 ноября (в наши дни празднуется по григорианскому календарю 21 ноября). Таким образом, из этого можно заключить, что если казак собирался уехать накануне этого праздника, то есть, 7 ноября (он и на самом деле так и поступил), происходил этот разговор 6 ноября 1889 года.

Казак прислушивается, вникает в обрывки ругани.

— Ну вот, — говорит он, улыбаясь, — самое и есть время мне отсюда убираться!

Встает, насвистывая, бреется и принимается за последние приготовления к предстоящему большому путешествию. Сотник уже давно тщательно все обдумал. Он знает наизусть весь список вещей, которые ему нужно взять с собою. Он раскладывает вещи на столе, и скоро стол с верхом покрывается внушительным ворохом одежды, оружия и «необходимой» утвари.

— Как же я все это поволоку? — говорит он, на глаз сравнивая эту гору с двумя кожаными переметными сумами, в которые ему придется затолкать все эти вещи.

Потом, немного подумав, говорит:

— Ладно, начнем с того, что требуется Серко: щетка, скребница, копытный нож. Подковы про запас, гвозди, молоток. Ах, да! Рашиль, ковочный молоток и клещи. Черт возьми, для меня и места-то не остается!

Получше упаковывая все отобранные, он умудряется втиснуть еще немногого белья, кусок мыла, спички. А что же делать со всем остальным? Котелок, кружка? Места нет! Дорожная фляга? Ладно, флягу в сторону! Ружье? Нет, с ним неудобно, хватит и револьвера. Патроны? Да. Кинжал? Да. Шашка? Шашка — да. Без нее невозможно обойтись, и не потому, что такой порядок, что должна быть при мундире. Просто шашка — очень удобный инструмент.

— Так, что я забыл? — громко спрашивает сам себя Пешков. — Документы, отпускной билет, пропуск. Деньги, записную книжку, карандаш.

Засовывает все свои бумаги в кожаный мешочек, висящий у него на шее вместе с данным ему Изингу талисманом и все прячет под рубашку.

Последний взгляд на стол. Чайник! Колеблется. Берет его, опять ставит обратно. Нет, придется обойтись без него. Хватается за плоскую серебряную коробочку, открывает. Это икона Божьей Матери. Целует ее и засовывает в карман. Все. Нужно ехать.

На простой казачий офицерский мундир он натягивает шинель с капюшоном, проверяет, лежат ли в кармане рукавицы, надевает на голову шапку, забрасывает набитые до отказа сумы себе на плечо и идет к двери. Останавливается, оборачивается, напоследок обводит взглядом комнату. Возвращается к кровати, стягивает с нее служащую ему одеялом огромную медвежью шкуру и выходит. На улице все белым-бело. Видно, большую часть ночи шел снег. На нетронутом снегу четко виднеются Любины следы, вся ее перебежка как на ладони: она прошла двор, перебежала уличку и вошла за изгородь напротив. Потом ее следы почти теряются — там снег сильно истоптан!

Вся эта картина заставляет казака улыбнуться. Между тем, его немного занимает то, что над деревней царит странная тишина.

Он ищет глазами Серко. А тот — неглупое животное. Встал под навес. Ждет там, где накануне хозяин расчесывал и прихорашивал его. Зато вот и не вымок под снегом.

Сначала Дмитрий надевает ему недоуздок, закидывая вевреку вокруг шеи, потом уздечку. Удила — простой сплющеный трензель, чуть выходящий за углы губ.

На спину казак кладет ему потник — это прямоугольный кусок полотняной ткани, потом вчетверо сложенную попону. Поверх этого Дмитрий надевает седло — главную часть снаряжения. Седло походит на большую кожаную подушку, хорошо приложенную между высокими передней и задней луками седла.

Спереди Пешков вешает топорик, прилагивает сумы, а сзади — медвежью шкуру, туго свернутую мехом внутрь.

И вот, оба они вполне готовы к великому событию — отъезду. Но любопытно то, что ведь рядом никого нет, никто не ходит вокруг, никто их не провожает. Дмитрий, недоумевая, зовет Петра. Раз позвал, второй. Не отвечает. Что-то здесь диковинное происходит. Ни движения, ни звука, даже собаки не лают.

Пешков берется за поводья и ведет Серко к выходу со двора. Главная улица — пустыня. Все же не совсем: в окружении многочисленных поросят роется в снегу свинья, хрюкая, выискивает картофельные очистки. Сотник ищет взглядом хоть какой-нибудь намек на то, что же все-таки случилось. Ничего. Еще раз он зовет своего денщика. Тщетно.

Ну и ладно! Садится в седло.

В самый этот момент двери всех изб разом распахиваются. Жители в полном составе устремляются на улицу, крича во все горло: «Ура! Ура! Ура!».

Казаки, их жены, дети, все сбегаются, окружают явно разволновавшегося молодого всадника и явно польщенную таким всеобщим вниманием его лошадку. Их целуют, ласкают, даже одаривают совсем уже неизвестно откуда взявшимися в ледяное время года цветами.

Отстраняя с дороги одних, расталкивая других, сквозь веселую толпу прокладывает себе дорогу Любя. Под глазом у нее небольшой синяк.

— Чего это ты над собой натворила? — наклонившись к ней, спрашивает казак.

Молодая женщина, грустно улыбаясь, пожимает плечами.

— Да ничего, ничего! — отвечает она. — Вот возьми, Митенька, дорогой, — добавляет она, кидая ему в руки толстый черный полуушубок из выворотной овчины. — Все тебе потеплее будет. Береги себя! Возвращайся! Меня не забывай!

Из ее больших голубых глаз начинают катиться слезы, когда вдруг большая и сильная рука сжимает ей запястье и неволит ее отойти. Бородатый старец, который приходится ей вроде мужа, недовольно бурча, отводит ее обратно в дом.

В станице продолжают праздновать отъезд своего молодого начальника. Старые казаки дают ему тысячу добрых советов, а тем временем другие пользуются случаем, чтобы перехватить стаканчик водки, да и не один. Женщины зажигают толстые свечи. Крестясь, старушка даже вытаскивает икону. Дети гладят челку, голову, грудь, бока, бедра, круп Серко, а тот терпеливо и добродушно принимает ласки.

Через какое-то время Пешков делает знак, что хочет людям сказать слово. Поднимается в стременах и произносит:

— Люди добрые! Простите, если кого обидел ненароком! А теперь нам надо ехать. Да поможет нам Господь Бог, мне с Серко, добраться до Санкт-Петербурга. И дай Бог, пожелает наш батюшка царь выслушать нас и не станут наших лошадок посыпать на убой!

Потом, кладя руку на шею лошади, на которой все так же продолжает висеть тунгусский амулет, он обращается к Серому:

— Наша судьба в твоих копытах, мой дружочек. А теперь, давай, трогай!

Так, 7 ноября 1889 года сотник Дмитрий Николаевич Пешков вместе со своей серой 13-летней лошадкой отправились в невероятное, невиданное доселе путешествие от Благовещенска-на-Амуре до Санкт-Петербурга.

Первые две недели прошли безо всяких происшествий. С давних пор привычный к служебным разъездам по своему району, который в конце концов он узнал, как свои пять пальцев, сотник не столкнулся там ни с какими трудностями ни по части еды, ни с ночевкой. Держа путь вдоль Амура, по берегам которого властями была размещена целая цепь станиц, можно было не сомневаться, что через каждые 50—100 километров найдется и стол, и постой.

По дороге он заглянул в свою родную станицу Албачинскую, где остановился переночевать у своего отца, рассказал ему о своем деле, да и порадовался с ним.

Случалось ему находить себе пристанище то в совсем новой деревне у переселенцев, то в лагере у горняков-шахтеров, а то и в скиту у старообрядцев, которые, скрываясь от преследователей, угнездились в Амурском крае, и многие из них с очень давних пор. По их мнению, они исповедовали старую истинную веру, а также всей общиной почитали смелость, правди-

вость, чистоту, что изначально составляют определенную и специфически сибирскую мораль.

Однажды вечером Пешков оказался гостем у охранников... на каторге!¹ Но, к счастью, ни с кем дурным он в тех местах не повстречался. А ведь такого рода встречи частенько случались в те времена и в тех краях, которые действительно кищели беглыми каторжниками, преступавшими закон золотоискателями, браконьерами, спекулянтами оружием и мехами, головорезами, разбойниками всех мастей и разношерстными авантюристами...

Им повезло также и с погодой, в начале пути она была еще относительно мягкой. Неглубокий снежок запорошил землю, и по ней без всякого труда шел Серко. Несложно было переходить и вставшие уже на зиму ручьи и речки. Тайга выглядела великолепно. И этим грандиозным зрелищем Пешков, человек к нему привычный, не уставал любоваться, настолько тайга была живой, разнообразной и постоянно меняющейся.

Лес кишел дичью, что составляло неизменное развлечение для путешественника. Величественные кедры словно стремились густой листвой защитить молодые деревца. Огромные трехсотлетние тополя с узловатыми ветвями будто оспаривали у старых дубов первенство по крепости в любых испытаниях. Косули, кабаны, бесчисленные мелкие зверьки с более или менее драгоценным мехом, сотни разноголосых птиц гнездились в кронах грабов, диких вишен, лип и берез, пробковых дубов и кленов.

На ходу Серко срывал с еще зеленых деревьев последние листья, хватая даже иглистые кисти с сосен, больше просто так, по привычке, нежели из ненасытной прожорливости. Пешков следил только за тем, чтобы он не тронул тис, ведь стоит лошади проглотить этой зелени, наступает мгновенная смерть.

¹ Если когда-то будет снят фильм по этой истории, мне кажется, будет трудно избежать необходимости показать каторгу. На самом деле, слово Сибирь столь автоматически вызывает в воображении людей ссылки, трудовые лагеря, Гулаг, что было бы крайне досадно не увидеть ни одного каторжника в таком приключенческом фильме. Надо сказать, эта тема уже сама по себе заслуживает целого фильма. Но здесь вполне можно обойтись и одной сценой с убогими бараками, возле которых в служебном помещении Пешкову было оказано гостеприимство. Издали он мог бы заметить и одетых в лохмотья заключенных, когда тех с кнутами ведут на стройку, а там приковывают к тачкам. Наилучшим справочным материалом для такой сцены явится замечательное свидетельство Чехова — «Остров Сахалин», написанное им — именно в 1890 году! — после путешествия на этот превращенный в гигантский концентрационный лагерь остров на русском Дальнем Востоке. Но здесь, мне кажется, необходимо сблюдать осторожность. Пытаться разжалобить публику сразу и историей про амурских лошадок, которых собираются уничтожить, и темой о тысячах ссылочных и заключенных, с которыми дурно обращаются, дело весьма деликатное.

Как и среди людей, в общении с животным миром им также удалось избежать неприятных встреч: не попалось ни голодного тигра, ни привлеченного запахом волка, ни медведя...

И только по дороге к озеру Байкал, куда Пешков решил добираться по прямой, отойдя в сторону от большой реки, что отделяет Россию от Китая, и таким образом удалившись от «цивилизации», у Пешкова с Серко начались трудности.

Пешков и Серко изнурены дорогой. С утра они в пути и все идут и идут без отдыха и передышки. Чтобы сохранить силы своему коню, казак шагает рядом с ним. В животах у них пусто, и силы на исходе, как на исходе клонящийся к ночи день. Нужно бы остановиться, отдохнуть, найти что-нибудь поесть. Когда Пешков наконец замечает какую-то полуразвалившуюся сторожку, в которой, видно, когда-то останавливались охотники, он решает сделать привал. Он освобождает лошадь от седла, обтирает ей спину, осматривает ноги и отпускает. Та кидается к снегу и жадно хватает его. Потом, взрыхляя снег передними ногами и кончиком носа, копается в смерзшемся мху и в конце концов находит немного травы и начинает ее щипать.

Тем временем, под большим хвойным деревом сотник наваливает толстый слой еловых ветвей, кладет на них вещи и седло, потом строит вокруг своего настила нечто вроде хижины из веток и снятых со старой лачуги кусков коры.

Движения казака теряют свою живость. Видно, вымотал он себе силы до предела. Оборачивается к Серко — тот занят поисками пищи.

— Приятного аппетита, дружочек! — говорит он ему. — И я тоже пойду-ка поищу чего-нибудь пожевать. Жди меня здесь.

Проверяет револьвер, взводит курок и уходит в лесную чащу. Уже почти совсем стемнело, когда вдали раздается выстрел.

Проходит еще какое-то время, прежде чем сотник появляется — он сияет и гордо потрясает огромным зайцем, которого и сует под нос Серко:

— Видал? Неплохо, да? Взял с первого выстрела!

Лошадь обнюхивает тушку, на удивление высоко поднимая верхнюю губу, чтобы лучше почувствовать запах. Но вовсе не заинтересовавшись им, опять продолжает пастись.

— Ты не разбираешься в хорошей еде, — говорит ему Пешков, пожимая плечами.

Сидя на корточках перед своей хижиной, он разжигает костер. Кинжалом ловко разделяет добычу, накалывает тушку на шашку и обжаривает зайца на огне. Но, голодный, он

не в состоянии долго ждать и, обжигая пальцы, заглатывает полусыре мясо. Насытившись вот так, наскоро и несмотря ни на что, он обтирает руки снегом, а потом на четвереньках влезает в свое убежище, кое-как прикрывая за собою вход.

На полу из веток вместо матраца он расстилает попону из-под седла, ложится на нее и сворачивается под медвежьей шкурой. Пешков быстро засыпает, а Серко продолжает выискивать свою мерзлую траву, которой попадается на его долю совсем немного.

На следующее утро Дмитрий просыпается от всхрапывания Серко, который, просунув голову в щель среди веток, прикрывающих вход в его хижину, шумно нюхает одеяло хозяина. Забыв, конечно, где он находится, казак резко вскакивает и вдребезги разбивает сооруженное им наnochлег жилище, защищившее его от холода. Встает и оказывается среди вороха веток и коры, которые теперь он старается разбросать ногами.

Он умывается горстью снега, из остатков своего вчерашнего костра вынимает заячью кость, обтирает ее тыльной стороной руки и принимается сосать, вышагивая, чтобы размять ноги. Отбрасывает кость подальше, потом потягивается, зевает, повернувшись лицом к бледноватому, но слепящему солнцу, которое всходит над холмом. Вот так на фоне поднимающегося солнца он вдруг замечает странный силуэт, щурит глаза: на вершине холма, среди ветвей стоит всадник. Казак делает вид, что ничего не замечает, но все же как можно более естественным шагом идет за лежащим под обломками его хижины револьвером, тихонько сует его за пояс и подходит к Серко, хлопает его по спине, треплет шею, все это время бросая косые взгляды в сторону необычной фигуры, которая там, вдали, продолжает неподвижно стоять.

Верхом на олене с гигантскими рогами маленький желтый морщинистый человечек, не двигаясь, наблюдает за странными действиями одинокого казака. Поперек седла у него лежит кремневое ружье.

Пешков с облегчением переводит дух: это тунгусский охотник. Он поворачивается и обращает к нему широкий жест — знак дружбы. Но азиат остается бесстрастным и не отвечает на жест молодого человека. Его прищуренные глаза — две щели — не моргают, на его медном лице не появляется никакого выражения.

Подходя, сотник бросает ему на тунгусском языке:

— Приветствуя тебя, стариk! Может, знаешь, где мне добить горячего чаю — это для меня, а для лошади немного овса? Мы проголодались.

Услышав, что казак говорит на его собственном языке, тунгус сразу смягчается, на лице у него появляется улыб-

ка — некая гримаса, при которой становятся видны его гнилые зубы.

Дойдя до охотника, который остается сидеть верхом, Пешков, человек вовсе не очень высокого роста, теперь кажется великанином. Дело в том, что олень, хотя и впечатляет всем видом своего туловища, животное сравнительно небольшого роста — метр 20 в холке, не более того. А издали таким величественным делают его ветвистые рога, в это время года достигающие максимального размера.

Олень старого тунгусского охотника, хоть и кастрирован, а красуется великолепными ветвистыми рогами с множеством отростков и разветвлений, что придает ему неоспоримое величие. У него большая голова, короткая, густо заросшая Шерстью шея и высокая холка, а деревянное седло сзади холки пристегивается тремя ремнями: лямка, подпруга и нагрудник.

Сидя на этом сооружении и продев ноги в совсем коротенькие стремена, «всадник» оказывается в положении на корточках, что делает его слегка похожим на большую лягушку. На память сотнику приходит фраза: «Скажи-ка, как ты, дурья башка, еще различаешь эти жабьи морды?» — так спрашивали его сподручные Буварина, когда он их арестовал...

От воспоминания о тех троих кровь бросается ему в голову, и опять начинают бродить в нем темные мысли. Мягкий голос тунгуса возвращает его к действительности.

— Что ты здесь делаешь, казак? Ты заблудился?

— Нет, нет. Ищу короткую дорогу к Байкалу: мне нужно в Иркутск.

— К Байкалу?! Так это за тысячу верст отсюда, казак! Ты еще не приехал! Езжай за мной. В стойбище тебе будет чай!

Пешков бежит к Серко. Наскоро взнузывает его, седлает, подбирает свою снедь и — в дорогу!

Старый охотник и молодой казак, один на диковинном животном, другой на своем забавном «пони», составляют довольно занятную картину. Но сами действующие лица никак не со знают собственной комичности.

В зависимости от строения, рельефа, очертания местности, от широты троп, минутного настроения они едут то бок о бок, то один вслед за другим. Иногда перебрасываются отдельными фразами, но сильный мороз не располагает к долгим разговорам.

Уже довольно продолжительное время тунгус едет впереди. Вдруг он делает знак остановиться — затихнуть, не шуметь. Его взгляд погружается в недра тайги, а оттуда слышатся легкие потрескивания. Если напрячь слух, можно различить скрип шагов по снегу. Охотник, всей своей мимикой давая понять, что требуется тишина, указывает ружьем в том направлении, куда нужно смотреть.

Опытный глаз на самом деле улавливает смутные движения у подножия огромного ствола, корнями вросшего в щебень, образующий нечто вроде пещеры. Пешкову не составляет труда понять, что бы это значило. Это берлога.

А вот и медведь.

Темно-коричневый зверь потрясающе огромен. Сколько же в нем веса? Может быть, триста, четыреста килограммов. Голова объемистая, лапы огромные, а на них — ужасные когти. Занятый чем-то таинственным, медведь еще не учудял присутствия людей, а у тех лица неожиданно освещаются мягкой улыбкой. Они замечают трех маленьких, совсем крохотных медвежат. Размером с рукавицу, весом не более одного фунта, они порывисто стремятся пососать свою огромную мать.

Охотник и казак бросают на них сочувственный взгляд. Осторожно они снова пускаются в дорогу и бесшумно уходят.

Когда опасность потревожить медвежью семейку им уже не грозит, старый тунгус подъезжает к своему спутнику и старается ему объяснить:

— Мужа медведицы, которую ты видел, зовут Нгомоидри. Это великий и могучий герой у тунгусов моего клана. Нельзя трогать его потомство. Это он еще в самые древние времена обучил нас растить оленей. Мы всем ему обязаны, понимаешь, казак?

Сохраняя серьезный вид, Пешков согласно кивает головой к вящему удовольствию старика, в уважении которого казак вырастает еще на одну зарубку.

После многих часов езды, охотник и казак наконец прибывают к стойбищу. По обе стороны замерзшей речки, по поросшим лесом склонам глубокой лощины, в полном спокойствии пасутся триста—четыреста оленей. Они разгребают снег, ищут мох и грибы, которыми они большие любители полакомиться, и в своих поисках корма рыхлят снег даже между чумами, а тех — с полдюжины, они стоят в низовьях, где вдоль речки оленям удается покормиться и травой. Хватает всего нескольких сорванцов со стойбища, чтобы верхом на послушных оленях легко присматривать за огромным стадом.

Тунгус пропускает гостя в свой островерхий чум. Там царит почти полная темень: только огонь в очаге посередине из-под большого котла дает свет, который позволяет различать очертания. Слева — мужская сторона, туда Пешков, зная обычаи, постарался сразу же пройти и сесть, там же лежат до надобности охотничьи приспособления и упряжь. В маленькую ступку из выдолбленного камня, гладкой гальки, старуха кладет кусок прессованного чая и с помощью пестика растирает его в пудру. Бросает в кипящую воду, получается черный и

соленый напиток, который она подбеливает несколькими каплями жирного и густого молока.

Извиняясь за подобную бережливую скучность, старый тунгус поясняет:

— В это время года у наших олених мало, очень мало молока. Доят только один раз в день вместо четырех-пяти в летнее время, тогда лучшие оленихи дают нам по 20—30 литров молока каждая.

Дмитрий наслаждается горячим напитком, благодарит хозяина дома, отпивает чай маленьками глотками.

— Твой чай — чудо! Я уже чувствую себя лучше, кажется, оленье молоко — хорошее лекарство?

— Самое лучшее! — спешит ответить тунгус, обрадовавшись похвале казака. — Оленье молоко в семь раз больше накормит, чем кобылье, казак!

— А кстати, — вскрикивает Пешков, — не найдется ли у тебя, чем подбодрить мою лошадь? Вот уже три дня как она ест только мерзлую траву.

Старик встает и копается в большом кожаном мешке, подвешенном к подпоркам чума. Оттуда он вынимает целую коллекцию мешков поменьше и приносит их.

Опять садится и принимается за приготовление некоей смеси. Из одного мешочка он выуживает кусочек коры. Из другого — смешной двурогий корень. Из третьего — сушеные луковицы. Растирает сухие растения в миске, подливает вниз немного горячей воды, все перемешивает и протягивает сотнику.

— Вот, казак! Дай своему коню. Это ему поможет скакать!

Дмитрий берет миску и выходит. Серко послушно ждет у входа в чум. Повернувшись крупом в сторону, откуда поднимается ледяной ветер, полуприкрыв глаза под своей огромной челкой, он отдыхает.

«Эта лошадь далеко пройдет, — говорит про себя Пешков. — Серко знает, как себя поберечь!»

Протягивает ему чудодейственное снадобье. Серко нюхает. Чуть пробует на вкус. Затем, находя месиво съедобным, опустощает миску.

Сотник возвращается в жилище к своему гостеприимному хозяину.

— Животным больше нечего здесь есть, — говорит ему тот. — Нужно идти дальше, менять пастьбище. Завтра мы снимаемся с места, казак. Мы идем в ту сторону, куда идешь ты. Если хочешь, делай переход с нами...

Зимой дни стоят короткие. Солнце заходит рано и встает поздно. Еще совсем темно, когда старый тунгус подает знак разбирать жилища.

В этом деле участвуют все. Женщины укладывают сумки, собирают утварь, а мужчины в это время снимают куски коры с чумов.

Шесты — по 20—30 штук на каждый чум — сортируют: увозят только самые хорошие, самые прямые. Прочие оставляют на месте. Когда будут устанавливать новое стойбище, всегда можно пойти в лес и нарезать новых. Длина у них — несколько метров: для перевоза их навьючивают на оленя так, чтобы по земле таскались тонкие их концы.

А вот куски коры, которыми покрыты крыши чумов, выбрасывают не так легко, несмотря на то, что очень уж громоздко и неудобно их перевозить. Но ведь так долго и сложно делать новые!

Нужно снять кору с молодых берез, разрезать ее на квадраты, пропитать паром и делать это много дней подряд, потом просушить, подогнать куски, уложить один к другому. Это долгий труд.

Поэтому кору и таскают за собой до тех пор, пока она еще хоть как-то служит.

Каждый делает только то, что требуется, знает точно свою задачу в общем деле, поэтому менее чем за час стойбище снимается.

У Дмитрия, вещи которого давным-давно сложены, другого дела нет, как любоваться на этот с таким совершенством поставленный тунгусский «танец». За ничтожное время все оказывается разобранным, сложенным и навьюченным. И все происходит без спешки, без лишней суеты.

Перевезти чум со всем его скарбом, включая огромный котел, однако не простое дело. Во всяком случае такой сложности перевозка требует целой дюжины оленей. Да и более того, когда есть дети, берется по оленю на каждую людьку.

Деревня, в которой насчитывается с полдюжины жилищ, в конце концов превращается в целый караван, состоящий из сотни тяжело навьюченных оленей, который на рассвете трогается в путь.

Старый тунгус возглавляет движение. Он предложил молодому казаку ехать рядом с собой. Серко пышет здоровьем.

— Твоя смесь вроде подействовала на мою лошадь, — говорит Пешков.

Старик улыбается беззубой гримасой. Потом оборачивается, смотрит, все ли едут сзади как надо. Все действительно едут. Медленно и не без величия.

В свою очередь, трогаются в путь и олени, остающиеся в стаде, их погоняют молодые тунгусы, едущие верхом на самых резвых из них, и кроме того преследуют собаки.

— Все эти олени — твои? — спрашивает Пешков.

— Нет, совсем не так. В большом стаде, которое ты видишь там, есть шесть малых стад, они принадлежат шести

семьям моего клана. У каждой семьи есть свое жилище и свой скот. У меня-то не так много оленей. Я не оленевод, я охотник.

Со своей стороны, старый тунгус тоже расспрашивает сотника. Тот пытается объяснить, что в его краю над лошадьми нависла угроза уничтожения и что он вот отправился в дальний путь в надежде отвести от них эту угрозу.

Тунгус немного удивлен. Он убеждает казака отказаться от выращивания лошадей, постоянного источника забот, использовать скорее оленей, у которых только и есть, что преимущества. Не только, как он уже говорил накануне, их молоко в семь раз питательнее кобыльего, но и мясо у них вкуснее, за их рога дорого платят китайцы, да к тому же только их шкура по-настоящему спасает от мороза...

Так часами они рассуждают, сравнивая достоинства оленей и лошадей, хваля их качества, рассказывая об их недостатках. И — время проходит незаметно.

Но Пешков чувствует, что Серко под ним приходит в полное нетерпение. Караван идет слишком медленно. Тогда казак пользуется привалом, большой остановкой, во время которой женщины ставят на огонь котлы, благодарят старика за гостеприимство и дает ему понять, что сам-то он спешит, ему еще предстоит много проехать, и поэтому вынужден с ним расстаться и быстро ехать вперед.

Дмитрий еще немного медлит — дожидается, когда можно будет отведать предложенного ему дымящегося варева. Потом встает, приветствует всех и вскакивает на Серко, который приходит в восторг от того, что наконец сможет размять себе ноги...

Так проходит день за днем. Они все едут и едут, борясь с морозом, усталостью и голодом.

Мало-помалу пейзаж меняется. Лес становится менее густым, понемногу уступает место пустым пространствам.

Если тайга могла казаться огромной, степь кажется бесконечной. Как у моря, у нее нет других краев, кроме необозримого горизонта. Куда ни взгляни, всюду тянется заснеженный океан, там и сям вздыбленный большими волнами холмов.

Время от времени казак встречается с пастухами, но те уже не понимают по-тунгусски. Они говорят по-монгольски, а Пешков знает из него только несколько слов. Это буряты. Они выращивают яков, верблюдов (двугорбых и волосатых), но больше всего — овец и лошадей, которых они собирают в невероятно огромные отары и табуны, насчитывающие иногда многие сотни голов.

Приметив, что там, где есть овцы, встречаются и лошади, а там, где есть лошади, всегда встречаются и овцы, Пешков

однажды спросил одного пастуха, оказавшего ему гостеприимство, о причине такого соседства. На забавном русско-монгольском смешении слов оба они в конце концов поняли друг друга.

— Это просто, — объяснил ему бурят. — Когда стоят большие морозы, снег, покрывая траву, сильно обмерзает. Овцы, не имея силы разбить лед, не могут пастись. Тогда по пастбищу прогоняют лошадей: своими копытами они разрыхляют наст, и вслед за ними овцы уже могут найти, что поесть.

По дороге развлечений встречается много, но все же Пешкову и Серко продвигаться вперед и вперед становится все более трудным делом. По мере того как редеют деревья, привалы становятся менее надежными, а к дичи — труднее подобраться. В особенности труднопереносим ветер — ему более нет преграды на его пути, и он дует все с большей жестокостью. Часто его мощные порывы понижают температуру до -25 и 30° .

Однажды, и он будет вспоминать об этом всю жизнь — это было 30 ноября, — Пешкову пришлось пережить дурную, диковинную историю. Он чуть не погиб...

Ни пешком, ни верхом идти вперед становится невозможно. Ветер дует в лицо, завывая в ушах и осыпая кожу множеством жестких игл.

Заиндевели усы. Пешков напрасно старается закутаться потеплее, ничто не помогает, холод проникает во все складки одежды, пронизывает до костей. Прижав уши к голове, Серко мужественно пробивается вперед, как бы толкаясь в невидимую стену метели, и ему все-таки удается идти. На какой-то момент Дмитрию является мысль спрятаться за Серко, использовать его как ширму, чтобы хоть как-то спастись от ветра. Он берется за хвост лошади и та его тянет. Увы, и в этом ничего хорошего не оказывается, так как ветру по-прежнему ничто не препятствует, он дует прямо ему в лицо.

Единственно, что еще можно сделать, — это встать спиной к ветру и продвигаться, пятясь спиной и наклоняясь в обратную сторону. Но в таком положении много не пройдешь. А время подталкивает, ведь недалеко уже и до темноты. Потом ветер — и это самое большое несчастье — начинает приносить и снег. Если снег разойдется вовсю, метель в степи станет большой опасностью. Где тогда найти убежище в голой, как яйцо, степи?

Щуря глаза, Пешков всматривается вдаль, и вот его зоркие глаза выуживают единственное возвышение среди одинаково ровного пространства, маленькую горку на вершине отдаленного холма. Туда идти еще пять-шесть километров. Надо собрать все силы, все свое мужество и бороться с метелью.

Делать шаг, за ним — другой, еще один. И притом — все торчать столбом под разбушевавшимся небом.

Подойдя наконец к подножию пологого склона, ведущего к горке, Пешков с Серко взбираются по нему. Они выглядят совершенно белыми, на них — толстый слой льда. Снег продолжает идти и несется метелью. Сквозь косую снежную сеть казаку еле удается разглядеть свою веху. Это куча камней, а над ней торчат деревянные концы палок, к которым привязаны обрывки шерсти, ленточки ткани, и они хлопают на ветру. На самой вершине укреплен лошадиный череп, он еще виден, несмотря на то, что снег начинает заносить «обоо».

«Обоо» — это название, которое здешние люди дают своим священным кучам камней. Обычай требует, чтобы всякий путник, проходя поблизости, клал туда и свой камень. Сделай — и это принесет тебе счастье, не сделаешь — значит, навлечешь на себя беду. Все просто. Не будучи по-настоящему суворен, Пешков говорит про себя, что на сегодня с него хватит с лихвой труда и забот, чтобы еще рисковать настроить духов против себя. И подбирает камень, кладет его на «обоо». После чего, оставшись уже без всяких сил, казак валится наземь, спиной оперевшись на чудодейственную кучу булыжника, которая хоть немного, но защищает его от порывов ураганного ветра.

Но вот, отдохнувши, он встает, расседливает Серко и заставляет его лечь рядом с собой. При помощи шашки, зажатой между двумя большими камнями, и медвежьей шкуры он силится соорудить палатку и вот съеживается под ней калачиком между маленькими волосатыми ногами своей лошадки. А за это время уже совсем стемнело и снег под вой ветра продолжает заносить округу.

День встает, и оказывается, что не только снег перестал идти, но и ветер утих. В очистившемся ясном небе красивым цветом сияет солнце. День начинается хорошо. Впрочем, смотря для кого. Ибо для казака и его коня он выглядит совсем плохо.

Занесенные снегом вместе с «обоо», что теперь составляет сплошной и к тому же огромный сугроб, они оказываются под ровной и обледенелой поверхностью, искрящейся на солнце.

Но вот вдруг ледяная скорлупка трескается. Что-то движется внутри. Взметая снопы искристого снега, Серко встает на ноги.

Ослепленный, он моргает глазами, встряхивается, высвобождаясь от нагромождения снежной пыли, в которой вязнут его ноги, и вот раздается его продолжительное ржание, полное отчаяния. Рысью он обегает «обоо», всматривается в окрестности, вглядывается в даль. Потом возвращается к снежной куче, роет ее ногой, разбрасывает носом, и ему удается освободить

угол покрышки своего хозяина. Рывком зубами он стаскивает замершую медвежью шкуру, открывает лицо и грудь бедняги Дмитрия, который выглядит таким же белым, как и все, что его окружает. Серко дышит ему в лицо. Никакого движения. Жив ли он еще? В этом нет уверенности: при -30° длительная неподвижность смертельна.

Потом с внезапной поспешностью лошадь во весь опор несется по холму, будто сломя голову удирает. Она мчится по пустынной степи, по нетронутому снегу, оставляя за собою длинный след, быстрым, но размеренным галопом. В ее беге нет ничего общего с бессмысленной скачкой впавшей в панику лошади. Напротив, Серко как будто точно знает, куда стремится.

После долгого бега лошадка оказывается у окраины бурятского стойбища. Как только Серко появляется, пять злобных псов с диким лаем устремляются ему навстречу и носятся, лая, вокруг его ног. Одна из собак подскакивает слишком близко и получает удар копытом, который отправляет ее катиться кубарем как можно дальше. Ничто лучше такого удара не могло усмирить свору собак: те со стыдом разбегаются.

Встревоженные собачьим лаем жители стойбища выходят из всех семи-восьми юрт этого бурятского селения. Так как мужчины ушли заниматься своим делом, здесь — только женщины. Всех их — примерно дюжина, они разного возраста, но все одеты одинаково: широкое одеяние без пояса, надетое поверх шаровар, заправленных в сапоги. Только разнообразие цветов немного отличает друг от друга вкусы этих женщин. Они громко принимаются обсуждать странное явление.

— Чья же это лошадь? Откуда она? Нет, она не здешняя, она гораздо больше наших. Какой же она породы? Что это она так задыхается? Может, где-нибудь на ней и метка есть?

Серко стоит перед ними, не может отдохнуться, гоняя воздух, словно кузнецкий мех.

Самая резвая и красивая девушки с розовыми щеками подходит к нему. Серко отступает, по мере того как она подходит. Не желая сдаваться, девушки идет оседлать одну из монгольских лошадок, которые терпеливо стоят за юртами, привязанные к веревке, натянутой между двух кольев. Девушка прихватывает также длинный ивовый шест, на конце которого большая петля служит лассо. Она садится в маленькое деревянное раскрашенное седло, которое водружено на ее микроскопическую кобылку, и уже летит галопом, собираясь изловить Серко.

Тот, конечно, не дается. Увертывается от девушки, которая, однако, умеет проворно размахивать шестом с лассо. Серко сводит к нулю все ее уловки, увертывается от них, но не убегает. И будто ее подзывает, хочет куда-то ее утащить.

Неудачи девушки вызывают взрывы хохота, которые разражаются со стороны группки сплетниц: те насмехаются над горе-всадницей.

— Ну, Семжид! Если ты так же берешься за дело с мужчинами, век тебе в девках оставаться!

С раскрасневшимися щеками, слегка запыхавшись, красивая бурятка останавливается, перестает преследовать Серко.

— Смотрите на этого коня, — серьезным тоном говорит она. — Он чего-то хочет. Просит, чтобы ехали за ним. Да не смейтесь! Нужно поехать посмотреть. Кто со мной?

Вскоре две молодые женщины вызываются ехать и быстро бегут седлать лошадей.

Не проходит и мгновения, как уже по огромной степи мчатся что есть мочи Серко, а за ним три веселые одетые в разноцветную одежду всадницы. Доскакав до места, откуда становится видно «обоо», девушки, слегка разволнившись, останавливаются и смотрят друг на друга с недоуменным видом. Серко уже на вершине. Он яростно ржет и взбивает снег передними ногами, ходит вокруг кучи священных камней.

Три бурятки не решаются подойти. Но между борющимися в них опасением перед духами и любопытством, победителем оказывается последнее. Они трогаются дальше шагом, поднимаясь по пологому склону, ведущему к «обоо», и спрыгивают на землю.

При виде лежащего в снегу тела, они невольно в страхе отступают. Но и на этот раз любопытство оказывается сильнее страха.

— Это казак, — говорит одна. — На нем мундир.

— Мертвый? — спрашивает другая.

— Какой красивый! — замечает Семжид, на которую спутницы бросают удивленные и осуждающие взгляды. — Ойун! Дульма! — говорит она им. — Быстро езжайте за помощью. Я остаюсь здесь, буду отгонять волков и стервятников.

Обе молоденькие женщины садятся в седла и едут за подмогой.

Когда наконец придет в себя, Дмитрий приоткрывает глаза, ему кажется, что он видит перед собою, может быть, восемь, а то и двенадцать широких желтых лиц. Он опять быстро закрывает глаза. Рай (а не ад ли это?), значит, населен монголами? Он решается посмотреть еще раз. Все опять стоят рядом, так и есть, их человек десять, и они наклоняются над ним и смотрят своими узкими, совсем сощуренными глазами. Плоские лица их цвета меди, а пухлые щеки — розовые. Мужчины с непокрытой головой, у них густые и жесткие волосы. Женщины носят свою неизменную прическу. Среди них есть девушка, ее Пешков как раз только и успевает разглядеть, находит ее особенно красивой, но потом опять теряет сознание.

Семжид похлопывает по мертвенно-бледному, посиневшему на морозе лицу казака.

— Он еще не отогрелся, — говорит она, вставая, и направляется к очагу посередине юрты, чтобы подбросить в огонь сухого навоза, который, сгорая, превращается в дым.

Дмитрия положили на толстый матрац и устроили между главным очагом и алтарем Будды. Это почетное место, оно — благотворно.

Монгольская юрта четко разграничена и, может быть, еще более четко, чем тунгусская. Каждый предмет имеет в ней свое место, каждое пространство — свое назначение, у каждого ее жителя точно определены пределы его проживания в ней.

У бурятов входная дверь обязательно должна смотреть на юго-восток, а буддийский алтарь неизменно и всегда занимает место прямо против двери. Левая часть совершенно безоговорочно предназначается для всего, что является «мужским»: седло и одежда главы семьи, оружие, капканы, музыкальные инструменты, денежные сундуки... и бурдюк с кумысом. Правая часть вмещает все то, что является «женским»: седло и одежда супруги, кухонная утварь, запасы еды... и супружеская постель.

Если больного укладывают в задней части юрты, это не просто так. Это единственное место, где он может выздороветь, где у него имеется хоть какой-то шанс справиться с болезнью. Но в данный момент эта возможность кажется крайне слабой. Парень еще в очень плохом состоянии.

Между тем, в то утро ему не пришлось слишком долго ждать помощи. Ойун и Дульма все сделали быстро. Они подняли тревогу в стойбище, куда большая часть мужчин уже успела вернуться после того, как они собрали все свои стада, которые разбрелись за ночь: несколько десятков овец и лошадей, в основном кобыл, за которыми следовали и их жеребята. А еще несколько сотен огромных двугорбых верблюдов — волосатых, с приземистыми ногами.

Казака привезли в стойбище на своего рода санях, которые тащил один из вот таких mastodontov. Серко побежал за санями, но категорически отказался от того, чтобы его привязали вместе с другими лошадьми, предпочитая сохранять свободу и бездельничать среди верблюдов и овец в поисках хоть какой-нибудь травинки... Собаки проявили уважение и оставили его в покое.

В юрте продолжает царить беспокойство. Пришелец того гляди помрет. Нужно посовещаться. Мужчины садятся полу-кругом, подложив под себя правую ногу. Вынимают табакерки. Одни нюхают табачный порошок, другие набивают трубы красным табаком. Дело серьезное. Какой же голодный дух никак не отстанет и грызет этого неосторожного казака? Если духу удастся изгнать из казака душу, не повадится ли она потом в их стойбище, не станет ли преследовать здешних жителей, беспокоить стада? Такое уже видали! Один из стариков

даже помнит историю, как в одной семье вдруг у всех верблюдиц делались выкидыши...

За озабоченными мужчинами женщины на своей половине в получьем активно занимаются приготовлением мясного супа. Они болтают и сплетничают шепотом, чтобы не помешать важному совещанию мужчин.

С решительным видом Семжид что-то шепчет своей матери — еще очень красивой женщине, — та осторожно кивает в знак согласия и идет подавать мужчинам миски, над которыми клубится пар. Поднося суп своему мужу, она наклоняется к нему и успевает шепнуть ему на ухо несколько слов. Глава здешних мест хмурит брови, посасывает трубку и напряженно думает.

К концу трапезы он объявляет соплеменникам, что ему довелось разговаривать с духом. Дух голоден. И нужно его задобрить. Конечно, он требует подношения, талисмана, а того, что казак носит у себя на шее, недостаточно.

Мужчины встают, и среди царящей в юрте почти полной темноты начинаются приготовления к ритуальной церемонии. Отцу Семжид помогают надеть магическое облачение, широкую кожаную накидку, к которой подвешены всевозможные деревянные, металлические и меховые предметы: колокольчики, цепочки, маленькие куколки украшают платье шамана. Он надевает на голову гигантский колпак, с которого свешиваются узкие ремешки из кожи разных цветов, перья и даже раковины, прибывшие сюда с края света.

Из сундуков шаман и вождь здешнего племени вытаскивает целый ворох снаряжения: колокольчики, бубен, сосуды, в которых ему предстоит сжигать священные снадобья. Склонившись над больным, он окуривает юрту клубами дыма от сжигания лекарственной коры и благотворного корня. Трясет бубном, звенит колокольцами, глухим голосом поет молитвенные обращения к духам, призывая их.

Обитатели юрты, мужчины и женщины, все собираются вокруг больного. Лица у них строги и едва видны в слабом свете, который отбрасывает сюда огонь от очага. На смуглых обветренных лицах бурятов танцуют причудливые отсветы. Церемония продолжается, а сотник лежит без сознания, все такой же белесый, с бескровленными губами: до чего же свиреп этот голодный дух!

Вместе с магическими жестами и песнопениями шаман занят еще и тем, что готовит некий кожаный амулет, и вот уже подает знак дочери, чтобы та немного приподняла головульному и помогла бы надеть казаку на шею сделанный для него талисман. Вот тогда и происходит чудо! Дмитрий опять открывает глаза, слабо улыбается девушке, которая все еще поддерживает ему затылок. Итак, духу понравился поднесенный ему талисман. Пришелец спасен.

Обласканный прекрасной Семжид, Дмитрий сам чувствует, как полегоньку поправляется.

Буряты поселили его в юрту, где ничто и никто не может потревожить его отдыха. Каждые два часа, днем и ночью, приходит девушка и поддерживает в очаге огонь, который обволакивает юрту таинственным и нежным теплом.

Как только у Пешкова хватает на то сил, с трудом подбирая монгольские слова, которых он знает крайне мало, он спрашивает у девушки о Серко.

— С твоим конем все хорошо, пришелец, — отвечает она ему. — Это какая-то необыкновенная лошадь. Ты ей многим обязан. Ты ей обязан жизнью!

И тогда он спрашивает у нее о том, что же с ним произошло.

Молодая девушка садится около него и рассказывает со всеми подробностями, что с ним стряслось.

Дмитрий восхищен изяществом молодой бурятки, поражен ослепительной красотой ее улыбки, ее очарованием, ее мягким и одновременно решительным характером.

Когда она заканчивает свой рассказ, буквально завороженный, он продолжает безмолвно ею любоваться.

— Меня зовут Дмитрий. А тебя, как тебя зовут? — в конце концов спрашивает он.

— Меня зовут Семжид.

— Семжид, ты сказала мне, что мой конь спас мне жизнь. Так и есть, духи отвели моего коня к тебе. Но именно ты спасла мне жизнь!

Широкие скулы девушки вдруг розовеют. Чтобы не терять самообладания, для вида, она встает, протягивает выздравливающему казаку тарелку, на которой сложены кусочки верблюжьего сыра, и уходит, советуя ему отведать этого сыра.

— Он очень укрепляет, — говорит она ему перед самым выходом.

Пешков долго лежит, мечтая, все видя перед собою образ прекрасной бурятки. Машинально он берет кубик серой массы из тех, что ему посоветовала отведать девушка, и принимается его грызть.

Очень пахучий, твердый как камень, верблюжий сыр на долгое время оставляет острый привкус во рту. Очень острый, но неплохой.

Чтобы как-то скоротать время, казак обводит взглядом свое жилище. Одну за другой обнаруживает свои собственные вещи: седло, сумки, полуушубок (так, икона на месте, он целует ее), сабля, толстая медвежья шкура. Все заботливо разложено вдоль мужской стороны юрты, то есть, как войдешь, налево.

Не впервые приходится казаку находиться в монгольской юрте, но никогда ему не доводилось разглядеть, до какой же степени искусно все ее устройство.

По стенам идут деревянные ивовые решетки, они тонки и крепки. Эти решетки высотою примерно в метр 30 см легко складываются и раскладываются (а также и перевозятся), внутри юрты они образуют некий решетчатый цилиндр. Единственное отверстие — дощатая дверь той же высоты. Над этим каркасом тонкие и легкие шесты образуют коническую пологую крышу. Посередине — отверстие, которое можно открывать и закрывать, оно служит трубой. Вся эта деревянная конструкция сверху покрыта большими кусками войлока, они закреплены на веревках, как гигантская обертка. Изготовленный из овечьей или верблюжьей шерсти — сваленной, свернутой, вымоченной, потом просушенной — войлок великолепно изолирует от холода. Если в юрте становится слишком жарко, поднимают войлок с нижнего края, чтобы создать движение воздуха. Если становится слишком холодно, сверху добавляется еще один войлочный слой, а при надобности и третий, да и четвертый...

Дмитрий перестает осматривать свою юрту. Внезапно он почувствовал, что страшно устал.

Он закрывает глаза и мгновенно засыпает.

И словно он слышит очень далекий голос. Кто-то зовет: Дмитрий! Дмитрий! И настаивает: Дмитрий! Вот нежный, но и настойчивый голос приближается: Дмитрий! На этот раз он чувствует и чье-то горячее дыхание у уха и наконец просыпается.

Его пробуждение сияющей улыбкой встречает Семжид. Восхищенный ее появлением, казак приподнимается на локоть, чтобы ему удобнее было ею любоваться.

Девушка протягивает ему большую чашку кумыса. Этот напиток — простое кобылье молоко, оно чуть забродило и пениится на языке. Прохладное, приятное на вкус, оно бодрит. Пешков залпом проглатывает содержимое чашки. На усах у него остаются белые капли, он отдает пустую чашку Семжид. В момент, когда та берет у него чашку, Дмитрий захватывает протянутую руку. Красавица не сопротивляется, не старается высвободить запястье из крепкой и ласковой ладони казака. Она только улыбается ему.

Они долго смотрят друг на друга, не произнося ни слова.

Вдруг Пешков резко встает и вскрикивает:

— Семжид, мне нужно посмотреть коня! Где Серко?

— Он недалеко, — отвечает она, раскрывая дверь юрты.

Дмитрий шурит глаза, ослепленный яркой белизной дня.

Ему требуется довольно продолжительное время, чтобы привыкнуть, приноровиться к этому внезапному для его глаз сиянию.

Сначала он различает только массивные силуэты верблюдов, они десятками топчутся вокруг юрты и словно стеной встают между ним и горизонтом. Мало-помалу на фоне неба более четко вырисовываются как бы зубцы их горбов. И вот, он видит уже не десятки, а сотни этих крупных животных.

Они неподвижно встают перед ним, созерцая округу гордым взглядом своих огромных глаз. Их густая шерсть будто висит на них клоками и еще более увеличивает их и без того уже непомерно большие фигуры.

(Между этими верблюдами, называемыми бактрианами, и сахарскими «мегари» существует примерно такое же сходство, как между першеронами и ахалтекинами или между боксерами и борзыми...)

Среди лохматых гигантов Серко кажется совсем маленькой лошадкой. Даже верблюжата, эти большие волосяные комки на ходулях, больше него. Серко кажется до того смешным среди верблюдов, что, замечая это, Пешков хохочет во все горло. Серко тоже веселится, радуясь встрече с хозяином, и выражает ему это громким ржанием.

Встревоженный взрывами веселья во время этой шумной встречи, отец Семжид выходит из юрты. Видя казака, он подходит и интересуется его здоровьем.

— Спасибо, — отвечает ему Пешков. — Благодаря твоей заботе теперь я чувствую себя хорошо. И раз мой конь вроде тоже находится в полном здравии, думаю, мы сможем выехать хоть завтра утром.

При этих словах Семжид словно впадает в панику. Она отворачивается и ищет, что бы ей такое сделать для вида. И вот неуклюже хватает ведро у двери одной из юрт и большими шагами отправляется доить первую попавшуюся кобылу.

Бурятка делает вид, что ничего не случилось. Но шамана не обманешь. Он-то хорошо знает свою дочь. Чуть улыбаясь, он говорит Дмитрию:

— Ты не можешь так уехать, казак! Надо праздник устроить! Иди отдыхай, набирайся сил, заканчивай с приготовлениями к отъезду, а вечером будь моим гостем.

Затем, повернувшись к одной из юрт, из которой вьется тоненькая ниточка дыма, он зовет:

— Ойун! Дульма! Приведите барана!

Обе молодые женщины выходят из юрты, обходят ее и оказываются в расположеннем рядом маленьком загоне. Там они ловят самого тучного барана, приводят его, а отец Семжид быстро хватает его за ноги и мягко переворачивает.

Оказавшись вверх ногами, животное словно застывает в параличе — не кричит, не отбивается, не дергает ногами. Только легонько вздрагивает, когда бурят своим хорошо отточенным ножом делает ему разрез по самому нежному месту живота. В этот разрез человек просовывает руку, глубоко проникает вовнутрь и простым рывком вырывает бааранье сердце, жизнь животного тут же прекращается. Ни стона, ни движения, ни капли крови. Лучше, чем бывает у хирургов. С такой же точностью, но все же менее отвратительно!

С такой же умелой сноровкой бурят принимается затем «раздевать» животное. Он ловко водит своим скальпелем-ножом по все так же лежащему на спине барану. Начинает с ног, вдоль которых он делает длинные разрезы, отделяет кожу от мяса, и таким путем ему удается последовательно и постепенно «очистить» барана. Вот уже его шкура распахнутым плащом выставлена на солнце.

Теперь предстоит разделать тушу, а когда остается только костяк, нужно собрать кровь — это делается половником, так как вся кровь сбегает в глубину грудной клетки. Ее переливают в миску, а там женщины немедленно превращают ее во вкуснейшую кровяную колбасу. А самые благородные части — окорока, голову, курдюк (особенно курдюк) — кладут вариться.

Все дело не заняло и пяти минут. Сделано чисто, без болезненно, быстро и рачительно. Безукоризненно!

У себя в юрте Пешков складывает вещи, промазывает кожу, чистит револьвер. Пока у него есть на то время, он даже начищает до блеска пуговицы на своем мундире. На прощальный вечер, куда его пригласили, он решил разодеться в пух и прах.

Так и есть, он красив, как новенькая монета, когда после наступления темноты входит в юрту своего благодетеля. Там воздух слегка пропитан дымом, потому что в очаге горит сухой навоз, и слегка влажен от пара, клубящегося над котлом. Не совсем ясно можно разглядеть, что там делается, но чувствуется чертовски вкусный запах. А Дмитрий помирает с голоду!

Хозяин дома приглашает его сесть рядом с собой, у ламаистского алтаря. Таким образом, Пешкову оказывают большое уважение, но сам он не в силах сдержать улыбку при мысли о том, что с Буддой за спиной, с образом Богоматери в кармане и двумя шаманскими амулетами на шее он теперь защищен — лучше не придумаешь! Остальные гости — по сути дела, все здешнее племя! — в свою очередь, рассаживаются, следуя установленному порядку старшинства. На всех — праздничные одежды, женщины даже вытащили свои драгоценности.

Когда из полутьмы юрты появляется Семжид, Дмитрий, растерявшись, немеет. Девушка выглядит красивее, чем когда-либо. На голове у нее красуется тонкой работы диадема, от которой, доходя до плеч, спускаются длинные подвески. Всю грудь покрывает украшение из нескольких серебряных пластин — и это еще только мелочь. Длинные серьги, много рядов бус и броши дополняют ее богатое, но при этом вполне строгое убранство искусной ювелирной работы, которое превращает недавнюю отважную пастушку в изящную принцессу, чья ослепительная красота поражает казака так же, как и ее природное величие.

Хозяину дома приходится угостить казака хорошим толчком локтем под ребра, чтобы тот пришел в себя и чтобы можно

было начать трапезу. Повторяя за отцом Семжид его жесты, Дмитрий смачивает пальцы, словно в кропильнице, в чаше с чем-то молочным. Потом щелчком пальцев окропляет Будду и другим щелчком посыпает несколько капель в очаг. Таким образом, воздав должное богам и прежде всего поднеся им пищу, люди могут наконец приняться за еду.

Хозяин дома погружает нож в большое дымящееся блюдо, вытаскивает из него огромный рыхлый кусок мяса и протягивает его гостю. Пешков знает обычай. Ему оказывается часть лучшего куска: это часть бараньего хвоста, он разварен, но еще вполне жирный. Не колеблясь, казак откусывает. Пальцы у него в жиру, усы лоснятся жиром, а сам он расплывается в улыбке. От удовольствия или из вежливости? Трудно сказать.

Хозяин дома удовлетворен и сам тоже принимается за еду, а за ним и каждый из гостей делает то же самое, опять четко соблюдая иерархию.

Трапеза проходит весело. Идут оживленные разговоры, обстановка создается без напряжения.

У казака спрашивают о причине его путешествия. Его внимательно выслушивают. Когда он заканчивает свой рассказ, один из старых бурятов говорит ему:

— Пришелец! Я спою песню, чтобы подбодрить твою лошадь.

И делает знак, чтобы ему передали старинный струнный инструмент, висящий на решетке юрты. Из двух струн инструмента старику удается извлечь чрезвычайно разнообразные звуки, которыми он сопровождает мельчайшие модуляции своего глухо звучащего голоса — так он воспевает тысячу и одно доброе качество Серко, быстроту его ног, красоту его ушей, твердость его копыт, ширину его шага, пышность гривы...

Длинная песнь бурята так захватывает душу, что в какой-то момент Дмитрий даже отводит глаза от Семжид.

А девушка пользуется этим и исчезает...

Когда песнопение кончается, казак благодарит барда. Заинтересованный странной формой инструмента, он просит посмотреть его поближе: гриф сверху завершается резной лошадиной головкой. Пешкову любопытно узнать, что это означает. Ему объясняют:

— Это делается в память об одной очень древней и очень печальной истории, пришелец! Жил когда-то на свете прекрасный юноша, у него был великолепный конь. Часто они с ним отправлялись в долгие, бесконечные прогулки. Да так часто, что невестой юноши мало-помалу овладело чувство ревности. И вот однажды, желая отомстить ему за долгие отлучки, она убила его коня. Хозяин всю ночь провел в слезах, гладя шею коня, пальцами расчесывая гриву. Юноша все ласкал и ласкал коня, да так, что конский волос вдруг начал издавать мелодию! Вот так, пришелец, родился этот

инструмент, морэн-кур, инструмент-лошадь, а обе его струны делаются из конского волоса.

— Прекрасная история, — соглашается Пешков.

Потом замечает, что становится поздно, и, досадуя на исчезновение Семжид, он решает рас прощаться.

— Друзья мои! — заявляет он. — Благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Вы вернули меня к жизни, возвратили мне силы и придали мужества. Завтра я опять двинусь в дорогу. И теперь мне нужно бы немного соснуть. Доброй ночи, друзья мои!

Вокруг — черная темень. Дмитрий наугад пробирается между темными массами юрт. Вдруг он наталкивается на нечто едва приметно серое в темноте, и ему отвечает невнятное бормотание.

— Извини, Серко, — говорит Пешков, с трудом узнавая свою лошадь. — Отдыхай получше, завтра утром мы уезжаем, и тебе пригодятся все твои силы. Спи спокойно! — прибавляет он, потрепав его по шее.

Войдя в слабо освещенную свечой юрту, сотник испытывает странное чувство. Его инстинкт подсказывает ему, что здесь что-то изменилось, что сюда кто-то приходил в его отсутствие. Что, добрались до его вещей, все перерыли? Нет, все на своем месте, вещи лежат там, где он их совсем недавно оставил.

— Странно, — говорит он сам себе, всматриваясь в полу тьму. Я бы поклялся, что...

Да! Понял. Кровать переставлена. Теперь она стоит не вдоль стенки, а перпендикулярно ей! Дмитрий улыбается. Он знает, что обычно сибирские народы предпочитают выражать свои мысли и желания знаками, символами. Он слышал и об этой очаровательной привычке бурятских женщин показывать свою готовность вступить в любовную связь. Поставить ложе гостя поперек юрты — это тайное приглашение, робкий знак, изящное любовное предложение¹.

Из самой затемненной части юрты слышится легкий шум, просто шуршание ткани, и оно заставляет молодого человека вздрогнуть.

— Не бойся, Дмитрий, — произносит нежный голос. — Не нужно ли тебе чего-нибудь перед сном? Я пришла для того, чтобы тебе услужить.

Схватив свечу, Дмитрий освещает место, откуда слышится голос. Там стоит улыбающаяся и сияющая Семжид. Однако

¹ Известная специалистка по цивилизации бурятов Роберта Амайон согласилась аннотировать эту рукопись. Приношу ей благодарность за разумные замечания, к которым я отнесся с самым большим вниманием. По поводу описанного способа выражать любовное желание автор «Охоты за душами» заметила мне, что маловероятен факт, что инициатива оказалась на стороне молодой Семжид, скорее она все-таки оставалась за партнером. Я принял это к сведению.

она уже сняла драгоценности и праздничный наряд. Строго одевшись в простой «дел», платье без пояса, она заплела волосы в две большие косы до колен, добавив в них конские волосы. Ее ослепительные зубы светятся на прекрасном широком и гладком лице с выступающими медного цвета скулами и узкими прорезями блестящих глаз.

Молодой человек долго и блаженно любуется девушкой, потом ставит свечу, медленно подходит к чаровнице, берет ее руки и нежно, но твердо притягивает к себе.

Они страстно обнимаются, шатаясь, неловко пытаются освободиться от одежды, теряют равновесие и в конце концов валяются на кровать, предусмотрительно поставленную именно так с намерением расположить к любви!

Семжид явно оказывается гораздо способнее к играм так называемого «обрывания лепестков», чем Дмитрий. Молодой человек уже совсем обнажен, когда девушка все еще полуодета.

Она принуждает любовника лечь на спину и, оставаясь в шароварах и обуви, усаживается на него верхом, хохоча. Дмитрий покрывает ее ласками, притягивает к себе, хочет поцеловать, прикусить темные кончики ее маленьких грудей. Прысая от смеха, она живо отстраняется, встает, стаскивает последние одежды и возвращается к Дмитрию, принуждая его лежать в том же положении.

Она явно желает сама вести все действия!

Своим красивым носиком Семжид обнюхивает обнаженное тело Дмитрия. С необыкновенной чувственностью она как бы вдыхает своего прекрасного казака, обнюхивает его во всех его тайных местах. Это ее особый способ быть нежной, выразить свою тягу, растрявить желание.

Дело в том, что буряты не знают европейских объятий и поцелуев. Затяжные поцелуи западных любовников им неприятны. Губами они вообще не трогают своего партнера, его нюхают, проникаются его запахом, впитывают аромат его тела¹.

Но не станем более задерживаться на близости молодого казака и прекрасной бурятки. Оставим их, пусть себе предаются любовным утехам.

Благожелательные и лукавые духи продлят их до самого рассвета.

¹ Эта любовная сцена, как и обе другие «украшающие» (?) повествование, была мне, если не навязана, то, по крайней мере, настойчиво подсказана друзьями, убежденными, что как в романе, так и в фильме «нужны бабы». Только тогда они будут иметь успех. Поэтому я, забавы ради, вставил в пешковскую эпопею (а тот на самом деле, кажется, вовсе не был падок на такие дела) три любовные приключения. Эта сцена мне особенно нравится. И не потому, что, как теперь те же друзья уверяют, она явилась выплывшим наружу, уже не знаю каким там глубинным моим фантасмом (хотя...), но потому, что такая манера подхода к партнеру, стремления к близости — через обоняние, через мелкие вдыхания запаха — очень напоминает манеру лошадей знакомиться друг с другом. Вот так, у каждого — свои фантасмы!

В то утро лучам солнца не удается проникнуть сквозь туманную завесу. От этого предметы приобретают смутные очертания, а живые существа останавливаются неопределенных цветов.

У Дмитрия лицо, как небо, — белесое. Холод сильный, но и его не достает, чтобы до конца разбудить казака. Тот зевает во все горло и расслаблено обтирает бедного Серко, вся шкура которого в тонкой ледяной корочке инея.

Привязанная у юрты хозяина лошадь опустила нос в кор�ушку с овсом.

Внезапно она разгибает шею, навостряет уши. Слышатся веселые голоса, приглушенные будто ватной густотой туманного воздуха. И вот, сквозь туман проступают две резво припрыгивающие фигурки, очертания которых проясняются по мере того, как они приближаются. Это Ойун и Дульма, болтая, они идут доить верблюдиц и кобыл.

Заметив Дмитрия, они обращаются к нему с игривым видом:

— Привет тебе, казак! Что это ты на улице в такой ранний час?

— Готовлюсь к отъезду, — отвечает Пешков, сдерживая зевоту.

— Но надо же, — вдруг беспокоится Дульма, разглядывая лицо казака, — мне кажется, что-то тебе не совсем хорошо! Ты не видишь, какое у тебя лицо? Ты бледный, и не стоило бы тебе уезжать таким.

— Будь рассудителен, — поддерживает ее Ойун. — Ты не совсем еще выздоровел. Отдохни еще несколько дней...

В этот момент дверь юрты приоткрывается и появляется Семжид, в руках у нее седло и сумки казака.

При виде усталого лица своей подруги обе девицы неуверенно переглядываются. Потом, поняв суть дела, разражаются громким смехом и, продолжая хохотать во все горло, убегают.

Сотник и сам от всего сердца смеется. Наконец до конца проснувшись, он освобождает свою любовницу от вещей, которыми она нагрузилась, и говорит:

— Иди, скажи отцу, что я уезжаю. Хотел бы с ним поговорить.

— Что ты хочешь ему сказать? — спрашивает видимо озабоченная молодая бурятка.

— Просто хочу его поблагодарить, спросить у него, как мне ехать, и попрощаться с ним.

Пока казак заканчивает со своими приготовлениями, к нему постепенно сходятся не только Семжид, ее отец, ее семья, а вскоре и жители со всего стойбища.

Ему дают тысячи советов, указывают самый надежный и кратчайший путь к Байкалу, а потом и к Иркутску, следующей большой вехе на его пути.

— Тебе еще 500 верст надо проехать, казак! Если хорошо пойдет, тебе потребуется не меньше двух недель. Если повезет, сможешь праздновать Новый, 1890 год в Иркутске!

Долго благодарит Пешков своих гостеприимных хозяев, затем вскакивает на Серого, который к тому времени уже начинает терять терпение.

Прекрасная Семжид подходит к ним. По щеке у нее течет слеза.

— Что это ты? — спрашивает казак, наклоняясь к ней.

Девушка пожимает плечами, грустно улыбается.

— Ничего, ничего! — отвечает она. — На вот, возьми, Дмитрий, дорогой, — прибавляет она, бросая ему в руки башлык из верблюжьей шерсти. — Все тебе потеплее будет. Береги себя! Возвращайся! Меня не забывай!

Из ее прекрасных узких глаз еще пуще текут слезы, когда жесткая рука берет ее за запястье и заставляет отойти. Отец приказывает ей отправиться горевать в их семейную юрту.

Дмитрий взволнованно пускает Серко вперед и погружается в туманную завесу, которая между тем потихоньку начинает подниматься.

Он не оборачивается. Не хочет показать, что и по его щеками тоже текут две крупные слезы.

«Тебе еще 500 верст надо проехать, казак! Если хорошо пойдет, тебе потребуется не меньше двух недель». Десять, сто, тысячу раз Дмитрий повторял эту фразу. То для того, чтобы придать себе бодрости, то, чтобы подбодрить своего спутника. «Тебе еще 500 верст надо проехать, конь! Если хорошо пойдет, тебе понадобится...»

Целых две недели! Вот именно, целых две недели прошло с тех пор, как они уехали из бурятского стойбища. Две недели он плавает по ледяному океану. Две недели испытаний, лишений, две изнурительные недели.

Впрочем, поначалу они проехали хорошо. Степь практически не ставила им препятствий, и они смогли в некоторые дни пройти огромные расстояния, порядка 60—70 верст...

А потом местность оказалась более пересеченной, лес стал гуще, продвижение вперед осложнилось.

Чем дальше они углублялись в тайгу, тем встречи становились реже. Те несколько деревенских жителей, которых им довелось встретить, сами живя в большом недостатке, обходились с ними без особой щедрости: чашка кумыса, чашка чая, ничего больше. А один особенно подозрительный охотник даже не пожелал их к себе подпустить. Он держал Пешкова под прицелом до тех самых пор, пока тот не скрылся с его глаз! Да он и прав, ведь здесь никогда толком не знаешь, с кем имеешь дело. Кажется, края эти наводнены злоумышленниками.

Вот уже несколько дней как коварно начали сказываться голод и усталость. Серко, который никогда не упускает случая погрызть коры, ухватить мха, подцепить травинку, веточку, видимо, лучше выходит из положения, чем Дмитрий, о котором того не скажешь.

Этим утром его начало трясти.

— Некороший знак! — говорит он себе. — Побыстрее бы найти чего-нибудь проглотить.

В самом деле, для людей, ослабленных недостатком пищи или сна, холод может оказаться крайне опасен, просто смертелен.

Все бывает по-другому, когда хорошо поешь, хорошо поспишь, а если еще и одет соответственно, тогда даже самые низкие температуры более или менее переносятся: достаточно иметь сухое нижнее белье и теплую одежду.

Конечно, Дмитрий так и одет. Как настоящий сибиряк, он обут в валенки, огромные войлочные сапоги, внутри которых ноги обернуты портянками и которые, пока ноги не промокнут, очень хорошо защищают от холода. На руках у него шерстяные рукавицы, покрытые оленым мехом, — лучшее спасение от мороза. На голову он надел башлык из верблюжьей шерсти, который ему соорудила Семжид. А поверх шинели у него еще надет толстый полуушубок, который ему дала Люба в день его торжественного отъезда...

Люба, Семжид! Их образы заставляют очнуться казака, который начинал было подремывать в седле.

— Надо бы встяхнуться, старина, — говорит он себе, спрыгивая на землю.

Несколько верст он трусит рысцой рядом с Серко, а у того вид совсем не так плох — он-то ведь тепло укутан в собственную толстую с серой шерстью шкуру.

Часом позже, запыхавшись и разогревшись, Дмитрий опять садится в седло. От задней луки седла он отвязывает огромную медвежью шкуру — она так и висит там свернутой — и делает себе из нее нечто вроде плаща, который в сумерках придает ему вид привидения.

Вот в таком-то, скорее пугающем, нежели располагающем виде, в час наступления темноты он въезжает в деревню, похожую на все русские деревни, — двумя рядами, друг против друга, стоят бедного вида домишкы, избы, вдоль которых проходит проселочная дорога.

Его приезд вызывает целый концерт собачьего лая. Этот гвалт тем более может напугать жителей, ведь еще минуту назад здесь царила глубокая тишина и полная неподвижность.

Хоть и не так уж еще поздно, может быть, всего восемь часов вечера, а деревня будто спит крепким сном. Нет света в окнах, ставни, если они есть, закрыты, двери крепко-накрепко

на засовах. Единственный признак жизни у этих бревенчатых лачужек — клубы дыма, что вьются из труб.

В дворике одной из изб заливается лаем огромный кобель, передними лапами опираясь на забор, который только и отделяет его от всадника. Кобель не успокаивается и не умолкает до тех пор, пока наконец дверь дома не распахивается и в ней не появляется его хозяйка, бабища с красным и щекастым лицом и в затянутом на голове цветастом платке.

— Что такое? — бросает она спесивым тоном, отчего над необъятным пузом прыгает ее гигантская грудь.

— Я сотник Пешков из казачьего благовещенского полка. Еду в Иркутск. И я голоден.

— Входи! — слышит он лай и не может определить, исходит ли этот окрик от самой бабы или от ее большой сторожевой собаки.

Дмитрий сходит с лошади, осторожно открывает деревянную калитку, на миг задумывается, потом в конце концов входит во двор. Собака, не соблюдая никаких приличий, с громким сопением обнюхивает прибывших. Слегка обеспокоенный Серко проявляет свое волнение, поднимая хвост и теряя несколько круглых и горячих комков навоза, на которые тотчас кидается собака и жадно их пожирает.

Пользуясь этот передышкой, казак привязывает коня под навес, расседливает его и с силой растирает ему спину, а потом кладет на нее шерстяную попону, которая обычно лежит у него под седлом.

— Так тебе потеплее будет, браток. Попробую найти тебе чего-нибудь поесть.

Перед тем как войти в лачугу, Пешков обивает ноги по двум-трем ступенькам, ведущим к двери. Стряхивает свою медвежью шкуру, сбрасывает с нее остатки снега, устремляется внутрь, быстро прикрывает за собою дверь, оборачивается и останавливается как вкопанный.

Зрелище перед ним предстает на самом деле неожиданное, и это самое малое, что можно было бы об этом сказать. В избе вокруг большого стола, занимающего почти всю комнату, сидят женщины, их около дюжины. Русские, во всяком случае не азиатки, всех возрастов, всех сложений, но как одна одеты в широкие цветастые сарафаны.

Обернувшись к вошедшему, они молча смотрят на него. А он, казак, оцепенело и ошеломленно так и стоит с открытым ртом. Его удивление, должно быть, выглядит комично, ибо вскоре весь стол начинает без удержу смеяться.

— Приди в себя, казак! — говорит ему дородная хозяйка дома, хлопая его по спине. — У меня там осталось супу-то горячего. Садись, ешь.

Добрые женщины теснятся, дают место молодому человеку, который среди этих пышноцветных созданий кажется сущим мальком.

Перед ним ставят тарелку борща — с пылу, с жару. А он тут же и принимается за него, обжигая себе рот.

— Хочешь, подолью, малый? — спрашивает толстуха, которая при своем внешне мало приятном виде оказывается очень неплохой женщиной. — Я — Марья. Муж мой помер десять лет назад. Вишь, это мне не мешает веселиться с соседками. Она вот — Катя. Она — Дуняша. Маленькая вон там — Наташа. А та старуха в углу — Прасковья, — она уже семь раз бабушка. А ты, кстати, тебя-то как зовут?

— Дмитрий Николаевич, — удается ему произнести между двумя ложками.

— Мы с подружками часто вот так собираемся время провести. И чтобы попеть. Так наши матери, бабки, прабабки до нас тоже собирались. Наши сюда приехали лет 200 назад, их сюда прогнала царская полиция. Крестьяне. Восстали, их и сослали в Сибирь. Они построили эту деревню, Большой Кунал. Меж товарок мы небольшой хорок семейский завели. Чтобы обычай не терялся...

Наконец наевшись и блаженно улыбаясь, сотник слушает ее объяснения. Он рассматривает, одну за другой, пестро одетых женщин. А оглядывая комнату, замечает, что одна ее стена почти полностью завешана иконами, крестами с распятиями, образами.

Вдова замечает его взгляд.

— Память от моего милого, — говорит она ему. — Отец Сергий не только мне мужем был, он был и деревенский священник. Ох! Святой был человек! Когда не пил. А когда напивался, все старался меня пристукнуть. А тумаков-то все больше я ему надавать умела, — рассказывает Марья, развеселившись. — А ты, малый, что к нам-то заявился?

— Я вам сказал: еду в Иркутск.

— Ты уже недалече оттуда, казак. От нашей деревни верст с тридцать до Байкала. Но смотри внимательно, не пойди по озеру со своей лошадью. Только еще конец декабря. Лед не крепкий, под клячей-то твоей не выдержит. Тебе по берегу нужно обходить, а через четыре-пять дней, если Богу угодно будет, ты и придешь куда надо.

— Спасибо, Марья. А если уж дело коснулось до моей лошади, у тебя нет ли чего-нибудь ей дать? Две-три краюхи хлеба, пригоршню соли, может, и овса...

— А еще чего? — спрашивает она опять спесивым тоном. Что вовсе ей не мешает тут же пойти и приготовить в полумраке, в углу, где у нее кухня, добрую меру корма, которую Дмитрий спешит отнести Серому, а тот, опустив шею и держа уши горизонтально, stoически ждет, чтобы ему принесли поесть.

Когда сотник возвращается в единственную комнату в избе, соседки, как девчонки, заливаются смехом.

— Чтой-то вы так со смеху помираете? — спрашивает он и не получает другого ответа, кроме их кудахтанья. Тогда он настаивает: — Марья, чего вы смеетесь?

— Да вот Наташа говорит, что у тебя красивые карие глаза. А у нас как раз есть старинная хорошая песня, она и называется: «Меня погубили красивые карие глаза». Песня про любовь!

— Так спойте мне, спойте ее, — упрашивает Дмитрий, хлопая длинными черными ресницами.

...Так вечер тянется допоздна. И так они засиживаются, что мужья начинают, один за другим, заглядывать, смотрят, что происходит, завязывают разговор, идут за выпивкой.

Пока, в конец лишившись всяких сил, молодой казак не засыпает прямо за столом, положив голову на руку...

Если с утра погода кажется ему помягче, это не только потому, что казак чувствует себя обновленным. Дмитрий прекрасно знает: это из-за Байкала. Летом этот обширный резервуар воды набирается сильным солнечным жаром, а зимой возвращает его, создавая в округе свой микроклимат. Поэтому местная погода мягче, умеренее, чем во всей остальной Сибири.

В тридцати верстах от озера уже чувствуется его влияние: термометр не опускается ниже пятнадцати. В сравнении с тем, что ему пришлось пережить в последние дни, Пешков находит, что стало чуть ли не жарко. Это улучшает его настроение. Он весело, во всяком случае в значительно лучшем состоянии духа, любуется зреющим байкальской тайги.

Даже зимой этот гигантский лес переливается разноцветными красками и в нем кипит жизнь. Поросящий самыми разнообразными деревьями, среди которых преобладают вечнозеленые хвойные, он населен тысячью видов пернатых и четвероногих. Гористый рельеф еще больше разнообразит байкальские пейзажи.

Среди здешней могучей природы молодой человек — в своей стихии. Он счастлив.

Дыша полной грудью, он чувствует себя в отличной форме. И очень кстати! Ему и в самом деле лучше быть поживее, ведь предстоит выдержать подъем. Чертова тропка идет все вверх да вверх.

Подъем крутой. А хуже всего то, что он загроможден большими камнями и скалами, которые приходится преодолевать иногда акробатическим способом. Здесь и поваленные древесные стволы лежат так, что их не перейдешь, но перейти все-таки нужно. Встречаются заметные и незаметные западни, в которые хорошо бы не попасть, ловушки, которые приходится заранее угадывать. Нужно беречься трещин: снег прячет все дыры. Беречься скользких мест на льду застывших ручьев. Беречься обвалов, беречься куч валежника...

Вот уже более часа казак взбирается, цепляется, хватается. Он весь в снегу, часто останавливается, чтобы отдохнуть и посмотреть, идет ли за ним лошадь. С этой стороны — полный порядок: она прекрасно выходит из положения. В общем, ока-

завшись перед преградой, она ждет и смотрит, как за это возводится хозяин. В большинстве случаев четвероногое преспокойно проходит там, где на его глазах пробралось двуногое, и ставит копыта в следы его сапог. Но когда Серко дает волю собственной фантазии, скашивает себе путь, перескакивая с камня на камень вроде каменного барана, из-под его копыт сыпятся искры. А Дмитрий, так тот принимается креститься.

— В своем ли ты уме, старина! Шею себе сломаешь! Не дури. Если сломаешь ногу, все пропало. Давай, потерпи чуть-чуть, мы почти дошли.

До вершины им и в самом деле остается всего несколько десятков метров. Вот последнее усилие. Уфф! Вот они и пришли.

Не успев хорошенько порадоваться этому, они, словно громом пораженные, останавливаются, охваченные еще более сильным впечатлением. То, что они видят с огромной высоты, — нельзя себе представить. Панорама поражает красотой, потрясает величием. Под горой, на которую они только что поднялись, торжественно и величаво ширится, уходя в необозримые дали, самое удивительное и прекрасное чудо природы: Его Величество озеро Байкал!¹

Байкал!

Говоря о нем, нет никакой возможности избежать превосходных степеней. Это изумительное место, одно из самых прекрасных в мире, и оно буквально склоняет к выспренности слова².

Пусть Дмитрий во время своего учения в Иркутске и видел его уже сто раз, теперь он опять от этого зрелища застыл в восторге.

Даже Серый, словно тоже почувствовав все благородство здешних мест, неподвижно стоял у края пропасти, погрузив свой взгляд в дальние дали и до предела раздувая ноздри, чтобы побольше вдохнуть в них живительного воздуха рядом с самым чистым на земле озером.

Но недолго длится это возвышенное состояние духа. Скоро в поэте проглядывает казак.

¹ Озеро Байкал занимает площадь, превышающую территорию Бельгии, и содержит пятую часть запасов пресной воды всей планеты! Более трехсот водных потоков впадает в него, но только одна-единственная река — Ангара — из него вытекает, а тем рекам, что впадают в него, понадобилось бы более четырех веков, чтобы наполнить озеро, если бы, предположим, оно оказалось пустым!

² Известный советский писатель, уроженец Иркутска, Валентин Распутин вполне справедливо говорит, что «на берегу Байкала испытываешь чувство редкой возвышенности и благородства души, словно бы тебя отметили таинственной печатью вечности и совершенства, словно бы ты почувствовал дыхание некоего всемогущего присутствия. Кажется, что ты отмечен особо, ты — избранник, только потому, что находишься на этом берегу, что дышишь здешним воздухом, пьешь здешнюю воду» (См. «Иркутск—Байкал», Москва, Планета, с. 58—69).

— Есть хочется! — вдруг восклицает Дмитрий. Потом, обращаясь к лошади, говорит: — Знаешь, Серко, старина? Пойду-ка половлю рыбки! В озере ее видимо-невидимо. Только и сделать, что сходить за ней!

Спуск к Байкалу менее головокружителен, чем подъем с другого склона. Отпустив подлиннее поводья, Дмитрий дает своей лошади возможность выбирать самому себе дорогу полу-чше, более пологий склон, менее скользкую тропу. Дойдя до берега озера, воды которого сквачены морозом, Пешков вспоминает совет женщин из Большого Кунала: в это время слой льда еще недостаточно толст. Недостаточно, во всяком случае, для того, чтобы выдержать тяжесть лошади.

— Жди меня здесь, братец мой. Думаю, клюнет, не век же там сидеть, — говорит он, привязывая Серко к низкой ветке, так, чтобы таежная чаша хорошо защищала его от ветра, в двух десятках метров от берега.

Казак роется в своих сумках, вытаскивает небольшие предметы — веревочку, булавку, — вот они-то ему и помогут наловить рыбки, и кладет их в карман.

Берет шашку, чуть колеблется, но решает захватить также револьвер и патроны. Осторожность не помешает.

Чтобы подойти к самому озеру, он садится и скользит на ягодицах до маленького бережка из гальки, к самому озерному льду.

Прежде чем устремиться на лед и вступить на озеро, он предусмотрительно пробует его ногой на прочность. Лед скрипит под сапогом, но держит. Казак делает первый шаг. Второй. Хорошо. Можно идти.

В ста метрах от берега он вынимает из ножен шашку и дырявит ею лед, ему удается сделать отверстие, в которое он забрасывает свою самодельную удочку. Сидя на корточках, ждет — ничего. Встает на колени, наклоняется, проверяет, не видно ли рыб в воде. А их нет как нет.

Хорошо, нужно перейти на другое место. Он идет еще на сто метров дальше, делает другую лунку. И здесь клюет не лучше. Он начинает нервничать. Что за мысль к нему привязалась удить рыбу? Он прекрасно знает, не из того он теста, у него же терпения не хватает.

Но раз уж он здесь... Попробуем еще разок. Третья лунка. Четвертая. А! Вот здесь, и место. Да, клюет, клюет. Он дергает резким рывком. Хорошо: на конце веревки — рыба.

Небольшая рыбка, но все-таки рыба! Гордый как Артабан, он выпрямляется и хочет показать свою рыбу Серко. Ищет его глазами. Но день клонится к вечеру, и уже плохо видно. Так ему и не удается отыскать глазами коня. Он даже не слишком уверен, в каком месте он его оставил.

Черт возьми, придется возвращаться!

Заспешив, он идет к берегу, держа рыболовные принадлежности в одной руке, рыбу — в другой. Слишком озабоченный

тем, чтобы поскорее высмотреть наконец свою лошадь в гуще тайги, он не замечает, что лед перед ним выглядит белее, что он не гладкий, а весь в кристалликах. Когда, не глядя, он ставит туда ногу, лед под ним проваливается. Он теряет равновесие, падает, чувствует, как уходит под воду. Так! Он в воде!

Благодарение небу, берег в двух взмахах рук. Ему удается выйти из ледяного месива, но он насквозь промок!

Нужно быстро найти Серко, разжечь огонь, обсушиться.

Но вот Серко именно нигде и не видно. Дмитрий бегает от заросли к заросли, зовет коня и уже впадает в полное отчаяние.

Наступает темнота, когда он решает смириться с очевидностью: у него украли лошадь!

Высыпав порох из патрона и несколько раз пощелкав кремнем, он сможет высечь искры — ими можно разжечь огонь. Дмитрий научился этому в военном училище. Но трудность заключалась в том, что он совсем не был способен что-то сделать точным движением. Пальцы у него онемели, руки дрожат. Сам он дрожит от холода, уже перепортил три патрона и просыпал порох.

Потом он опять принимается искать и в конце концов находит на берегу озера брошенную хижину. Видимо, это — пристанище рыбака. Хижина немного обветшала, но ею можно воспользоваться: крыша не пропускает воды, там даже есть какой-то очаг, а в нем — два старых обгорелых полена и рядом небольшой запас сухих веток.

Бедняга долго силится зажечь этот хворост... без спичек.

С четвертого патрона — вышло. Треск искр, густой дым, желтеют и краснеют несколько голубых языков пламени: огонь занялся!

Пешков дрожит всем телом, стучит зубами, его насквозь пробирает холод, но он начинает раздеваться. Он с трудом стягивает с себя одежду и развешивает ее перед огнем, а сам остается совершенно нагой. Его колотит.

Но самое тревожное — это то, что он начинает кашлять.

Два амулета, которые он все так же носит на шее, сегодня не принесли ему удачи.

По мере того как высыхает его одежда, он одевается, постепенно согревается, подбрасывает в огонь большие охапки хвороста, которые ему приходится собирать снаружи, в лесу, потом сворачивается у огня и засыпает.

Несколько раз его будит страшный кашель. Он заодно подбрасывает хвороста в догорающий огонь. Изнуренный, он сразу же опять засыпает.

На дворе уже светло, когда ото сна на сей раз его будит не кашель, а шорох, легкий шум хрустящих под ногами веток. Дмитрий прислушивается. Кто-то ходит поблизости. Слышно, как скрипит снег под его ногами. Бродяга? Грабитель?

Казак бесшумно берет револьвер, осторожно встает, подходит к двери. Быстро открывает.

Никого!

Никого направо, никого налево. Пешков на цыпочках выходит, идет вдоль хижины, огибает ее. Все так же — никого. Странно...

Только он собирается продолжить свою разведку с револьвером в руке, как из горла у него вырывается неудержимый кашель. Согнувшись в три погибели, кашляя так, что живот ему выворачивает наизнанку, казак будто вот-вот выкашляет себе легкие.

Кашель успокаивается. Мало-помалу Дмитрий восстанавливает дыхание. Когда он выпрямляется, то оказывается носом к носу с... Серко!

Как только проходит его изумление, он кидается на шею своей лошади.

— Ты, разбойник, меня напугал! Где же тебя носило? — спрашивал он свою лошадку, лаская ему загривок, шею, голову.

К его недоузду привязана еще веревка. На конце ее — вырванное, как из стены конюшни, кольцо.

— Это еще что же такое? — спрашивает казак у Серко, находя при этом огромный прикрепленный к седлу узел.

Крепко-накрепко увязанный толстой веревкой груз обернут в большую медвежью шкуру, которую казак тот час же признает — она его собственная!

С помощью кинжала казак срезает узлы. Груз соскальзывает с седла на землю, и становится видно его содержимое. Настоящий клад! Десятки меховых шкурок! Собольи, лисьи, горностаевые, беличьи, куницы.

— Да их тут на целое состояние, Серко. Где же ты все это добыл?

Но тут вспомнив, что Серый вовсе не был вором, а скорее это как раз его уворовали, Дмитрий опять принимается осматривать лошадь. Все здесь. Седло, сумки не тронуты. Даже талисман, который старый Изингту прицепил в его густую гризу, на своем месте.

Дмитрий наконец понимает:

— Подлецы, которые тебя у вели, пока я удил рыбу, захотели использовать тебя как выручное животное. Они всучили тебе свои браконьерские меха, привязали их тебе на спину, но ты, браток, смешал им все карты!

И тут уж не удержаться. Он громко смеется. А смех быстро оборачивается сильнейшим приступом кашля.

Такие приступы все учащаются во время длинных переходов и коротких ночей, режиму которых отныне, несмотря на лихорадку и усталость, он себе вменил в обязанность следовать.

Идя вдоль берега озера и стараясь удвоить бдительность, сотник Дмитрий Николаевич Пешков верхом на лошади, нагруженной невольно добытой поживой, в самых первых днях января 1890 года прибыл в пригороды Иркутска.

Предельно усталый, больной, подавленный.

Но в этом большом городе он, человек из далекой провинции, вовсе не чувствовал себя не в своей тарелке. Дмитрий хорошо знает Иркутск. Он здесь когда-то жил и ему здесь нравилось.

Иркутск — очень красивый город. Между тем, не так давно, это было в июне 1879 года, он был полностью уничтожен гигантским пожаром.

А вот десять лет спустя жизнь в нем уже вновь обрела прежний размах. Одновременно административный и торговый центр, Иркутск — настоящая современная, кишащая жизнью, полная контрастов метрополия, столица.

Его население, порядка от 30 до 35 тысяч жителей, постоянно увеличивается. Город не только привлекает массы переселенцев, но также центральные власти продолжают время от времени ссылать сюда людей целыми семьями.

Неиссякаемый поток торговли оживляет его жизнь в любое время года. Русские, буряты, тунгусы вершат здесь свои крупные и мелкие дела. В Иркутске можно увидеть и китайских купцов, и персидских торговцев, и английских скупщиков пушнины, и даже немецких оружейников.

В Иркутске можно увидеть все. Церкви и дома терпимости, музеи и торговые лавки, школы и мастерские ремесленников, театры и бойни, места высокого назначения и самое низкое людское дно.

Одна путешественница, симпатичная, но слегка безумная особа¹, которая за тридцать лет до этого проезжала в здешних

¹ Речь идет, конечно, о Катрин Фанни Мак Лид, супруге господина Бурбулона. Родившись в Шотландии, в возрасте пяти лет она была увезена матерью в Соединенные Штаты, затем в тринадцать лет она попала вместе с теткой в Мексику, потом встретила молодого французского дипломата, который женился на ней и увез ее... в Китай. Супруги прожили там в течение десяти лет. Когда пришлось думать об отъезде, прекрасная мадам Бурбулон, вместо того, чтобы сесть на первый подходящий пароход, отправлявшийся в Европу, предложила мужу очаровательную прогулку: вернуться во Францию по суше, через Монголию, Сибирь, Россию. Всего-навсего двенадцать тысяч километров! Безумная амазонка, увы, умерла (в 1865 году) немногим позже своего невероятного путешествия. Ей было 38 лет. Ее ценнейшие и увлекательные путевые заметки, к счастью, были изданы (в 1866 году) с предисловием Ахилла Пуселья. Десять лет спустя, работая над романом «Михаил Строгов», Жюль Верн широко воспользовался — и это очень мягко сказано! — этими самыми заметками. На многих страницах сходство текстов настолько поразительно, что почти можно было бы говорить о пLAGiate, если забыть об уважении, которое мы испытываем к великому Жюлю!

краях, рассказывала: «Вдоль большой улицы тянется множество превосходных лавок, — некоторые из них красуются стеклянными витринами, имеют вывески на русском и даже на французском языках, — я обнаружила там парижскую модистку, мадам Мейер, и та продала мне красивые ленты для украшения платья, которое я должна была надеть на большой званный обед, устроенный в нашу честь от имени города Иркутска купеческим старостой».

Но в тот момент Пешков отнюдь не искал модистку, а добирался до постоянного двора. Он знал одного содержателя такого заведения, Степана Иванова. Его постоянный двор не слишком роскошен, но в комнатах хорошо топят и конюшни у него — отличные. Дмитрий знал, что уж там-то прилично обойдутся с его лошадью.

При виде входящего Дмитрия Степану трудно было его узнать. Глаза у казака глубоко запали, а на исхудалом лице висели ужасные длинные усы.

— Ну, приятель, что это с тобой? Тебе некорошо? Иди быстро ляг. Держи, вот ключ. Оставляй свои вещи. Я займусь. Присмотрю и за лошадью. Все сделаю, не бери в голову. Позову и врача.

Врач не заставил себя ждать. Диагноз — «инфлюэнца»¹.

— Вам нужен отдых, молодой человек. Полный отдых! — Потом, обернувшись к Степанову: — Вы умеете ставить горчици и банки? Очень хорошо. Ставьте ему их каждый день в течение двух недель.

А казака все трясет под одеялом, в полном изнеможении он даже не отвечает.

Только и хватает сил, что к вечеру поесть супа, который подготовил ему Степан. И так ему больно подниматься, сидеть, спиной поддерживаясь о две большие подушки.

В роли санитара Степан регулярно приходит и накладывает ему эти ужасные горчици, которые жгут грудь и спину. Во время бесконечных лечебных процедур, этих пыток, они болтают между собой, вспоминают добрые старые времена.

Познакомились они еще в бытность Дмитрия учеником в офицерском училище. Степанова гостиница, расположенная около их военного училища, была вроде офицерского клуба при их офицерской столовой. Не имея семей в Иркутске, отпускники приходили сюда провести время.

Вот и Пешков тоже сюда наладился, ведь до его родной станицы Албацинской отсюда примерно две тысячи верст! Его отец, простой казак, настоял на том, чтобы Дмитрий поехал

¹ Иначе говоря — хороший грипп.

учиться в самое лучшее сибирское военное училище. И немало гордился, когда его отпрыск вышел оттуда в чине хорунжего.

Немногим позже Дмитрия произвели в сотники. И тогда ему доверили команду сотней в Благовещенском округе, недалеко от Албацинской. Дитя этого края, он превосходно знал район места службы и его жителей — русских, тунгусов, маньчжиров.

Все это было еще совсем недавно. Он кончил училище едва только полтора года тому назад, а назначение свое получил еще на три месяца позже: точнее говоря, 20 октября 1888 года.

Как же забыть такую дату? Через неделю после того как он получил назначение, он знал, что в тот же день, но за тысячи верст от него, умер, как говорили, от тифа один из людей, которых Дмитрий почитал более всего: генерал Николай Михайлович Пржевальский¹. Колossal! Телом — росту в нем было около двух метров и весил он более ста килограмм, а больше всего духом. Одновременно географ, ботаник, зоолог, этот исследователь с энциклопедическими знаниями и сильный как Циклоп, провел жизнь в поездках по Уссурийскому краю, Монголии, Джунгарии, Алтаю, Китаю, Тибету, собирая ценнейшие коллекции камней, растений, птиц. Он даже открыл доселе неизвестные виды животных, как та знаменитая дикая лошадь, которой, впрочем, сразу же и дали его имя и которая оказалась последней живой представительницей доисторических лошадей.

¹ Пржевальский умер на самом деле 20 октября 1888 года — ему было 49 лет — в киргизской деревне Караколь (Черный Рукав). Расположенный на берегу озера Иссык-Куль (Горячее Озеро), этот населенный пункт по царскому повелению был переименован в Пржевальск в память исследователя, пожелавшего быть там похороненным. Императорский указ не был отменен большевиками. Советская власть поддержала почетную память о Пржевальском, и в 1957 году во славу ему был воздвигнут и учрежден прекрасный музей рядом с могилой и памятником, которые там уже находились. Нужно было дождаться 1991 года и объявления о независимости Республики Киргизстан, чтобы царский декрет был отменен. Сегодня Пржевальск стал Караколем.

С другой стороны, я не стал бы давать голову на отсечение, утверждая, что Пешков получил свое назначение именно в момент смерти Пржевальского. Ибо источники, которыми я пользовался, увы, противоречат друг другу! Статья в новобранском номере советского журнала «Коневодство и конный спорт» утверждает, что Дмитрий Николаевич, «окончив свою учебу в Иркутском военном училище в 1888 году, был направлен в Кавалерийский казачий полк на Амур». Но сотрудники издательства «Прогресс», подключенные к работе моим другом Александром Авеличевым, сказали мне, что в Представлении, сделанном военным министром императору 24 мая 1890 года на предмет награждения нашего героя, сказано, что он действительно окончил военное училище в Иркутске с получением звания офицера (без указания даты), был «зачислен на службу 1 января 1877 года», получил «офицерский чин 3 декабря 1882 года», а «настоящее звание» (сотника) — 3 декабря 1886-го... Как же здесь разобраться?

Кроме того, в том же Представлении имеется интересное сведение о деятельности Пешкова в Первом полку Казачьего войска на реке Амур: «выполнял обязанности казачея полка, ответственного за вооружение, и временно интенданта». Там же утверждается еще, что Дмитрий был действительно холост — уф!

Дмитрий прочитал все его книги, выходившие в 1870, 1875, 1878 годах, короче, написанные Пржевальским по возвращении из каждой его экспедиции. Они выходили в Санкт-Петербурге, но их легко можно было найти в иркутских библиотеках, и молодой юнкер немало увлекался ими, мечтал стать похожим на их автора. Не физически — Пешков никак не выглядел великаником, но интеллектуально, а еще больше нравственно.

Предпринимая свое путешествие, молодой офицер не то, что старался подражать великому Пржевальскому, но пример жизни этого человека придал ему решимости. Среди трудностей, что встречались на его пути до сих пор, часто Пешкову достаточно было подумать о своем кумире, и он уже ощущал себя сильнее. Ему казалось, что на нем лежит обязанность быть достойным Пржевальского. Что до некоторой степени он — его продолжатель. Впрочем, разве не было чего-то общего, некоей таинственной линии наследования между тем, кто известил мир о последних живых представителях породы лошадей, происхождение которых восходит к четвертичному периоду, и тем, кто хотел спасти от исчезновения лошадиную породу, попавшую под угрозу уничтожения? И это совпадение дат кончины генерала и назначения сотника, разве не было в этом особого знака?

Конечно, да.

Но в настоящее время все эти рассуждения никак не помогают Пешкову. Он чувствует себя до крайней степени слабым, и это лишает его надежды на успех. Он еще сильно кашляет.

Между тем, вот уже неделя как он лежит больной.

Урывками он рассказывает приятелю, хозяину гостиницы, о причине своей поездки и о том, что он намерен делать дальше. Прожекты господина Буварина, массовое истребление лошадей, убийство Муктана, выбор Серого, честь, оказанная царем корнету Асееву.

Однако воспоминание о мужестве одних и героизме других раньше укрепляло его решимость, а вот сегодня скорее удручет его. Он не просто ослаб, он совершенно подавлен.

— Видишь, Степан, старина! Прав я был, когда говорил, что наши амурские лошадки прямо-таки невероятные. Посмотри на Серко! Его не умoriшь. Он только что отмахал 2000 верст меньше, чем за два месяца, а ведь такой и есть — в полной форме. А я вот — не то, я в жалком виде. Мне с ним не равняться! Едва осилил четвертую часть пути до Петербурга, и вот уже на пределе! Два раза чуть не сдох по дороге, а ведь еще-то пройти — 6000 верст осталось. Никогда я туда не дойду! Полковник был прав.

Степан возражает, старается поднять ему настроение, вселить в него веру:

— Да ты хандришь, Дмитрий Николаевич! Тебе же гораздо лучше. Доказательство: опять ты хранишь! Ну скажи, у обоих у вас характерец что надо, как у тебя самого, так и у

твоего Серко! А знаешь что? У господина Серко ведь тоже свои требования. С тех пор как вы сюда прибыли, он к себе никого не подпускает. С морды подойдут, кусается, сзади — лягнет уж точно. Одному мне позволяет менять ему солому, принести пить-есть. Никого он из моих конюхов не выносит. Ну что это за поведение?

На какой-то миг жалкая улыбка светится на лице молодого человека, но вскоре он уже опять хмурится.

— Слушай, Дмитрий, — опять говорит Степан. — Ты поправишься, и вы с Серко поедете дальше. Это же нужное дело! Увидишь, через неделю, врач же сказал мне, ты встанешь на ноги!

— Нет, — слабым голосом отвечает сотник, — нет. Больно уж это все тяжело. Не могу больше... Все бросаю!

Врач не ошибся: через две недели, так и случилось, Пешков встал на ноги.

Но если в физическом отношении казаку удалось оправиться, в отношении общего его настроения положение оставалось тем же.

— Возвращаюсь в Благовещенск, — заявляет он в одно прекрасное утро своему гостеприимному хозяину и другу. — И не спеша! Перед отъездом продам эти проклятые шкурки, которые браконьеры забыли на спине у моего коня. С такими деньгами с тобой широко расплачусь, Степан. У меня еще и останется, на что купить новые валенки и разные ремешки заменить. Даже хватит денег на то, чтобы старую мою мечту исполнить. По крайней мере, путешествие-то не зря пройдет! Хочу подарить себе карабин. Степан, не знаешь, где бы мне его сыскать?

— Да, именно знаю! Слыхал об одном американце, тот хочет избавиться от партии винчестеров. Вроде бы он соглашается на обмен, а сам свихнулся на соболях!

— А где парня-то этого найти?

— Вроде он кантуеться на постоялом дворе у пристани.

Речной порт находится на берегу Ангары, фантастической реки, которая могучими и быстрыми потоками несется из Байкала. Течение ее настолько сильно, что зимой река с трудом леденеет и только по поверхности, а глубже в воде образуются огромные глыбы льда, которые срываются с места, всплывают, несутся по течению и то и дело образуют целые плотины на реке, из-за которых вода начинает выходить из берегов. Она затопляет прибрежные земли, и там все покрывается скользкой из прозрачного льда, река врывается и в город, где единственный известный способ борьбы — это только терпеливая работа заступом!

В начале января таким ненадежным капризным водным путем, к тому же полужидким-полутвердым, никак нельзя

пользоваться, но это обстоятельство нисколько не приостанавливает жизни в портовом квартале, который, кстати, пользуется в Иркутске самой дурной славой.

Пешкову не пришлось долго искать американца, о котором ему говорил Степан. Тот устроился в главной гостинице в этой части города, как раз напротив причала. Это большое создание в несколько этажей, перед ним — деревянный тротуар с грубо сработанными перилами — такими же, как и оконные переплеты самого дома. Да и в самом деле, дом больше походит на караван-сарай, чем на гостиницу. В обширных сенях невероятное оживление.

В зале за каждым столом происходят совещания. В шуме голосов урывками удается различить то русский, конечно, а то и иностранные языки, иногда совсем непонятные слова. Здесь можно увидеть, как засаленный сквердный китаец лезет из кожи вон, чтобы его понял очень достойный господин в жестком воротничке и в бабочке. Там — два еврея с видом заговорщиков договариваются о коммерческой сделке. В одном углу четверо военных силятся поддержать разговор, несмотря на крик с соседнего стола, где сидят какие-то мужланы, так и не сняв своих картузов и валеных шапок, — видимо, это торговцы скотом, и они что-то празднуют.

В воздухе дымно, недостает света. Дмитрию, однако, удается без труда найти человека, которого он ищет. Его легко узнать по нелепому виду и диковинному наряду. Это детина лет сорока, блондин, отдающий в рыжину. Сидя один за столом, он явно кого-то ждет, но при этом нисколько не нервничает. С видом человека без комплексов он спокойно смотрит на живописное зрелище, которое представляет собою зал. Лицо у него приятное. Пешков подходит и спрашивает:

— Вы американец?

— Yes! Oh, sorry: да, да! — отвечает он, вставая с широкой улыбкой на губах. — Меня зовут Бенджамин Фокс.

Он протягивает огромную лапищу Дмитрию. Стоя на ногах, этот здоровяк производит еще большее впечатление. Но громадный рост не делает его устрашающим: этот парень вызывает скорее симпатию.

— Я — сотник Пешков! Дмитрий Николаевич Пешков! Мне сказали, что у вас есть карабины и что вы готовы обменять их на меха.

— Именно так, господин сотник.

— Могу посмотреть?

— No problem! А я, могу и я увидеть шкурки?

— Нет проблем! У меня они с собой. Они на моей лошади, там, на улице.

— И вы не боитесь, что у вас их украдут?

— Вы не знаете моей лошади, мистер Фокс!

— Хорошо. Хотите, несите их в мою комнату. Там же лежат и мои винчестеры.

— А вы не боитесь, что у вас их украдут?

— Вы же не знаете Тедди, господин Пешков!

— Кто такой Тедди?

— Мой ангел-хранитель! Пойдемте, я представлю вас...

Захватив свой драгоценный сверток, казак идет к американцу в его комнату на втором этаже гостиницы. Там в нос ему ударяет сильный запах, который вызывает у него гримасу.

— Здесь пахнет хищным зверем!

Бенжамин Фокс смеется от всего сердца и зовет:

— Тедди, иди, поздоровайся!

Из-под кровати появляется медвежонок. Он встает на четыре лапы, делает несколько шагов и вскидывается на задние. Росту он получается в целый метр.

— Знакомлю вас с Тедди¹. Чуть меньше года тому назад вот нашел его в тайге. Очень невежливый охотник убил его мать. Я усыновил медвежонка. Это мой талисман и телохранитель!

Животное пританцовывает на месте. Пешков кладет мешок и отступает на шаг.

— Не бойтесь, Дмитрий! Тедди никогда не нападает на моих клиентов. Не так ли, Тедди, что тебе надо, хороший мальчик? Ладно, иди себе опять спать.

Послушный, как игрушечный, медвежонок возвращается в свою забавную берлогу. Теперь торги могут начаться. Длятся они недолго: американцу не свойственно хитрить. В обмен он предлагает винчестер и двести патронов.

— Ну как? О'кей?

— Мистер Фокс, а не будет ли многовато, если вы мне покажете еще и ружье?

— Ох, извините! Ну конечно, господин Пешков! Где же моя голова? — говорит американец, направляясь в угол комнаты, где громоздится с полдюжины дощатых ящиков. Приподнимает крышку того, что сверху, вынимает оттуда заботливо обернутое в лист промасленной бумаги ружье, освобождает его от этой защитной обертки и подает казаку.

Сотник ловко выхватывает его из рук американца. С таким же благоговением, как если бы речь шла о Святом Причастии, казак принимается осматривать ружье, гладит приклад, целится, проверяет выгравированную сбоку марку, играет затвором, нажимает на курок — его переполняет блаженство.

¹ Если все (плюшевые) медведи в мире в наши дни называются Тедди, то вовсе не в память о Бенжамине Фоксе, а в честь американского президента Теодора (уменьшительное: Тед или Тедди) Рузельта, который примерно двадцатью годами позже истории с Пешковым во время охоты будто бы отказался убить медведя, привязанного к дереву, — ему его специально «подготовили»

Улыбаясь, он смотрит на Бенжамина Фокса.

— Беру! — говорит ему Дмитрий. — Но всех шкурок вам не отдам. Мне еще несколько вещей надо купить. Оставлю вам вот эти три лисьи и две куницы шкурки.

— Да ты, казак, похуже торговца узбекскими коврами! Но я согласен. Вот твои патроны и беги! Извини, не предлагаю выпить: у меня встреча с тремя солидными клиентами. Они, должно быть, уже внизу и ждут меня. Мне нужно к ним спуститься. Прощай, господин сотник, — говорит американец, протягивая свою гигантскую лапишу.

Дмитрий кое-как засовывает ружье и остаток мехов к себе в мешок и выходит за американцем, которого, действительно, внизу лестницы ждут посетители.

— Hello! Друзья мои! — кричит Бенжамин Фокс с высоты полуэтажа, замечая своих трех клиентов.

Те задирают головы. Казак замирает. Опять эти отвратительные рожи, он-то их знает! Это Григорий, Федор и Алексей.

Трое бандитов сразу его не узнают. Ведь три месяца прошло с тех пор как они с ним повстречались, а Пешков за этот срок успел сильно измениться. Похудел, лицо вытянулось, сильно отросли усы. Его и узнать-то нельзя. Только когда он заговорил, они так и вскинулись от неожиданности. Этот голос им кое-что напомнил.

— Так вы знаете этих прохвостов? — спрашивает Пешков у американца. — Лучше поостерегитесь. Это убийцы.

Трое так и стоят с открытыми ртами. Первым приходит в себя Алексей.

— Откуда только вынесло этого типа? Всегда ввяжется, куда не просят. Проваливай отсюда, казак!

— Не верю своим глазам! — восклицает Федор. — Ты больно прилипчивый, паря. Пошел, пошел, вали отсюда!

— Бенжамин, — задает вопрос Григорий, — ты знаешь этого шута? Это же зануда!

Явно до крайности недовольный оборотом дела, американец пытается смягчить обстановку. Пешков обращается к нему:

— Господин Фокс! Если вы поставляете винчестеры этим отпетым мерзавцам, вам нужно знать, как они с ними поступают. Они ими убивают, господин Фокс. Они убили сына одного из главных вождей на Амуре. Они постреляли его лошадей. Вот они, господа, которые пользуются высоким покровительством! Тогда они избежали суда. Но от меня они не уйдут! Пусть мне придется за ними спуститься даже в ад!

— Вот-вот, как раз иди к чертам! — бросает Григорий.

— Шутки в сторону, подлец. Предупреждаю: если только я опять увижу вас на своем пути, заставлю пожалеть об этом. И передайте вашему дражайшему господину Буварину, что я смешаю ваши планы. Если нужно будет дойти до самого царя, так я дойду и до него!

— За царя! — кричит Федор. — Но царю плевать на...

Вокруг спорящих начинает собираться толпа. Пешкову привычно выставляясь перед людьми, как на представлении, он отодвигает любопытных, через сени большими шагами направляется к двери и выходит. Разъяренный до неистовства.

— А, подлецы! Подлецы! — повторяет он. — Подлецы!

Он еще не успевает успокоиться, как уже подъезжает ко двору Степана Иванова. Видя Пешкова таким возбужденным, тот спрашивает:

— Да ты что, Дмитрий? Нашел, что искал-то?

— Да, и даже сверх того, то нашел, чего совсем не искал! Завтра же уезжаю, но уже куда надо, Степан! Встретил там убийц Муктана. Нельзя их оставлять в покое. Нужно мне ехать в Петербург, царя просить их арестовать, Буварину не дать сделать то, что он задумал, прекратить бойню. Мне бы и поторопиться не грех: туда нужно приехать до весны. До того, как они опять начнут забивать лошадей.

— Честно тебе скажу, Митенька, не понимаю тебя. Сегодня ты хочешь возвращаться домой, завтра ты хочешь ехать к царю. Тебе, что ли, грипп в голову ударил? Повидать царя! А почему бы тогда уже не ангелов небесных? Ты спятил, что ли?

— Не переживай, Степан. Времени мне больше никак нельзя терять. Побегать немножко тут еще, однако, нужно. А пока, будь добр, разведи огонь в кузнице, мне нужно Серко перековать. Даже придется подковать его подковами с шишами против льда, а то он то и дело скользит.

Затем, вынимая из мешка три шкурки лисьего меха, говорит:

— Держи, Степан, это за мой постой и за лошадь. А вот игрушка, которую я только что купил себе самому, — прибавляет он, показывая ружье.

— Можно потрогать? — спрашивает Степан, глядя на ружье с удовольствием, как при виде любимого лакомства.

— На, держи! Но смотри, без глупостей, — наконец улыбаясь, отвечает ему сотник. — Если я чуть задержусь, не беспокойся. Мне необходимо сходить к губернатору.

— К губернатору? Ты что, на голову упал? Ты же знаешь, что они с Бувариным приятели!

— Вот именно. Будет с интригами, с комбинациями. Не хочу больше втихаря бороться. Хочу как раз другого, чтобы всем все было ясно. Пусть все знают, зачем я еду в Петербург. Понял, Степан? В этом — единственный шанс выиграть: пусть все в России знают об этом деле. Пусть Серый станет знаменитостью! До скорого, Степан. Поверь слову, — говорит он, выходя.

— Бог тебе в помощь, Дмитрий, — крестясь, отвечает Степан.

Сидя глубоко в кресле, которое его еле вмещает, и возложив на подлокотники складки своего жира, губернатор, несмотря на зимнее время, исходит крупными каплями пота. Большими носовым платком размером с полотенце он обтирает лоб, виски и шею.

Огромный, как танцевальный зал, кабинет его заставлен разрозненной и сдвинутой в беспорядке мебелью. Папки с делами навалены на столах, полках, маленьких круглых столиках, даже на стульях среди стопок книг — те то и дело разваливаются среди попавших не на свое место безделушек, ваз и самых разнообразных предметов, запущенных и хаотично и безвкусно наставленных там и сям.

Высокие, словно двери, окна наполовину завешаны шторами и поэтому дают мало света. Главное украшение кабинета — висящий напротив них портрет царя во весь рост. В тяжелой перегруженной лепниной раме Александр III — невероятного, еще большего, чем его собственный, роста.

Такой масштаб здесь просто необходим: размеры портрета не должны уступать дородной громаде самого хозяина кабинета, который сейчас, рухнув на слишком малое для себя сидение, обмяк за огромным письменным столом в стиле рококо, по части легкости и изящества вполне соответствующим тому, кто им пользуется.

Перед губернатором как бы по стойке «смирно» стоят посетители. Это Федор, Григорий и Алексей, прямые как дубины, с напряженными лицами, словно им все не удается понять и постигнуть то, что им пытаются объяснить.

— Я позвал вас для того, чтобы поговорить о создавшемся положении вещей, которое меня заботит, — говорит губернатор, тряся своим тройным подбородком при каждом слове. — Вчера у меня был молодой казачий офицер, который вас прекрасно знает, а вы его, думаю, тоже!

— Сотник Пешков? — спрашивает Алексей. — Вот зануда, этот тип! Зачем он сюда-то еще заявился, ваше превосходительство?

— Да его и слушать не стоит, ваше превосходительство, — прибавляет Григорий. — Это же так, дурень какой-то.

— Вы его недооцениваете. Сотник принял дело близко к сердцу, и он упрям. Такие недостатки оказываются и достоинствами. Держите ухо востро! Он готовит удар, который для Сергея Александровича может обернуться весьма серьезным делом.

— Гсподину Буварину нечего опасаться этого недоноска, — вмешивается в разговор Федор.

— Однако сам господин Буварин в этом не так уверен как вы, — отвечает губернатор, берясь за телеграмму. — Он просит меня разыскать вас по всему Иркутску и приказать заняться этим дьяволом Пешковым и его трехлапой лошадью.

— Что мы должны сделать, ваше превосходительство?

— Ни при каких обстоятельствах вы не должны допустить их до Петербурга, — отвечает губернатор, и дышать ему становится все труднее.

— Петербург? Этот шут гороховый в Петербург наладился? Чего ему там делать?

— Прекратите же меня перебивать, — свирепеет губернатор. — Узнав, что мы намерены заменить амурских лошадей на донских, Пешков восстал против этого. Он разговаривал со своим полковником в Благовещенске. Потом попробовал нас переубедить. Он говорит, что амурские лошади крепче донских, впрочем, возможно, это и так, но для наших дел все это никак не подходит. Желая от него избавиться, я сказал ему, что приказ исходит от самого царя.

— За царя! За царя! — не в силах сдержать себя, Федор встает и склоняется перед огромным портретом Александра III.

Два других прыскают со смеху и кричат:

— Казачок-дурачок!

— А колбаски сладки из его лошадки!

Со строгостью учителя перед расшалившимися учениками губернатор убийственным взглядом смотрит на троих грубиянов. Хмурит усеянные каплями пота густые брови.

— Вы — безмозглые кретины, — разражается он. — Выходит дело, вы не поняли, что Пешков едет в Петербург для того, чтобы дойти до императора! А если он дойдет до императора, не только все наше дело провалится, но и для всех нас это может плохо кончиться.

— Чего вам беспокоиться, ваше превосходительство, — спрашивает Григорий. — У его величества только и дела, что слушать какого-то завалащего казака из самой захолустной сибирской дыры.

— Из самой что ни на есть зад... империи, — осмеливается Алексей.

— Пешков не дурак, — резко прерывает их губернатор, которому претит подобная неуместная грубость собеседников. — Он знает, что царя последний мужик может заинтересовать, если только тому удастся совершить какое-то героическое действие, подвиг, что-нибудь невероятное. А в особенности, если это совершается верхом...

— Про лошадь понятно, а какой там еще подвиг?

— Подвиг, да Пешков уже его совершил, он прибыл сюда, не меняя лошадей. А ведь он на той же лошади собирается доехать и до Петербурга. Это как раз докажет, что амурские лошади — неистощимы, что они — лучше! Соображаете вы это? Восемь тысяч верст на одной и той же лошади!

— Никак нет, ваше превосходительство! Он никогда туда не приедет.

— А если все-таки приедет!? Ему уже прекрасно удалось покрыть две тысячи верст, к тому же меньше, чем за два месяца, и в разгар зимы! Почему же ему не суметь проехать те шесть тысяч, что еще остаются?

— А потому, что мы ему не дадим, ваше превосходительство! Куда этот олух здесь забрался?

— Он уже отправился дальше. Он был у меня вчера и объявил, что уже сегодня уедет в направлении Томска. Но будьте очень осторожны. Этот молодой офицер не только смел. Он и умен. Легко он вам не дастся. А самое главное, когда будете что-то делать, чтобы все было только тихо. Пусть сойдет за несчастный случай. И чтобы никаких неясностей, слышите? Не желаю никаких неясностей!

Веселый и довольный после двухнедельного отдыха в Иркутске, Серко все так же пребывает в великолепной форме.

Вот уже целую неделю он скачет по восемь-десять часов в день без всякой видимой усталости. Правда, каждый вечер после дневного перехода хозяин дает ему хорошую порцию овса. А иногда к этому, вроде премии, удается получить охапку сена, чтобы на ночь было что жевать.

Стараясь выиграть время, Пешков решает все-таки ехать по главной дороге, по знаменитому тракту. Огромная дорога через всю Сибирь длиной во много тысяч километров, изначально задуманная для доставки почты на окраинные земли империи, она стала мало-помалу некоей «национальной» дорогой, у которой появились и свои дурные стороны: постоянно запруженная, разбитая во многих местах, разъезженная, большую часть года она стала почти непроезжей. Но у этого пути, надо сказать, есть много и положительных сторон. Прежде всего, он протянут по прямой линии. А это, как каждый знает, — наикратчайший путь. Затем важно то, что вдоль тракта идут деревни, и вечерами там можно найти и жилье, и еду.

На почтовых станциях не всегда бывает удобно. Комнаты — когда они есть! — часто грязные. А о конюшнях и говорить нечего. Света нет, воздуха — тоже, по большей части они отвратительно загажены. Не конюшни, а свинарники.

К счастью, Серый — конь покладистый. После того как ему пришлось простоять в конюшне у Степана Иванова, он привык к закрытому помещению. Соглашается даже, чтобы его привязывали в стойле, только с тем условием, чтобы туда его отводил сам хозяин.

И потом, честное слово, ему-то, коню, какое дело до того, какие у него хоромы, если овса ему отмеряют в достатке, вода чистая и можно хоть соломы пожевать!

Серко — в зените хорошего настроения. По утрам, когда Дмитрий приходит и дает ему поесть, перед тем как взнуздать

и оседлать, он радостно ржет. Глаз живой, ноздри свежие, скачет как жеребенок, нетерпеливо стремясь размять себе ноги.

Серый скакет, скакет, скакет... Между тем, на мерзлой почве скользко как на катке. Но его новенькие подковы с шипами не дают ему поскользнуться. Так что же может его остановить?

Вдоль большой дороги, которая выглядит так, словно по бескрайней тайге из сосен и берез проложили канал, идут один за другим населенные пункты. И реки сменяются, одна за другой: Ока¹, Ия, Уда, Бирюса... В это время года они стоят во льду, Серко может проходить их, не задерживая хода.

При такой скорости ретивому, как в первый день путешествия, коню требуется менее двух недель, чтобы попасть на берег Енисея, одной из самых больших рек Сибири, а его знаменитый приток — как раз и есть текущая из Байкала река-фурия Ангара.

Встав на берегу замерзшей реки, Дмитрий и Серко всматриваются в горизонт. Пешков старается разглядеть на другом берегу город, который должен там находиться. Красноярск. Но ширь Енисея такова, что казаку не удается четко проследить линию горизонта: бледное, белесое небо сливается со снежной белизной.

Воздух более чем свеж, ледяной! Холодные порывы ветра взметают густую гриву Серко, всю ее задувают на левый бок. Дмитрию тепло в полушибутке Любы и в башлыке Семжид на голове, и кажется, что он, так же как и его лошадь, вовсе не чувствует стужи.

Казак направляет лошадь по узкой скользкой тропе, спускающейся с высокого берега к обледенелой кромке воды, и не колеблясь уверенно пускает Серко дальше: в эту пору просто невозможен неприятный случай вроде того, что приключился с ним в прошлом месяце на Байкале. Под копытами Серко раздается скрип, но лед держится хорошо.

Переход через реку, там и сям усеянную покрытыми растительностью обширными островами, продолжается целый час. Противоположный берег оказывается такой крутизны, что Дмитрий и Серко с трудом взбираются на него и там попадают в деревню, которая служит портом городу Красноярску, когда река судоходна.

Красноярск построен по высоким и крутым берегам Енисея, это большой и красивый провинциальный город, вполне приобщенный к культуре. Однако здесь — никаких задержек, ни в коем случае, и более чем на одну ночь не стоит поддаваться желанию приятно отдохнуть, хотя и постоялый двор здесь чистый, и конюшня хорошо содержится.

¹ Бассейн реки Ангары

Итак, Пешков и Серый с раннего утра уезжают из Красноярска. Следующий привал ждет их в Ачинске, пограничной деревне между Восточной (ее столицей в Иркутске) и Западной (со столицей в Омске) Сибирью. Изменения — только административные, так как после Ачинска попадаешь опять на большую дорогу, которая и на своем восточном отрезке уже была не ахти какая, а здесь становится просто-напросто непроходимой. Тысячи повозок, которые здесь прошли до наступления зимы, образовали такие рыхтины и колеи, которые мороз превратил в настоящие горы для катания с них на санях.

Тем, кто этого сам не видел и не испытал, трудно представить себе, насколько велико движение по этой транссибирской артерии. Проведя расследование как раз в течение 1890 года, чиновные власти пришли к заключению, что ежедневно там проходит от 1500 до 2000 карет и повозок: вдоль всего тракта бесконечно тянутся упряжки, порядка многих сотен возов едут обозами, и обычно на каждые пять возов бывает по одному ломовому извозчику. Причем все лошади продвигаются вереницей, их не нужно, так сказать, направлять, все тянутся по одним и тем же колеям. Каждая дыра, каждая рыхтина от колес первого воза, превращается в целый овраг. Летом колеи бывают подчас столь глубоки, что колеса уходят в них всеми своими ступицами, а зимою эти же глубокие провалы, эти колеи-овраги образуют огромные снежные рвы, которые делают дорогу чрезвычайно труднопроходимой.

Несмотря на подковы с шипами, Серко трудно бежать рысцой: у него беспрестанно кривятся ноги на неровностях льда. Медленно катят экипажи и заставляют его умерить пыл. Приходится пробираться между ломовыми дорогами, санями и крытыми фурами, которые загромождают дорогу. Приходится идти шагом! Дмитрий начинает выходить из себя.

А теперь и совсем нехорошо: получается свалка телег, кибиток, болоков¹, и они просто перегораживают дорогу!

Один экипаж лежит на боку. Другой, тот, что попытался явно его объехать, по самой середине дороги зарылся в снег. А кучер на долгушке², направляясь в противоположную сторону, вместо того, чтобы быстро проехать это место, совершает ошибку и останавливается, чтобы поглазеть на случившееся, его долгушка неотвратимо скользит в сторону двух других и скатывается на них, что влечет за собою сцепление и переплетение оглобель, сбруи, полозьев... и самих — конечно же, напуганных! — животных. И вокруг свалки уже собирается толпа. Путники, крестьяне стараются разобрать, растащить клубок упряженек... и конских ляжек. Но каждый тянет в свою сторону,

¹ Разные модели типично русских повозок на колесах или на полозьях.

² Долгушка — сибирский вариант слова тарантас.

горланит приказы, противореча другим, и добавляет ко всему и своего хамства, и своего хулиганства.

Эта заварушка, эти вопли уже нестерпимо действуют на нервы Пешкову. Разъяренный всеобщей бестолковщиной, он решает обогнать препятствие и, пришпорив лошадь обеими ногами, бросает Серко прямо в придорожный лес.

Увы!

Невидимая из-за нанесенного снега канава немедленно поглощает и лошадь, и самого всадника. Канава глубока, снег накрывает их с головою — они погребены!

В недрах снежной дыры Серко и Дмитрий отбиваются вроде утопающих, вызывая некоторое движение снега на поверхности. Вскоре лошадиная голова выныривает, потом показывается и голова казака, причем он, задыхаясь, хватает воздух. Ему трудно наладить дыхание. Ему не удается высвободиться, и он зовет на помощь.

Люди заняты попавшими в передел каретами и ничего не замечают. На дороге стоит такой галдеж, что никто не слышит, как кричит Пешков.

Усиленно взявшись и кашляя, Пешков в конце концов привлекает к себе внимание мальчишки, который поднимает тревогу.

Группа любопытных сразу же оставляет свое развлечение, к которому, впрочем, уже успела потерять интерес — там все вроде бы разобралось, — и теперь окружает новый аттракцион.

И опять поднялась кутерьма. Каждый стремится действовать на свое усмотрение, дает свои советы. По грудь в снегу Дмитрий мечет громы и молнии. Серко, наоборот, остается совершенно спокойным. Ждет, когда все это кончится.

Предельно измученный, Пешков обретает свои офицерские навыки и отдает приказы. Ему бросают веревки, ремни. Он крепит все это на мужественном Серко и кидает концы своим спасателям, те привязывают их к вальку с постремками, в которые по его указаниям запрягают двух сильных лошадей.

Давай, подымай! Хорошо: Серко начинает подниматься. Продетый под хвостом ремень подтягивает его за круп. Еще! Полегче! Ну вот, есть! Вышел, все...

Вытаскивают, в свою очередь, и казака. Он обивает одежду, стряхивает приставший снег, осматривает ноги у своей лошади. Не сломаны. Больше страхи, чем беды. И все же он невольно вздрагивает при мысли о том, что бы с ним могло приключиться, случись это несчастье где-нибудь в глухой тайге. Барахтаться бы им еще долго в недрах глубокой канавы, да так бы, конечно, там и остались до конца дней!

При мысли об этом Дмитрий с еще большей горячностью благодарит за помощь, люди находят его хорошим парнем. Один из путников предлагает водки.

— Нет, спасибо, не пью я. А вот чайку бы горяченького мне кто предложил, я бы не отказался!

— Вот что тебе подойдет, парень, — говорит ему деревенский житель. — Мой дом, вон он, напротив нас. Пошли, отгреешься...

Собираясь вновь отправиться в дорогу, после того как для восстановления сил он провел ночь в деревне, Дмитрий Николаевич колеблется между двумя решениями: либо продолжать ему ехать по тракту, либо же наперерез сократить путь по тайге. Взвешивает все за и против. Ему говорят, что отсюда до Томска, следующего его пункта привала, дорога только ухудшается, а движение увеличивается. Что лес постепенно становится менее непроходимым, редеет, светлеет.

И потом, рассказывают ему здешние люди, недавно расчистили тропы в тайге для инженеров, которые будут проводить трассу будущей линии железной дороги Ачинск — Томск.

— Ах, так и здесь тоже? — восклицает казак. — В Благовещенске только и говорят: транссибирская, транссибирская!

— Об ней говорят, да пока ее не видать, — зубоскаля выражают крестьяне.

— Подойдет раньше, чем надо! — сумрачно отвечает Дмитрий.

Ему-то хорошо известно, что грандиозные железнодорожные замыслы исходят от его врагов. Не будь здесь огромных строительных работ, никогда такая птица, как Буварин, не заинтересовалась бы Благовещенском. А без его проклятой аферы амурским лошадкам ничто бы не грозило. Но вот, мясная фабрика уже начала действовать. И весной опять начнется уничтожение амурских лошадей. Боже правый, времени же терять больше нельзя. Нужно ехать!

— Какой же путь покороче? — спрашивает вдруг казак, очнувшись от своих размышлений.

— Конечно, через тайгу, — отвечает ему хозяин дома.

— Так пусть будет тайга! Дружочек мой, — говорит Пешков своему коню, — вперед!

По своему обыкновению Серый доволен, что идет, что дышит свежим воздухом. У него адская выносливость. Вчерашнее падение никак на него не повлияло: и физически он его перенес, и настроение у него не испортилось. Он бежит спорой рысью, часто перебирая ногами и качая крупом.

Первый день проходит без приключений. Им почти никто не встречается на пути. Только один раз они видели охотника на огромных лыжах, который занимался тем, что ставил капканы, но, завидев казака, сразу бросился наутек. Это рассмешило Дмитрия. Еще один браконьер!

Как только отходишь от большой дороги, край настолько мало обжит, что с наступлением вечера Пешкову приходится устраивать себе бивуак. Первый после Иркутска. При помощи

топорика, который всегда при нем, привязан к седлу, сотник нарубает веток и у подножия огромного дерева строит себе почти благоустроенную хижину.

Серко на свободе и даже не спутан, он ищет себе пропитания, поскребывая снег, грызя кору, подбирая там мох, там травинку...

На маленьком огне потихоньку обжаривается заяц, ему не повезло — пришлось как раз обновить недавно купленный Дмитрием винчестер. Приятный дымок расползается по округе.

Приятный, но роковой.

В тот самый миг, когда Пешков берется за шашку, на которой, как на вертеле, зажаривается его дичь, Серый резко вскидывается, издает некий беспокойный звук и принимается усиленно всхрапывать ноздрями. Стоит в тревожной позе — глаза насторожены, шерсть дыбом, шея вытянута.

Казаку достаточно повернуть голову в направлении своей лошади, чтобы понять причину ее испуга. Там в темноте горит пара красных глаз. Нет. Не пара: две пары, три, четыре. Волки!

Дмитрий оторопело застывает. Да не стой же так, старик, говорит он сам себе. Надо же что-то делать и быстро, двигайся, ищи выход. Посмотрим, где это я положил свой винчестер? Ах да, в хижине. Хорошо, пойдем туда. Тихонько. Задним ходом. Плохо то, что каждый раз, когда я делаю шаг назад, подлые твари продвигаются на шаг вперед. А, вот мысль: я им отброшу подальше свой обед, и пока они там подерутся за него между собой, у меня хватит времени взять карабин, прицелиться, выстрелить.

Пешков осторожно освобождает лезвие сабли от жарева — пусть летит как можно дальше, — кидает зайца изо всех сил прямо в тайгу. Сцена проходит именно так, как он ее задумал: волки кидаются на мясо, со страшным рычанием ссорятся. Сотник пользуется этим, врывается в свое убежище, где, увы, царит кромешная тьма. На ощупь он шарит по полу, находит седло, топор, но ружья — как не бывало. Он нервничает. Господи, спаси, где же этот треклятый карабин? Еще раз все перерывая, он наполовину рушит стенки хижины, и та падает на него. Ах-ты! Мать твою...!

А снаружи положение ухудшается. Хищникам его зайца хватило на один зуб. А беспорядочные движения казака на них нисколько не производят впечатления. Шаг за шагом они подходят. Вот-вот ринутся! И тут Серко, у которого не встал дыбом ни один волос, как дьявол выскакивает в самую середину стаи — с опущенными ушами, обнажив большие желтые зубы.

Кусает, топает, крутится, удачно лягает. Его штык подков творят чудеса. У одного волка вдребезги разбилась голова, другой, хромая, убирается подальше. Их собратья отступают.

За это время Дмитрию удается отделаться от кучи веток. Он встает, громко вопя.

— Да что ж я за бестолочь, что же за бестолочь?

Вернувшись с охоты, он же просто-напросто повесил свой винчестер на высокую ветку. Вот здесь — прямо над собой!

Наконец, он хватается за орудие. И это маленькое американское чудо прекрасно срабатывает. При каждом выстреле казак прицеливается. На третьем, четвертом выстреле те твари, которым еще удается оставаться живыми, понимают все, как нужно. Они убираются, не требуя отдать себе своих мертвых.

Кошмар кончился.

Дмитрий бросается к Серому, целует его, ласкает, говорит нежные слова.

— Ты же гений, браток! Да ты — лошадь, что надо!

Через два дня Пешков и Серый приезжают в Томск. Гигантский город. Такой же большой, такой же населенный и оживленный, как Иркутск. Но без его очарования, без его изящества. Классом пониже. В Иркутске чувствуется нечто аристократическое, Томск же — только выскочка. Разбогатев на залежах золота, платины и меди, а таких залежей полно в округе, город, конечно, смог подарить себе и театр, и магазины по-европейски, — но деньги не придают благородства. Интеллигентская жизнь здесь, на берегах реки Томь, не идет в сравнение с той, какую находишь на берегу Ангары.

Томск обязан своим успехом не только залежам минералов, но также еще и своему исключительному географическому положению. Выстроенный на пересечении дорог, идущих из западносибирских просторов (к северо-западу), с центральносибирских плато (к северо-востоку), Алтайских гор (на юго-востоке) и из казахских степей (на юго-западе), Томск служит местом встречи купцов, разного рода торговцев, съезжающихся сюда из разных краев.

Весь год город кишит людьми сомнительного образа жизни, и здесь можно встретить богатый выбор представителей разных рас, национальностей, религий.

Здешний людской мирок вполне уживается внутри себя, общаясь по принципу вселенского дел... и водки! Количество пьющих, которых встречаешь в Томске, на самом деле способно вызвать мысль о некоем наваждении. Пьют не только русские, латыши, поляки. У бурят, киргизов, татар — культ того же божка. Зрелище пьяного разгула вовсе не нравится Пешкову, и в особенности горько смотреть на этих бедолаг как европейцев, так и азиатов, что за какие-то несколько дней просаживают сущие копейки, которые им удалось заработать, продавая свою продукцию, результат многих месяцев труда...

Поэтому Дмитрию приятнее уехать из города и остановиться в казармах по соседству, где, как ему сказали, гарнизоном стоит казачий батальон. То обширное плато, где он стоит, окружают большие леса, и с высоты его видно течение реки Томь, которая на расстоянии 100 футов оттуда вьется внизу среди болот... Большое деревянное строение с открытыми террасами — это штаб, а солдаты живут в маленьких бараках, расположенных в определенном порядке по обеим сторонам плаца.

Сотнику и его лошади устраивается горячий прием. Не каждый день выдается случай принимать «коллег», как двуногих, так и четвероногих!

Их закармливают всякой всячиной. Их обильно... расспрашивают.

По мере того как Дмитрий Николаевич удовлетворяет любопытство хозяев, на память сидящему во главе стола есаулу приходит мысль:

— А ведь верно! Да верно же! Нам о вас уже говорили, господин Пешков. На днях три каких-то типа приезжали сюда и спрашивали нас, не видали ли мы верхом на лошадке серой масти сотника, у которого есть винчестер. Они меня просили, если о вас слух какой пройдет, чтобы их предупредить. У них, вроде бы, что-то есть важное вам сказать.

— Как они выглядели-то, эти господа?

— Да... русские! Глаза голубые, светлые волосы. Рожи-то, правда, слегка красноватые. Лет по тридцать—сорок. Здоровенные такие парни. Не из приятных. А вообще-то я не очень-то обратил внимание...

— Они сказали, где их предупреждать?

— Да, сколько помнится. Сказали, что с неделю поживут поблизости, постараются тебя отыскать. Вроде у них дело срочное. Они остановились на руднике, недалеко отсюда.

Несмотря на то, что описание есаула выглядит весьма обще, Пешков понимает: трое типов, которые его разыскивают, — никто иные, как сподручные Буварина.

Уходя чуть в сторону от большой дороги из Томска в Омск, рудник ему не совсем по пути. Нужно сделать небольшой крюк, но куда денешься! Ему хочется все выяснить. Он поедет и посмотрит, кто да что от него там хочет.

Как и сказали ему казаки, рудник оказывается невдалеке. Едва ли в часе езды от гарнизонных казарм.

Впрочем, «рудник» — это слишком громко сказано. Речь идет о простой дыре, гигантской дыре, вырытой в чаще леса. Глубиною примерно в двадцать метров эта яма пропарывает лес на площади в три-четыре гектара. Словно ступени гигантской лестницы, идущие одна за другой, площадки позволяют спускаться до самых глубин рудника так называемой открытой выработки.

Все здесь выглядит заброшенным. Огромный разверстый ров пуст, в нем только и видны, что наваленные кое-как стволы, перевернутые тачки, повозки, они так и брошены под все здешние непогоды, а снег там и сям сделал из них сугробы. Никакого движения незаметно на странных деревянных помостах вроде лесов, служащих для выемки залежей, промывания их и сортировки. Никаких признаков жизни не видно и в беспорядочно разбросанных вокруг бараках...

В это время года рудник бывает закрыт. Зрелище мрачное. Казак даже начинает сомневаться, стоило ли ему сюда заходить.

— Есть здесь кто-нибудь? — кричит он во все горло.

— Смотри-ка, да ведь это наш приятель Пешков? — произносит голос за ним.

Сотник оборачивается. Уперев кулаки в боки, слегка расставив ноги, Алексей, гrimасничая, широко ему улыбается.

— Гришка! Федя! — бросает он. — Валите сюда, у нас тут гости!

Дмитрий спускается с лошади и легким шлепком по крупу отгоняет Серого.

— Позову, когда будет в том нужда, — тихо говорит казак лошади. Потом, обращаясь к бандитам, спрашивает: — Вроде, вы хотели меня видеть? Вам что, желательно со мной поговорить?

— Даже очень, дурная твоя башка, вот так и есть. Мы тебе хотели сказать, чтобы ты бросил это дело. Гсподин Буварин — слишком большой кусок для тебя.

— У тебя кишка тонка, — подтверждает Григорий. — Может, ты воображаешь, что тебе дадут все сделать, дурень ты! За кого ты себя принимаешь? Как ты можешь думать, что князь Корсаков позволит себе досаждать, да еще такому жалкому казаку, как ты?

— При чем тут князь Корсаков? — удивленно спрашивает Пешков.

— Гришка, ты сильно много болтаешь! — говорит Федор. — Будет болтать-то, казак. Или ты оставляешь это дело, или с тобой что-то такое приключится. Смотри, например, ты поскользнешься и сломаешь ногу. Несчастный случай — это быстренько делается.

Он останавливается, чтобы полюбоваться на эффект, достигнутый им и написанный на лице у сотника. Но у Пешкова не дрогнул ни один мускул. Он внешне бесстрастно отыскивает у себя в голове, как же ему выпутаться из этого его промаха.

— Эй, парни! — кричит Федор, приставив руки ко рту и повернувшись в сторону барака. — Сюда, сюда! Здесь кое-что для вас найдется!

Из лачуги вываливаются два колосса. Чудовища! Бороды и волосы всклокочены, звериные лица — так ужасно выглядят здешние сторожа.

— Видите? — бросает им Алексей. — Тут один ворюга в казака переоделся, вот пришел посмотреть, нет ли, глядишь, золотишко стянуть.

Григорий разражается хохотом.

Федор испускает истерические вопли:

— За царя! За царя!

Гориллы хватаются за дубины, за лопаты и медленно подходят к казаку, а тот отступает на шаг и все никак не придумает, как же ему выходить из положения. Направо, налево, сзади — нет возможности ускользнуть. Его прижали. Он быстро подбирает валяющуюся полузасыпанную снегом доску. Хватает ее обеими руками и, повернувшись к лихим парням, готовится сопротивляться.

— Ладно тебе, казак! — говорит Григорий, пока приближаются два человекообразных сторожевых пса — и это еще не сильно сказано! — Чего тебе лучше? Ногу сломать или голову размозжить?

— Да у него голова уже с трещиной! — вступает Алексей. — Ногу лучше.

— Обе ноги, — расходится Федор.

Сторожа уже в метре от него. У них пустые глаза, упрямые лица. Закоснелые скоты. Дмитрий увертывается от первого удара, метившего ему по плечу.

— По коленям, бейте по коленям! — топает ногами Григорий.

Второй удар направляется по ногам. Пешкову удается его отбить доской, и та растрескивается надвое. Он делает шаг назад и спотыкается. Нападающие устремляются к нему. Молодой человек оказывается более ловким, чем они: он перекатывается через голову и ему удается увернуться. Но это только на время. Ибо вот теперь он и вовсе зажат в тиски между двумя гориллами и тремя мерзяцами. Тиски неуклонно сжимаются.

Тогда из глубины груди казака вырывается разносящийся по всему руднику пронзительный крик:

— Серко!

Пять головорезов в полной оторопи видят, как к ним вскакивает лошадка казака. Галопом она несется так быстро, что, подскочив к хозяину, не может остановить своего бега, но словно бы Серко делает это с умыслом. Ибо Пешков выхватывает на его ходу винчестер из чехла на седле, а Серый проносится и встает чуть поодаль — выходит, для того, чтобы не мешать собой и освободить пространство.

Сотник вскидывает карабин и берет банду под курок.

— Вот теперь, подлецы, теперь у меня найдется вам кое-что сказать. И вам, и вашему мяснику, и даже вашему князю! Мы с Серым дойдем до цели. Мы доберемся до Петербурга, поговорим с царем и заставим вас арестовать. Теперь, если

только вы попытаетесь встать между мной и моим делом, садим вам придется схлопотать злую беду. Предупреждаю, вроде вам это особенно нравится, как бы вам не переломать себе ноги. И клянусь, это не будет несчастный случай.

— Кончай свои байки, казак. Мы же просто хотели чуток посмеяться. Верь нам, лучше будет, если ты откажешься от своей чепухи, тебе же будет лучше дома...

Дмитрий замечает, что они пытаются отвлечь его внимание. Пока Григорий его заговаривает, Алексей лезет под толстый полушибок, а оттуда виднеется рукоятка револьвера.

— Не трогать, бандит, — кричит сотник.

Тот не слушает, тащит револьвер из чехла, собирается стрелять.

Огонь! Пешков стреляет. Алексей роняет свое орудие. Согнувшись в три погибели, он взвывает от боли, хватается за левое колено, которое ему только что пробила пуля винчестера.

— Первое предупреждение, — говорит казак, потихоньку приближаясь к Серому и продолжая держать под прицелом головорезов. И вот уже те в оцепенении видят, как он уезжает...

Хватит терять время! Быстрой рысью сотник возвращается к главной дороге. Она в отвратительном состоянии, а движение непрерывное. Путники, которых там встречаешь, представляют собой весьма странную фауну, но все же гигантская артерия остается самым надежным способом и, конечно, несмотря ни на что, самым быстрым, когда нужно пройти огромный, бесконечно плоский и отчаянно пустынnyй край, который теперь еще отделяет его от находящегося отсюда в тысяче верст Омска, следующего большого привала у него на пути. Ад кромешный! А ведь солдаты, которые вчера его приютили, предупреждали об этой дыре, одной из наиболее ужасных в империи.

Здесь, где-то между Томском и Омском, а точнее говоря, между Обью и Иртышем, находится самое огромное болото в мире, весьма знаменитая Барабинская степь. Знаменитая зачумленными прудами, прожорливыми насекомыми, торфянками, стоячими водами, лихорадками и предательскими топями, где роятся мириады видов сосущих, колющих и пожирающих насекомых...

Лучшее время года, а скорее единственное, для перехода по этой прелестной стране наступило именно теперь, в разгар зимы, когда земля замерзла, а паразиты заморожены. Теперь можно ехать вперед, и стесняют только загромождающие дорогу экипажи, между которыми Серко умеет ловко пробираться. Он наслаждается вволю, проглатывает версты, целыми часами бежит рысью, иногда переходя на иноходь к большому удовольствию своего всадника, которого монотонность окружающего пейзажа склоняет время от времени вздрогнуть в седле.

А пейзаж действительно быстро меняется, как Пешкова об этом и предупредили. К вечеру первого дня лес полностью

исчезает, вместо него начинается бескрайняя и как бы безжизненная степь.

Когда наступает ночь, Дмитрий останавливается на первой же почтовой станции. Она разнится с теми, что встречаются в тайге: сделана она не из бревен и даже не из досок. Это глинобитная постройка с крышей из камышово-тростниковой соломы, единственного местного строительного материала.

Пешков ведет свою лошадку в стойло, где в окружении усталых кляч и тощих почтовых лошадей она выглядит почти огромной. Аппетит у нее, по крайней мере, как у колосса, и за ничтожное время она проглатывает порцию, достойную першерона. Что касается Пешкова, тот вынужден довольствоваться жиденьким супом, в котором плавает несколько кусочков жира.

На всем протяжении тракта и даже в этом обездоленном краю почтовые станции на расстоянии друг от друга от тридцати до пятидесяти километров, позволяют путникам обогреться, восстановить силы, отдохнуть. Здесь можно также сменить верховую лошадь или экипажную упряжку. Эти станции вовсе не роскошные гостиницы, часто здесь бывают самые ничтожные удобства (нет комнат, а есть только большая спальня, которую называют «храпильней», и сомнительная чистота, но все наложено вполне подходящее для людей, в том числе и летом, когда Барабинская степь превращается в сущий ад: топкая земля, пропитанный влагой воздух с непрерывно гудящей мошкой).

Ежедневными переходами по сорок, шестьдесят, а иногда даже и по восемьдесят верст, Пешков со своим другом Серко продвигаются с поразительной быстротой. Вставая рано, ложась поздно, но хорошо поев, они не чувствуют усталости. Если они и страдают, то больше от скуки. Дорога — бесконечная, пейзаж — неинтересный. Единственное развлечение — это чрезвычайно живописный люд, который постоянно пользуется большой транссибирской дорогой, разношерстная, многолюдная толпа.

Один путешественник, проезжавший в том же месте и в том же году, рассказывает, что они ехали мимо переселенцев, потом мимо заключенных под конвоем... Встречали бродяг с котомками за плечом — эти господа проводят время на сибирском тракте, бродя без передыху. То они задушат старушку и сделают себе портянки из ее юбки, то вырвут металлические дощечки — указатели с дорожных столбов — такая вещь всегда пригодится, то разобьют голову встречному нищему или подобьют глаз кому-нибудь из своих...

Очаровательные попутчики!

Во всяком случае именно такого рода собеседников Дмитрий встречает каждый вечер на почтовой станции. Собравшись вокруг единственного стола, все беседуют. Каждый рассказывает о своих снах и подвигах, отстаивает свои убеждения. Для Пешкова — это развлечение. Он обожает слушать бедолаг-переселенцев, с увлечением объясняющих, как они сколотят себе

состояние; ямщиков, нахваливающих необыкновенные достоинства своих лошадей; охотников, описывающих свою невероятную смелость и ловкость, благодаря которой им удалось поймать какую-то фантастическую дичь...

Вечер, естественно, не всегда удается. Иногда какой-нибудь паломник пускается в напыщенные нудные проповеди. Песков силится сохранять вежливость, но это бывает и выше его сил, тогда он зевает во всю глотку. Ему остается только отправиться спать, не забыв сходить в конюшню, посмотреть, все ли в порядке у Серко.

А иногда бывает и шумновато. Пьяницы ищут ссоры. Грызутся между собой торгаша, ссорятся до того, что в ход пускаются руки, и из угла в угол летят по комнате табуретки. Дмитрий этого не любит.

Терпеть не может, чтобы его беспокоили во время сна. Один раз даже случилось так, что он не задумываясь встал среди ночи. Не давали ему спать подвыпившие солдаты. Он оседлал Серко и прошел еще тридцать километров, чтобы найти себе почтовую станцию потише.

Но, в конце концов, ведь ни одного серьезного происшествия не произошло с ним с тех пор, как вот уже две недели тому назад он выехал из города Томска. Или, что одно и то же, после того, как ему удалось выпутаться из той западни на руднике.

Ах, эти мерзавцы!

Мысль о них как раз крутится у него в голове, когда вечером, разговорившись с хозяином почтовой станции, он узнает, что — интересное совпадение! — Федор и Григорий останавливались здесь же, только накануне, и что они расспрашивали о нем.

— Они сказали, что подождут вас в Усть-Тарке, следующем городе по дороге в Омск, — уточняет хозяин станции.

Итак, бандитам удалось-таки его обогнать, несмотря на его постоянную быструю езду. И в этом ничего нет такого уж невероятного, потому что на почтовых станциях можно получать кошевку и, регулярно сменяя лошадей и извозчиков, катить днем и ночью. Но дело выходит неприятное.

У Дмитрия возникает мысль. Он с ними сыграет хорошую шутку. Он объедет Усть-Тарку, пусть они там его ждут хоть целую вечность, если им так нравится. Достаточно двинуть прямо на Омск. Конечно, для этого опять нужно оставить тракт, но так как местность вся равномерно плоская и земля мерзлая, особой разницы не будет.

Дмитрий Николаевич злится. Что за дурацкая была мысль — отойти от большой дороги?! С утра он едет наугад, доверясь только собственному инстинкту и полагаясь на удачу, но вот теперь внезапно его охватывает сомнение. У него возникает неприятное ощущение, что он едет по кругу. Ему кажется, что он узнает уже виденные им пейзажи. Как узнать наверняка? В ледяной пустыне

не все более или менее походит одно на другое. И потом, у кого спросить дорогу? Во весь день он не встретил ни души. Хуже еще то, что он ни разу не заметил ни одного следа, который бы оставил кто-то здесь прошедший. Нет следов ни дичи, ни охотника. Ни стада, ни пастуха. Ничего! Луна! Ледяная луна.

А другая луна, настоящая, увы, уже видна. Скоро наступит ночь.

— Серко! Ты слuchаем не знаешь, где это мы? Не хочешь сказать мне, в каком направлении нужно бы нам пойти? Я заблудился. Ладно, слушай, заночуем здесь, а завтра вернемся обратно по своим следам, согласен?

Дмитрий Николаевич злится. На себя. Непростительно, говорит он сам с собою. Нужно было оставаться на тракте. Он же прекрасно знает, что сократить путь — обернется все равно, что хитрость простаку, это скорее удлиният, чем сократят расстояние. Стараясь выиграть время, тут-то его и теряешь. Вот сегодня как раз такой случай: день потерян!

Дмитрий не перестает сердиться. Пока небо мягко стелит по огромному белому пространству большую серую кисею, которая постепенно чернеет, он в последний раз обводит взглядом горизонт. Все безнадежно плоско, безнадежно пусто. Нет ни деревни, ни даже дома. Ни малейшего дымка, никакой жизни...

Казак сходит с лошади. Подумав какое-то время, он расседливает лошадь, растирает ей спину, обтирает ноги. Потом, петляя толстой веревкой, стреноживает его.

— Прости, меня, браток, — говорит он Серому, спутывая ему передние ноги. — Не могу пойти на риск здесь тебя потерять. Без тебя, старичок, я — человек конченый!

Со связанными ногами животное не может далеко, а в особенности быстро, уйти. Оно, однако, может передвигаться мелкими прыжками вроде игрушечной лошадки-качалки. Серко, во всяком случае, не выглядит так, будто его это стесняет. Он сразу принимается рыться в снегу и, прыгая с кочки на кочку, промышляет себе пропитание на какой ни на есть обед.

У его хозяина обед тоже весьма скучный. В недрах своей сумки он отыскивает два сухаря и кусочек сала. При такой езде этой еды совсем недостаточно. Если, по крайней мере, был бы способ развести огонь! Но в этой проклятой степи не растет ни одного дерева. Ни тебе ствола, ни ветки: нет ровным счетом ничего, что можно было бы разжечь.

Пешкову ничего более не остается, как попытаться соорудить себе уголок и там, свернувшись калачиком и укутавшись в медвежью шкуру, ждать рассвета...

Казак дремлет, но ему не удается заснуть. Его трясет от холода. Надеясь согреться, он встает, шагает туда-сюда, похлопывая себя по бокам.

Потом возвращается в свою нору. И остается там до тех пор, пока, вконец не залденев, опять не просыпается.

На этот раз зрелище, которое он застает снаружи, приводит его в форменный ужас. Снег! Легкими хлопьями начинает идти снег.

Он подбирает наспех вещи, бросает седло на спину Серому, который так и вскидывается от неожиданности, внезапно выведенный из дремотного состояния, в которое погрузился.

— Мигом бежим отсюда, — говорит ему сотник, развязывая путь. — Снег запорошит наши следы. Если мы не найдем дороги, сдохнем здесь, замерзнем прямо посреди степи. Давай, малыш, поторопимся...

В полной темноте он наощупь движется вперед, таща лошадь за собой на поводу и проклиная снег, мрак и холод.

Через два-три часа, что касается снега и мрака, ситуация улучшается. Снег перестает идти примерно тогда, когда совсем бледный, чуть брезжаший день начинает просыпаться. В самом деле, гораздо же приятнее ясно видеть перед собой... Между тем, видеть-то больше нечего! Снег полностью уничтожил все вчерашние следы. Степь — сплошная целина, и близна ее снежного покрова — цвета савана.

Что же касается холода, тут становится еще хуже. Пусть у Дмитрия сухая одежда, но он каменеет от мороза! Тщетно он шагает, спешившись, ему не удается согреться. Отчего такая ненормальность? Конечно, от усталости. Или от голода. Голод, усталость, холод! Сотник, как и все сибиряки, знает эти три неразлучные беды, это адское трио. Он останавливается. По всей степи нет движения. Царит смертельная неподвижность.

Что же теперь делать? Куда идти?

— Ты не знаешь? — спрашивает Пешков у лошади.

И гладит ее по шее. Под густой гривой он чувствует мягкую теплынь, зарывает в нее свое лицо.

— Тебе хоть не холодно. Так погрей и меня чуточку...

Какой-то предмет мешает ему, трет по щеке. Что там, а? Ах да, амулет! Талисман на счастье от старого тунгуса! Пешков трясет им в направлении неба и кричит:

— Изингу! Изингу, если слышишь, помоги нам!

Словно вдруг устыдившись своего поступка, казак опять прячет амулет в конских волосах, вынимает из кармана дородную иконку, которая там так все время и лежит, крестится и садится в седло, умиротворенный такого рода проявлениями веры.

Дмитрий пробует ориентироваться по солнцу. Но при таком тумане это дело нелегкое. Да и более того, не очень точное. Изморось в воздухе загораживает небо, застилает горизонт, сгущает атмосферу ледяным туманом, коварная влажность проникает под одежду и даже, можно поклясться, под самую кожу! Усы у казака покрыты катышками заледенелых капелек. Чтобы не окаменеть в седле, иногда он идет пешком рядом с Серко. Но теперь он быстро начинает чувствовать усталость. Ненадолго останавливается. Тогда начинает застывать кровь,

надо двигаться дальше. Он попадает в ужасное безвыходное положение. Мороз не дает ему остановиться, а крайнее изнеможение мешает двигаться вперед. Чтобы вырваться из этого адского круга, нужно бы поесть. Но что?

Сегодня, так же как и накануне, он не видит никакой дичи. Нет даже крысы, ведь и та могла бы оказаться для него спасительной. В низко нависаемом небе не видно ни одной птицы. Нет и дерева, он мог бы погрызть и коры, пососать корешок. Ничего! Степь — это пустыня, пустое пространство, огромная и бесполезная мертвая земля. Видимо, Господь Бог забыл об этом месте, когда создавал землю? — спрашивает себя казак, объятый внезапным гневом. На странного Господа Бога, на этот край, на обрушившийся на него какой-то рок. Почему вот уже скоро два дня, как он никого не встретил, не подметил ни одного знака, не разглядел ни одной тропки? В конце концов эта пустота, это уныние вызывают в нем чувство сильнейшей тревоги.

Чтобы развеять беспокойство, от которого то и дело ему перехватывает горло, Дмитрий вынимает из чехла карабин и как одержимый, не целясь, стреляет во все стороны. Растратив весь заряд, он кричит во всю глотку:

— Есть здесь кто-нибудь? Чертовщина, отвечайте! Отвечайте же наконец!

Серко с удивленным видом смотрит на своего спутника. Зачем столько шума? Лучше сохранять силы! Серко прав. Сигналы отчаянной тоски молодого человека, конечно же, не получают никакого ответа. А тишина, которая следует за его пальбой, за его воплями, кажется еще более мрачной. Да к тому же слабый серый день начинает склоняться к вечеру — скоро станет темно.

Теряя мужество, Дмитрий с трудом кладет винчестер на место в чехол. Медленными движениями он пытается сесть в седло. С трудом находят стремя. Обеими руками хватается за головку передней луки седла. Ему не удается вскочить. Много раз он еще пытается это сделать, скользит, падает под ноги лошади.

Серый юхает тело растянувшегося во весь рост хозяина. На лицо казака из ноздрей лошади попадает горячий воздух. Пешков с несчастным видом улыбается лошади.

— Мы заблудились, старина Серко! Но если мы здесь останемся, нам с тобой крышка! Ладно, помогай мне подняться.

Он хватается за его хвост. Лошадка тащит. Казак на ногах. Ценою некоторого усилия, которое вызывает у него на лице гримасу, ему удается сделать шаг. Потом другой. И еще один. Он опять пускается в путь.

Он не знает, в каком направлении нужно идти, но не все ли равно. Главное — это двигаться. Не давать морозу сковать себя, не дать суставам заледенеть. Остановиться — тут и сомнений нет, это значит умереть. Другого решения нет: нужно идти, идти...

И он идет всю ночь.

Казак движется как лунатик. У него крайнее истощение от голода. Он больше не чувствует ног. Веки не желают больше держаться открытыми. Опьяненный усталостью, он бредет, спотыкается, все-таки удерживается от того, чтобы рухнуть совсем. Голод, жестокий голод терзает ему желудок. Именно эта боль, может быть, и не дает ему заснуть.

Когда наконец рассветает, он более ничего не может делать. Он помирает от голода, падает от желания выпиться. Поесть! Поспать! Он чувствует, что долго не протянет. Чувствует, что вот-вот завалится. И он валился.

Пользуясь этим странным привалом, Серко останавливается, чтобы поискать себе хоть немного корма. Передними ногами он скребет по снегу, своей толстой верхней губой отбрасывает ледяную корочку, разрывает замерзшую кочку, выдергивает ее с корнями. Чтобы отряхнуть с нее землю, лошадка трясет головой, потом захватывает то, что остается в зубах, мощными челюстями и с жадностью жует. Серко заглатывает столько же снега, сколько и травы. Ну и что из этого? Это же наполняет живот!

Пока его конь лакомится тощей пористой растительностью, сотник пытается собраться с мыслями. Он знает, что если слишком долго залежится, встать уже не сможет. Тело застынет, потом застынет мозг, и это будет конец. И повторяет сам себе: не спи! Встань! Встряхнись!

Ничего не поделаешь: тело больше не подчиняется его воле. Это начало конца, он это сознает. Он знает неотвратимый процесс, последовательное действие голода, усталости и холода, этой чертовой троицы. Сопротивляясь, сопротивляясь до изнеможения. Потом слабеешь физически и морально. Защитные реакции одна за другой отказывают. Тогда постепенно человеком овладевает холод. Потихоньку пронизывает его. Устанавливается в нем. Мало-помалу леденит кровь, замораживает внутренности, парализует ноги, руки, мозговые оболочки. Потом — больше ничего. Кончено!

Пешков не хочет умирать.

Собирает последние силы. В последнем всплеске энергии ему удается облокотиться. Серый в нескольких метрах от него. Он мирно пасется. Дмитрий отупело смотрит, как он это делает. Не переставая есть, лошадка чуть наискось приподнимает хвост и теряет цепочку блестящих комочек навоза, плотные и круглые, они падают в снег и не разваливаются. С неким безумием в широко открытых выпукленных глазах казак пристально смотрит на дымящуюся кучку. Ему удается до нее доползти, он кладет в нее руку, с яростью и жадностью подносит навоз к посиневшему от мороза рту.

Такого рода еда дает ему силы сесть. Он все смотрит на лошадь, а та продолжает пастись, никак не смущаясь странностью того, что происходит рядом с ним. В глазах сотника блестит некий опасный огонек. Не покидая Серого глаза-

ми, он поднимается, вынимает из ножен свой кинжал и медленно подходит к нему.

Серко слегка вздрагивает: его хозяин только что разрезал ему шкуру? О, дело-то небольшое. Разрез едва ли в сантиметр и в хорошем месте, на шее, там, где проходит яремная вена.

Быстро побежала темно-красного цвета кровь. Пешков тягнется губами к ранке и высасывает сначала литр, потом второй горячей густой жидкости.

Мужественная лошадь не дрогнула. Правда, для нее такое незначительное кровопускание вполне безболезненно. А на ее спутника оно производит чрезвычайное действие, почти чудотворное. После такого кровопийства Дмитрий будто заново родился, будто вернулся к жизни. Вдруг его охватывает мягкое тепло. На скулах опять расцветает румянец, и это придает его лицу, заросшему многодневной бородой, почти человеческий вид. Опять начинают двигаться его суставы.

Для того, чтобы остановить кровь, Дмитрий сближает обе стороны ранки, скальвает их иглой, вокруг которой он восемь раз наматывает кончик нитки. Скоро кровь перестает течь. И ранка быстро заживает.

Дмитрий благодарит коня, который еще раз пришел ему на помощь. Начинает глубоко дышать. Неожиданно замечает, что погода-то сильно изменилась. Небо стало гладко голубым. Большое бледно-желтое солнце светит с горизонта, где длинный ряд зубцов каких-то строений указывает на то, что там раскинулся город.

К полудню Дмитрий Николаевич и Серый входят в пригороды населенного пункта, который производит впечатление большого города. У сотника совсем дикий вид, и он обращается к первому встречному мужику, старику с очень морщинистым лицом и большой окладистой белой бородой:

— Эй, старик! Как называется этот город?

— Да что ты, казак, аль с луны свалился? — спрашивает его крестьянин, и насмешливые глаза его лукаво моргают. — Видно, ты нездешний! Если ты и город этот узнать не силен, чего тебе тогда здесь надо? Здесь ты в Омске. Всего только-то! Из какой дыры ты вылез?

— Из ада вернулся, дедуля!

Старик так и стоит с открытым ртом и вдруг уходит, что-то бурча себе под нос и трижды крестясь.

Пешков, как стоял, так и идет прямо вперед. Пустые глаза, отросшая борода придают ему свирепый вид. Прохожие сторонятся его, но сам он этого не осознает. Его преследует единственная мысль: поесть. Или скорее поспать. Поесть-поспать? Поспать-поесть? Он и сам не знает. Ему не удается хоть в какой-то мере упорядочить мысли в голове, а его воля будто затормозилась. Он шагает чисто автоматически, не ведая, куда идет. Знает одно: идет поесть и поспать, поспать и поесть.

По мере того как он приближается к центру города, движение вокруг усиливается. Туда и обратно среди увеличивающейся сутолоки снуют всякого рода кареты, повозки, и от этого в конце концов у казака начинает кружиться голова, ведь он еще совсем одурманен двумя днями и двумя ночами дикого одиночества, молчания и испытаний... Он вынужден остановиться. Все-таки прийти в себя.

— Простите, не укажете ли вы мне какой-нибудь постоялый двор? — удается ему произнести.

Изящная дама, к которой он обращается, не успевает ответить ему, как Серый издает резкое и продолжительное ржание. Он углядел по другую сторону улицы восхитительную повозку, полную чудесного корма: сено перевешивается через дощатые стенки, торчит со всех сторон. Зрелище слишком соблазнительное. Выдергивая поводья из рук хозяина, Серко кидается через улицу, невзирая на движение, и погружает голову в огромную кучу сена.

Серко перерезал дорогу нескольким кучерам, те вопят ругательства, в создавшейся толчее прохожие тоже ругаются, а хозяина повозки душит злость при виде того, как все его сено буквально исчезает в пасти изголодавшейся лошади.

Никакого внимания не обращая на вопли вокруг себя, она все пожирает сено с воза, и вскоре равновесие повозки нарушается. Серый рвет зубами большие куски, отчего скользит на дорогу все остальное нагромождение божественного лакомства, и тут он с веселой легкостью продолжает его уничтожать прямо с земли. Разъяренный крестьянин спрыгивает с кнутом в руке со своей повозки и принимается с силой стегать кнутом по крупу воришки. Серый лягается, но ни за что не прекращает еды. Продолжает есть и есть. Тогда хозяин повозки хлещет его по голове.

Такого уже нестерпеть. Дмитрий подскакивает, отталкивает дрянного скрягу, а тот немедленно тем же кнутом замахивается и на него. Тогда казак обретает всю свою силу и соображение, он вырывается кнутовище из рук врага, оба катятся по земле, в грязи, в снегу... и в сене. Вокруг них собирается толпа. Наконец-то Серко может спокойно поесть. Обжора пользуется случаем и до отказа набивает себе брюхо.

Привлеченный шумом наряд коннополицейской стражи прибывает вовремя, в тот самый момент, когда свара начинает оборачиваться плохо для Дмитрия. Полицейские растаскивают дерущихся и, выслушав бурные протесты крестьянина — вполне оправданные, Пешков признает это и приносит извинения, — решают забрать виновного в нарушении общественного порядка. Нужно же его научить, как вести себя в городе.

Здесь — не просто какой-то там город. Омск — место необычное, это столица Западной Сибири. Менее населенный, чем Томск, конечно. Менее красивый, чем Иркутск, может быть. Менее богатый, менее торговый. Но все-таки столица.

Нужно, чтобы здесь был порядок.

— Ну-ка, давай! В часть его!

Это говорит частный пристав, он — немного ворчун, но вид у него не такой уж злой. Он любит побурчать, но это скорее для того, чтобы подальше упрятать природное радушие, исходящее от всей его объемистой фигуры.

Он ничего не понимает из истории, в которой не сходятся концы с концами и которую бессвязно и скорее звукоподражательно рассказывает ему этот небритый сотник, засыпая на стуле прямо перед ним. Что-то казак там намешал про лошадей, которых забивают, про царя, которого обманывают, про бандитов, которые его преследуют...

— Пусть идет бредить в камеру! Допросим, когда пропретзвеет. Пошел!

Минуту он еще думает. Потом произносит к сведению двух полицейских, когда они уводят арестованного:

— Дайте ему одеяло. И поесть чего-нибудь.

Одним глотком Дмитрий заглатывает сразу всю круглую буханку хлеба и кружку чаю.

Затем, словно сраженный молнией, он просто падает с ног.

Спит он так долго и так глубоко, что ночью охранники ходят проверять, не помер ли он там. Но нет, дышит он очень хорошо.

На следующее утро два других полицейских приходят на смену. Толстый пристав приказал им привести арестанта¹. Но с ним ничего не поделаешь, они тщетно пытаются ему что-то объяснить, трясут его, он дрыхнет без просыпу.

¹ В этой сцене предоставляется возможность показать то, чего мне не удавалось сделать в полной мере, то есть, невероятную «людскую фауну» России XIX века. Мне представляется, что Пешков был заключен в одиночную камеру, но ведь вполне можно было бы вообразить, что его бросили в большую общую камеру, переполненную всяким сбродом вроде пьяниц, воров, бродяг, всякого рода злоумышленников. В камере темно и стоит вонь от мочи. По одну и по другую стороны от центрального прохода — вместо кроватей для заключенных сооружены деревянные нары. Вместо матрацев там брошена кишащая насекомыми жалкая солома. Дикие рожки пьяниц, взъерошенные, взлохмаченные волосы, по которым ползают вши, грязное отрепье нищих бродяг — потрясающее зрелище; двор чудес, да и только!

Показать нужно и все невероятное людское скопище, которым заполнен большой тракт, и не только тюрьмы, но и почтовые станции, где кучера составляют каству живописного люда, более или менее подозрительные трактиры, где проститутки оказываются рядом со светскими дамами, а фигляры стараются развлекать публику, путников: переселенцев по принуждению или добровольных, военных, направленных в командировку, или отпускников, монахов и паломников (иногда с физиономией висельника), нищих, торгащей, разбойников, купцов или контрабандистов...

Нужно показать свирепые лица, недоверчивые глаза, пугающие бороды, подстриженные под горшок густые волосы с четко видным пробором посередине...

Нужно показать их шапки, фуражки, колпаки всех видов и всех форм. Их одежду, лохмотья, в которые обряжен мужик, грубые рубища, подвязанные простой бечевой; войлочную обувь, а то и лыковую, зашнурованную до колен на огромных носках...

Они стаскивают с казака валенки, толстые валяные войлочные валенки, под которыми у него надеты мягкие сапожки из оленьей кожи, и те они тоже сдирают с него без всякой обходительности, но все это, впрочем, нисколько не мешает ему спать. Полицейские посмеиваются, так как под сапожками они обнаруживают еще толстые шерстяные носки, а под ними — полотняные портянки.

— Всю кожуру счистили? — спрашивает один полицейский у другого, который нарочито затыкает себе нос, думая при этом, что изобрел большое новшество в комической мимике и жестах.

Только тогда, когда полностью разматывают его портянки, Дмитрий начинает просыпаться. Но тут же быстро поворачивается на бок и опять сворачивается.

— Ну ты, казак, здесь тебе не постоянный двор. Здесь не место допоздна валяться. Ну-ка, встать! Начальство тебя желает видеть!

Смысл этих слов долго добирается до спящих нейронов сотника. Когда же, по прошествии нескольких секунд, он наконец проникает в его сознание, Дмитрий вскакивает. Словно чертик выскочил из своей коробочки, казак рывком выпрямляется, таращит глаза со всклокоченной головой.

— Начальник тебя спрашивает, — повторяет один из полицейских.

Дмитрий наспех ставит голые ноги в валенки и идет за сторожами по лабиринту темных коридоров, пытаясь на ходу привести в порядок мундир и прическу.

Кругленький пристав-шутник встречает его с широкой улыбкой.

— Ну что, сотник? Уже проснулся?

Потом, словно бы для того, чтобы прикрыть свой приступ радужия, он принимает как можно более суровый тон, приказывает Дмитрию сесть и тогда спрашивает:

— Ваша фамилия Пешков, так что ли? Дмитрий Николаевич Пешков?

— Так точно, господин частный пристав. Я сотник Благовещенского казачьего полка.

— Дезертир, что ли?

— Нет, совсем нет, — протестует молодой человек, вытаскивая из-за пазухи вместе с тунгусским и бурятским своими защитными амулетами кожаный мешочек, в котором находятся все его документы. Вынимает оттуда аккуратно сложенный вчетверо лист. — Вот, смотрите, вот моя увольнительная, документ в полном порядке.

— А винчестер, он тоже в полном порядке?

— Я купил его у одного американского торговца оружием...

— Нет, молодой человек! Вы обменяли его у одного спекулянта на ворованные меха.

Толстый полицейский лучится счастьем от того эффекта, который ему удается произвести своими словами. И прибавляет:

— Конфискую его у вас.

Потом, после продолжительного молчания, во время которого он старается еще больше сдвинуть брови, он говорит лающим голосом, хотя ему и не удается показаться по-настоящему страшным:

— Ладно, прочь! Вон отсюда и поживее! И с вашей грязной клячей! Никогда такой стервы видеть не приходилось. Вон отсюда! Даю вам 24 часа для выезда из города. Брысь!

— Спасибо, господин частный пристав.

— Благодарите лучше своих дружков, сотник, они-то мне и пояснили, кто вы, да просили меня вас освободить.

— Моих дружков? Каких еще дружков?

Полицейский зовет дежурного.

— Впусти сюда тех двоих.

Дмитрий инстинктивно пятится при виде того, как в кабинет входят эти подонки, Григорий с Федором.

— Вроде бы ты не доволен, что нас видишь? Вот уж неблагодарный. Тебя из каталажки вытягивают, а ты морду воротишь?!

— Ты, однако, видишь, мы тебе хотим помочь. Мы не злопамятные. Ты нашему дружку Алексею колено разбил, но мы на тебя не в обиде.

— Жалко, ты шуток не понимаешь. Лексей-то только и хотел побалагурить. Теперь ему не до смеху. Ты все-таки больно прыток, казак.

— Но что было, то сплыло. Ты должен понимать, мы тебе только хорошего и желаем. Ты хотел от нас подальше пройти, обогнул Усть-Тарку-то? Некорошо это.

Федор и Григорий идут по обе стороны от Пешкова, а тот шагает широким шагом, ведя за собой своего коня. Молодой офицер накален добела. Он вот-вот взорвется, но все же сдерживается. Старается не отвечать этим двум скотам, которые взялись его изводить. Он ненавидит их тон, одновременно сладенький и ироничный. Если они и дальше будут вот так говорить, он надает им по грязным мордам.

— Ладно тебе, казак. Развеселись! Господин Буварин нам сказал, чтобы мы с тобой были только по-хорошему, так ты видишь, мы с тобой вежливо говорим. Вот и ты нас слушай.

— Господин Буварин очень щедрый. Он подумал. Сказал, что не стоит с тобойссориться. Сказал, лучше будет нам с тобой говориться.

— Вот и лады. Он говорит, ты хорошо знаешь лошадей, вот и мог бы ему помочь в его работе.

— Сколько ты там деньжат-то получаешь с твоим офицерством? С господином Бувариным у тебя, может, в десять раз больше будет на хлебушек. Есть работка официальная, а потом

идут делишки, чтобы жалованье-то округлить. Видишь, что желаю тебе сказать: разные там меха, винчестеры, все эти штучки, чего там.

— Да и потом, с таким покровителем, как князь Корсаков, входящий к самому государю, тебе уже не о чем будет беспокоиться. А он — большой друг господина Буварина, этот князь Корсаков.

— Да он у него на крючке, этот князь! Имея такое знакомство, как сам управляющий по делам пополнения конским составом императорской армии, можно дела проворачивать. Как ты думаешь, а?

Дмитрий ускоряет шаг. Он мечет громы и молнии. Соблюдать спокойствие, говорит он себе. Но нет, это уже сильнее его. Он не может больше терпеть. Резко останавливается, поворачивается лицом к обоим бандитам и выплевывает им в лицо всю свою ярость:

— Банда подлецов! Гниль поганая! Оставьте меня в покое! Прочь от меня. Уже попробовали меня убить, теперь стараетесь купить? Оставьте при себе ваши грязные гробы и скажите нашему грязному хозяину и его грязному Корсакову, что я на них плевать хотел! На него работать? Никогда! Слышиште? НИКОГДА! И хватит, дайте пройти, убирайтесь! Убирайтесь, говорю вам, пока не стал в вас стрелять.

Вконец потеряв терпение, Дмитрий вынимает из чехла револьвер.

— Не корчи дурака, казак. Легавые тебя опять заберут, и мы тебя уже не вытянем.

— Ладно, ладно, хорошо. Мы от тебя уходим. Но подумай-поразмысли еще малость. Мы еще поговорим. Мы точно еще увидимся, казак...

— За царя! — бросает Федор перед тем, как уйти.

Пешкову необходимо некоторое время, чтобы успокоиться. Он продолжает мерить шагами улицы города в состоянии крайнего возбуждения. Вдруг он вспоминает о том, что он, собственно, ищет: постоянный двор! Умыться, восстановить силы, успокоиться, подумать...

И уехать, ибо время подгоняет.

Ему указали на гостиницу в двух шагах от него. И это было даже лучше, чем гостиница, целый дворец. Прихожая и большая гостиная освещены — Дмитрий никогда еще не видел такого! — электричеством. Да, верно, говорит он сам себе, Омск заслуживает своего ранга столицы!

Он чувствует себя немного не в своей тарелке в роскошных хоромах этого заведения. Не то, чтобы он стыдился своего вида, сейчас он похож на бродягу, или боялся, что его запашок не понравится здешней начищенной прислуге. Вовсе нет: он просто задает себе вопрос, хватит ли ему денег потом расплатиться. Но нет у него больше ни желания, ни сил искать что-то другое.

Ему только и нужно, что чуточку себя взбодрить. И он даже не спрашивает о цене.

— Дайте мне комнату.

Услужливо согбаясь перед ним, изысканный швейцар спрашивает у молодого офицера в лохмотьях, где можно взять его вещи.

— Я сам этим займусь, благодарю, — поспешно отвечает казак. — Покажите, где у вас конюшня. И баня. Вот и все.

Конюшня здесь тоже очень пышная. Стены выкрашены в белый цвет, пол выложен кирпичом и тщательно выметен. Пешков ставит своего коня в огромное вроде целого загона стойло, где по полу разложена солома до колен. Кормушка наполнена прекрасным душистым сеном. Серко счастлив.

Баня, красивый бревенчатый домик в глубине парка за гостиницей, прячется за хвойными деревьями.

— Березовый веник не желаете? — заискивающе спрашивает услужливый лакей, провожая его к бане.

— Обязательно! — отвечает Дмитрий. — Принеси-ка мне еще и кусок мыла!

Казак открывает дверь в баню. Мгновенно его охватывает мягкая и влажная теплынь, которая уже чувствуется в раздевалке. Дмитрий раздевается и в чем мать родила (он даже снял свои амулеты) проходит в соседнюю комнату, где камни уже нагреты докрасна. Он бросает на них несколько шаек воды, поддает пару, и это явно переполняет его удовольствием. Лицо у него вдруг смягчается, и на нем светится восхищенная улыбка. Баня! С каких же пор он о ней мечтал?

Лакей принес все, о чем его просили, и Дмитрий мылся, обливается из шайки, моется еще и трет себя до тех пор, пока под его пальцами не перестают скатываться маленькие катышки лишней кожи. Чудесное ощущение, когда отделяешься сразу и от грязи, и от забот. Превосходно — сразу очиститься и телом, и духом... Молодой человек чувствует, как им овладевает приятное оцепенение, смакует его, ложится на лавку, закрывает глаза и предается в некотором роде блаженству.

Проходит двадцать минут, он вдруг встает. Красный как рак, выходит из парилки, останавливается в раздевалке. Секунду размышляет, потом кидается наружу — все так же, нагишом.

Бросается в снег, катается по нему, валяется, встает и опять ныряет в баню, где принимается с силой стегать себя принесенным ему березовым веником.

Дмитрий чувствует себя обновленным. Гладко бреется и надевает чистое белье, и, когда выходит из баньки, весь он — будто новый человек, чувствует себя в чудесной форме, но умирает с голода.

По дороге в столовую в огромной передней Дмитрий замечает силуэт великолепной женщины-брюнетки. Вовсе не думая опускать глаза, когда их взгляды встречаются, дерзкая женщина

выдерживает взгляд молодого казачьего офицера, который, по правде сказать, никогда не был таким красавцем, как сейчас. И никогда ему еще не удавалось так хорошо прочувствовать, как березовый веник напоил его кожу свежим и легким ароматом.

Пешков выбирает столик, откуда он может наблюдать за тем уголком, в котором находится прелестная особа. Он чувствует ее присутствие, но не осмеливается показать ей свой интерес, делает вид, что весь поглощен изучением меню. Поверх большого листа бумаги с меню, который он держит в руках, он осторожно бросает взгляд. Молодая женщина с черными как уголь глазами пристально смотрит на него. Она и впрямь великолепна. Чуть вульгарна, может быть, но как раз настолько, чтобы выглядеть еще более соблазнительной.

Ее ярко накрашенные губы слегка складываются в тайную улыбку. Густые черные волосы лежат по плечам, на которые наброшена цветастая шаль.

Вроде цыганки, думает Пешков и, со своей стороны, посыпает ей улыбку и едва заметно дает понять, что приглашает ее подойти и сесть рядом с ним.

Взгляд девицы отнюдь не холоден, и это самое меньшее, что можно сказать. Ни секунды не раздумывая, она подходит к столу сотника, тот встает, склоняется и целует ей руку.

— Не желаете ли отобедать со мной? — произносит он как большой господин, просто избегая спрашивать себя, каким образом он будет расплачиваться за все это роскошество.

— С удовольствием, господин сотник, — отвечает она, и между ее полными и красными губами мелькают зубы сияющей белизны. — Меня зовут Галина, — прибавляет она, усаживаясь.

— А меня Дмитрий Николаевич. Еду из Амурского края и направляюсь в Петербург. А вы, Галина, вы здешняя? Живете в Омске?

— Нет. Родилась в Покровском, в деревушке больше чем за пятьсот верст отсюда, между Тюменью и Тобольском. Поняли, где это? Мой отец лошадьми торговал. У него страсть была к лошадям. Как и у вас, думаю.

Удивленно и вопросительно Пешков смотрит прямо в лицо брюнетке. Черт возьми, как же она красива! Особенно глаза. Вот это взгляд! Обжигающий, живой, острый, будто пронизывает.

— А как же это вы знаете, что я люблю лошадей, Галина?

— Я знаю много вещей, сотник! Догадываюсь, чувствую. Например, знаю, что вы спрашиваете себя сейчас, не попали ли вы в лапы цыганки. Так вот нет, я не цыганка, не татарка, не турчанка, не черкеска. А просто-напросто русская. Фамилия моя — Распутина.

— А, распутница? Или как еще, распутица?

— Нет, Дмитрий Николаевич. Со мной уже так сто раз шутили. Галина Максимовна Рас-пу-ти-на. Я не бродячая цы-

ганка и не гадалка. Просто Бог дал мне дар понимать то, что многие не понимают, и видеть то, чего многие не видят.

— А что вы сейчас видите, Галя?

— Вижу, что вы помираете с голоду и что среди всех ваших забот (а сейчас у вас их выше головы!) самая первая — это решить, что выбрать из меню. Так что же вы предложите мне на обед, Дмитрий Николаевич?

Такая смесь женственности и дерзости с апломбом, манера сразу очаровать и самоутвердиться производит сильное впечатление на сотника. Эта девица умеет заворожить. Ее манера себя вести, разговаривать, улыбаться соблазняет его и вместе с тем заинтересовывает. Она очень притягательна. Пешков скорее желал бы отдаваться ее воле, передать ей инициативу.

— Выберите за меня, Галина, прошу вас.

— Хорошо, Дмитрий Николаевич.

Серьезный, как служащий похоронного бюро, метрдотель записывает заказ, отвечая на вопросы молодой женщины.

— Да, госпожа, у нас есть икра. Нет, госпожа, наш повар не здешний, он француз. Да, госпожа, мы можем быстро вас обслужить.

Галина выжидает, пока он не отойдет достаточно далеко, и шепотом спрашивает у сотника, который восхищенно и весело любуется ею:

— Скажи мне, Дмитрий Николаевич (позволишь мне на ты?), как же ты, объясни, будешь расплачиваться за такой обед? Ведь я догадываюсь, у тебя ни гроша в кармане. Что, ошибаюсь? Ты улыбаешься. Рассчитываешь, авось, повезет. Ты прав, сотник, тебе очень везет. Но не слишком злоупотребляй этим. Не тяни слишком сильно за веревку. Тебе еще много потребуется удачи, чтобы удалось тебе хорошо выполнить то, что ты задумал. Тебе еще будут вставлять палки в колеса. Ты еще будешь рисковать жизнью.

— Но выпутаюсь, Галя? Отвечай мне! Выйду сухим из воды?

— Не знаю, Дмитрий Николаевич. Еще не совсем хорошо это чувствую. Не вижу еще ясно... Давай поедим!

Обед плотный, обильный. Прекрасная вещунья заказала пир горой. Пешков наслаждается. После очередного блюда он обтирает хорошо подстриженные усы белой салфеткой размечтом почти со скатерть. Мелкими глотками он пьет чудесный китайский чай, поданный в стаканах, которые, чтобы не обжигать себе пальцев, вставлены в подстаканники с ручкой из резного тонкого серебра.

— Ты меня смущаешь, Галя. Ты колдунья.

— Нет, Митенька. Не колдунья, не ворожея я. Бог дал нашей семье разные умения. У меня есть младший брат, Григорий Ефимович, вот тот делает невероятные вещи, прямо чудеса. Ему ровно 18 лет, а уже вылечил многих больных. Это

не колдовство, нет, это воля Божия. Мой брат именно хочет стать монахом. И станет. И будет великим монахом. Слух о нем пойдет даже за границы империи!

— Верю тебе, верю тебе, Галя, — спешит ответить молодой сотник, пораженный внезапной горячностью своей подруги по застолью, в глазах которой он замечает, как разгорается пламя, — оно и пугает его, и влечет.

— Дмитрий Николаевич! — вскрикивает она внезапно, хватая его за руки. — Осторожно! Чувствую очень большую опасность. И очень близко. Не для тебя самого, нет. Для твоей лошади. Митя, сделай что-нибудь, спеши, твоя лошадь того и гляди умрет.

Казак так неожиданно вскакивает, что роняет стул. Бросая салфетку на стол, он роняет еще и графинчик, который катится со стола и, падая, вдребезги разбивается, а между тем молодой человек уже далеко, бежит сломя голову к конюшням.

Галина, будто обессилен, остается сидеть на своем месте, устремив глаза в никда.

Ворвавшись в конюшню, сотник Пешков замечает первую странность: две человеческие фигуры лежат или корчатся — он не очень хорошо может разглядеть — прямо посреди главного прохода. А быстрый взгляд в сторону стойла, где стоит Серый, усиливает его беспокойство еще одной странностью: в стойле пусто!

От валяющихся на полу людей слышатся стоны, вернее, причитания. А получше присмотревшись к ним, он тут же и узнает их.

— Нет! Это же никакого сноса нет! — восклицает он. — Опять вы! Что вы тут еще учинили, Бог ты мой?

Григорий склонился над Федором, а тот держится за левое колено, стяная как ребенок. Услыхав голос казака, оба вздрагивают.

— А, твоя чертова кляча! — рычит Григорий. — Вот стерва, вот чума эдакая! Смотри, нет ты посмотри, что она натворила! Она разбила колено моему дружку. Это же надо такое!

— Что это вы здесь прилипли к моей лошади, а? Первоначально, где конь? Что вы с ним сделали? Отвечай, жулье скваченное!

Дмитрий вконец разнервничался. Он берет Григория за ворот и грубо трясет. Не может он справиться со своим гневом, со своей тревогой.

— Да ничего! Пусти меня, здесь твоя кляча, пусти, говорю, отстань от меня...

— Как это здесь? Ты же видишь, в стойле пусто.

— Да там не пусто. Твой осел там валяется, только и всего.

Казак тут же отталкивает бандита, кидается к стойлу, распахивает дверь. Серко там в самом деле лежит на соломе.

Издали Дмитрий не мог его увидеть за перегородкой, у которой весь низ кирпичный.

Серый тихо поворачивает голову к хозяину, и по глазам его видно, что его лихорадит.

— Что с тобой, браток ты мой? — спрашивает Дмитрий, присаживаясь на корточки около коня, а тот дышит с трудом.

Конь явно страдает, он завернулся голову и уперся ноздрями себе в бок. Уши у него горячие. Ему плохо. Вдруг он встает, бьет себя по животу задними ногами, поворачивается на месте, опять ложится.

Пешков выходит из стойла и без церемоний хватает за полушубок Федора, тот с разбитым коленом корчится от боли, лежа на кирпичной кладке пола.

— Говори, мерзкая твоя душонка, ну-ка, рассказывай, что сделали? Объясняй, как это случилось.

— Ай! Больно мне, пусты. Вот, хотел я дать твоей лошади чего вкусненького, вошел в стойло, а он не дал мне оттуда выйти. Зажал меня около кормушки и там вот дал прикурить, сволочь поганая. Ай! Вон колено мне разбил.

Дмитрий бросает раненого, тот опять падает на пол, вскрикивая от боли. Казак идет проверить, что лежит в кормушке: она еще наполовину наполнена овсом. Дмитрий горстью забирает корм. Долго принюхивается. От корма исходит странный запах.

А лошадь все продолжает свои беспорядочные движения: то встанет, то ляжет, то опять встанет. Дмитрий просит ее какое-то время не двигаться и прикладывает ухо к ее боку. Ничего не слышно. Это плохой признак.

— Банда мерзавцев, что вы ему дали? У него резкие колики в животе. Хотели отравить? Предупреждаю: если он сдохнет, я вас убью. Так, а теперь смытайтесь, понятно? У меня дел много. Мне без вас спокойнее. Убирайтесь подальше!

— Подвезло тебе, казак! Мне вот теперь вышло приятелем заниматься. В следующий-то раз займусь тобой! — бросает ему Григорий и уходит, поддерживая беднягу Федора, который может идти, только прыгая на правой ноге.

Сотник барабанит в дверь дежурного конюха, но из этого особого результата не выходит, так как добрый человек глух как тетерев.

— Мой конь заболел! Быстро показывай, что у тебя за лекарства, инструменты.

Конюх ничего не понимает из того, что этот бесноватый ему говорит, — свалился вот на голову и дышит прямо в лицо.

— Ась? Чего тебе?

— Давай, давай, старик, поторопливайся! — рычит Дмитрий. — Если сейчас же ничего не сделать, ему не выжить.

— Нет, нет, я еще не кормил твою лошадь, — отвечает конюх, так еще ничего не понимая из того, что происходит.

Тогда казак его отстраняет. Только что он заметил в глубине каморки конюха полки, подходит к ним и находит там расставленные в строгом порядке бутылки, банки, коробки, пинцеты, бинты, шприцы и другие ветеринарные приспособления.

Всяческих размеров сосуды с аккуратно выведенными надписями: скапидар, марганцовка, какая-то настойка, глицерин, окись цинка, железа, меди, мазь для ног, камфара, деготь, еще настойка...

— Черт-те что! Все есть, а чего надо, так нет! А, вот. Вот оно, вазелиновое масло.

Дмитрий хватает банку, в которой пять-шесть литров лекарства. В полном возбуждении он возвращается к конюху и кричит ему в ухо:

— Трубку резиновую! Нет у тебя трубки? Все равно какой. Поливальный шланг...

Глухарь наконец расслышал.

— Да, да! Там в поилке, в конце конюшни.

Сотник бежит туда со всех ног и действительно находит то, что ему требуется — кусок шланга в полтора-два метра. Он нюхает его, промывает большой струей воды, продувает, — вот теперь хорошо. В ведро, которое здесь же валяется, он наливает два полных литра вазелинового масла и несет в стойло, где Серый, которому становится все хуже и хуже, лежит во всю длину с потухшими глазами, оскалив зубы между приоткрытыми губами.

— Сдох, что ли? — спрашивает конюх, который и сам заинтересовался, присеменил за казаком трусцой.

— Да нет. Видишь же, дышит. Ну вот, браток, — говорит он, вставая на колени на солому. — Теперь бы тебе встать. Прочищу тебе желудок. Увидишь, потом тебе получаст...

Словно поняв то, о чем его просит хозяин, Серко поднимает шею, вытягивает передние ноги, потом сильным толчком задних ног встает.

Дмитрий гладит его по хребту левой рукой, а правой в это время вводит ему шланг в правую ноздрю. Серко не двигается. Хорошо, можно продолжать. Казак проталкивает трубку. Вот вошло десять сантиметров, вот еще десять, и еще десять. Лошадка стоически ждет, когда это кончится. Трубка продолжает углубляться. Стоп! Что-то не пускает. Вот отсюда нужно больше осторожности. Здесь у Серко раздвоение. Главное, нельзя ошибиться. Рядом находятся входы в трахей и в пищевод!

Пешков двигает трубкой с большой осторожностью, — еще чуть-чуть проталкивает. Вышло! Трубка пошла по нужному направлению, четко видно, как она проходит вдоль яремной вены, слева.

Теперь остается только влить вазелиновое масло из ведра в желудок. Для этого достаточно опустить конец трубки в жидкость и держать ведро на нужной высоте. По принципу сообщающихся сосудов, без лишних теорий все идет хорошо!

Когда ведро пустеет, молодой человек осторожно вынимает трубку из ноздри мужественного Серко, который так и не сдвинулся ни на миллиметр:

— Кончено, приятель! Теперь только потерпим! Должно помочь.

Начинается бесконечное ожидание.

Чтобы убить время, сотник выбрасывает из кормушки отправленный корм и чистит ее щеткой. Потом моет ведро и шланг, ставит на место банку с вазелиновым маслом и сilitся даже завязать разговор с конюхом.

— В таком деле одна есть опасность — трубку направить не так. Понимаешь, если ты запустишь вазелиновое масло в трахею, зальешь все легкие, и лошадь готова. А вот через пищевод, наоборот, все прямехонько пройдет в желудок и там все хорошенько смажется!

— Нет, нет, — отвечает ему конюх. — Это не я, я еще ему не давал корму. Понятия не имею, кто же это сделал...

Молодому человеку это надоедает, он отходит от конюха, оставляя его со своей глухотой, бросает взгляд на свою лошадку, ходит туда-сюда, долго стоит, облокотившись о перегородку стойла.

Серко неподвижен. Уши у него обвисли, глаз тусклый, шея тоже опущена.

Но через какое-то время становится слышно, что у него в брюхе начинает бурчать. Звук все усиливается, учащается. И чудо в конце концов случается: Серко поднимает хвост чуть в сторону. Маленькое отверстие заднего прохода расслабляется, разжимается, открывается и выпускает длинную цепь навозных комков. Первые — черные, твердые как камень. Следующие — бежевого цвета, мягкие и блестящие.

Затем брызжет желтый и жидкий фонтан, течет между ног, грязнит ему щетки. Зрелище нельзя назвать приятным, но, однако, оно радует казака до того, что он с облегчением принимается отплясывать. Серый тоже облегчен и теперь выглядит веселее, живее, почти радостным.

Он спасен.

Когда Дмитрий Николаевич опять входит в гостиницу, он с сожалением понимает, что Галина исчезла. Ему и сомневаться не приходится: так не покидают на целых два часа красивую женщину без риска ее потерять...

Итак, ему ничего не остается, как идти спать.

Его комната тоже снабжена электрическим освещением. Дмитрий, как ребенок, принимается забавляться с грушей, которая служит выключателем. Зажигает, выключает, зажигает, выключает: чудо какое-то!

Мебель — княжеская. Простой казачий офицер такого еще никогда не видел и теперь — в полном восторге.

На круглом столике фарфоровая конфетница полна шоколадок, он принимается их есть, одну за другой, прохаживаясь по комнате, заглядывая во все углы, гладя бархатные занавески, садясь на стильные стулья, на один, на другой. Наконец направляется к кровати, покрытой огромным пуховым одеялом.

Только сейчас, на этом уютном ложе Дмитрий внезапно чувствует усталость и то, до какой степени ему необходимо спать. Он садится, зевая, снимает сапоги, стаскивает одежду и резким жестом отдергивает одеяло.

Под толстым пуховиком, улыбаясь, лежит обнаженная, совершенно нагая прекрасная Галина. Она сияет. Дмитрий смотрит, раскрывши рот, словно перед ним видение Непорочного Зачатия.

Но вместо того, чтобы упасть на колени и перекреститься, как положено добруму христианину перед чудом, он так и цепенеет на месте, любуясь, вытаращив глаза, этим великолепным телом. Черная грива волос выглядит еще более черной из-за молочного цвета лица. А эти черные как уголь глаза, пылающие губы — столько огня! И такая ледяная белизна... Как же тут не смутиться?

Полупрозрачная, почти просвечивающая насквозь кожа так тонка, что видны голубоватые вены, особенно на грудях, а груди — цветущие, они трепещут и кажутся нежно-хрупкими.

Дмитрий не осмеливается смотреть ниже гладкого живота, туда, между длинными ногами, которые она так бесстыдно раздвинула. Это же грешно. Он отворачивается.

— Что ты здесь делаешь?

— Да жду тебя, дорогой, — отвечает она ему, притягивая его к себе.

— Что это ты? Ненормальная! Что же это делается?

— Распутница, казак! Или распутица... Галина Максимовна Распутина!

И оба падают навзничь, заливаясь хохотом. То, что происходит потом, — никто того не расскажет, так как Дмитрий предпочитает погасить свет и спрятать под атласной простыней все свои «фокусы»...

На следующий день, утром, когда, насвистывая, он направляется в кабинет к управляющему, чтобы узнать, сколько же ему придется платить, Дмитрий — сама беззаботность. За душой у него нет и гроша ломаного, но его красавица ясновидица заверила казака, что задача разрешится сама собой.

— Ваш счет уже оплачен, господин Пешков, — говорит ему торжественным тоном управляющий гостиницей.

— Оплачен? Но кем?

— Да вот сегодня с раннего утра ко мне зашел корреспондент газеты «Новое Время», попросил ваш счет и оплатил его,

господин Пешков. Да сказал, что подождет вас в вестибюле, вы, значит, с ним не встретились?

— Так ведь я-то его не знаю, господин хороший!

— Ну так за чем же дело стало, господин сотник! Я приведу вас прямо к нему. Будьте любезны, пойдемте со мной...

Репортер едва ли старше сотника. У него приятное лицо с тонкой ниточкой шатеновой бородки. В общем, Дмитрий находит его приятным, хотя немного бесцеремонным и нагловатым.

— Здравствуйте, господин сотник! — бросает он, тут же вскакивая со своего кресла. — Восхищен, что знакомлюсь с вами! То, что вы делаете, совершенно неслыханно. Вы потрясающая личность! Приношу вам мои поздравления! — добавляет он и хватает Дмитрия за руку, порывисто трясет ее.

— Вы хотели поговорить именно со мной? Вы уверены, что не ошибаетесь?

— Это же именно вы, сотник Дмитрий Николаевич Пешков из амурского казачьего полка? Именно вы выехали из Благовещенска 7 ноября, поклявшись, что проедете еще дальше, чем корнет Михаил Васильевич Асеев? Ну вот, господин сотник, вот и все! Вы уже побили его рекорд. От Лубен до Парижа всего 2500 верст. А от Благовещенска досюда почти вдвое больше. Это невероятно, это фантастический подвиг!

— Благодарю вас! Спасибо! Но вам скорее нужно было бы поздравлять мою лошадь! И позвольте мне немного исправить имеющиеся у вас сведения. Я отнюдь не стремлюсь соперничать с достижением корнета Асеева и его двух кобыл, мне только желательно показать, что у нас там, в нашем далеком Амурском краю, лошади — самые отменные. Хочу доказать их выносливость, а еще рассказать о людях, которые намерились их заменить другими, может быть, тоже превосходными лошадьми, но не переносящими нашего климата. Хочу помешать этим людям перебить наших низкорослых амурских лошадок, понимаете? Нужно прекратить эту бойню!

— Бойня? Но какая же бойня? О чём вы говорите, господин сотник?

— Послушайте, дорогой господин, к сожалению, у меня не достает времени для разговоров с вами. Мне нужно опять отправляться в путь и немедленно. Но если захотите проехать вместе со мной часть пути, я мог бы вам все объяснить. Есть у вас лошадь? Так поедем же! Ах да, еще одно дело: мой счет. Почему, черт возьми, вам пришло в голову его оплатить?

— Главный редактор нашей газеты крайне восхищен вами, господин сотник. Он поручил мне получить от вас в монопольное право рассказ о вашем подвиге. Тогда я подумал, что, если вы согласитесь, конечно, это могло бы составить вам некоторую компенсацию...

— Хорошо, согласен! — прерывает его Пешков. — Согласен на рассказ. Так пойдемте со мной, дорогой я расскажу вам

обо всем этом деле. Согласен на компенсацию. А что касается монопольного права, не могу ничего вам гарантировать. Но знайте, вы первый журналист, с которым я разговариваю. Ладно. По коням!

Серый вполне выздоровел и теперь поджидает хозяина, а увидев, лукавым взором глядит на него, будто спрашивает, не показалась ли тому прошедшая ночь слишком бурной. А казак про себя отвечает: моя личная жизнь тебя не касается, и с усердием чистит и чешет коня.

Когда, сидя в седле на Сером, Дмитрий выезжает из конюшни, репортер тоже уже готов к отъезду. Он ждет казака, сидя верхом на долговязой кобыле, и ее несоответствие с коренастой окружной фигурой Серко выглядит просто-напросто смехотворно. А наверху лестницы, у двери гостиницы, казак ждет прекрасная и бледная молодая женщина, с которой он провел последнюю ночь.

С трагическим видом — как Антигона перед самоубийством — она медленно и тихо спускается по ступенькам и подходит к своему любовнику. Бледная как смерть, похоже, она вот-вот потеряет сознание. По ее бело-матовым щекам текут две большие слезы, поблескивая на солнце, чудесном в этот утренний час.

— Что это ты здесь делаешь? — спрашивает ее казак, наклоняясь.

Молодая женщина пожимает плечами, печально улыбаясь.

— Ничего, ничего! — отвечает она. — Возьми вот это, Митенька, дорогой, — прибавляет она, вкладывая ему в руку цепочку, на которой висит массивный серебряный крест с распятием. Храни тебя Господь! Береги себя! Возвращайся! Меня не забывай!

Из ее больших черных глаз, под которыми легли почти синие тени, продолжают катиться слезы.

Казак надевает крест на шею и сует его за пазуху, где крест оказывается рядом с тунгусским талисманом и бурятским амулетом. Потом говорит журналисту:

— Дорогу вы знаете? Направление — Тюмень, Екатеринбург, Пермь! Вперед, к Уралу!

Напоследок оборачивается, чтобы проститься. Галины уже нет.

Сидя на долговязой дылде, которая служит ему верховой лошадью, журналист оказывается выше казака на целую голову. Своими длинными ножицами кобыла шагает в два раза дальше, чем может шагнуть Серко, и тот, чтобы держаться рядом, вынужден быстрее передвигать ногами.

Все вчетвером они выглядят ужасно смешно. Но на большом тракте, где уже царит лихорадочная суэта, никто не обращает на это внимания. Несмотря на разницу в размерах своих лошадей и трудности, связанные с дорожным движением, обоим всадникам все-таки удается держаться рядом, нога к ноге, и разговаривать.

Дмитрий добросовестно отвечает на вопросы корреспондента: рассказывает о перипетиях своей поездки, настаивает на четком понимании причин своего мероприятия и, не забывая ни о каких подробностях, объясняет роль Буварина и его сообщников — мелких разбойников и великих мира сего.

Если даже журналист его немного и раздражает, такое интервью, по сути дела, ему очень на руку. Он уже говорил об этом со Степаном Ивановым, своим другом и хозяином постоянного двора, — гласность была бы сейчас для Дмитрия лучшей защитой. Тогда он сказал ему: «Нужно, чтобы вся империя услышала об этом деле. Пусть Серый станет знаменитым и пусть после его подвига никто больше не осмелится трогать амурских лошадок!»

Ведь эти лошадки, и правда, самые лучшие! Вот как сейчас — всего-то четыре часа они проехали, а кобыла журналиста уже проявляет признаки усталости. Эта долговязая саранча с трудом поспевает за лошадкой сотника, которая бежит ровной рысью.

Углубившись в свои мысли, Дмитрий мало-помалу уезжает далеко вперед, не замечая того, что корреспондент «Нового Времени», погоняя свою лошадь, выбивается из сил и при этом с него градом катится пот, что бедняга не осмеливается попросить его ехать помедленнее.

А сотник настолько уходит в себя, что только через немалое количество времени замечает, что становится и ему тоже жарко, что надо бы поднять уши на шапке и даже снять рукавицы.

Воздух прогрело ярким солнцем, которое сияет с самого утра. Почва размякла. На дороге уже развезло снег с оттаявшей землей, в это месиво Серко проваливается до самых бабок, и живот у него весь забрызган.

Вдруг Дмитрий понимает, что происходит. Погода меняется. Наступает весна. Снег тает!

Он улыбается. Вспоминает ту чаровницу, которая вчера, привлекая его к себе, повторила ему его же собственную дурную игру слов насчет распутицы. Как и все у этой сногшибательной молодой женщины, эти слова, значит, тоже имели двоякий смысл. Нужно было их понимать в прямом и в переносном смысле. Она не только пожелала разбить лед между собой и им, но и предупредила о сегодняшней оттепели. Вроде бы только пошутила, а получилось предсказание!

Хотя, подумав, молодой человек понимает, что получилось — это как предвестие, но предвидеть оттепель уже было не-

сложно! Становится ведь ясно, что к середине марта зима унимается и погода становится мягче.

Середина марта! Вот, значит, прошло четыре месяца, как он уехал из своей маленькой станицы, оставил друзей, красавицу-соседку! Ведь два месяца уже прошло, как он проехал Байкал, выехал из Иркутска! До чего же это все далеко... и близко.

Он быстро подсчитывает в уме и обнаруживает, что они с Серко, в общем, не плохо прошли. Невзирая на разные неприятности, ловушки, несчастные случаи, западни, болезни, в общем, в среднем, им удалось отмахаться по 40—50 верст в день. Это много. Но теперь, с этой проклятущей оттепелью, станет погруднее.

Весной Россия превращается в океан грязи. Дороги делаются непроезжими, а реки — непереходимыми. Приходится месить грязь, вязнуть в рытвинах и оврагах, плавать в отвратительной жиже из земли и воды.

А ведь им еще далеко до цели. Нужно еще проехать Урал, переправиться через Волгу, проехать Москву: отсюда до Петербурга остается еще целых 2500—3000 верст. Треть всего пути!

— Слыши, старина? — спрашивает Пешков у лошади. — Нам еще третья дороги ехать. И обязательно до июня надо приехать, ты же знаешь! А не сделаем, твои приятели все там и полягут. Доедешь, а, браток? Выдержишь?

Казак склоняется к шее лошади, словно собирается сказать Серко что-то на ухо. Ласкает его, нежно треплет ему гриву, но вдруг резко выпрямляется:

— А куда же это подевался наш писака?

Дмитрий оборачивается, встает в стременах, чтобы подальше увидеть дорогу: журналиста и след простыл.

— Стой, Серко. Мы поселяли его по дороге. Давай подождем...

Лошадка счастлива, что у нее неожиданная передышка. Пока ее хозяин спешивается, она, что называется, отклячивает крестец, покрепче упирается в землю задними ногами и принимается лить, постанывая от удовольствия.

Светлая моча вырывается обильной и крутой струей и образует лужу пены, окруженную тысячами брызг, которые прорываются в снегу желтые дырочки.

Когда последняя капля падает, сильно разбухший розовый половой орган коня постепенно возвращается в свой чехол. И Серко опять чувствует себя в обычном равновесии.

— Ну как, получало теперь-то, а? — говорит ему казак. — Ну-ка, пройди чуть вперед, посмотрю на твои ноги.

Дмитрий действительно заметил, что ставший рыхлым снег набился в стрелочные бороздки копыт и, слежаввшись там плотно, постепенно образовал у Серко под копытами настоящие ледяные шары на которых тот теперь рискует поскользнуться.

— Вот так! С оттепелью приходят свои неприятности, — бурчит Дмитрий, силясь очистить лед при помощи копытного ножа. — Ведь опять будет грязи по колено. Надо бы тебе промазать там копыта, снег не будет налипать.

Итак, осмотр всех четырех конечностей Серко заканчивается, когда вдали на дороге Дмитрий замечает беднягу репортера — тот идет пешком и тянет за собою свою долговязую кобылу.

— Не ждите вы меня, господин сотник! Не хочу вас задерживать, — кричит тот, подходя поближе. — Эта старая ведьма захромала. На ночь остановлюсь на ближайшей почтовой станции и завтра поеду обратно в Омск. Езжайте дальше. Обо мне не думайте. Сухарей погрызть у меня хватит, чтобы написать хороший отчет. Увидите, ваша история еще нашумит. Браво, господин сотник, и еще — спасибо.

— Это вам спасибо, господин. В особенности за вашу вчерашнюю щедрость. Рассчитываю на вас, напишите правду. И извините меня, что вас не обождал, но, чтобы все вышло как надо, сами знаете, не больше чем через месяц, мне нужно быть уже в Перми!

Поменьше чем через месяц сотник Дмитрий Николаевич Пешков верхом на своей серой лошадке уже въезжает в город Пермь. И, таким образом, оказывается в Европе.

— Европа! Европа! Европа! — кричит он, прыгая, как козочка, когда переходит Урал, эту горную цепь, разделяющую два континента. Здесь заканчиваются сибирские просторы.

Для казака это важная веха, в некоторой степени особый знак, символ — вот такое же значение имело для него прохождение озера Байкал четыре месяца тому назад и его прибытие в город Иркутск.

— Видишь, по сути дела, путь наш складывается из трех больших отрезков, — объясняет он Серко, которому на это так же точно наплевать, как на старую подкову. — Наша дорога ведет нас по трем разным мирам.

Сначала было Забайкалье: Амурский край, наша с тобой дорогая родина, прекрасные и величественные тунгусские и бурятские земли. Великое озеро.

Потом, от Иркутска до Екатеринбурга, последнего большого азиатского города, тянется бесконечная тайга, Барабинская степь, монотонный и в то же время разнообразный мир, сомнительный, пугающий, что зовется Сибирию¹.

¹ После того как кто-то совершил это путешествие в обратном направлении, он красочно определил эти два больших азиатских края, сказав, что от Урала до Байкала — это проза, а от Байкала до Амура — это поэзия.

И наконец вот она, Европа!

— Это последняя часть нашего пути, Серко, но, может быть, не самая легкая, — добавляет Пешков к сведению своего коня, который остается все так же безучастен к его философско-географическим рассуждениям.

Единственный вопрос, который в настоящий момент интересует коня, это: «Когда будем есть?».

Но Дмитрий предпочитает немного повременить с остановкой. Не хочется ему проводить ночь здесь, в этой пермской клоаке.

Если после Омска последние его азиатские привалы — Ишим, Тюмень, Екатеринбург, переход Урала и наконец прибытие в Пермь прошли без особых неожиданностей, нельзя сказать, что ему удалось оставить позади, миновать все трудности. Две главные из них заключались здесь в немыслимой грязи и в толчее переселенцев. Оба эти наваждения были связаны со временем года, и похоже, что именно здесь, в Перми, и именно сегодня, в этот прекрасный апрельский день 1890 года, они грозят достигнуть своего апогея.

Каждый год в одно и то же время тысячи переселенцев, до этой поры пережидавших в состоянии какой-то зимней спячки, выходят из нее и устремляются дальше, по дороге на восток. С оттепелью постепенно реки опять становятся судоходными. К тому же ведь гораздо быстрее, да и удобнее, двигаться по речным путям, по которым постоянно плывут бесчисленные пароходы, нежели по труднопроходимому зимнему тракту, который становится попросту бесполезным весной, когда распутица превращает дороги в реки грязи.

Находясь на западном склоне Урала, Пермь по весне оказывается в самом сердце этого переселенческого движения.

Построенный на реке Каме, притоке Волги, этот город прежде всего — важный порт. Именно сюда приплывают сотни пароходов, тысячами собирая пассажиров по всему протяжению самой большой реки в Европе. С Каспийского моря, из кавказских краев, из Астрахани, Царицына (Волгограда), Саратова, а потом из районов Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, где проходит самая большая ярмарка в империи, и Казани, татарской «столицы»...

Для перевозки таких гигантских людских масс в ход идут самые разные средства передвижения: пароходы и баржи на буксире — их на скорую руку переоборудуют для перевозки переселенцев, и они бывают переполнены сверх всякой меры: на нижней палубе, особенно в непогоду, толпится столько народа, что люди там набиваются почти вповалку... Там не разглядеть ничего, кроме сплошного сплетения рук, голов, ног,

кованых сапог, фетровых шляп, шуб и напиханных одеждой и черствым хлебом сумок, все это — одно бесформенное месиво.

Пермь — это еще и железнодорожная станция, с которой можно переехать Уральские горы и попасть в Азию. Поэтому ее и прозвали сибирскими сенями. Начиная с 1878 года, железнодорожная линия соединяет Пермь с Екатеринбургом. Следующая очередь железной дороги — до Тюмени, была открыта в 1855 году, и это еще один канал для большой весенней миграции, из Тюмени двух-трехнедельное плавание отвозит вас еще на 2200 верст дальше, до Томска, через Тобольск! Поезд и пароход позволяют, как видим, проникнуть в самое сердце Сибири гораздо быстрее, чем, если двигаться по тракту в зимнее время, что и объясняет причину, по которой большинство переселенцев предпочитают ждать весенне-летней погоды и открытия речных путей.

А результат таков: год за годом Пермь, этот отправной пункт для переселения людей из европейской части России в Сибирь, начиная с апреля, превращается в несусветную человеческую мешанину, где образуется чудовищный затор и где несчастные люди топчутся в грязи и живут в нечистотах. Заботясь о предотвращении эпидемий, власти пытаются направлять толпы сразу на пристань, устроенную специально для переселенцев за четыре версты от города, ниже по реке, и к этому пункту ведет специальная железнодорожная ветка. Люди набиваются в вагоны четвертого класса и просто в товарные вагоны, которые цепляют к пассажирским поездам или к составам для перевозки каторжников, впрочем, тоже крайне малочисленным. Чтобы выдержать подобный наплыв людей, с 1889 года пришлось составлять специальные товарные поезда и таким образом получить возможность эвакуировать людей по тысяче и иногда по полторы тысячи единовременно.

Каждый день эти поезда выгружают в Тюмени все новые толпы переселенцев, а те очень скоро заражаются оспой, дифтеритом, крупом, скарлатиной; болезни косят детей: 500 умерших в течение мая 1890 года, когда набралось более 14 000 человек, как сообщали газеты того времени. Нехватка пароходов вызывает огромное скопление людей в Тюмени... Такое даже не опишешь. Цыганский табор или потревоженный муррейник не обладает и сотой долей лихорадочной сутолоки и поразительного беспорядка, которым там можно оказаться свидетелем... Повсюду видны лохмотья и до предела измученные, голодные оборванцы.

Понятно, что никогда не любивший толпы Пешков, которому претило зрелище грязи и нищеты, ставшего здесь как бы постоянным вот уже в течение целого месяца, спешно постарался оттуда уехать, убежать из этого ада и двинуть к Казани по берегу Камы. А привал сделать в первой же спокойной деревне.

Сотнику Пешкову и его коню Серому понадобилось не меньше часа для того, чтобы выбраться из этой огромной и вязкой дыры. К тому же, им не удалось выйти оттуда невредимыми: Серко оказался по грудь в грязи, а всадник покрылся шлепками звездчатых пятен. Но вот и пригороды. Путники проезжают еще два-три версты и наконец оставляют и вовсе позади город Пермь, превратившийся в это время года в огромное болото грязи.

Они, было, уже совсем проезжают последние дома, как кто-то кричит во все горло:

— Эй ты, там!

У лошади уши поворачиваются назад, но Дмитрий, не считая, что подобный оклик может предназначаться именно ему, не оборачивается.

— Слушай, ты, обезьяна! Остановиться не можешь, что ли?

На этот раз казак узнает голос. Это Григорий, единственный «выживший» из тех троих, что пустились по его следу по приказу Сергея Александровича Буварина, богатого торговца лошадьми из Санкт-Петербурга.

Стоя на пороге трактира, весельчик, видно, не твердо держится на ногах. Словно под ним кренится дощатый тротуар. Он спотыкается, едва успевает ухватиться за столб под навесом. Он мертвцыки пьян. Неприятность заключается в том, что в правой руке он держит огромный револьвер. Да он им и пользуется, этот негодяй! Бах! Выстрел в воздух. Пьяница теряет равновесие, ему опять удается удержаться, но уже из последних сил. Левой рукой он протягивает измятую газету.

— Пешков, что это за байки такие? Почему это ты господина Буварина оплевал? А, дерньмо? Болтун!

Вихляясь во все стороны, Григорий спускается по лесенке у входа в трактир, оступается на ступеньке, виснет на столбе, и вот он уже почти не стоит на ногах посреди грязного месива дороги. Стреляет второй раз, берет ниже. Пуля пролетает совсем рядом с казаком.

— Ладно, кончай, говорю тебе, — говорит Пешков, только что вытачив и свой револьвер. — Ты же пьян в стельку. Сейчас доиграешься — себя же и поранишь!

Продолжая неверным шагом подходить к всаднику, бандит от ярости становится пунцовым.

— Не переживай, погань! Не поранюсь, а в тебя вот прицелюсь, да! У меня уже вот где сидят твои глупости, мы хотели хорошо с тобой обойтись. А я им сказал, что тебе только однажды хорошее обхождение — пуля между глаз. Вот, получай!

Выстрел не попадает в цель, но отдача этой «хлопушки», его револьвера, так велика, что самого стрелка сбивает с ног. Чувствуя, что падает навзничь, Григорий хватается за борт повозки, которая как раз в этот момент проезжает мимо. Кучер, который просто-напросто не видит того, что здесь происходит,

не снижает скорости. Пьяница, все продолжая сжимать в руках револьвер и газету, нескладно съезжает на землю и растягивается в грязи, а левой ногой скользит прямо под колесо повозки.

Уголком глаза кучер замечает весь ужас происшествия. Тщетно натягивает вожжи и громко кричит: «Стой! Стой!», ему не удается удержать лошадей, заднее колесо тяжелой повозки проезжает по ноге Григория. И давит ему колено.

Григорий взвывает от боли. Выпуская наконец из одной руки револьвер, из другой газету, он судорожно сжимается, хочет поднять ногу, но вывихнутая большая берцовая кость самым плачевным образом мертвое лежит в грязи, все больше краснеющей от растекающейся крови. Страдание перекашивает ему лицо гримасами. Однако Григорий не вызывает сострадания. В его красноватой физиономии есть что-то дьявольское.

Дмитрий спокойно спешивается. Размеренным шагом подходит к бандиту, наклоняется. Но делает он это только для того, чтобы подобрать разодранную газету, валяющуюся около Григория, а последнего он даже не удостаивает взглядом. Тыльной стороной руки Дмитрий обтирает листок, распрямляет его у себя на ноге. Это номер омского «Нового времени». На первой странице над всеми четырьмя колонками красуется заголовок: «Казак с Амура едет в Санкт-Петербург».

В волнении сдвинув брови, Пешков пробегает текст, и по мере того как он вникает в смысл написанного, смягчается лицом, а под конец даже расплывается в улыбке. Хорошо, стиль немного сенсационный, но главное есть. Остается только надеяться, что статья заставит пошевелиться Главный штаб. Возможно, властями будет создана комиссия по расследованию этого дела. Без сомнений, зададут вопросы и князю Корсакову, побеспокоят Буварина, потребуют разъяснений, а от губернатора — объяснений.

— Или же пускай меня арестовывают. Но, Господи спаси, нужно же, чтобы хоть что-нибудь да сдвинулось!

Дмитрий опять садится в седло и, вовсе не заботясь о том, что же станется с Григорием, вокруг которого уже образовалась шумная толпа, едет своей дорогой. Шагом, чтобы не очень забрызгаться. В этом месиве, что покрывает дорогу, копыта Серко неприятно хлюпают. Хлюп! Хлюп! Хлюп!

Казак уже очень далеко от города, а все думает и думает про статью. Слишком быстро он пробежал ее глазами, надо бы перечитать. Опять вынимает из кармана газету, осторожно разворачивает и, пока Серко — хлюп, хлюп, хлюп — занимается своим делом, Дмитрий сызнова принимается за чтение.

Цветисто и велеречиво пишет журналист, да и прибавляет от себя. Казак смеется во все горло. Конец и вовсе лиричен: «Изумительное путешествие мужественного сотника началось в черно-белом свете, закончился же в многоцветии. Уехав из станицы в пору серых тонов, снегов и зимних туманов, он

попадет в игру красок весенних почек и цветов. Если отъезд его происходил среди монотонного одиночества таежной дали, то прибывает он в окружении пестрой столичной толпы. После грустной величавости Амура сотник окажется среди пышных позолот Санкт-Петербурга...»

— Здесь-то не очень еще цветисто, а, браток! — говорит Пешков, складывая газету. — Серко, старина, нам еще далеко до петербургских позолот, видишь, вокруг нас еще не пестрит, пока что мы еще просто-напросто копаемся в дермье!

И это вовсе не сильно сказано.

Тот, кому не довелось самому увидеть распутицы, не может даже приблизительно представить себе всей широты этого явления. А в особенности, тех трудностей, которые оно создает.

Луга, словно губка впитывая в себя талый снег, превращаются в болота. Исчезают дороги — они становятся лентами сплошной грязи, по которой даже пытаться идти уже опасно, и не только потому, что шагаешь по жиже, но еще и рискуешь в ней увязнуть!

Дело в том, что сверху гладкая поверхность этой грязи может таинить под собою глубокую яму, из которой иногда и не выберешься: когда приходит лето, в недрах таких ям нередко находят трупы людей и животных, увязнувших и потонувших в дорожной трясине. Овраги становятся смертельными западнями. Колеи и рытвины иногда достигают метра глубины. Случается, что лошадь, попав в такую илистую ловушку и не имея возможности выбраться из нее, так и умирает, выбившись из сил.

Оттаявшие реки, вздуваясь от таяния снегов и стока вод, на какое-то время превращаются в бурные потоки. Самый малый ручей, совершенно безобидный зимой, теперь становится непроходимым, так как берега его заполняются водой, которая доходит до колен, если не до бедер.

Пять дней подряд Дмитрий и Серко силятся продвигаться вперед в этом растекающемся под ногами аду. Но почти не движутся: двадцать — тридцать верст в день, не более. На этих дорогах из месива скользкой грязи приходится шагать медленно и осторожно. И это гораздо утомительнее, чем быстрая скачка по мерзлой земле. По вечерам всадник и лошадь, грязные с головы до пят, приходят в изнеможение. К тому же, когда теплеет, становится еще больше влаги в воздухе, и она пронизывает до костей.

Наверняка можно сказать, что это самое плохое время года. Казак прав, когда говорит, что погода стоит дермовая!

Стараясь идти все-таки побыстрее, Пешков придумал двигаться по берегу Камы, вдоль этого огромного притока Волги, по которому пароходы плывут от Перми до Казани. И это была не самая лучшая мысль. Гигантская река была в самом разгаре

паводка. Ее плещущиеся волны, разбухшие от стока вод со склонов Урала, несут огромные куски льда, и те, сталкиваясь, иногда хлопаются на берега, развезенные талой водой.

Дмитрий и Серко месят грязь по тропам, что идут вдоль течения реки. В некоторых местах случается, что лошадка барахтается по самую грудь. Многие сотни метров им приходится буквально плавать по грязи. Чтобы вырваться из этой жижи, в которой он утопает, Серко яростно отталкивается задними ногами, рывками делает скачки, и только так ему удается высвободиться. Дмитрий чудом держится в седле: для того, чтобы не дать этой холодной жидкой грязи залиться ему в сапоги, он поднимает ноги, как можно выше, оказывается в довольно смехотворном положении и немного походит на жабу, да еще в любой момент может потерять равновесие.

Сплошь залепленные грязью, и тот, и другой, они превратились в нечто бесцветное. Серый теперь не такой уж «серый»: его покрывают пятна, которые, высыхая, меняют оттенок. На животе, на гриве висят «сталакиты» из глины. Лицо казака все в брызгах, на бровях и усах — сплошные корки грязи.

В этой вязкой трясине копыта лошади становятся вроде присосок. Те хлюп-хлюп первых дней оттепели теперь сменяются будто отсасывающим звуком. В этой глине и подковы у Серко отскакивают одна за другой. К счастью, Дмитрий везет в своих сумках все, что нужно, для того чтобы его перековать: запасные подковы, гвозди, ковочный молоток и клещи. Если он тащит все это от самого Благовещенска, весь этот тяжелый и неудобный инструмент, то делает он это потому, что знает пословицу: лошадь без ног, что всадник без головы...

Но если они будут продвигаться таким ходом, им понадобится две недели, чтобы проделать 500—600 верст, которые их еще отделяют от Казани. А это невозможно: нужно найти более быстрый способ передвижения. Ах, если бы только ему подвезло сесть на одну из тех барж, которые спускаются по Каме в Волгу!

По мере того как таяние льдов освобождает водные пути, движение на реке все более усиливается. Пароходы плывут даже ночью. Зрелище захватывающее. Встреча с пароходом в такие бледные ночи граничит с чудом: издалека видны его красные огни, словно звериные зрачки, они близятся, а за ними появляется и весь фосфоресцирующий силуэт. Труба выбрасывает искры, слышно, как стучат лопасти, взревает сирена, и вот — чудовище удаляется в темную ночь медленным и таинственным привидением, у которого видно, как светится душа.

Вдруг у Пешкова возникает мысль (увы, эта мысль окажется неудачной)! Он соорудит плот и проплынет по течению до Волги, где всегда успеет пристать к берегу и опять поехать на лошади по сушке, добираясь до Казани. Течение идет в нужную мне сторону, рассуждает он сам с собой, стараясь себя убедить, так нужно же им воспользоваться!

Сооружение плота занимает у казака целый день. Но это уже не потерянное время. Спуск по реке, напротив, дает ему выиграть по меньшей мере неделю вместо того, чтобы продолжать утопать в этом месиве из глинистой жижи, которая засыпала все дороги.

Дмитрий работает с усердием, используя лошадь для перетаскивания бревен. Ему не приходится рубить ни одного дерева, так как совсем близко от него валяется много поваленных деревьев. Достаточно выбрать среди них какие посвежее да попрямее, сложить их рядышком, одно с другим, и перевязать ремнями и веревками. Ему не хватает тех веревок, которые у него есть в запасе, поэтому казак отвязывает от седла три-четыре выручных ремня, которые пошли на навьючивание его вещей. Пусть, ничего! Он купит их потом в Казани.

Чтобы устроить себе судостроительную площадку, Дмитрий ловко пристался в укромном уголке, скрытом от течения, за выступом некруто спускающегося к самой воде берега. Его бревна лежат наполовину в воде, наполовину на покрытом галькой бережку, который служит ему как бы причалом. Пятнадцать длинных 6—7-метровых стволов составляют вполне подходящий плот. Дмитрий испытывает его плавучесть и устойчивость. И, видимо, остается доволен. Теперь только и делать, что грузиться на плот!

К несчастью, Серый не разделяет воодушевления своего хозяина. Перед тем как поставить ногу на плот, он долго обнюхивает его, фыркает и потом отступает. Казак, пытаясь показать ему на собственном примере, как нужно это делать, ступает на плот первым, таща лошадь за собой. Но Серко сопротивляется, отказывается взойти на это странное сооружение из бревен. Пешков начинает выходить из себя.

— Ну что, идешь ты наконец? Не строй из себя дурака. Ты же видишь, это плывет!

Но делать нечего. Лошадка упрямится, она не хочет на плот!

Молодой человек возвращается на берег. Берется за левую ногу Серко и ставит ее на первое бревно плота. Впав в столбнячное состояние от страха, лошадка так и стоит в таком положении, опасаясь двинуть даже ухом. Хозяин толкает Серого сзади, расточает ему слова поощрения, а потом и ругается. Ибо нет, нет и нет, ни за что Серко не поплынет на плоту!

К тому же день клонится к вечеру. Так придется здесь переночевать. На утро у этой упрямицы, может быть, настроение будет получше и она согласится слушаться.

Пешков располагается на бивуак и, перекусив чем-то отдаленно напоминающим ужин, принимается смотреть на большую реку, по которой плывут пароходы, выдувая из труб снопы искр. Огни этого фейерверка неожиданно освещают не только небо, но и просвещают самого казака. У него возникает еще одна мысль (которая на этот раз наконец оказывается удачной)!

Он спешно принимается вырывать пучки травы, куски земли — целые пласти дерна, берет куски коры и всем этим покрывает свой плот, пока Серый, безразлично относящийся к деятельности порыву своего хозяина, мирно поедает траву, которую тот еще не успел вырвать. Через какое-то время Дмитрию удается вполне удовлетворительно закончить свою маскировку: плот исчезает под ковром растительности и выглядит теперь береговым выступом, вдающимся в воду реки.

Дмитрий улыбается, явно восхищенный такой находкой и той добной шуткой, которую он на следующее утро сыграет со своей дорогой лошадкой.

Гордо шагает Серый — он вычищен, расчесан, взнуздан. Он хорошо поел, хорошо поспал и сейчас пребывает в прекрасной форме. Когда хозяин, держа его за поводья поверх головы, ведет его к своей обманке, желая, так сказать, поймать его на удочку благодаря своей уловке, лошадь идет туда без колебаний. Военная хитрость срабатывает. Вот они уже и на плоту!

Дмитрий подбирает длинный шест, который он позабылся заранее сделать, и, опираясь на него, удачно отталкивает плот от берега. Таким же способом он толкает свое утное суденышко к тому месту на реке, где течение подхватывает его и уносит с большей скоростью.

Главная трудность заключается в том, чтобы не дать плоту закрутиться вокруг своей оси. Сзади своего сооружения казак укрепил нечто вроде руля, которым ему удается править с помощью силы и ловкости так, чтобы поддерживать траекторию их пути примерно параллельно берегам.

У Серко от смертельного страха лезут глаза на лоб. Он не смеет двинуться, опасаясь накренить эту чертову поделку, на которую хозяин затащил его обманным путем. От волнения он выпускает цепочку из навозных шариков на ковер из листвы, травы и мха, которым Дмитрий прикрыл свои бревна.

Другая трудность на этом гигантском водном пути заключается в том, чтобы не столкнуться с пароходами, плывущими в обоих направлениях, по течению и против него. Чтобы как-то справиться и с этим вопросом, Пешков сумел поступить предусмотрительно. Он соорудил два большие весла, которые, находясь по обе стороны плота, позволяют замедлить, повернуть, скруглить, ускорить ход. Не будучи моряком, казак, однако, показывает пример ловкости в навигации. И у него есть опыт: родившись на берегу Амура, в детстве и молодости он провел почти столько же времени на воде, сколько в седле. Он умеет пользоваться стремнинами, выхо-

дить из водоворотов, избегать плывущих и слева и справа стволов деревьев, отталкивать огромные льдины, которые несет река.

Много раз ему встречаются целые обозы из барж, переполненных переселенцами, они поднимаются вверх по течению, в противоположном ему направлении. Несчастные люди, напиханные на эти плавучие поезда без удобств, с явным удивлением смотрят на любопытное зрелище, которое представляют собою Дмитрий с Серко на своем утлом суденышке. Некоторые приветствуют их, дети кричат, бросают свои замечания.

В некоторых местах неожиданно подхваченный сильным течением плот начинает опасно ускорять ход. Для того, чтобы избегать бортовок и килевой качки, Дмитрий то бежит вперед и несколько раз гребет веслом, то кидается назад поправить положение руля. Судорожные метания казака полностью разнятся с поведением оцепеневшей лошади, у которой вовсе отсутствует моряцкое умение устоять во время качки.

— Да отойди ты, браток, — советует ему хозяин, трепля его по шее, как только спокойная вода позволяет ему подбодрить лошадь. — Не бойся, парень. При такой скорости мы скорохонько доплынем до Казани. Ты сообрази, сколько времени мы выигрываем! Мы на реке за день пройдем больше, чем за неделю по земле. Это же стоит труд...

Трах! Казак не заканчивает фразы. Они натыкаются на почти такую же большую, как их плот, льдину. От удара Дмитрий падает навзничь, а Серко едва-едва удается сохранить равновесие. Нос их плота уходит в воду, волна единым махом смывает ковер из травы, земли и мха, покрывавший бревна. Пешкова утягивает вместе с его растительным ковром, вот-вот он и сам окажется в воде. Он удерживается, ухватывается, но плот входит во вращательное движение, и это мешает ему встать на ноги. Вымокший, на четвереньках стоя на бревнах, он пытается дотянуться до ручки руля, у него это не получается, он скользит, прижимается к перекладине, но у него начинает кружиться голова. Жалкое его утлое суденышко вертится волчком. Серый с расставленными ногами старается сдержать панику. Но он не в силах более этого терпеть и прыгает в бурные воды реки. Толчок так сильно сотрясает плот, что он переворачивается и хлопается на казака, который исчезает в бурлящей воде.

Полупришибленный Пешков наглатывает воду. Задыхаясь, он всплывает, барахтается, взглядом ищет лошадь. Серый по самую холку в воде смотрит вытаращенными глазами. Он не знает, куда податься. Заметив хозяина, он подплывает к нему. Дмитрий хватается за его гриву обеими руками, цепляется за свою лошадку и толкает Серко к берегу, которого, плывя по течению, они и достигают.

И вовремя.

Задыхаясь, лошадь рвется как может из прибрежной топи. Она встрыхивается и разбрызгивает вокруг себя миллионы капель. Истекая ледяной водой и увязая в грязи, Пешков имеет жалкий вид. Все намокло: лошадь, вещи, одежда, все снаряжение. Надо все это высушить, найти пристанище, разжечь огонь. Несмотря на подобные мало радующие обстоятельства, Дмитрий Николаевич не походит на недовольного человека. Они доплыли до Волги, и значит, Казань недалеко.

При въезде в Казань стоит памятник погибшим, установленный в честь победы Ивана Грозного, который во главе огромной армии сумел переплыть Волгу и 2 октября 1552 года захватил город, татарскую столицу.

Воздвигнутый в 1811 году он представляет собой небольшое выполненное в строгом стиле сооружение с часовней, в которой хранятся тысячи черепов русских воинов, погибших во время страшной осады города.

У этой усыпальницы несут охрану два всадника в военных мундирах. Они стоят неподвижно, невзирая на свежий ветер, который дует с большой реки этим апрельским утром.

Когда они с Серко добираются туда, казак с удивлением видит, как часовые неожиданно оказываются около него и, приветствуя его по-военному, спрашивают:

— Здравия желаем, ваше благородие! Вы действительно Дмитрий Николаевич Пешков, сотник Первого казачьего амурского полка?

— Да, это я, — отвечает молодой человек, мундир которого высущенный, вычищенный и с натертными до блеска пуговицами уже стал превосходно узнаваем.

— Ваше благородие, добро пожаловать в Казань. Нам поручено сопроводить вас до военного училища, где юнкерский батальон построен для встречи, устраиваемой в вашу честь.

Молодой офицер онемел от удивления. Официальный прием! Что же такое ему помогло, чтобы на его долю выпала честь такого к нему внимания? Один из двух юнкеров, которые его сопровождают к центру города, где назначена церемония, видно, тоже немало удивляется.

— Но, ваше благородие, вы же у нас очень прославились! Все газеты писали о вашем подвиге. Все военные, все честные люди в империи, все любители лошадей восхищаются вами и желают удачи.

Так значит, его беседа в Омске с предприимчивым репортером принесла свои плоды! Статью перепечатали все газеты по стране. Пресса, а она-то и будет отныне его главной защитницей, интересуется им и его лошадкой. Она даже намерена

дать подробный отчет об обеде, устроенном сегодня офицерами в его честь.

Вот в таких словах отзывалась газета «Казанский листок» на это событие: «По приказу военных властей батальон юнкеров почти в полном составе был направлен для встречи сотника. Чуть более чем за полчаса до предполагаемого прибытия путешественника, юнкерский батальон выстроился на городской площади, напротив семинарии. При появлении сотника раздался приказ “смирно!” и одновременно музыканты заиграли встречный марш. Г-да офицеры, выйдя из строя, подсели к господину Пешкову, и в качестве старшего офицера адъютант начальника Генерального штаба, генерала Радзишевского, сердечно приветствовал сотника.

Встреча получилась очень теплой и явно произвела большое впечатление на молодого путешественника. А у самого у него был молодцеватый вид человека в добром здравии, и он весело разговаривал с теми, кто его окружал. Конь его тоже выглядел вполне здоровым и сильным»¹.

Та же газета чуть ниже сообщает, что затем местными офицерами был устроен банкет: «за обедом собралось большое количество офицеров, произносилось много тостов, и во время этой трапезы сотник Пешков рассказывал о своем путешествии».

Более всего заинтриговала его собеседников невероятная выносливость его коня, по поводу которого ему задавали тысячи вопросов. Возраст, происхождение, тренировка, которую он прошел, тип использованных подков, секреты кормления. Не заставляя себя просить, Дмитрий отвечает:

— Во время путешествия я постепенно увеличивал его рацион. Вначале я давал ему, когда это было возможным, 8 фунтов овса и 10 фунтов сена в день. Теперь мы на 30 фунтах овса и 14 фунтах сена²! Это может показаться невероятным, но, однако, пропорционально соответствует тяжести его работы. Нужно хорошо понять, насколько огромно усилие, какое представляет собою преодоление этого пути для Серко: сорок — пятьдесят верст в день, и все время без остановки в течение 150 дней!

Со своей стороны, Дмитрий пользуется проявлениями горячего участия и симпатии офицеров и учеников военного училища, по большей части происходящих из знатных семей, чтобы выведать, каковы же нравы в Санкт-Петербурге.

По мере того как Дмитрий приближается к столице империи, грудь его переполняется надеждой (и даже некоей

¹ Упомянутая статья из «Журнала Коннозаводства» (Спб., май 1890, с. 127 и далее).

² Эти нормы указаны в июньском номере за 1890 год «Журнала Коннозаводства», с. 100.

гордостью), но также и некоторым опасением. Как он поступит, как выйдет из положения, он, простой провинциал, в этом большом городе? Чем не затеряться в лабиринте администрации, дворцовых интриг, всех коридоров и кулис власти? Он ничего не знает по части нравов и обычаев круга приближенных к императору. Этот князь Корсаков, например, которого много раз подручные Буварина называли в качестве их могущественного покровителя, этот своего рода «deus ex-machina», кто он?

— Князь Корсаков, — объясняет ему один юнкер, — был человеком, к мнению которого император очень прислушивался. Он был даже одним из его советников, да самых близких. И это продолжалось до тех пор, пока однажды царь не обнаружил, что тот его обманул. О, это было не какое-то предательство, а мелкая кражा, попросту бесчестный поступок: князь рассказал царю завиаральную историю только с целью вытянуть из него сумму денег, впрочем, вполне кругленьку, на самом деле предназначенну для того, чтобы оплатить его собственный карточный долг. Ведь князь — неисправимый игрок, что, кстати, частое явление в среде знати, но самое главное то, что он еще и невезучий игрок. Разорившись из-за своего порока, он совершил глупость: воспользовавшись доверием его величества, сорвал изрядный куш. Когда царь заметил обман, то перестал с ним водиться, думая даже, что с тех пор он так более его никогда и не принял. Но, желая избежать скандала, царь оставил его при дворе и назначил управляющим по пополнению армии конским составом, должность только почетная¹. Но князь несколько не изменил своих привычек. Он не только не прекратил играть, но, увы, он еще и принял пить. Теперь и члены его семьи, которых он, между тем, во времена своего могущества успел хорошо пристроить, перестают с ним общаться, один за другим. Поддерживает его только один из его двоюродных братьев, губернатор Иркутска...

Итак, Дмитрию все становится ясно. Нуждаясь в деньгах, князь вместе с Бувариным сплели эту темную аферу подмены амурских лошадей донскими, которую им удалось утвердить, благодаря сообщничеству кузена-губернатора, а туда вошло и создание в Благовещенске мясного производства, предназначавшегося для обеспечения пропитания рабочих будущей стройки Транссибирской железной дороги...

Эти мысли придают Дмитрию надежду и вселяют в него веру. Ибо теперь он уверен, что об этом деле царю как полу-

¹ Чистейший вымысел! При русском императорском дворе действительно существовало Генеральное управление конными заводами, но его главой никогда не был сей выдуманный князь, рожденный фантазией Антонина Рессильона как раз для того, чтобы вызывать у читателя как можно больше доверия к этому рассказу.

жено не доложили: значит, есть надежда, что ему удастся добиться того, чтобы меры были приняты. Если, конечно, он прибудет вовремя!

После Казани путь Дмитрия Николаевича Пешкова проходит среди совсем другой природы.

Если на первой трети пути им с Серко приходилось сражаться с природными условиями грандиозных, но труднопроходимых пространств, на второй трети пути — преодолевать препятствия, изобретенные людской злой, то теперь на этом, последнем этапе их постигло еще непознанное до сих пор бедствие, к которому амурский казак был плохо подготовлен: это слава!

Оба они, Пешков и Серый, стали теперь известными на всю страну, и поэтому из города в город их принимают все с большим триумфом. Они познали славу еще до того, как завершили свое приключение и выиграли пари. В Нижнем Новгороде, во Владимире¹, в Москве, куда они приезжают 3 мая, тысячная толпа встречает их рукоплесканиями, гражданские и военные власти тысячью почестями, а духовенство тысячью благословений. По мере того как они приближаются к цели, растет воодушевление.

После Казани им уже совсем не дают оставаться одним. Их окружают, им льстят. Рукоплещут их цели, их успеху, хвалят за мужество, даже за героизм.

Все хотят составить им компанию, вместе с ними проехать какой-то отрезок пути. В Нижнем Новгороде два журналиста решаются поехать с ними до конца. В Москве, где колоколов «сорок сороков», праздничная толпа сопровождает их от Рогожской заставы до Триумфальной арки². Потом, от Триумфальной арки до Красной площади, где их ожидает высший чин русского духовенства, сам митрополит Московский³. С золотой митрой

¹ Нужно было бы воспользоваться проездом Пешкова по этому городу, где впечатляет поразительное скопление шедевров русской религиозной архитектуры, и в фильме показать то, чего я до сих пор не делал, то есть завораживающий мир православных церквей: религиозное рвение верующих, когда они жгут свечи у святых образов, сотни огоньков, что мигают и отражаются в позолоте иконостасов; дурманящий запах ладана, когда он голубоватыми завитками поднимается к куполам, которые снаружи имеют форму луковиц; расширенные серебряными нитями с инкрустацией из драгоценных камней коругви во время крестного хода во главе с бородатыми попами, поющими глубокими низкими голосами очень древние гимны...

² См. «Коневодство и конный спорт», Москва, ноябрь 1983 года.

³ В наши дни во главе Русской православной церкви стоит патриарх, но в XIX веке ею управлял Синод, а митрополит стоял во главе города или целой провинции. По традиции власть Московского митрополита распространялась и на других. Московский митрополит обычно служил в Успенском соборе (которым и теперь можно любоваться на территории Кремля), но также мог пребывать для благословения в любую церковь и, в частности, в собор Василия Блаженного.

на голове, облаченный в пышные одежды, он благословляет их, стоя на крыльце храма Василия Блаженного¹.

По дороге из Москвы в Петербург каждый город устраивает праздник в их честь, каждая деревня организует у себя комитет по встрече: в Вышнем Волочке, в Валдае, в Новгороде, в Чудово...

Чудово находится всего в одном-двух днях пути от столицы. Там, среди собирающейся встречать героев толпы, люди видят любопытную личность. Американец. Зовут его Томас Стивенс. Это некий писатель и любитель приключений, оригинальный и симпатичный человек. Автор уже многих книг, в которых он описывает совершенные им путешествия: «Around the World on a Bicycle», «Scouting for Stanley in East Africa» и т. д.

Если сегодня он оказывается здесь, значит, он и до России добрался. Он едет из Петербурга в Севастополь, в Крым, верхом на лошади по кличке Техас! Он купил ее здесь же, у бродячих циркачей, которые дают неимоверно экзотическое представление под названием... «Wild America»! Лошадь венгерская, но хозяева выдают ее за мустанга. И продают они ее только потому, что Техас не перестает спотыкаться на сцене и всего боится, а в особенности воды...

Сначала на Техасе, потом поездом и на пароходе, американец совершает своего рода кругосветное путешествие. В окрестностях Москвы он встречается со Львом Толстым и долго с ним беседует. Проезжает Харьков, посещает Ростов-на-Дону и на обратном пути с Черного моря делает крюк и заезжает в Нижний Новгород, в самый разгар ярмарки.

Это свое приключение Стивенс описывает в книге, пестрящей забавными анекдотами, смачными замечаниями, живописными наблюдениями насчет лени и пьянства русских, хитрости барышников, грубости полиции, отсутствия удобств на постоянных дворах, опасности таких мест, как мосты (под которыми частенько прячутся бандиты с большой дороги), предрассудков, налогов, обычаяв и тысячи других увлекательных подробностей.

¹ Я очень дорожу этой идеей. Это вымысел, но в нем нет нелепости. В России священники охотно благословляли животных. А в особенности лошадей. Кучерских, крестьянских или солдатских лошадей. Это могло происходить где угодно, когда угодно, но более всего в церквях во имя Святых Флора и Лавра и в день их праздника (18 августа по старому стилю, что соответствует 31 августа по новому стилю).

Эти два святых близнеца, действительно, являются по очень старинной, специфически русской традиции покровителями лошадей. Одна из самых известных икон, посвященных им, изображает этих святых в окружении гарцующих всадников, лошадей на водопое. И все тот же Архангел Михаил (см. комментарий 20) передает им, держа за поводья, лошадей. Эту новгородскую икону XVI века сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее. В Москве многие церкви были посвящены Святым Флору и Лавру. Выжила одна-единственная, ей удалось уберечься от вандализма революционеров и безумия градостроителей. Она находится по адресу: Добрынинская улица, 9, за Павелецким вокзалом.

Единственная проблема заключается в том, что Томас Стивенс, этот милый человек, не более скрупулезен в достоверности своих сведений, чем те же описанные им на многих страницах русские, неприятную склонность которых к неточности в своих словах, к приблизительности он доводит до сведения своего читателя. Даже если главное соответствует действительности в его рассказах, то часто он просто путает факты. У него бывают, что называется, провалы в памяти, которые он заполняет, как вздумается, ошибаясь в хронологической последовательности мест действия и дат событий...

Итак, Томас Стивенс говорит в своей книге, что встречал сотника Пешкова (имя которого он пишет Paishkoff, что ж его право) в Чудово 28 мая. А это как раз никак невозможно, ибо выяснено, что казак приехал в Санкт-Петербург 19 мая к полудню. А дело в том, что американец попадает в ловушки двойного календаря, григорианского (нашего и его) и юлианского, в то время еще употреблявшегося в России.

Но это все не грехи, а только грешки, безобидные ошибки, которые (почти) не лишают интереса его свидетельства. Так предоставим же ему слово.

«В Чудово это был праздничный день... Между тем, и не воскресный, и даже не день какого-нибудь святого, однако люди на улице были одеты в праздничные одежды. (Ждали сотника.) Из Санкт-Петербурга был отдан приказ, чтобы Пешкова провожали на всем протяжении последней части его пути, и внимание всех было обращено на него. От Новгорода ему в сопровождение на четыре последних дня пути был даже направлен небольшой эскорт казачьей гвардии цесаревича, который и шел с ним до самого того момента, когда с сотником перед самым въездом его в столицу должен был соединиться целый полк.

Пешкова в Чудово ждали к вечеру. Улицы города пестрели разноцветными одеждами, среди которых преобладали красные мужицкие рубахи. Их излюбленное одеяние — это ситцевые рубашки и плисовые черные штаны, заправленные в высокие сапоги. Все население спокойно двигалось в одном направлении. Примерно пятьдесят молодых парней весело шли тесными рядами и по русскому солдатскому обычанию пели.

Делегация деревенских старцев направилась к старосте, чтобы попросить его возглавить толпу и встретить Пешкова с должным достоинством, поддержать, таким образом, честь провинции.

— Нет, нет, братки, — прошептал староста, — у меня в самоваре, когда казаки прибудут, вскипит добрый чаек. Дорога-то из Новгорода длинная, и придут они, видать, не раньше как к завтрашнему утру.

Староста оказался прав, и в тот день так ни одного казака мы не увидели. Ночь мы провели в доме у простого мужика, откуда ранним утром пошли навстречу гостю по новгородской

дороге. И встретили нашего героя в нескольких километрах оттуда, а потом опять вернулись в Чудово. Его сопровождал эскорт из казачьей гвардии цесаревича, и были еще там один пехотный офицер из Владимира, один офицер конной полиции и два журналиста.

Пешков оказался человеком маленького роста, сухим, нервным, с приятным лицом, хотя и огрубевшим и почерневшим в дороге под сухими и холодными сибирскими ветрами. На голове у него была меховая шапка, какая бывает у казаков, и одет он был в мундир и кожаные штаны, высокие сапоги. Из оружия на нем был револьвер «bulldog» английского производства и маленькая шашка.

Он ехал верхом на серой, округлых форм коренастой лошадке. Конь у него был крепкий и нервный, с невысокими ногами. И будто был высечен из цельного камня, с трудом можно было поверить, что голова и шея — отдельные части его тела. Шел он быстрым и спокойным шагом и... оставлял далеко позади тяжелых казачьих лошадей. Время от времени, чтобы догнать его, гвардейцы цесаревича вынуждены были пускать лошадей рысью. Эта лихая серая лошадка была в такой превосходной форме, что можно было подумать, будто она возвращалась с тучного пастища.

Отвечая на наше приветствие, Пешков снял шапку, и когда я сказал ему, что я — американец, он еще раз нас приветствовал:

— Мы принадлежим к одному миру, вы и я. Нас разделяет только океан. Оба мы проделали долгий путь, чтобы прибыть сюда, только вы — на пароходе, а я — на лошади!

Этот казачий офицер, хотя и вежливый, был скорее нрава молчаливого, и разговор продолжался с одним из журналистов, который только время от времени обращался к Пешкову, прося у него подтверждений своим словам. Один из репортеров носил имя Сергей Рискин, он работал для московского «Листка». Другой был корреспондентом санкт-петербургских «Новостей» в Новгороде. Последний протянул нам визитную карточку, где значилось: «Нил Иванович Богдановский, корреспондент Северного Телеграфного Агентства, газеты «Новости» и Общества русских драматических авторов и оперных композиторов, Новгород. Собственный дом, собственная лошадь.».

Два последние указания на карточке господина Богдановского обозначали тот факт, что он был владельцем дома и лошади. А это было совсем другое положение, чем у Сергея Рискина и у многих прочих его коллег, которые были на жаловании по столько-то рублей в месяц и которым предоставляли жилье от газеты, и они часто вынуждены были нанимать лошадь или просить ее у редакции, чтобы отправиться на репортаж.

Г-н Рискин занял большую часть разговора. По поводу казака он сказал:

— Пешков вовсе не прекрасный оратор, это человек действия. Он невысок ростом, но, пожалуй, доблестнее всех казаков своего эскорта, вместе взятых.

Вместе с казаком Рискин выехал из нижнего Новгорода и каждый день посыпал свой репортаж в "Листок". Сам по себе он тоже был человеком действия, но все же, однако, больше всего в жизни он любил говорить. Забавный человек. Его газета, говорил он, вручила ему сумму в 1500 рублей на дорожные расходы от Новгорода до Санкт-Петербурга, но у него теперь оставалось только 80! Все остальное ушло на водку и приятное времяпрепровождение в дороге в компании с военными. Теперь, что ему было делать в Санкт-Петербурге, куда его назначили сопровождать Пешкова и стараться с великой торжественностью поддерживать честь и репутацию своей газеты? Сергей болтал без умолку, только изредка останавливался, явно с неудовольствием и лишь на миг. Почти поразительно было смотреть на его нервное напряжение и на те усилия, которые ему приходилось делать, чтобы говорить еще быстрее, чем могли выговорить его собственные губы. Пешков, сказал он нам, был человеком особенным во многих смыслах. Пока они с коллегой из "Новостей" и почти все его сопровождавшие накачивались водкой, сотник отказывался пить что бы то ни было, кроме кваса — жидкого ржаного пива.

— В Новгород, — сказал Рискин, — Пешков приехал здоровый и невредимый, и там его широко чествовали. Все — духовенство, офицеры и все прочие вокруг нас были пьяны и счастливы. Кроме Пешкова! Он пил только квас и чай! Это чудесный человек...

Мы отошли от журналиста и вернулись к герою дня.

— Сотник, — сказал мой спутник, — господин Стивенс хотел бы сделать репортаж о вас для Соединенных Штатов. Скажите нам, какова причина вашего путешествия? Что, вы заключили какое-нибудь пари?

— Нет, нет, — ответил Пешков, — только англичанин или американец может такое сделать из-за пари. У моей поездки есть одна цель: показать выносливость наших амурских лошадей.

— Когда будете в Санкт-Петербурге, сколько вы попросите за свою лошадь?

— Ну вот, все про деньги да про деньги! — ответил казак с упреком в голосе. — Грех было бы променять эту лошадь на деньги после того, что она проделала. Не продам коня даже за все американские деньги. Буду тщательно ухаживать за ним до конца жизни. В общем, на пенсии!..

Пока мы приближались к Чудову, за это время все население собралось на главной улице. Какой-то нищий сунулся под

копыта коню с риском, что его затопчут. Пешков бросил ему монету, не останавливаясь, а его лошадь мягко отклонилась от прямой дороги, чтобы на него не натолкнуться, женщины ма-хали руками, мужчины шапками. Старые мужики дали знак, и три радостных крика «ура!» пронеслось на его пути... Он ответил им, отдавая честь. Глаза у казаков цесаревича с жадностью стреляли по пестрой толпе молоденьких крестьянок, и всадники оборачивались, чтобы подольше, как только можно, смотреть на них...

Репортеры сообщили в свои газеты, что один американец встречался с Пешковым и предложил ему купить его лошадь за 30 000 рублей, чтобы отвезти ее в Америку и выставить на обозрение! Это сообщение обошло всю Россию!»

При выезде из Чудова Дмитрий Николаевич узнает, что его величество не примет его в Санкт-Петербурге. А, возможно, в Царском Селе.

Молодой человек, видимо, слегка разочарован. Но говорит себе, что такое изменение маршрута сокращает ему путь на целые полдня! На самом деле, Царское Село находится в двадцати верстах к югу от столицы.

В этой «царской деревушке» климат явно более умеренный, чем в Санкт-Петербурге. Поэтому русские самодержцы с самого начала сделали из нее свою вторую резиденцию. По крайней мере, с момента создания Санкт-Петербурга, с тех пор, когда Петр Великий подарил ферму, находившуюся в этих краях, своей второй супруге Екатерине. А та вскоре предприняла постройку дворца и приказала заложить великолепный парк с тысячами кленов, лип, вязов, берез, тополей, фруктовых деревьев и декоративных кустов.

Еще более значительные заботы по расширению и украшению Царского Села проводились при Елизавете, дочери Петра I. Та приказала произвести здесь весьма крупные и дорогостоящие мероприятия: хотела затмить Версаль¹! Потом при Екатерине Великой и всех последующих царях.

Да и Александр III не изменил традиции, сделав из Царского Села первый город в Европе, который осветился электричеством!

Император был очень привязан к этому месту. Именно здесь он решил провести прекрасный месяц май 1890 года. Сюда-то и въехал 19 мая в полдень сотник Дмитрий Николаевич Пешков с великой торжественностью.

¹ Царское Село было переименовано в Пушкин в 1937 году, по случаю столетия со дня кончины самого великого русского поэта, чье призвание, кажется, пробудилось в прекрасных садах этого очаровательного места. Потом оно опять обрело свое первоначальное название благодаря великим проповедникам перестройки. В то же время Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом.

Вот его сопровождает войсковая часть гвардии цесаревича Николая Александровича. На всем протяжении длинной дороги, которая ведет ко дворцу, героя приветствуют уже не простые зеваки, как те, другие, а придворные, дипломаты, сановники. Высшая знать аплодирует успеху простого казака.

Да ведь и есть за что!

Ибо то, что удалось осуществить Дмитрию с Серым, — самый неслыханный самый фантастический и самый смелый подвиг в истории верховой езды в мире!

Проехав 9000 километров менее чем за 200 дней верхом на одной-единственной лошади, Пешков превратил в пыль все предыдущие рекорды и после своего подвига оставил мало шансов будущим поколениям когда-нибудь побить его рекорд! В среднем сорок пять километров в день (включая вынужденные остановки и потерянные дни), не меняя лошади и не прерывая пути в течение более полугода, — едва ли это мыслимо, это на самом деле невероятно. Браво, Дмитрий, браво, Серый. Ура! Ура! Ура!

Среди тех, кто аплодирует сильнейшему из чемпионов, люди замечают корнета Асеева, теперь офицера императорской гвардии. Тот взъярен до слез. Действительно, для него сегодня необычный день. Ведь это первая годовщина его собственного триумфа. Ровно год тому назад, день в день, 19 мая 1889 года, он как раз въезжал в Париж, после того как выехал из Лубен неподалеку от Киева на своих двух кобылах, Диане и Влаге, и проехал 2633 километра за 33 дня. Это был тоже легендарный подвиг, который, впрочем, принес ему похвалу царя и назначение в гвардию...

Вот небольшая группа приближается к решетке дворца, часовые в парадных мундирах распахивают тяжелые ворота, ведущие в парадный двор, где построен кавалерийский полк. Люди и лошади при параде. Солнце сияет на дворцовых позолотах, на сабельных клинках, на стали снаряжения. Зрелище — грандиозное.

Дмитрий останавливает Серко в центре двора, лицом к императорскому знамени, перед которым он склоняется. Порывисто дует ветер, хлопает флагом и гонит те несколько облачков, которые еще витают в ослепительно ярком небе.

Гремят барабаны и фанфары, раздаются один за другим оглушительные пушечные выстрелы, но Серко при этом стоит, будто мраморное изваяние, его гораздо больше интересует странная вещь, которой перед самым его носом трясет несносный тип, без конца повторяя:

— Не двигаемся, не двигаемся. Ваше благородие, посмотрите вот сюда. Снимаю, пожалуйста!

Когда все стихло, старший офицер в парадном мундире — Дмитрий различает знаки полковника — верхом на великолепном жеребце рыжей масти отделяется от полка и подъезжает

ет к Пешкову, а тот, все также неподвижно сидя на своей серой лошадке, делает большие усилия, чтобы не показать своего волнения.

— Полковник Обручев, адъютант военного министра, — говорит ему офицер, приветствуя его. — Его величество поручил мне передать вам свои поздравления.

Большая лошадь полковника вытягивает шею и приближается головой к голове Серого, который сразу же опускает уши. Ноздри в ноздри, обе верховые лошади долго обнюхиваются, пока их всадники продолжают обмениваться любезностями. Лошадка Пешкова вдруг вззвизгивает, с силой ударяя о землю передней ногой. Жеребец отступает, но адъютант не обращает на это никакого внимания.

— Отправляйтесь теперь отдыхать, господин сотник, — говорит он бледному от волнения Дмитрию, — и приходите ко мне к концу дня. У меня уже будут для вас некоторые сведения поточнее.

Павильон «Грот» — одна из самых очаровательных построек в парках Царского Села. Расположенный недалеко от дворца, на берегу большого пруда, он удобен тем, что одновременно близок к императорским апартаментам и удален от столовки двора.

Именно там полковник Обручев принимает сотника Пешкова.

Фасад этого красивого маленького сооружения в стиле барокко украшен колоннами, двери и окна покрыты сложной лепниной. Дмитрий приходит в восторг. Но когда он попадает вовнутрь, он не в силах скрыть своего изумления, здесь настоящее подводное царство. С капителей смотрят головы дельфинов, морские чудища исторгают струи воды в странного вида фонтанах-раковинах, повсюду на стенах маски Нептуна. Дмитрию становится не по себе в этой водной стихии. Заметив это, адъютант военного министра делается сердечнее, кладет ему руку на плечи и проводит в небольшую уютную гостиную, где предлагает выпить.

— Благодарю, ваше высокоблагородие, спиртного не пью. Чаяю бы с удовольствием. Чай — это очень даже хорошо. Спасибо.

Обручев — красавец-мужчина. Вполне элегантен в свои пятьдесят лет. У него белые бакенбарды и длинные усы, которые придают ему торжественный вид, что еще более усугубляется его манерой высоко держать голову (жесткий воротник мундира для этого и придуман!). Его некоторая сухость — это не проявление высокомерия. За свойственной ему аристократической сдержанностью скрывается глубокая человечность.

— Дорогой мой Дмитрий Николаевич, у меня для вас только хорошие новости, — наконец говорит он. — Сегодня во второй половине дня я представил императору по просьбе военного министра несколько вариантов вашего вознаграждения.

— Благодарю вас, ваше высокоблагородие, но для меня единственным вознаграждением было бы...

— Государь любит поощрять за смелые поступки, — с достоинством прерывает его офицер. — Во всяком случае, он выразил желание наградить вас. Это имеет и символический смысл, ибо его величество желает поощрять в народе добродетели, которые составляют величие России: мужество, силу... Для вас военный министр представил императору несколько проектов указов. Либо для вас последует назначение в гвардейскую часть, либо награда. И в обоих случаях время отпуска, которое вы просили у вашего начальства, чтобы осуществить ваше путешествие из Благовещенска, засчитается вам и будет оплачено как командировка.

— Но, но... Благодарю вас, ваше высокоблагородие, — бормочет Дмитрий, — но ведь я отправился в это путешествие для...

— Знаю! — сухо прерывает его Обручев. — И его величество тоже знает, и военный министр. Все это знают! Вы достаточно побеспокоились о том, чтобы все это знали. Но что же вы, собственно, хотите? Скандала? Вы находите, что еще недостаточно нанесено вреда? Будьте же рассудительны.

— Ваше высокоблагородие, я не ищу никакого скандала. Я хочу только положить конец ужасающей несправедливости, прекратить эту невыносимую бойню!

— Экий вы герой! Вы полагаете, что мы об этом не подумали? Все необходимое уже сделано. Вчера его величество государь император отменил решение, столь неуклюже принятое этим беднягой князем Корсаковым.

— Отменил решение? Вы хотите сказать, что наших амурских лошадок не станут менять на донских? Так, да? Я правильно понял?

— Вы правильно поняли, сотник.

— Ваше высокоблагородие! Ваше высокоблагородие! — едва может выговорить молодой человек, у которого горло перехватывает от волнения. Не могу ли я кое-что у вас попросить?

— Я к вашим услугам, господин сотник.

— Ваше высокоблагородие, пожалуйста! Не прикажете ли принести бутылку водки?

— Да нет ничего проще, господин Пешков, — серьезно отвечает офицер. И вдруг разражаясь смехом: — А я думал вы не пьете!

Дмитрию даже не верится. Он щиплет себя. Бог ты мой! Вынимает из кармана дорожную икону, целует ее, падает на колени, крестится, приоткрывает рубашку, вытаскивает из-за

пазухи висящие у него на шее амулеты, сжимает их в ладони, лепеча непонятные слова благодарности.

— Ну хорошо, хорошо, молодой человек, возьмите же себя в руки! — говорит Обручев, протягивая ему графин с водкой, который только что принесли.

Пешков встает, отирает слезу и, попросив полковника его извинить, отпивает добрый глоток прямо из горлышка. Вдруг с озабоченным видом он ставит графин на столик.

— Ваше высокоблагородие, а производство конинь? Бойня, которую выстроил господин Буварин? Какое же у нее будет сырье?

— Господин сотник, перестаньте же подвергать сомнению мудрость его величества и его советников. Производства уже нет. Бойни никакой не будет. Ибо не будут строить никакой железной дороги в этом районе. Тщательно изучив документы, государь обнаружил, что речной путь по Амуру в полной мере удовлетворяет транспортные нужды в этих краях, и вовсе нет необходимости затевать столь дорогостоящие работы, абсолютно бесполезные в этой части империи.

Дмитрий не верит своим ушам. Изумленный, он опять подносит к губам горлышко графина. Но на этот раз он выпивает все — до дна!

На утро Дмитрий Николаевич страдает жестокой мигренью. Как будто ему раздробили голову. Затылок, виски, надбровные дуги — боль нестерпимая, кажется, будто болят даже волосы.

Сидя на краю кровати, обхватив лицо руками, Пешков ощущает, словно голову ему зажало в тиски и она у него вот-вот лопнет. Это ужасно. Пешков в жизни не испытывал подобных мук и клянется себе никогда более так не поступать. Проклятая водка.

Сквозь давящую тяжесть с трудом пробиваются мысли и висят неподвижно, словно густой туман или сплошная черная завеса. Ему больно думать.

Он опять ложится. Но ему больно даже лежать. Больно сидеть. Больно вставать. Ох-хо-хо! Стоять — самое ужасное.

Кувшин с водой, поставленный в фаянсовый таз, находится на другом конце комнаты, на мраморной доске комода. Зачем только его поставили так далеко от кровати? Дмитрий пытается до него дойти и в конце концов с трудом добирается. Плещет себя водой. И тогда, устремив сузившиеся и покрасневшие глаза в овальное зеркало на стене, рассматривает, каков результат. Ему вовсе не приятно смотреть на свое отражение. Ну, старина Дмитрий, вид у тебя и впрямь неважный.

Эта единственная мысль, которую удается ему уловить в своем мозгу. Все остальное вспоминается по прошествии некоторого времени. Вот и конец его приключению. Он выиграл.

Ему удалось избежать самого худшего. Все опасности позади. Впрочем, почти все. Проклятая водка! Нечего ему было пить...

Мало-помалу к нему возвращается память. Он приходит в себя. Вспоминает, что его с Серым поместили в совершенно удивительное место. Единственное в своем роде. Примера такому нет нигде во всем мире: ни в Европе, ни в Азии, ни даже, кажется, в Америке. Это настоящий приют для инвалидов-лошадей! Дом для престарелых верховых лошадей императорской семьи!

Это красивый небольшой кирпичный павильон, выстроенный на краю увеселительного парка в Царском Селе, в стороне, но недалеко от большого дворца. Окруженный пастбищем, где старые лошади на отдыхе могут размять себе ревматические ноги, этот павильон, несмотря на свои скромные размеры, однако, имеет до некоторой степени импозантный или, по крайней мере, тяжеловесный вид. Из-за зубцов ли это, что идут вдоль крыши? Или из-за этой мощной башни, которая скругляет один из его углов?

В нижнем этаже устроен десяток просторных денников, кузница, седельный чулан, фуражник. Во втором, верхнем этаже живут конюхи, кузнец, ветеринар, назначенные специально заботиться об их конских величествах.

В большой башне, что высится над всем павильоном, есть даже комната для гостей, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Вот там и приютили героя дня. Героя, который сегодня чувствует себя не очень-то славно, ибо голова его еще очень тяжела от алкогольных паров.

Внезапно Дмитрий испытывает настойчивое желание увидеть свою лошадь, поговорить с ней, погладить ее. От винтовой лестницы, которая ведет из его комнаты вниз, у него кружится голова, но все-таки ему удается благополучно добраться до конюшни. Серый, которого поставили в роскошное стойло с большим количеством соломы на полу, уже успел завязать знакомство со своими августейшими соседями. Рядом с ним находятся кобыла лет под тридцать, которая была последней верховой лошадью императора Александра II, отца нынешнего царя, того самого, что был убит за девять лет до этого в результате заговора; еще одна старая лошадь, послужившая когда-то для выучки цесаревича, да три-четыре другие, тоже полные благородства и воспоминаний.

Три конюха, которые уже почистили Серого и его соседей, вынесли навоз, сменили подстилку, теперь болтают в углу. Завидев казака с землистым цветом лица, они здороваются, колеблясь, заговорить ли с ним. Один из них не выдерживает:

— Новость слышали, ваше благородие? Вроде бы князь Корсаков ночью умер.

— Что? Как? Что вы говорите? — спрашивает Пешков, еле ворочая языком, но разом прозревев.

— Да, ваше благородие. Вроде это несчастный случай. Пуля у него вылетела, когда он чистил револьвер.

— Странный несчастный случай! — вступает в разговор другой. — Дела... Вроде похоже больше на самоубийство. Да я бы и не удивился. Он же был в долгу как в шелку. Не знал уже, как только выпутаться. С ним должно было плохо кончиться.

— Да нет! — протестует другой из парней. — Не то это. Спорю, он просто налился. Он же не просыпал от пьянства в последнее время.

Дмитрий задумчиво входит в стойло к Серому, гладит его по голове, чешке, шее. Потом, после долгого молчания говорит:

— Хочешь выйти погулять немного? Поскакать по лугу? Давай, пошли....

Казак завязывает на нем недоуздок, погруженный в свои мысли ведет лошадь к выходу. Да так глубоко задумывается, что чуть не сталкивается с каким-то типом, который, твердо стоя на пороге у двери, уперев кулаки в боки, явно его поджидает: Сергей Александрович Буварин.

Изящный восьмидесятилетний старик криво улыбается.

— Так что, господин сотник! Я слышал, его величество собирается вознаградить вас за ваши подвиги. Какого же рода награда? Управление обществом охраны животных, так, может быть?

— Господин Буварин, мне нечего вам сказать. Дайте пройти.

— Господин сотник, не воображаете ли вы, что вот так прямо вам и удастся выйти сухим из воды! — говорит ему торговец лошадьми, слегка повышая голос, но продолжая так же вымученно улыбаться. — Вы разорили меня, вы убили моего покровителя, и при этом вам хочется, чтобы я дал вам пройти?

— Я никого не убивал, господин Буварин. А вот с вами другое дело. Ваши сторожевые псы убили сына моего друга Изингу. Вы бесполезно поубивали сотни лошадей. Вы пожелали и мне подослать убийц. Вы преступник. И игрок. Но вы проиграли. Для вас все кончено. Ну все! Пропустите!

— Нет, господин сотник. Вы так легко не отделаетесь. Идите уж до конца. Нужно доводить дело до конца, молодой человек! — вдруг кричит Буварин, выставляя револьвер. — Есть у вас пистолет? Тогда пойдемте! Немедленно рассчитаемся.

— Вам нужна дуэль? Осторожно, господин Буварин. Рискуете пожалеть об этом. Подумайте. Пока найдете себе секундантов...

— Эти секунданты вполне подойдут, — прерывает его барышник, указывая ему на внешний двор.

Ведя Серко за собой, Пешков выходит из конюшни. И не может сдержать смешка при виде все той же комической троицы, которая ждет их во дворе: Алексей, Федор и Григорий тут как тут, и вид у них трагикомический. Все трое опираются, кто на костили, кто на палку, кто о спинку скамейки.

— Я тебе посмеюсь, паря, — бросает ему один из трех бандитов. — Ты пришел к концу своего пути. Лучше помолись.

— Хорошая мысль, — отвечает казак, вынимая из кармана свою икону.

Стоя со святым образом на груди, Дмитрий на какое-то время уходит в себя. Потом, положив его на место, не спеша вынимает из кобуры свой пистолет, проверяет заряд и наконец поворачивается к Буварину.

— Хорошо, согласен. Но у меня нет секундантов.

— Те три конюха тебе подходят? — спрашивает торговец.

— Господа секунданты, — говорит им Пешков, — слышали? Согласны пойти с нами?

У трех конюхов не очень-то довольный вид. Но их разбирает любопытство. Вот уж историю они расскажут потом своим дружкам! Они — секунданты на дуэли между знаменитым казаком и богатейшим барышником! От такого не откажешься!

Небольшая группа проходит за изгородь, за которой как бы продолжается двор, где Дмитрий оставляет свою лошадь. Неловко ковыляя вперед на костылях Григорий, которому ампутировали левую ногу.

А место выглядит величественно и торжественно. Это кладбище.

На расположенных в строгом порядке могильных плитах выгравированы надписи, сделанные в стиле древней византийской каллиграфии, но крестов на них нет, нет вообще никаких религиозных символов. Это могилы лошадей! Здесь помечены имена умерших, даты рождения и смерти, имена самодержцев, которым они принадлежали, и иногда упомянуто о какой-нибудь особенности лошади, о подвиге. На одной из могил надпись гласит, что здесь лежит Друг, жеребец, на котором царь Александр I въезжал в Париж во главе союзных армий. На другой плитке выведено имя Султанчик — кобыла принадлежала графу Ростопчину. На следующем памятнике имя любимой лошади Николая I — Полтавы...

Перескакивая или обходя могилы, враги встают на позиции. Секунданты договариваются, затем встают с одной и с другой сторон этого странного поля боя. Алексей, у которого левая нога жестко зажата в лубке, облокачивается на ограду, чтобы дать отдохнуть своей правой ноге.

Все готово. Наступает полная тишина. Ужасная мигрень, которая отпустила его на какой-то момент, опять сжимает лоб казаку, у него ломит в барабанных перепонках, боль пронизывает ему мозжечок. Нет, это не трусость. Скорее, какое-то чувство досады, холодного гнева. Господи Боже, взывает Дмитрий, освободи меня от этой боли, помоги мне обрести душевное спокойствие, поддержи мою руку. Сотвори справедливость!

Выстрелы раздаются одновременно. Оба стрелка остаются стоять неподвижно с вытянутой рукой. Но из груди Буварина

течет коричневая кровь. Блистательный авантюрист медленно оседает, скрючивается и падает среди скульптур императорских лошадей.

Дмитрий еще не очень понимает. Не осознает, что дело кончено. Что все кончено. Что он может теперь положить свой пистолет в кобуру, взять свою лошадь и возвращаться к себе, туда, далеко, на величественные берега Амура, на самый край империи. Ему здесь больше делать нечего.

Он медленно опускает руку. Револьвер свисает у него из руки, выскользывает из пальцев, падает на землю. Дмитрий даже не наклоняется, чтобы его подобрать. Он чувствует, что страшно устал. И опустошен.

Но Федор подмечает это. Потихоньку он залезает себе под куртку вытягивает за рукоятку пистолет, который он носит за поясом, и прицеливается в сотника, а тот в это время, устремив глаза в пустоту, ничего не замечает. Бандит не спешит. На этот раз уж он не промахнется. Он хорошо прицеливается, нажимает на спуск, и раздается крик боли.

Огромными желтыми зубами Серый успевает схватить его за руку, встряхивает его, выкручивает ему руку, почти вырывает ее. Боль нестерпимая, Федор теряет сознание, падает под ноги Серко, а тот, будто в бешенстве, кидается на него, топчет, проламывает ему грудную клетку. Словно и этого еще недостаточно, словно одним разом хочет утолить страшную жажду мести¹, лошадь кидается на лицо несчастному. Рывком челюстей срывает с него нос и верхнюю губу, обнажая передние зубы, которые рисуют на его окровавленном лице ужасающую гримасу смеха.

Григорий замер, как в столбняке, на своих костылях, Алексей, оцепенев от ужаса, тоже не двигается.

Дмитрий не спеша подходит к своему разошедшемуся коню и, ведя его за повод, отводит от истекающего кровью трупа того, кто ровно восемь месяцев тому назад подло убил Муктана, человеческого брата Серого, этой серой амурской лошадки.

POST-SCRIPTUM

Только что прочитанная вами история — действительный случай. Был на самом деле сотник Пешков, который с 7 ноября 1889 года по 19 мая 1890 года верхом на сером низкорослом коньке проехал около 9000 километров. Подробности тоже верны. Как те, что непосредственно относятся к героям (известно,

¹ Пусть те, кто не знает животных, успокоятся: лошади не имеют чувства мести. К счастью для наездников! Лошадь нападает на человека крайне редко. Поведение Серого здесь не вполне лошадиное, но его забота о справедливости мне представляется истинно рыцарской. (Примечание переводчика — французское слово рыцарский, «chevaleresque» имеет в корне слово «cheval» — лошадь.)

что Пешков не пил алкогольных напитков, что подвиг Асеева вдохновил его на то, чтобы испытать и свою судьбу, что Серому было 13 лет в момент событий и т. д.), так и те, что касаются окружающей природы, эпохи, поведения людей. Например, когда я обращаюсь к описанию тигров, медведей и оленей в тех краях и в те времена. А когда я говорю о тунгусах или бурятах, они ведь действительно живут в тех местностях, которые проходил «мой» казак, и т. д. Так значит, все — правда?

Но в то же время — и неправда?

Все выдумано. Смельчак Пешков никогда не подвергался нападению волков, никогда не учили боями лошадей в Благовещенске, а иркутский губернатор (власть которого, впрочем, и не распространялась на Амурский край) вовсе не был двоюродным братом князя Корсакова, а тот, ко всему прочему, никогда и не существовал...

Моя история так же походит на рассказ о событии, как и на роман.

Может быть, в ней все-таки немного больше от романа. Ибо главной темой «моей» истории является основная интрига: желание спасти от уничтожения амурских лошадок, — а это все тоже чистый вымысел. Истинный мотив настоящего Пешкова заключался совершенно в другом. Он хотел одновременно побить рекорд (сделать лучше Асеева) и показать качества своей военной лошади. Это никак не принижает, конечно, его заслуги и ни в чем не умаляет, естественно, достоинства его подвига. Лично я глубоко восхищаюсь Дмитрием Николаевичем: огромный труд, который я возложил на себя для того, чтобы воспеть его славу, доказывает это в достаточной мере, но нужно сказать, что когда пробуешь рассказывать о нем, то «настоящая правда» меньше впечатляет, чем правда приукрашенная!

К тому же, пережив сам такого рода приключение, значительно более короткое, я должен признать тот факт, что ничего нет скучнее, чем рассказ о длительном путешествии верхом на лошади, каким бы изумительным оно ни оказалось. Даже если речь идет о героическом начинании — двести дней на лошади, все-таки это двести похожих друг на друга дней. Встал рано, почистил лошадь, оседлал ее. Весь день ехал, ехал, ехал... Вечером искал пристанища, расседлал коня, почистил, покормил. И сам лег спать. Все это вовсе не увлекательно. Тысячи раз мне приходилось сталкиваться с этим: когда вы начинаете рассказывать такого рода истории, через десять минут ваши слушатели засыпают. Для того, чтобы блюдо оказалось вкуснее, все-таки нужно его подсолить.

Другой причиной того, что я черпал в своем воображении больше, чем в архивных материалах, явился попросту тот факт, что материалов-то у меня... как бы и не было!

До того как я взялся за написание этой истории, я «слышал», если так можно выразиться, о Дмитрии Пешкове всего

два раза. Это были: несколько строк, выуженных из толстой книги XIX века (Л. Симонов и Ж. де Мердер — см. библиографию) и глава, посвященная Пешкову американским репортером Т. Стивенсон в его книге «По России на мустанге». То есть совсем немного. Благодаря Давиду Гуревичу, милейшему директору любезного моему сердцу Московского музея коневодства, я достал себе копию нескольких статей, посвященных этому событию в выходившем в то время ежемесячнике — «Журнале Коннозаводства». И это почти все.

Этого было достаточно, чтобы проникнуться величием подвига, осознать широту темы, но вовсе недостаточно, чтобы узнать подробности маршрута, и еще меньше — для того, чтобы рассказать, день за днем, о всех перипетиях путешествия.

Между тем я чувствовал, что вынужден был устремиться именно по этой стезе под дружеским нажимом Александра Авеличева, директора издательства «Прогресс».

Одно из самых значительных в СССР, это издательство облегчило мне задачу («спонсировало» меня, как говорят варвары), когда я вбил себе в голову, что должен проехать верхом от Парижа до Москвы. Когда наконец, после семидесяти пяти дней дороги я прибыл вместе с двумя моими рысаками Прэнс де ла Мез и Робэном, мой друг Авеличев ждал меня на Красной площади. Это произошло 14 июля 1990 года. Он так горячо хвалил меня, что по легендарной своей скромности я был тронут. И подумал, что нужно бы объясниться с Александром, ведь то, что я только что перед этим сделал, было всего-навсего небольшой прогулкой в сравнении с тем, что столетие тому назад совершил амурский казак по фамилии Пешков, — о чем он, кстати, никогда в жизни не слышал. Как и большинство его соотечественников, надо сказать.

— Ты представляешь, — сказал я ему с воодушевлением, — какой мог бы получиться фильм?

Чего бы я еще ему не наговорил?

— Очень хорошая мысль, — ответил мне Авеличев. — Мы его сделаем!

Александр прилетел в Париж (самолетом!) для того, чтобы найти партнеров. Среди прочих встреч он повидался с Мишелем Сейду, который только что тогда покончил с «Сирано де Бержераком». Соблазнившись, этот любимец семьи, которая более других связана с французским кинематографом (Жорж Сейду контролирует «Пате», а Николай Сейду — «Гомон»), любезно объяснил Авеличеву, что проект гениален, но что нужно начать с того, чтобы написать эту историю, «сделать сценарий».

— Сделай иллюстрированный альбом (так называемый «комикс»), — посоветовал он мне.

Хорошо, но без изображений и без документальных материалов это легко сказать, но сделать — трудно. И все-таки я попробовал. И вы видите, что из этого вышло.

Не имея достоверных подробностей, я вынужден был идти наугад, но с самого начала решил четко ограничить свое воображение. Если уж не будет чистой правды, все должно было стать правдоподобным. И даже более того: достоверным!

Итак, я постарался черпать из прочитанных книг, из своего личного опыта, своих собственных путешествий. Но мне помогли в работе и мнение, советы превосходных специалистов, которых я хотел бы поблагодарить здесь за дружбу, терпение и прозорливость. Назову только нескольких. В области этнологии: Мария-Лиз, Беффа, Лоранс Делаби и Роберта Амайон. В области ветеринарии: Доминик Жинио. В области кинематографии: Жан-Ноэль Паскаль-Анго...

Спасибо всем тем, кто поощрил меня словом и делом (Жильберте Конт, Жоэлю Фарж, Юлии Любимцевой), кто подал мне идеи (Бенедикту Жинио, Алэну Гуттману, Антонену Росийону), помог (Мирен Лежен) и поддержал (Соланж Модюи)...

Спасибо моим многочисленным «советским» друзьям, благодаря которым мне удалось собрать крохи документов: Геннадию Анциферову, Виктору Безотосному, Борису Блюмкину, Николаю Бородовских, Давиду Гуревичу, Сергею Попову, Игорю Смирнову и т. д.

Спасибо, наконец, всем тем, кто любезно прочел, сделал замечания и сумел обогатить мою рукопись: Жану Барро, Алле Шафигулиной, Жану-Пьеру Диагару, Франсуазе Гронд, Шерику Казнадару, Бернару Лэну, Марку Лотка, Розалинде Маццави и т. д.

Этот длинный ряд имен вовсе не предназначен для того, чтобы защитить меня от критики. Это просто выражение искренней благодарности. Я один отвечаю за ошибки и погрешности этого рассказа. Тем более, что я не всегда принимал во внимание (*mea culpa*) замечания, которые мне были сделаны.

Я начал писать «мою» историю в августе—сентябре 1991 года: о приготовлениях Пешкова, об его отъезде, тунгусах, бурятах, Байкале и о приезде Пешкова в Иркутск.

В это время Александр продолжал свои изыскания. Однажды, думаю, это было в начале 1992 года, он объявил мне, весь сияя от радости, что он разговаривал о нашем проекте со своим другом Жаном-Клодом Латтесом (основатель издательства, носившего то же имя и бывший руководитель издательства Аштетт), который нашел, что мысль прекрасна, и предложил представить нам своего друга Жерара Депардье. Я подумал несколько секунд и в конце концов сказал:

— Для того, чтобы сыграть Пешкова, думаю, это будет не очень подходящее. Но в роли Серко, вероятно, было бы очень неплохо.

После того как примерно на год я оставил в покое мой «сценарий», я опять взялся за него в июле, а затем в октябре 1992 года.

Едва только я закончил писать, как из Москвы однажды вечером мне позвонил Александр:

— Жан-Луи! Жан-Луи! Невероятно! Нашлись дневники Пешкова! Представляешь? Самого Пешкова! Он каждый день делал записи. И его записки были опубликованы после его возвращения домой. Есть даже два варианта. Один, кажется, ему только приписывается, а другой — настоящий.

Хлоп! Все рухнуло. Пропали два года работы! Мне предстоило все переделывать, все начинать сначала.

Борис Блюмин, один из сотрудников издательства «Прогресс», на скорую руку сделал мне перевод двух небольших книжек, которые я проглотил, как можно себе представить, со смешанным чувством любопытства и тревоги.

Путевой дневник Дмитрия Николаевича Пешкова очень интересен. История, которую он там рассказывает, мало имеет общего с «моей», но все же есть в обеих общие мотивы: он действительно уехал из Благовещенска 7 ноября 1889 года, он действительно приехал в Санкт-Петербург 19 мая 1890 года; его лошадь действительно имела кличку Серый или Серко, или Серок. В остальном сходства оказалось меньше.

Долго я колебался по поводу того, что мне было делать. Переписать рассказ, попытавшись побольше приблизиться к действительности? Во всяком случае, все же нужно было оставить внушительную долю вымысла, без которого история становилась плосковатой, по сути дела мало кинематографичной. А если, напротив, я вовсе ничего не изменю, оставлю все так, как есть, буду ли я иметь право сохранить имена Пешкова и Серко? Можно ли использовать настоящие имена живших когда-то лиц, животных для того, чтобы рассказывать о них истории, которых они вовсе не пережили?

Поистязав себя таким образом в течение двух лет, я окончательно решился на следующее:

Первое: начать с того, чтобы, как положено, перевести и издать настоящий «Путевой дневник» настоящего Пешкова, что я и сделал к концу 1994 года, опубликовав в издательстве «Пайо» книгу: «По России верхом на лошади». В нее вошли, в первую ее часть — упомянутый «Путевой дневник» и во вторую — основные отрывки из репортажа Томаса Стивенса, в частности, разумеется, та глава, в которой он описывает свою встречу с казаком.

Второе: не вносить никаких изменений в мой первоначальный рассказ, оставить его в том виде, в каком вы только что его прочли. По сути дела, такой род достоверно-вымыщенного романа или, как будет угодно, вымыщенно-достоверного рассказа, в каких бы соотношениях ни оказались в нем правда и вымысел, действительность и воображение, — это мой способ отдать дань уважения Пешкову и его подвигу.

Д. ПЕШКОВ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выпуск в свет настоящей книги вызван необходимостью восстановить как факты, так равно цифровые и хронологические данные, непосредственно относящиеся к кавалерийской поездке от Благовещенска до Петербурга и в большинстве случаев совершенно искаженные в разных газетных заметках и появившихся брошюрах, неразборчиво скомпилированных на скорую руку из газетных сообщений.

Помещенные в книге путевые записки с 7 ноября 1889 г. по 19 мая сего года не были предназначаемы для печати и составляют личный дневник, в который кратко заносились разные путевые впечатления и в котором отмечались эпизоды совершенно субъективного характера; с этой стороны дневник представляет лишь правдивую хронику всего виденного и встретившегося на долгом пути и может иметь преимущественно лишь бытовой интерес. Отметки же, относящиеся до коня, до цен на продукты, до местных распорядков разных центров и промежуточных станций и проч. и проч. при всей краткости их, безусловно точны и нигде не преувеличены.

Остальные части книги имеют целью дополнить и выяснить все относящееся до поездки постольку, поскольку это должно отвечать интересу не только кавалеристов и спортсменов, но и всех лиц, желающих иметь возможно полное представление о конном путешествии в 8283 версты, совершенном на небольшой казацкой лошади с далекой окраины Восточной Сибири.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПОЕЗДКЕ

В первых числах октября 1889 года Д. Н. Пешков возымел твердое желание совершить поездку из Благовещенска-на-Амуре до Петербурга на своем строевом коне с исключительной целью испытать как его выносливость, так и свои собственные

силы. Не сообщая никому о своем намерении, которое он решил исполнить во что бы то ни стало, Д. Н. прежде всего отправился к своему отцу-командиру, полковнику Григорию Васильевичу Винникову и сообщил ему о своем желании. Командир ласково и сочувственно отнесся к заявлению своего молодого офицера и даже обрадовался этой идее, очень его заинтересовавшей, главным образом с точки зрения кавалериста. Немедленно были раскрыты разные географические карты, справочные книги и начались изыскания и обсуждения маршрута, тщательно и всесторонне обдумывались всевозможные особенности такого путешествия в виду суровой зимы и разных локальных условий намечаемых по маршруту местностей. На другой же день было подано Д. Н. Пешковым прошение об увольнении его в отпуск на шесть месяцев. Составил маршрут полковник Г. В. Винников, с истинно-отеческою заботливостью помог и экипироваться для путешествия, подарив, между прочим, Д. Н. рейтзузы, азиатский башлык, меховую шапку и проч.

6 ноября, накануне отъезда, Д. И. Пешкову было выдано свидетельство следующего содержания:

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 3088

Предъявитель сего, уволенный в отпуск в С.-Петербург и другие города Европейской России, Сотник Амурского казачьего конного полка Дмитрий Николаевич Пешков и дано ему в удостоверение того, что он Сотник Пешков выходит из города Благовещенска седьмого сего Ноября месяца верхом на собственной его строевой лошади, возымев прочное намерение совершить на ней весь путь до С.-Петербурга. — Лошадь эта удостоилась носить на себе Великого Князя Александра Михайловича в прогулках и на охоте во все времена пребывания Его Императорского Высочества в г. Благовещенске в 1887 году и попала в фотографический снимок, отправленный Его Высочеству. Приметы коня: масти светло-серой (к низу темнее, а в верхней части преобладает белая). Грифа белая, налево челка чисто-белая; хвост темнее гривы; лет тридцати на четырнадцатом; роста один аршин пятнадцать с половиною вершков.

Особые приметы: на правой стороне шеи, в расстояние около семи с половиною вершков от уха, в верхней части шеи — круглая лысина, в центре меньше серебряного пятака и на спине у крестца — шерсть имеет три темноватых пятнышка, расположенных одно от другого, как бы образуя между собою треугольник.

Особенности коня: кроткий; шаг большой, свободный; рысь покойная и выдающаяся при таком незначительном росте и отсутствии породистости; доморощенный в станице Константи-

новской (сто верст ниже г. Благовещенска) у казака Ивана Мышникова. В чем и дано сие Ноября шестого дня 1889 г. Г. Благовещенск Амурской Области.

Командир Амурского Казачьего Полка

Полковник Винников.

Место
полковой
печати

Полковой Ветеринарный врач

Коллежский Асессор Добротворский.

И. д. Полкового Адъютанта

Хорунжий Иванов.

Получив это свидетельство, он немедленно отправился представляться наказному атаману Амурского казачьего войска генерального штаба генерал-майору Аркадию Семеновичу Беневскому, которому и сообщил о цели своего путешествия. Атаман отнесся к нему с полным сочувствием и одобрением и лишь выразил желание, чтобы этой поездке не придавалось никакого официального характера, о чем, в свою очередь, и сотник Пешков просил атамана.

Наконец, настал и день отъезда.

7 ноября, в 6 ч. утра, отслужив в местной Никольской церкви молебен, Д. Н. отправился к настоятелю церкви протоиерею о. Александру за благословением, а от него к своему командиру полка проститься. Прощание было самое теплое и искреннее, и дело не обошлось без слез.

К 12 часам дня собрались на братские проводы в квартире сотника все офицеры-товарищи его по полку, несколько человек городских знакомых, японец-доктор Ино со своим переводчиком и китайский торговец, прозванный Василием Васильевичем.

Конь сотника стоял уже оседланым казачьим седлом, причем на передней луке были перевешаны две парусинные сумки, в которых помещались: молоток, скребница, щетка, подковные гвозди, шило, иголки, нитки. В седельной подушке: две перемены белья, форменная папаха, рейтзузы, погоны, кушак и теплые меховые (рыси) чулки. К задней луке был приторочен форменный парусинный чемоданчик, в котором находились: скат запасных стальных подков, щипцы, копытный ножик, обсечка, рашиль, запасные подпруги, дорожная аптечка и форменные сапоги.

Сотник был одет в меховые, волчьи чулки, в козы унты (род местных сапог), в меховые, бараны форменные рейтзузы с лампасами, в японскуюшелковую ватную куртку, в мундир, поверх коего был надет меховой (бараний) короткий полуушу-

бок с погонами и форменными пуговицами. На руках были пуховые перчатки, поверх коих большие якутские рукавицы из беличьего меха на лисьей подкладке. Рукавицы эти, впрочем, приходилось одевать только в большие холода. — Головной убор состоял из вязанного, шерстяного, так называемого арестантского чепчика (защищающего от холода голову и шею), поверх его шапка из лисьих лапок на беличьей подкладке с наушниками из тех же мехов. Поверх всего этого очень практичный азиатский башлык в виде капюшона, защищающего голову, шею и плечи. — Вооружение состояло из отточенной форменной шашки на плечевой кожаной портупее, из пятизарядного маленького револьвера системы Смита и Вессона в кобуре, на форменном шнуре и на широком ременном кушаке и из маленького отточенного кинжала, прикрепленного сбоку к портупее. Через плечо, на ремне был надет маленький саквояж, в котором помещались бумаги, документы и предметы первой необходимости. Поверх всего этого, на ремне через плечо, казачья нагайка. Вот и весь багаж и выюк, весивший вместе с всадником, около пяти пудов.

ДНЕВНИК

1889

НОЯБРЬ

7. День был ясный, дул небольшой ветер при температуре градусов в 20 Р. Ровно в 12 часов и 10 минут пополудни, перекрестившись, я сел на коня и тронулся в путь в сопровождении, до городской черты, в экипажах, супругов Аргуновых, госпожи Д. Л. Кристенсен, А. И. и М. И. Львовых и японского доктора Ино с переводчиком; затем верхами: китайца Василия Васильевича, товарищей А. С. Добротворского, Н. Л. Карапула, А. А. Зарудного, И. Н. Зыкова, А. Д. Ожигова, И. Н. Золотовского, Б. Ф. Кузьмицкого, А. Б. Карпова. Впереди выехали «квартирерами» товарищи-офицеры: В. Н. Лютиков и Б. А. Соколов, с целью приготовить в станице Игнатьевой ночлег. Подъезжая к станице, кавалькаду нагнал Н. К. Кононович. По приезде в Игнатьево, после закуски, все отправились на вечеринку к казаку Епифанцеву, выдававшему в этот день свою дочь замуж. Пробыв часа полтора на вечеринке, некоторые вернулись в Благовещенск, а некоторые остались ночевать.

8. Проснувшись очень рано и осмотрев коня, выехал в 7 часов утра из станицы Игнатьевой. Дорога степью идет хорошая. Около станицы Екатериновки встретился до того скверный и ветхий деревянный мост, что Серый чуть не сломал себе ногу, провалившись в большой пролом. — Остановился у казака своей сотни Федора Намаконова, который очень обрадовался мне и вместе с тем очень удивлялся так неожиданно увидеть меня собравшимся в столь дальнее путешествие. Конь шел бодро.

9. По дороге к Сухотинскому поселку встретил М. И. Карапулова с супругой, возвращавшихся в Благовещенск, и, не слезая с коня, пожелал им счастливого возвращения, а они мне счастливого пути. В Сухотине, проезжая верхом, поздоровался с почтенным содержателем почты Ивановым и передал ему

поклон от племянника его, однополчанина Иванова. За отсутствием дороги пришлось ехать частью горами и заберегами, причем часто попадал в провалы (в так называемые «сущенцы»). В поселке Буссе остановился на почтовой станции у казака Рыбакова. Дали поесть русских щей; при этом ко мне пристал полупьяный писарь, Тец, рассказывавший мне про свои старые амурские подвиги, чем мне страшно надоел, лишив меня возможности отдохнуть.

10. Выехал довольно рано. Около поселка Корсакова встретил старшего урядника своей сотни Кривоносова; не слезая с коня, на рысях, поздоровался с ним и продолжал путь дальше. Мороз трескучий. До станицы Кумары путь отвратительный. Пришлось ехать горами, гололедицей, сущенцами и т. п. В Кумаре остановился у содержателя почт Елохина. Квартира у него довольно чистая. Хозяин оказался милым, радушным и гостеприимным человеком. Елохин угостил меня обедом, а вечером для развлечения играл мне разные пьесы на аристоне. Конь шел довольно весело, но все-таки, видимо, скучал, ржал и очень часто оглядывался назад. Ночью побеспокоила меня проходящая почта, разбудив шумом.

11. В 7 часов утра выехал из Кумары. После перевала через Кумарский хребет встретил двух казаков, везших с поля хлеб. Проехав мимо них, услышал их разговор про меня:

— Это, паря, кто?

— А черт его знает, кто такой.

Обогнав многих, едущих на быках с сеном и дровами, слышал разные замечания на свой счет, так как, не имея форменной одежды и будучи весь закутан, представлялся для них человека весьма неопределенного. Кумара произвела на меня приятное впечатление зажиточностью ее жителей.

Вид Александровского станка также понравился мне. Дом красивый и новый. В поселке Ушаковом видел на берегу Амура зимующий пароход «Лебедь», принадлежащий благовещенскому купцу, мельнику Соколову. По приезде в поселок Кольцово, на почтовую станцию, встретил казака, ветеринарного фельдшера Савина (служившего прежде в нашем полку), отказавшего мне в ночлеге, говоря, что посторонним не полагается ночлега, но когда он узнал, кто я, то, сконфузившись, пригласил меня в дом на ночлег и гостеприимно встретил. Я ему заметил, что вообще некорошо отказывать в ночлеге путешественникам, истомленным морозом и тяжелым путем. Вечером вспоминал товарищей и вообще жизнь в Благовещенске.

12. В 7 ч. 10 м. выехал в Аносово. Дорога отвратительная. Шел довольно крупный снег. Пути не было, пришлось брести тропой. Встретил три тройки с почтой. Путь шел частью до-

вольно крутыми горами, частью берегом Амура. Бедный конь, видимо, чувствует усталость, да и немудрено, когда приходится брести по колено в рыхлом снегу. В Цагаяне остановился на почтовой станции. Застал на ней одного старика писаря, с которым вместе хозяйничали, ставили самовар, варили какую-то похлебку, вроде чечевичной. Чай пили с черным хлебом, без сахара. — В Цагаяне нет другого жилья, кроме станции. Бедный конь все скучает и оглядывается назад. Целую ночь беспокоили то проезжающие, то почта, так что поминутно будили меня. Перед утром пришла из Сретенска почта; сопровождал ее очень юный вольноопределяющийся Грасевич. Старый почтосодержатель, отставной вахмистр Кривоносов, очень скептически отнесся к моему путешествию, говоря:

— Да где, ваше благородие, до Петербурга доехать! Дай Бог до Покровки-то¹ добраться — и то спасибо!

Это на меня повлияло неприятно. Утром учил молодого казака, имеющего поступить 1 января в Благовещенск на службу, как чистить коня.

13. Выехал в 8 часов утра. Путь идет все время по льду. По пути к Ермаковскому поселку увидел первые вехи, обозначающие дорогу. Вид этого поселка наводит уныние. По дороге к Кузнеццову встретил однополчанина П. Ф. Казанова, только что женившегося и ехавшего в полк, в Благовещенск, с молодой женой и братом. Остановились и минут 5 поговорили. Послав поклон всем товарищам и знакомым. В Кузнецкове остановился у тихого и скромного казачка Зубарева. Жена его, хлопотливая хозяйка, подготовила к ужину постных щец, а утром к чаю подала горячих, только что испеченных, весьма любимых мною, лепешек. Против поселка, по ту сторону Амура, стоит маньчжурский пикет. Живущие на нем маньчжуры торгуют разными товарами и жизненными припасами, как-то: табаком, мукой и т. п. Мука под назв. «майза» у них очень скверная, но они дерут за нее 4 р. за пуд. Однако покупать ее волей-неволей приходится казакам, потому что своя пшеница померзла от инеев в июле месяце. Вообще 1889 год был на Амуре неурожайный и сильно отозвался на экономии казаков. Наши казачки с маньчжурами проделывают разные фортели, как, напр., новые деньги отдают им так: 10 р. за 15 р., 3 р. за 5 р. Словом, в долг у них не остаются. — Погода отвратительная; все время идет мокрый снег. Ехал тяжело. — Узнал о застрелившемся бывшем черняевском атамане Никите Савине, вследствие ссоры с женой. Пожалел, ибо Савин был хороший парень.

14. От Кузнецкова взял себе провожатого казака Федотова, так как пришлось ехать при отвратительной погоде с мокрым,

¹ Покровка верстах в 550 от Цагаяна.

рыхлым снегом, по которому можно только брести. Дорога идет по неизвестной мне тропе, по горам. Обещал казаку Федотову, что если желание мое исполнится (не говоря, какое желание), то вышлю ему новый серебряный рубль. Он же рассказывал мне дорогой, в шутливом тоне, как он возил в доброе старое время бывшего командира нашего полка полковника Чеснока и доктора Андреенко, и очень смешил меня. Проехал прямо горами, на станицу Черняеву, минуя почтовую станцию Тарой. В Ольгино приехал рано; остановился у бывшего моего вестового Луки Пешкова, очень мне обрадовавшегося и принявшего меня крайне гостеприимно. Домик хотя и маленький у него, но уютный. В печке сделано приспособление сбоку, в виде камина, куда кладутся сосновые шишки, дающие тепло и свет, причем не нужно никаких осветительных материалов. — Встретил здесь партию китайцев, направляющихся на золотые прииски в Желтугу. При въезде моем в Ольгино встретил казака Богомолова, которому, обрадовавшись, сказал: «Ах ты, морда! Здравствуй!». Он тоже обрадовался мне и сразу узнал, не веря в то, что я еду так далеко, и удивляясь, что собрался ехать один. — Здесь овес 1 р. 60 к. пуд. Даю Серому как овса, так и сена вволю.

15. Сильный, холодный и резкий ветер. Дороги почти не видно, ее всю перемело сугробами. Выехал из Ольгина в 6 ч. 30 м. утра. Поехал не по настоящей дороге, так что, отъехав версты полторы, сообразил, что не туда попал. Пришлось вернуться обратно. Расспросивши хорошенко, направился уже куда следует. — Ваганово и Толбузино проехал мимо. — По дороге в Бекетово встретил только двух пешеходов, которых от души пожалел: бредут по колена в снегу, а ветер так и свищет. — В Бекетове остановился у поселкового атамана Гуляева. Был на телеграфной станции и послал товарищу Тонких на Джалинду телеграмму. Конь от такой дороги, видимо, устал. Здесь слышал о смерти казака Николая Щеголева, застрелившегося в сентябре. Из Толбузина к Бекетовой по Амуре замечательно красивые утесы-великаны. Сегодня выехал в свой Албазинский округ (где родился). Бекетово поселок довольно бедный. Хозяин оказался гостеприимным, угостил вечером по-хлебкой из дикой козы, что даже после голодухи не особенно понравилось мне, но зато он уступил мне свою кровать для ночлега.

16. Дорога прекрасная. Поселок Пермыкино проехал мимо. Наружный вид его мне понравился. Здесь отстраивается новая часовня. За поселком встретил татарский обоз. Кони довольно красивые. — Поселок Бейтоново проехал мимо. Наружно он уступает Пермыкину, но по зажиточности жителей выше Пермыкина.

Прибыв в селение Воскресенск, заехал во двор к старому знакомому, зажиточному купцу Гусеву. Встретил на дворе какую-то девочку и просил сказать хозяину, что нельзя ли его повидать. Но он оказался больным. Вскоре вышла жена его и, не узнав меня, предложила отправиться на кухню, а коня привязать. Когда я ей сообщил, кто я, то она очень удивилась, узнала меня и тотчас же весьма гостеприимно приняла. У них я и ночевал. Конь здоров.

17. Выехал в Албазин. Утро очень морозное. По дороге встретил на лошадке очень маленьких девочку и мальчика (лет 8-ми), ехавших в сильный мороз, по-видимому, за дровами. Выносливость их меня сильно поразила. Выехал в станицу Албазин (где я родился), когда-то бывший русский город, разоренный китайцами в 1670 годах. Часть жителей, забранных в плен, была уведена китайцами в Пекин. В настоящее время потомки этих пленных албазинцев, сохранив православную веру, превратились сами по языку, одежде и обычаям в китайцев и составляют в Пекине отдельную колонию. При въезде в Албазин в памяти моей воскресли разные воспоминания детства. В общем, многое переменилось. Остановился у родственника П. С. Птицина. В первый раз по выезде из Благовещенска переменил белье. Сапоги оставляю, а беру запасные унты. Вечером ходил на могилу родителей и бабушки. Оттуда отправился смотреть новую церковь, которая мне очень понравилась, но я нахожу, что местоположение ее избрано неудачно. Следовало построить ее на месте старой церкви. Бедный конь начал обивать себе задние ноги, потому что идет по непротоптанной дороге. На задних ногах у него начала вылезать шерсть. В Албазин приехал в 12 часов дня, а выехал на другое утро.

18. Выехал в 7 часов утра по дороге через Ульдегиченский остров. Погода довольно холодная. На небе тучи. Ветер пронзительный. На протоке увидел бежавшую лисицу. — Приспособенную резиденцию Джалинду проехал мимо. По дороге к поселку Орлово встретил бывшего своего артельщика, приказного Тонких. — Орлово, поселок очень маленький, стоящий на горе, проехал мимо. Местность красивая. В поселок Свербеево ехал через Хребет. Дорога отличная. По выезде на Амур встретил человек 15 китайцев из Желтуги, видимо, голодных. Мороз начинает крепнуть. В Свербееве остановился у своего вахмистра Поликарпа Бянкина. Он принял меня очень радушно. Вечером вспоминали прошлое время. За ужином ел пельмени. Коня держу на стойке 5 часов. Здесь следующие цены: овес 2 руб. пуд, мука сеянка 4 руб. 50 коп. пуд, мука ржаная 2 руб. 50 коп. пуд. Много бродячего люда. Ночью раздавались песни, так как Свербеево недалеко от золотых приисков, откуда рабочие приходят погулять сюда и отвести душу.

19. Выехал из Свербеева в 7 час. 45 мин. утра. По дороге встретил несколько партий несчастных, обнищалых и голодных китайцев. Встретил почтовый возок, в котором сидело два русских, из коих один с обезображенными безносым лицом, произведшим на меня тягостное впечатление. В станице Игнашиной остановился у П. Г. Портнягина, который думал сначала, что я пришел с сотней на стоянку, но, узнав цель моего путешествия, очень удивился, как и все остальные, полагая, что я шучу. Тут же получил приятную телеграмму от командира полка, что отпуск разрешен мне на шесть месяцев и что билет и свидетельство я получу в Сретенске от командира резервного батальона. Игнашина, по-видимому, станица зажиточная. Много новых домов, телеграфная станция и часовня. Против Игнашина, по ту сторону Амура, строится китайский город Мохо. Будущий этот город теперь еще хуже всякой деревни. Это в 35-ти верстах от знаменитых желтугинских золотых приисков, еще так недавно наделавших много шума. Теперь эти прииски эксплуатируются китайским правительством.

20. Из Игнашина выехал в 7 час. 50 мин. утра. Морозно. До Амазара не встретил никого, кроме нескольких пешеходов. Амазар проехал мимо и недалеко от него встретил обоз с мясом, лошадях на пятнадцати. Не доехая верст десяти до Покровки, видел склад товаров на берегу Амура. Ящики с товаром были оставлены на берегу без всякого присмотра, что, судя по жестокости местных нравов, могло бы лишь подходить к патриархальным нравам счастливой Аркадии. — Покровка довольно большая станица, расположенная при слиянии рек Шилки и Аргуни, из коих образуется река Ашир. Заехал к своему старому товарищу (ныне священнику) П. Р. Богданову. Очень удивил его, что еду верхом в Петербург, чему никто не верил. Тут же встретил его матушку. После обеда, весьма оживленного, пошел в первый раз по выезде из Благовещенска ко всенощной. Церковь крошечная, а молящихся очень много. Слышал в церкви замечательно стройное пение семейства г. Бурлакова, начальника местной почтово-телеграфной станции. Здесь решил дать отдых коню на двое суток. Всего проехал от Благовещенска 803 версты.

21. Встал очень рано. Осмотрел Серого. Он совершенно здоров, ест и пьет хорошо; дачу овса увеличиваю, но вылезание шерсти на задних ногах у него все продолжается. Был у обедни, после которой у священника собралось все покровское общество, состоящее из самых разнообразных слоев населения. Закусивши и напившись чаю, вся компания отправилась гулять, заходя из дома в дом в гости, как Христа славят на Рождестве. При этом осматривали вновь строящуюся церковь и опять продолжали огулом визиты до самого вечера. В каждом

доме, по пословице: «что есть в печи — все на стол мечи», предлагались бесконечные угощения и самое теплое гостеприимство. Вечером, по возвращении домой, отец Петр уговаривал меня до 2 часов ночи бросить мое намерение доехать до Петербурга, ибо это похоже на умопомешательство, и советовал мне лучше поступить в монахи. Он очень был недоволен, что я оставался непреклонным.

22. Мороз в 33°Р. Встал рано. Осмотрел коня. Он ест и пьет хорошо. Разбудил батю. Почти целый день провел дома.

23. Мороз в 34°Р. Выехал в 7 ч. утра. Отъехав верст пять, увидел створы, обозначающие фарватер и селение на Аргуни: «Стрелка». Тут мне пришлось проститься с родным Амуром, с дорогой родиной, и сердце невольно у меня сжалось. Что-то ждет меня впереди?..

Перекрестившись, я дал нагайку коню и понесся полной рысью уже по реке Шилке. Встречаю очень много обозов с хлебом, мясом и т. п. От Утесной до Горбицы идут последовательно семь почтовых станций, названных: «Семь Смертных Грехов», вследствие того, что многие проезжающие, застряв на какой-либо из этих станций, обречены сидеть по несколько суток без провизии и малейшего признака какого бы то ни было комфорта. От Утесной к Поворотной ехал хребтом. Дорога отвратительная, камень на камне. Но вместо 28 верст сделал только четырнадцать. По дороге встретил телеграфные столбы, стоящие здесь с 1869 года, то есть 20 лет. В Поворотной заехал к начальнику телеграфной станции господину Басурманову и попросил у него ночлега. Сначала он спрашивал, отчего я не остановился на почтовой станции, но затем сменил гнев на милость и в конце концов очень любезно оказал гостеприимство. Я вообще избегал ночевок на почтовых станциях, так как беспрестанно приезжающие и отезжающие тройки и ежедневно проходящая почта не дают покоя. Горе с овсом. Христом-Богом выпросил с громадным трудом у почтосодержателя фунтов десять, но и то скверного, с рыжиком, который просевал сам через решето при некотором содействии начальника станции. Что делать!.. Грехи!.. Завтра именины у Бабинцева в Благовещенске. Хотелось бы очень послать телеграмму, да нельзя.

24. По Шилке дорога хорошая. Встретил много обозов с мясом и разными мешками. Станцию Караган проехал мимо. В Аникино заехал к начальнику станции Сергееву и попросился переночевать. Он направил меня на почтовую станцию, отказав в ночлеге у себя. На станции почтосодержатель Лончаков принял меня очень любезно. Достал хорошего овса и сена. Тут же встретил капитана Видовского из Благовещенска,

ждавшего лошадей и ехавшего в отпуск в Россию. Очень обращался ему. Являлся телеграфный пьяный чиновник и все время надоедал. Часа через 4 Видовской со спутником уехал. Мне очень взгрустнулось. Ночью беспокоила меня на станции почта. На задних ногах Серого, на сбитых местах, показалась кровь.

25. Из Аникина выехал в 7 час. утра. По выезде встретил первый раз обоз из верблюдов. Станцию Часовую проехал мимо. Остановился на станции Соболевой. Почтосодержатель Андоверов, хотя и еврей, но был очень мил и любезен и оказался весьма гостеприимным хозяином. Пригласил к себе в дом, напоил чаем, угостили ужином и при прощании наотрез отказался принять от меня плату. Вчера узнал о проезде хорунжего Кузьмицкого и очень сожалел, что не видел его. Мороз ужасный. Ночь провел отлично. Утром виделся с проезжающим Сережей Поповым и послал с ним поклоны всем знакомым. Конь выглядит сегодня прекрасно; идет бодро и не скучает.

26. Дорога по Шилке хорошая. Встретил много обозов с верблюдами и лошадьми. На станцию Воскресенскую не заезжал. В Горбице остановился на почтовой станции, где меня встретил писарь, довольно не симпатичной наружности. Подъезжая к Горбице, повстречал большой обоз верблюдов, загородивших мне дорогу. Один из них стоял с опрокинутым возом, и когда я приблизился к нему, то он закричал таким диким голосом, что Серый, испугавшись, шарахнулся в сторону и, попав между скользких льдин, упал вместе со мной, причем придавил мне немного ногу, но, к счастью, я отделался только маленьким ушибом левой ноги. В большом селении Горбице много торгующих и всякого сброва. Это селение когда-то было вполне казачьей станицей. — Почтовая станция в старом ветхом доме Скобельцина. Вокруг Горбицы находятся золотые прииски Кабинета Его Императорского Величества. Сегодня, слава Богу, миновал «Семь Смертных Грехов». Ночь провел очень дурно; всю ночь ревела хозяйская дочь и не давала спать. Утром явился какой-то юродивый и, прося копеечку, говорил, что он «помолится Боженьке».

27. Очень морозно. В Усть-Черную не заезжал. Смотрел на утес, в который летом сильно бьет вода, причем разбивается множество пароходов, паромов и баржей. Плавающим надо быть очень осторожными в этом месте, чтоб не погибнуть. В Лунжанках остановился на почтовой станции, но хозяин был настолько любезен, что пригласил к себе. К нему зашел Куларский священник и на поклон мой прежде подошел к мне и спросил, не японец ли я? Узнав, что я русский, он подал мне

руку и, побеседовав, вскоре ушел. Отсюда совсем недалеко приски Кабинета Его Императорского Величества и знамени-тая Кара, куда ссылают преступников.

28. Выехал в 7 ч. 30 м. утра. — Сильный мороз. Приходится соскакивать с коня, чтобы отогреть ноги бегом. В Усть-Кару, которая выше Лунжанок на 7 верст, я не заезжал, а проехал мимо. Проездом видел арестантов, возящих воду из Шилки в сороковых бочках и выкатывавших из реки бревна. На реке сооружена пароходная пристань (вероятно, трудами арестантов), на которой устроена арка с флюгером, в коем вырезан год «1888», а поверх развеивается флаг. Усть-Кара большое селение, где центр управления ссыльнокаторжными и государственными преступниками. Шилкинский завод, тоже большое селение, проехал мимо, но видел церковь и большой дом, вероятно, купцов Немировых. Встретил два зимующих парохода: «Гиллой» и «Кяхта». Попались по дороге три тройки с проезжающими. На одной из них сидел линейный офицер. В Ботах заехал к казаку Цебрикову, которого не было дома, а жена его меня переночевать не пустила. Поехал к соседям и попал довольно удачно. Это старичок со старушкой, хотя и бедные, но очень приветливые люди. Хозяин старый казак Русин, бывший в 1856 году на Амуре. Ел жареные пельмени с брусникой и солеными огурцами. Ночь провел беспокойно. Поднялась ужасная метель. Болит голова.

29. Страшная буря и ветер. Дорогу сильно перемело сугробами. Уктычи проехал мимо. В большой станице Ломах остановился у казака Федорова. В ней есть церковь, школа и станичное правление. У Федорова встретил казака с Аргуни (лет 50-ти), который рассказывал, что в молодости он съедал 140 картофелин и запивал их 40 стаканами чаю, чего, к сожалению, теперь уже сделать не может. Однако аппетит его был и теперь из завидных. Хозяин все время хвалил наказного атамана забайкальского казачьего войска, генерала Хорошкина, говоря, что он всем интересуется, во все вникает и все знает.

30. Выехал в 7 ч. утра. Мороз с ветром. Остановился в Сретенске у старого знакомого В. И. Литвинцева, который очень удивился, увидев меня, и принял весьма радушно. Познакомился у него с каким-то доктором. Здесь опять переменил белье. Лег спать на диван, в котором оказались целые стада клопов, так что пришлось перелечь на пол. В 6 ч. утра, старуха-няня, вошед в комнату с грудным ребенком на руках, положила его ко мне к груди, думая, что это спит хозяина дома. Когда я со сна спросил, что это Вася? (старший сын хозяина), она увидела, что ошиблась, приняв меня

за хозяйку, и, взяв ребенка, убежала. Над этим эпизодом потом все очень смеялись.

ДЕКАБРЬ

1. Встал рано и, напившись чаю, отправился в канцелярию батальона. Там встретил подполковника Фотенгауера. Командира, полковника Рихтера, не застал. Пришлось вернуться обратно. В полдень опять пошел туда же, где снова не застал его, так что пришлось явиться к нему на квартиру. Полковник весьма любезный и приветливый человек. Я просил его выслать мой отпускной билет в Верхнеудинск.

Конь пил плохо. Оказались насосы, а вычистить их было некому; ни ветеринара, ни коновала не было. Ячмень давать боюсь. Селение Сретенское выглядит городком; в нем много каменных домов; движение на улицах довольно большое.

2. Выехал в 7 ч. 30 м. утра. Очень сильный мороз. По дороге проехал много поселков, но никуда не заезжал. В Тарковском остановился у казака Сергея Душечника. Парень он хороший, услужливый. Послал за коновалом и вместе с ним пустили коню насосы. Встретил старика, которому 108 лет. Это поселенец, занимающийся шорным ремеслом. Он совершенно еще бодрый и здоровый.

3. День теплый. Село Бянкино проехал мимо. Тут есть церковь и полуразвалившийся винокуренный завод. Село довольно большое. С Верхних Ключей поехал через город Нерчинск. Заехал на почтовую станцию, где не нашел ни сена, ни овса, ни помещения для Серого.

Принужден был разыскивать себе по городу приют и наконец должен был остановиться в номерах для проезжающих В. Е. Макеева. Тут меня встретил сын хозяина, очень обязательный и любезный молодой человек. Он дал мне номер, где я хорошо и сытно пообедал и напился чаю. Тут же нашел хороший корм для коня, хотя само помещение для него незавидное. Встретил старого знакомого Е. Н. Эпова, который очень удивился, увидев меня, и стал очень энергично отговаривать продолжать путешествие, называя это безрассудством и рисуя мне всевозможные ужасы.

Сегодня ровно семь лет со дня производства моего в офицеры. — Г. Нерчинск когда-то славился своей торговлей и богатством жителей (в особенно М. Д. Бутина с его колоссальными постройками), но теперь наводит даже уныние своим упадком. Почти целую ночь не дали мне спать нерчинские ораторы с хозяином во главе. Каких только вопросов они ни задавали! Тут всем досталось от них, от Англии до Китая

включительно. Меня поразила здесь дешевизна жизни. Хозяин номеров очень милый и любезный человек.

4. Выехав из Нерчинска, попал не на ту дорогу, куда следовало. Хорошо, что встретил мужичка, указавшего мне путь. Пришлось вернуться обратно. Мирсаново проехал мимо. Путь шел горами, и дорогу перемело страшно. Коню тяжело. В Казановой остановился у довольно зажиточного казака Ничуева. Сначала он отговаривался неимением овса, а потом сознался, что овес есть. Меня, видимо, подозревают в побеге и потребовали мой вид, который я предъявил. Вчера простился с рекой Шилкой, а сегодня поздоровался с р. Нерчей. Теперь выехал на р. Ингаду.

5. Выехал в 7 ч. 45 м. утра. По совету хозяина, поехал через хребет, желая сократить путь на 3 версты. Но попал в такие снежные заносы, что в одном месте пришлось прибегнуть к помощи шашки, которою прорубал себе и коню путь на расстоянии нескольких сажен. Негодовал как на хозяина, давшего этот совет, так и на самого себя. Работая, сильно вспотел. Выйдя на Ингаду, очень обрадовался, но встречный ветер был чрезвычайно силен, так что я отморозил себе нос. В Галкиной остановился у казака Логинова. Пил чай с черным хлебом. Галкино расположено по обеим сторонам Ингады. Население зажиточное. Хозяин говорит, что у них завелся богатый казак-кулак, который все судится. Но явился праведный судья, некто г. Евдокимов, и теперь дело принимает хороший оборот в пользу общества. По дороге обогнал много возов с чаями. Говорят, что некоторые взялись везти чай до Верхнеудинска, а так как на всем расстоянии от Читы нет снега, то приходится отсюда по льду ехать на телегах.

6. Вставши утром, помолился Богу, мысленно поздравил всех именинников и сел пить чай с черным хлебом. Сделалось грустно. Выехал в 7 часов. Князе-Береговую и много других деревень проехал мимо. Встретил бурята верхом, который сказал мне: «Менду!» то есть «Здравствуй!». Кайдалова довольно большая станица, расположенная по обеим сторонам реки Ингады. Остановился у казака Ветрова, которого не было дома, но жена его очень гостеприимно угостила меня чаем с гречневыми блинами.

7. Сегодня ровно месяц со дня моего отъезда из Благовещенска. Перетерпел и испытал много. ТуриноПоворотное проехал мимо. Там квартирует конвойная команда. С Мирсановой начались этапы. Сегодня в первый раз встретил партию арестантов, как мужчин, так и женщин. В Макавеевой остановился у казака Пушкарева. Его сын, старший урядник, очень

услужлив. Достал мне овса и сена. В десяти верстах отсюда есть минеральные воды, содержимые доктором Муратовым. Летом здесь бывает много больных из соседних городов. Из Турино-Поворотной дорога идет в город Окшу.

8. Из Макавеевой поехал трактом. Дорога хорошая. Местность очень красивая. Много сосны. Усть-Глубокую проехал мимо. Отсюда проехал льдом до Читы, где остановился в гостинице «Владивосток». Содержатель Биячинский, добросовестный человек. Послал за товарищами по училищу Ловцовым и Челпановым. С ними провел вечер. Вспоминали старину. Конь выглядит прекрасно. В 10 ч. вечера лег спать.

9. Утром встал до света. Разбудил хозяйственного мальчика, помогавшего мне. Напившись чаю, отправился в путь горами по летнему тракту. До Черновской станции дорога породочная, но далее к Домно-Ключевской она совершенно невозможная — или большие снеговые заносы, или голые камни. От Домно-Ключевской до Беклемишевой дорога прекрасная — через Яблоной хребет. На его вершине стоит часовенка, посреди коея водружене большое распятие Христа Спасителя. При спуске с Яблоного хребта я увидел громадного волка, который еще вдали убежал от меня. В Беклемишевой остановился у крестьянина Глазунова, в семье которого заметна какая-то ненормальность отношений отца к сыну и невестки к свекрови.

10. Дорога от Беклемишевой до Кондинской прекрасная. Остановился на ночлег на залмке Караваева, выше Кондинска на 12 verst. Приходило очень много любопытных из окрестных бурят, весьма интересовавшихся мною и конем и расспрашивавших меня обо всем. Здесь очень много разного мрамора, извести и каменного угля. При проезде Кондинска встретил обоз, везущий в бочках водку. Их лошади перепугались, и один из ямщиков выругал меня довольно крепким словом. Не желая оставаться у него в долг, я подъехал к нему и дал ему познакомиться с моей нагайкой.

11. Выехал очень рано. Около Вершиноудинска видел табун диких коз совершенно вблизи. Вершиноудинскую и Домнинскую проехал мимо. Остановился ночевать в Сосновке у И. З. Гантимурова, отставного слепого чиновника. Здесь вода озерная. Кое-как достал несколько фунтов овса, да и то плохого. В общем деревенька сквернейская. Подъезжая к ней, опять встретил каторжников обоего пола.

12. Конь съел немного плохого овса, но пил хорошо. Укырь и Програмнинское проехал мимо. По дороге меня обогнала

тройка с двумя седоками. Проезжая мимо меня, они остановили кибитки, и один из них строго закричал мне: «Казак, подъезжай сюда!» Я остановился в недоумении. Тогда он еще строже закричал: «Казак!» На это я ответил: «Я офицер!» Он извинился и спросил, куда я еду. Я отвечал: «В Иркутск». На следующей станции я узнал, что этот строгий седок — горный исправник Витимской системы, некто Лабунский. В Попечинской, при сильном морозе, заезжал в несколько домов, но везде получал отказ в приюте. Остановился у крестьянина Белоусова, который прежде, чем впустить меня, долго расспрашивал на морозе, видимо, сомневаясь во мне и подозревая меня в чем-то. Вечером он, однако, все-таки не утерпел и побежал к старосте доложить обо мне. Тот прислал за моим документом и, видимо, удовлетворился им, ибо вернул мне его тотчас же обратно. В общем все эти подозрения неприятно действуют на меня.

13. По выезде из Попечинской до Грядской никого не встретил. Дорога от Грядской скверная, но места очень красивые, в особенности около деревни Онин-Бор и около Онинской станции. Остановился на постоялом дворе у И. И. Гуляева. Очень хороший человек. Хоть и бедный, но честный. Поели, что Бог послал. Тут встретил денщика военного доктора Васильева, солдатика Шишмарева, который, приняв меня за торговца, присел рядом со мной на лавку и начал весьма фамильярно откровенничать. Здесь же остановились буряты, везущие для продажи хлеб в Укырь. Отсюда, в шести верстах, Хорнинская степная дума, где с 20 декабря открывается ярмарка, на которую съезжаются массами окрестные жители и торговцы. Ночевать пришлось на полатях вповалку вместе с неопрятными бурятами и разным сбродом.

14. Кульскую проехал мимо. В Тарбагатайской остановился у Григория Лосева. У него на стене висит удостоверение, выданное генерал-губернатором Восточной Сибири генералом Синельниковым, в 1873 году, в том, что за его, Лосева, трудолюбие, пожалованы его жене серебряные серьги. — Начиная от Читы, все время встречается бурятское население и живущие оседло инородцы, иначе «кармы». Все они говорят по-бурятски, как природные буряты. Живут незавидно и довольно грязно. Обыкновение посыпать пол дресвою вызывает массу пыли.

15. Тынгаро-Болдотскую проехал мимо. К Курбинской дорога отвратительная. По дороге встретил много бурят, едущих, вероятно, на ярмарку. Погода скверная; идет большой снег. В Курбинской остановился у Ливентуева. Чувствую лихорадочное состояние и появился кашель. Принял хины.

16. Выехал очень рано. На Онахойскую не заезжал. В городе Верхнеудинске остановился в меблированных комнатах Шайбера. Вечером поехал на хозяйственном коне ко всенощной. Поют отвратительно; торопятся, ревут, в церкви говор. Невольно вспомнил нашего преосвященного Гурия, который хорошо бы внушил, как нужно держать себя в храме Божием. В церковь ездил в простой шубе, но обратил на себя внимание всех, желавших узнать, что это за пришелец.

17. Сегодня чувствую себя лучше. Поехал к капитану Безсчастному. Билет еще не был получен. Телеграфировал в Сретенск и получил ответ, что билет отослан 4 дня тому назад на имя этого капитана. На телеграфе просил начальника конторы, если можно, дать мне удостоверение вправе останавливаться на ночлеге на почтовых станциях по Кругобайкальскому тракту, где, кроме этих станций, решительно нет никакого жилья. Начальник г. Андерс был настолько любезен, что тотчас же исполнил мою просьбу. — По выходе от него встретил своего хорошего знакомого К. А. Нагибина, проезжавшего с Джалингских приисков в Иркутск. Оттуда заехал в собор. Поют порядочно, но богомольцев очень немного. Цены в Верхнеудинске вообще на все высокие. Эта дневка мне обошлась дорого. Купил медвежьего сала для смазки задних ног Серого.

18. Выехал на рассвете. До льда меня провожал из гостиницы слуга Иннокентий, очень услужливый парень. По выезде из Верхнеудинска, сразу бросилась мне в глаза, по красоте архитектуры и местоположения, центральная тюрьма. — Половинную проехал мимо. По дороге к Ильинской встретил две павших лошади. Какая тут причина — неизвестно. Может быть, падеж. В Ильинской остановился на почтовой станции. Староста старичок услужливый. Овес 1 р. 70 к. пуд, а сено 70 к. Конь шел очень бодро. Мороз трескучий. Хозяйка из купленного мною мяса сделала такой ужин, что я решительно ничего не мог есть, хотя был голоден как собака. Вечером опять сделался у меня сильный жар и страшная слабость. Съел два порошка хины. Только что начал засыпать, как приехал какой-то Рубинштейн с женой и надоедливо начал приставать ко мне, чтоб я продал ему свое седло. Этот иерусалимский дворянин все мерил с материальной точки зрения и надоел мне возмутительно. — Всю ночь буря.

19. Утром проехал какой-то еврей из Иркутска и сообщил, что дорога кругом Байкала страшная. В 8-ми верстах от Ильинска к Таракановскому стоит Троицкий мужской монастырь. Много строений. В Кубанске остановился на почтовой станции. Это большое село; есть базар, большая церковь и еврейская синагога.

20. Из Кабанска до Большереченской дорога гористая. К Боярской дорога хорошая, ровная, но частью ее перемело сугробами. Наконец-то добрался и до Байкала, но, к сожалению, приходится двинуться кругом, так как Байкал еще не замерз. Остановился на почтовой станции. Писарь выглядит барином. Поужинал хорошо, но зато клопы ночью стадами бросились на меня и хотели съесть вместе с моим деревянным седлом. Конь идет хорошо. Ест и пьет прекрасно. Дачу корма постепенно увеличиваю.

21. Дорога от Боярской к Малиновской — гористая и холмистая. В Мысовой груды цибиков с чаем. В Малиновской я остановился на почтовой станции. Сюда же приехали два татарина, отец с сыном, видевшие меня еще на Амуре, когда я проезжал из Черняевой в Ольгино. Они очень удивлялись моей поездке и угостили меня превосходным чаем с сахарным леденцом. Отца звали Шапир Мухтаров.

22. Дорога с горы на гору. Переемную и Выдринскую проехал мимо. Ночевать остановился на Снежинской станции. Проезжающих оказалось мало за недостатком почтовых лошадей. Поесть ничего нельзя было достать, а голод положительно собачий. Чай с черным хлебом и больше ничего. Наконец, все уехали. Остался лишь один китаец, который напоил меня чаем с какими-то сладкими душистыми лепешками, которые нехорошо подействовали на мой желудок, и уделил мне от своих щедрот крошечный кусочек мяса, величиною с гречкий орех. Мясо я съел с жадностью. Я лег спать с совершенно пустым желудком. Местная кухарка, обезображенная какой-то подозрительной большой раной на верхней губе, гнусавая и неопрятная, произвела на меня удручающее впечатление, равно как и вся эта станция. Я удивляюсь, как на почтовой станции, местное начальство допустило такую прислугу.

23. Дорога к Утуликской станции снежная. Мороз страшный. Муринскую проехал мимо. В Утуликской остановился на почтовой станции. Хозяйка дала весьма незатейливый постный ужин и кирпичный чай с черным хлебом.

24. Дорога от Утуликской до Колтука идет положительно все время с горы на гору. Холод убийственный. Леса громадные и девственные, сквозь которые идет путь. На станцию Муравьев-Амурский не заезжал. В Култуке таможня. Когда я подъехал к таможенному шлагбауму, часовой дал звонок. Спустя лишь минут пять показался фельдфебель с папиросой в зубах. Прождав на трескучем морозе и видя такое халатное поведение нижнего чина, я ему сделал строжайший выговор. Остано-

вился на почтовой станции, где мне дали мерзлого творогу со сметаной и целую тарелку бруски — сочетание не совсем гармоничное по кулинарной грамматике, но жажда и голод так мучили меня, что и это приходилось есть поневоле.

25. Встав утром, осмотрел коня и снова прилег. Вдруг был неожиданно разбужен хорунжим моего же полка Соколовым, едущим в отпуск из Благовещенска. Выехал во время заутрени. Дорога — это несчастье. Горы такие, что пришлось буквально обливаться кровавым потом. Усть-Глубокую и Мотскую проехал мимо. В Веденщине остановился на почтовой станции. Утомление — страшное. Попросил чаю и закусить. Дали рыбного пирога.

26. Выехал рано в Иркутск. Мороз невероятный. Ехал рекой Иркутом. Приехав в селение Глазково, я попросил перевозчиков перевезти меня и коня на другую сторону в небольшой лодке. Они согласились исполнить это за 3 рубля. Я им посулил еще рубль на водку. Связав Серого по ногам, уложили его в лодку. Я его держал сам. Лавируя посреди льдин, мы наконец перебрались на другой берег. По приезде в Иркутск, остановился у своего товарища сотника Бахтиарова. У него отдохнул и телом, и душой, встретив самое теплое и радушное гостеприимство.

27. Одевшись в парадную форму, явился к коменданту полковнику Мамонтову, который приказал мне явиться на другой день к начальнику штаба и к командующему войсками округа, но увы! Я этого приказания исполнить не мог, так как на другой день я уже лежал совершенно слабый и больной в постели. От Мамонтова заехал к некоторым знакомым, но, почувствовав нездоровье, велел везти себя к доктору. Извозчик привез меня к доктору Цехановскому, стоявшему у калитки своего дома. Он меня выслушал, предписал диету и какие-то капли. От него по дороге я заехал в Иркутское юнкерское училище, где воспитывался, и познакомился там с некоторыми офицерами. Оттуда заехал к начальнику училища, полковнику Федорову, которого не застал дома. Приехал домой совершенно слабый и утомленный, немного отдохнул, а вечером, в компании с офицером отправился в театр на оперетку «Хаджи-Мурат». Чувствуя себя очень плохо, относился ко всему безучастно, но все же досидел до конца и лег спать.

28. Лежу больной и принимаю капли.

29. То же. Меня навестил начальник полковник Федоров и некоторые офицеры училища.

30. Лежу в постели. Слабость страшная. Навещают знакомые.

31. Чувствую себя бодрее. Доктор разрешил уху, бифштекс и кашицу, а также велел принимать кефир для восстановления сил. Новый год встретил в постели совершенно больной.

1890

ЯНВАРЬ

1. Встал с постели и на некоторое время пошел к знакомым. Вечером отправился с товарищами в театр, где давали оперетту «Донна Жуанита», но досидеть до конца не мог и отправился домой.

2. Представлялся командующему войсками генерал-лейтенанту Горемыкину, который много расспрашивал меня и обошелся весьма приветливо. Вечером был в театре и смотрел комедию «Гувернер». Чувствовал себя плохо, а от скуки все-таки искал развлечения.

3. С А. С. Бахтиаровым ездил в Вознесенский монастырь к Иркутскому чудотворцу Иннокентию, которому отслужил молебен. Вечером в театре смотрел «Синюю Бороду».

4. Чувствую слабость. Отдыхаю дома. Соблюдаю диету.

5. Вечером был в кафедральном соборе, где служил архиепископ Вениамин. Певчие мне очень понравились. Здоровье плохое.

6. Заметна еще слабость. Заехал к старой знакомой З. В. Буковской. Оттуда к Е. А. Менсбир; вскоре вернулся домой.

7. Утром поехал в деревню Пивовариху, к К. А. Буковскому. Вечером обедал у генерал-губернатора Горемыкина, который отнесся ко мне совершенно как к сыну и обласкал меня.

8. Ходил за разными покупками — здоровье все еще слабое.

9. Ездил прощаться со знакомыми. Страшная головная боль. По возвращении домой лег спать.

10. Вставши утром, напился чаю, оседлал коня и выехал в 8 ч. Провожали Бахтиаров и Карасев. Дорога ровная и хоро-

шая. Погода теплая. В этот переход потерял нагайку. Встретил в пути много обозов с товарами. Вознесенский монастырь, Бокову, Зуеву, Сухую и Билектуй проехал мимо. В Тельме остановился на земской квартире. Вечером приехал какой-то купец из Балаганска. Ночевал вместе со мной и рассказывал о разных своих встречах с разбойниками по пути от Балаганска до Иркутска. Овес 1 руб. 10 коп. пуд.

11. Выехал очень рано. Ничего особенного не случилось. Дорога очень гористая. В Черемхове остановился у Кадникова. Большое селение. В нем строится большая каменная церковь. Переночевал. Конь шел весело. Корму нашел вволю.

12. Выехал из Черемхова еще рано. Дорога все время идет увалистая и безлесная. Кутуликскую проехал мимо. Дорога отсюда до Заларинской холмистая. С 15-й версты начинается большой сосновый лес. Виды очень красивы. Встретил много обозов на отличных лошадях. Ямщики все ухают при виде меня, удивляясь моему костюму. Мороз трескучий. Остановился у вдовы Евдокимовой, у которой была дочь именинница. Не дождавшись окончания вечеринки, я лег спать.

13. Дорога к Тыретской идет холмистая. На 13-й версте большая гора, сначала без леса, а затем, до села Зимы, лесистая и холмистая. Тыреть довольно большое селение, хотя и не имеет церкви. Конвойная команда производит приятное впечатление. Над гимнастической постройкой флаг. Проведен телефон. В селе Зима остановился на обывательской квартире. Дали закусить мяса. Дорогой оборвал чумбур; хорошо, что не потерял. Встретил много обозов с товарами. Что за кони, что за сбруя — загляденье! Ямщики смеются на мой костюм. Один из них выругал меня крепким словом за то, что его кони испугались. Овес 1 р., мука ржаная 1 р. 10 к., мясо 3 р. за пуд.

14. От Зимы до Кимельтея, стоящего около горы, дорога убийственная. На всем протяжении почти нет лесу. Попадаются холмы. Ухабы страшные. Кимельтай — большое селение, в нем много лавок, две церкви. От Кимельтея на третьей версте большая гора, на четырнадцатой тоже. На всем протяжении попадается мелкий березняк. При спуске с горы я пошел пешком, ведя коня в поводу, но поскользнулся и упал. Конь, испугавшись, рванулся и убежал. Я гонялся за ним, по крайней мере полчаса, безуспешно. Только благодаря помощи проезжающих мужиков мне удалось поймать его. В Листвянке остановился у Проскурякова. Встретил здесь священника Телятьева из Кимельтея. Он предложил мне 25 ф. овса, но от денег отказался. Вечером явились ко мне сельский старшина и писарь. Показы-

вал им свои документы, и они успокоились. Вода довольно скверная, с ржавчиной и запахом. Конь пьет плохо.

15. Очень холодно. Дорога отвратительная; всю перемело. На шестой версте, крутой спуск, а на восьмой подъем. До Тулинской — дорога холмистая. Ухабы страшные. К Шерагульской много холмов и ухабов. Остановился у Московина. Хозяева милые люди, напоили и накормили досыта. Не доезжая 10-ти верст до Шерагульского, у Серого отлетела правая передняя подкова. Принужден был идти пешком.

16. Утром рано пошел в кузницу, подковал коня и пустил ему насосы. Напившись чаю, выехал. Дорога все время идет до села Тулун хорошая; встречается только одна гора. Подъезжая к селу, встретил парня с деревенскими девушками, которым он крикнул: «Смотрите, девки, комедиантщики приехали!» К Курзанской масса подъемов и спусков. Остановился на земской квартире. Бедно. Все время за мной ходила 76-летняя, довольно бодрая старуха. Овес 80 коп. пуд.

17. Опять холодно. Дорога, хотя и хорошая, но много холмов. С Курзана все время идет лес. Обогнал двух солдатиков, сопровождавших порох из Канска. Встретил небольшую партию арестантов. Шебаргинская и Худоеланская очень неказистые деревеньки. Ночевать остановился в Фингуе. Хозяйка очень шустрая и проворная женщина. Держит постоянный двор. Вечером наехало много ямщиков, мешавших мне спать плясками и игрой на гармонике. Погода отвратительная, идет очень крупный снег.

18. Проснулся с головною болью. Опять крупный и долгий снег. Дорога к Нижнеудинску отвратительная, горы, как на Кругобайкальском тракте. Киргитуйская почтовая станция приютилась в лесу, где не более трех домов. На всем пространстве большой лес. Перед г. Нижнеудинском выехал на реку Уду. Город произвел приятное впечатление; он раскинулся по обеим сторонам Уды. Местность живописная. Когда я приехал на земскую квартиру, то вышла хозяйка дома и спросила:

— А кто приедет?

Она приняла меня за гонца, посланного вперед. В этом городе встретил своего однополчанина отставного полковника барона Тизенгаузен.

19. Опять мороз. Дорога к Уровской очень хорошая, только на 14-й версте гора, называемая Каменкой. От Уковской к Камышету положительно гора на горе. В Алгашете остановился на земской квартире. Бедно, скверно, поесть нечего. Лег спать

голодный. Алгашет довольно плохонькое селение. Явился вечером волостной писарь и просил показать документы. Ночью страшно замерз. Квартира холодная.

20. Дорога к Алзамайской идет частью горами, частью долинами, а к Разгонной все время горы. Леса непроходимые. Остановился у старика Прокопия Гаринского. Грязно, семья большая. В зимовушке (избенка) ночевали у него три бродяги. Он им дал хлеба и чаю. Воду берут за четыре версты. Ближе нет. Погода скверная. Снег просто заносит путь.

21. Опять мокрый скверный снег. Дорога отвратительная. Скользко. По выезде на 2-й версте конь раскатился и упал, и я с ним вместе, но счастливо, ибо не ушибся никаких. К Баероновской все время горы. — Бирюса громадное селение. Остановился на земской квартире у старика Добросердова. Хозяин и хозяйка очень милые люди, приняли радушно и угостили обедом. Вечером приехал заседатель Малиновский с женой и просил мой вид. Сегодня именинница сестра. Вспоминал ее.

22. Дорога до Половино-Черемховской почти ровная, гор очень не много, а из Черемховой до Решет — сплошные горы. Половино-Черемховская довольно бедное селение. В Решетах заехал к вдове Шуляевой. Расседлавши коня, вошел в дом и попросился переночевать, но хозяйка, перепугавшись, сказала, что у нее остановиться нельзя. Пришлось бегать по деревне и искать приюта. — Снег валит хлопьями. — Наконец нашелся добрый человек, предложил приют, накормил, напоил и нашел для коня удобное помещение. Сегодня проехал Иркутскую губернию и начал Енисейскую.

23. Дорога до Еланской очень хорошая. Идет частью лесами, частью мелким березняком. В Еланской остановился на земской квартире у Мокеевой. Достал себе и коню все, что было нужно. Сегодня напугал по дороге какую-то женщину своим видом. Был на вечерке, где получил от невесты в подарок платок, который подарил своей квартирной хозяйке. Цены: мука пшеничная 1 р., ржаная 40 к., овес 20—30 к., масло 8—8 р. 60 к., сахар 7 р. за пуд.

24. Ясно. Мороз. Дорога идет ровная, поросшая мелким березняком. На 14-й версте гора довольно большая. За ней спуск на реку Кан. Город Канск проехал мимо. Наружно понравился мне собор. Город не завидный, но, видимо, богаче Нижнеудинска. От Канска на 7-й версте крутая гора, а не доезжая 5 верст до Уринской все время идут большие горы. В Большеудинской остановился на земской квартире у Иванова. Коню мажу задние ноги вазелином. Дачу овса увеличил до 30 фунтов.

25. Мороз страшный. Дорога от Уринской идет частью равнинами, частью холмами. Гор на всем протяжении три. Остановился в селе Рыбинском на земской квартире у вдовы. Овса и сена не оказалось; послал купить. С хозяйкой у меня вышел инцидент. Она неохотно подала мне чай, ломтик черного хлеба и кусочек сахара. На мое замечание, что этого мало, она ответила, что больше не припасла. Когда я дал денег, то, обрадовавшись, она сразу переменила тон и рассказала, что проезжающие ей часто не платят денег, почему она и не доверяет никому. Сейчас же явились: сахар, булки, сливки и все прочее.

26. Мороз, мороз и мороз. Дорога к Уярской на 13 верст все ровная, а дальше до Балайской идут все время бугры. Остановился на земской квартире. Хозяин принял недружелюбно, а хозяйка, очень милая и симпатичная женщина, все для меня сделала. Несколько школьников при моем проезде закричали мне «комедиантщик!»

27. Большой ветер. Дорога до Кертежа почти все ровная, все две горы, но от Кертежа до Батойской положительно с горы на гору. Пот льет градом; хорошо, что ветер сушит. Кертеж и Кускунская большие селения; имеют церкви. Остановился у Сорокина. Хозяин и все его семья — все больны после свадебного кутежа.

28. Дорога была бы прелестная, если бы не перемело. Все время идет сильный снег и дует большой ветер. Город Красноярск проехал мимо. Очень красивый собор. На большой улице меня поразило преобладание фамилии Гадалова. Что ни дом, что ни магазин, все под этой фирмой. Оказывается, что здесь живут братья-соперники Гадаловы, которые ни в чем не уступают друг другу. Один построит дом, а другой старается перещеголять первого. Впрочем, чем бы дети ни тешились, лишь бы не плакали. — В Сухой остановился на Сборной. Избенка маленькая, грязная. У хозяина семья большая. В маленькой лачужке нас ночевало четырнадцать человек. Когда встал утром, то рот и нос были наполнены грязью. Что за воздух!.. Уф!.. Дорога до большого Кемчуга вся в горах, а дальше, до Козульска, небольшие холмики. Вчера собралось много крестьян, и все интересовались: куда и зачем я еду. Некоторые замечали: «Должно, к Самому Царю с рапортом». — Овес 25 к. пуд. — Конь идет бодро. Пил и ел хорошо.

29. В Козульской остановился на земской границе у Ермиловых. Скверная погода положительно преследует меня. Опять снег с ветром.

30. Дорога к г. Ачинску невозможная. Частью перемело, а частью такие выбоины, что уходишь в яму вместе с конем. — Чернореченская — большая деревня. На улице встретил несколько пьяных мужиков и баб, ехавших на свадьбу. Погода опять скверная. Ветер со снегом так и свищет. Г. Ачинск произвел на меня приятное впечатление. Остановился у Заева на земской квартире. Решил переночевать в Ачинске и дать отдохнуть коню. Дорога скверная; утомился.

31. Осмотрев коня, поехал в аптеку и купил вазелину для смазки ему ног. Оттуда к доктору Старогродскому, к которому имел письмо. Он оказался очень симпатичным старичком; принял меня весьма радушно и оставил у себя на целый день. Время провел очень приятно в обществе его милого семейства. — Из Ачинска есть путь в Енисейск и Минусинск, куда идет и телеграф.

ФЕВРАЛЬ

1. Дорога до того скверна, что и представить себе трудно. Такие ухабы и выбоины, что конь все время двигается вниз и вверх. Желаю начальству, заведующему этим трактом, лично иметь необходимость прокатиться по нему. — Коню страшно тяжело. Сегодня проехал Восточную Сибирь и вступил в Томскую губернию Западной Сибири. В Боготоле остановился на земской квартире у Трофимова. Тотчас же явился староста и осмотрел мои документы.

2. Погода скверная, дорога тоже. Остановился на промежуточной станции на земской квартире у Леонова. Грязно, гадко, мерзко. Хозяйка сварила щи, но до того скверные, что есть их было нельзя. Вода очень нехорошая, так что конь не хотел пить ее и пришлось давать ему сухой снег.

3. Дорога безобразная. Тяжинское — довольно большое селение; Суслово тоже. Остановился на земской квартире у Кузьмина в Суслове. Пришлось поместиться с хозяином, у которого дети больны оспой, так как все было занято. Запах в комнате отвратительный и жара невыносимая.

4. Еще со вчерашнего вечера поднялась такая буря, что буквально света Божьего не видно. В такую погоду ехать убийственно. Города Мариинска почти не видал, до того свирепствовала буря. Отморозил себе щеки, нос, подбородок и часть правой руки, не прикрытую рукавицей. Подъезжая к Мариинску, столкнулся с партиею арестантов, так как от бурана ничего не было видно вперед. — В Подъельничной остановился

на земской квартире у Леонова. Сегодня заговенье, а завтра масленица.

5. Буря хотя и умолкла, но не совсем. Холод убийственный, дорогу перемело. Коню страшно тяжело. Берикульскую проехал мимо. В Почитанской остановился на земской квартире еврея Галунова. Встретил там пьяную компанию. Вечером пришла к ним в гости какая-то Марья Николаевна, не то учительница, не то акушерка, долго говорила с хозяевами, а когда уходила, то сказала с иронией: «У вас на земской что-то пахнет конюшней!», намекая на то, что мое седло лежало в передней. От хозяев не мог получить ни подушки, ни одеяла, словом, ничего, так что пришлось прикрыться своим полуушубочком, а под голову положить седло.

6. Опять страшная метель со снегом и морозно. Дорогу перемело. В Ишимском остановился у Ивана Загрядских. Хоть и бедный, но хороший человек.

7. Сегодня три месяца моего странствования. Морозно. Дорога отвратительная. Проехал много деревень. Остановился в Семи Лужках у Капитона Осипова, хорошего человека; но насчет еды было скверно.

8. Выехал при такой сильной буре, что света Божьего не видать. Дорогу перемело. Холод страшный. При въезде в город Томск я был неожиданно остановлен. Из-за угла выскоцил полицейский стражник и схватил моего коня под уздцы. Я очень удивился.

— Тебе что? — спрашиваю.

— Да ты кто?

— Ты не сотник Пешков, а Самсон Пешков. Слезай с коня.

— Да ты никак с ума сошел! У меня с собой документы, и я могу доказать, кто я.

— Мне до этого дела нет. Слезай! А там начальство разберет.

— Согласен ехать к начальству, но ты веди коня под уздцы.

Стражник не согласился. Тогда я предложил взять извозчика, чего мне тоже не позволили.

В это время, конечно, собралась толпа. Не желая продолжать долее бесполезных разговоров при такой обстановке, я согласился спешиться и идти за строгим альгавазилом. По дороге он начал говорить мне:

— А тебе часто, видно, приходится разъезжать в такую погоду.

— Да, часто. Погоды я не разбираю.

— Вон у тебя и оружия-то сколько!

— А тебе что приказано, то ты и исполняй, но не смей вступать со мной ни в какие разговоры.

— Да я тебе никакого оскорбления не делаю.

— А вот попробовал бы ты мне его сделать. Я бы тебя, голубчика, вот этим самым оружием зарубил бы или застрелил.

— Да что говорить! Знаю, знаю, ведь ты не мало их там изрубил. Вот я целых три дня уж тебя караулю. Обморозился весь. Зато уж награду получу!

В таких разговорах мне пришлось идти за ним версты полторы по городу до полицейской части. По приходе туда мой тиран, с сияющей рожей, заявил:

— Вот, привел!

Я немедленно просил пригласить чиновника для разъяснения мне причины моего задержания, сказав, кто я. Мне сказали, что чиновника нет, и затем объяснили, что вышли недоразумения, так как стражник был послан предупредить меня, что на мое имя получена телеграмма в главном полицейском управлении для передачи мне. Оказалось, что стражник все перепутал и от избытка усердия принял меня за важного преступника. Он очень сконфузился и тут же начал просить у меня прощения. Я ему на это сказал:

— Вот ты меня привел сюда, так уж веди и дальше, но я буду сидеть на коне, а ты иди пешком.

Мы пришли в главное полицейское управление. Сошед с коня и привязав его, я поднялся наверх и просил доложить о себе. Меня пригласили войти в присутствие. Я заявил, кто я, и просил вручить мне телеграмму. Тогда секретарь полицейского управления важно взглянул на меня и, показывая на соседнюю комнату, сказал:

— А, знаю, знаю! Подожди там!

Это меня так возбудило, что, выходя, я громко сказал: «Что за невежество такое!» и сильно хлопнул дверью.

Тотчас же выскочил за мной секретарь с другими чиновниками и стал извиняться, говоря, что он был чем-то расстроен. Он сообщил мне, что телеграммы не может мне передать, так как она находится у политмейстера. Я вышел, сел на коня и только хотел выехать, как меня снова попросили в присутствие, где мне выдали телеграмму. Все это было весьма неприятно мне, так как буран, при страшном морозе, буквально свирепствовал и забил снегом глаза коню. Я отправился на постоянный двор к Ф. Ф. Хворову. Хозяин и хозяйка оказались очень милыми и любезными людьми. Они приветливо встретили меня и доставили мне все нужное. Для коня я нашел также отличное помещение.

9. Утром поехал в монастырскую церковь и отслужил молебен. Являлся по начальству. Познакомился с редактором га-

зеты «Сибирский Вестник» — В. П. Картамышевым. Вечером был в театре. Смотрел оперетту «Сердце и рука». Там встретил товарищей по училищу Гребнева и Мезенцева. Оттуда с ними поехал в офицерское собрание, где познакомился с К. А. Шапошниковым и его супругой. Очень милые люди.

10. Утром представлялся губернатору и сообщил ему инцидент с телеграммой.

11. Поехал к знакомым и, вместо того чтобы попасть на обед к Картамышеву, попал в обществе дам на пикник в деревню Тахтамышеву. Вечером поехал в театр, где давалась оперетта: «Боккачио», во время которой отличались «смолинисты» и «ахматисты», то есть партизаны двух актрис, игравших по пьесе, Смолиной и Ахматовой. Обе партии шумели весь вечер и старались перекричать друг друга.

12. С утра устраивал свои денежные дела, для чего был у купца Кухтерина. Вечер провел у знакомых.

13. Ездил с прощальными визитами. Вечером укладывал вещи.

14. Встал рано. Поседлавши коня и напившись чаю, в 8 час. выехал из Томска. Погода холодная и большой противный ветер. Снег заносит глаза. Дорога все время прекрасная, идет степью. Кое-где попадается лесок, но очень мало. Направление на юг до самой Прокопской. Конь идет бодро и весело. Остановился на земской квартире у Разуваева. Как для коня, так и для себя, все, что нужно, достал.

15. Погода опять отвратительная. Ветер ужасный. Несет снег прямо в глаза. Дорога до Чебулинской очень хорошая, а дальше Каяшинской перемело. На 8-й версте от Прокопова идет дорога на Барнаул и Бийск. В Аяшинской остановился у Турняевых, хорошие люди.

16. Погода, хотя и холодная, но приятная. Дорога не особенно хорошая. В Дубровиной переехал реку Обь. — Орский-Бор проехал мимо. В Колывани остановился у Хромовых. Очень милые и любезные люди.

17. Восход солнца был до того восхитительный, что будь я художником, нарисовал бы его непременно. Выехал в 10 1/2 ч. утра. Дорога прекрасная до самой Овчинниковой, где я остановился ночевать у Семенова. Полицмейстер присыпал за моим видом. — Вот наконец и Барабинская степь. Погода пока прекрасная. Цены в Колывани: масло коровье 5 р. 70 к. пуд;

мука крупчатка за куль (5 п. 20 ф.) — 7 р., ржаная 35 к. пуд; овес 15 коп. пуд. Поражаюсь ценами.

18. Сильная головная боль. Погода прекрасная. Вода в Овчинниковой до того была скверная, что пришлось опять давать Серому снег. Сектинскую проехал мимо. Не доехав версты 4 до Иткульской, у коня опять отлетела правая передняя подкова. Пришлось идти до кузницы пешком. Идя по улице, был остановлен мужичком, принявшим меня за коновала и просившим зайти к нему. Когда он узнал, кто я, то сказал, что он «обмишиурился». Подковав коня, поехал дальше. — В Каргатской Дубраве остановился на земской квартире у крестьянина Иванова. Отсюда начинают мне оказывать содействие местные власти, вследствие просьбы генерал-адъютанта, барона Корфа, нашего войскового наказного атамана. До этого пункта много пройдено, без всякого содействия четыре тысячи триста семьдесят восемь и $\frac{3}{4}$ версты. — Хозяин оказался замечательно словоохотливым и сообщил мне, что в 200-х верстах по Урману проживают староверы, не признающие никаких властей, живущие совершенно особняком и считающие паспорта и деньги антихристовой печатью.

19. Погода прекрасная, но холодная. На дороге к Каргатскому форпосту встретил проезжавших в Томске доктора и двух господ. Поговорил с ними минут пять. Каргатский форпост проехал мимо. Отъехав одну версту, меня окликнул верховой и передал приглашение этапного офицера. Я просил поблагодарить, но не вернулся. По приезде в Каргатскую остановился на земской квартире. Не успел я расседлать коня, как ко мне подошел полицейский стражник и заявил, что он послан для встречи меня кайнским исправником.

20. Погода скверная. Дорога хорошая. Подъезжая к Убинской, меня встретил староста и сказал, что купец Н. П. Палферов приглашает меня к себе. Я отказался. Но когда я проезжал мимо его дома, там стояла такая громадная толпа, что положительно загородила мне путь. Сам хозяин с сыном так убедительно и любезно просил меня к себе, что мне пришлось изменить своему принципу нигде не останавливаться, и я вошел в его дом, где выпил стакан чаю. В это время вся деревня уже была около дома Палферова. В Колмаковой остановился у Фалькова. Квартира роскошная; помещение для коня тоже.

21. Буран. Всю дорогу перемело. Страшно бьет в глаза. Коню скверно. Не доехав трех верст до Кайнска, меня любезно встретил исправник. Затем по дороге воинский начальник и еще несколько экипажей с дамами. Убравши коня и

попив дома чаю вместе с исправником и воинским начальником, я отправился к последнему обедать.

22. Мороз и встречный ветер. Дорога отвратительная. Вчера снег, довольно большой, затруднял ход коня. В Антошиной остановился на земской квартире у Филиппова. Встретил земского заседателя. Беда с водой, которая скверно пахнет. Коню опять давал сухой снег.

23. Мороз с северным ветром. Дорога немного лучше вчера. Покровское и Турумово проехал мимо. В Спасском остановился на земской у Васильева. Чисто и хорошо. Село производит приятное впечатление. Вечером пришел г. Вреден, чиновник по крестьянским делам. Говорил очень много и между прочим рассказал, что в селе распространился слух, будто бы я изрубил триста манз¹, за что, в наказание, меня отправили с Амура в Петербург верхом.

24. Утром масса народа провожает меня. В Вознесенском и Камышах волостной старшина вышел со знаком на встречу мне. В Новоназаровой остановился у Иванова. Весьма любезный человек, у которого и встретил полное радушие. Опять масса народа. Хозяин сказал мне, что мир удивляется, говоря, что никто не ездил в такую погоду и в такую даль верхом. — Новоназарово последнее селение Томской губернии. Когда я вышел утром в кузню умываться, то увидел там крестьян, приехавших из соседних деревень посмотреть на меня.

25. Опять погода отвратительная. Ветер холодный и дует прямо в лицо. На 10-й версте, границы Тобольской губернии. В Нижнеломске остановился у Андреева, на земской квартире. Он же и староста. Вчера старуха-хозяйка мне говорила: «Верно, у тебя, батюшка, есть свое войско и ты теперь едешь на поклонение с повинной к Белому Батюшке Царю». Как я ни старался разуверить ее в этом, — она все-таки осталась непреклонной.

26. Опять буран со снегом, летящим прямо в глаза, которым буквально делалось больно. Дорога на юг. Кобырлинскую проехал мимо. По приезде в Юрьево расседдал коня, зашел к еврею Кулькину, хозяину квартиры, думая, что уже сделано распоряжение. Хозяин-жид не позволил внести мне в комнату седла, и лишь когда пришел староста, то согласился на это.

27. Встал очень рано и выехал немедленно. Дорога прекрасная. Начинает таять. Пахнет весной. Подъезжая к Омску, пер-

¹ Манзы — китайские подданные.

вою увидал ветряную мельницу, а затем собор. В Омске остановился в гостинице «Москва». Убрав коня, сел пить чай. В это время приехал полицмейстер и сказал, что они меня ждали лишь к 28 февраля; что квартира мне предназначалась в другой гостинице и что уже назначена комиссия для освидетельствования как коня, так и меня, тотчас по прибытии в город, не выходя из седла. Полицмейстер уехал, и через некоторое время действительно приехали члены комиссии: войсковой старшина Чириков, есаул Путинцев, полковник Катанаев, помощник начальника штаба, генерал-майор, барон Таубе и ветеринарный врач Мезяков. Осмотрели нас и составили акт. — Вечером был в бане.

28. Утром приехал войсковой старшина Чириков, любитель-фотограф, и просил позволения ему снять меня на коне. За ним явился фотограф Буланже. Погода отвратительная. Сильный снег. Снявшись, поехал представиться начальству.

МАРТ

1. Делал визиты знакомым. Вечером пришли ко мне кадеты Скобельцин и Караполов, которых оставил у себя ночевать.

2. Был в казачьей церкви у обедни и видел там знамя Ермака; оно старое, в виде иконы. В 3 часа состоялся обед, который давали сибирские казаки в офицерском собрании. Всех казаков было 14 человек, а из регулярных войск присутствовал только генерал-майор барон Ф. Ф. Таубе. Обед прошел очень оживленно.

3. Погода ветреная. Морозит. Дорога частью недурна, но больше перемело. Лачинскую проехал мимо. На дороге меня встретил стражник Носков, посланный из Тюкалинска. Красноярское селение проехал мимо. Порядочное селение, даже есть каменный дом братьев Волковых. Тут же переехал реку Иртыш. Вспомнил Ермака Тимофеевича. Остановился ночевать в Суховской у Панфилова. Вода опять отвратительная, озера, с запахом. Конь не пьет. Пришлось дать опять сухой снег.

4. Погода опять скверная, снег идет и тает. Конь кажется утомленным. По дороге к Бекишевой конь раскатился и упал со мной вместе, но слава Богу счастливо. Бекишево и Андronкину проехал мимо. Подъезжая к г. Тюкалинску, встретил двух субъектов верхами, спросивших меня:

— А что, этого коня встречают?

— Нет, тот позади, а я провожатый.

И они проехали дальше.

При проезде по городу было вообще много любопытных. Когда же я приехал на место, то собрались массы народа. Тотчас же приехали исправник и воинский начальник. Ночь провел беспокойно. Беда от клопов.

5. Погода холодная и ветер прямо в лицо. При въезде в село Крутое встретил какой-то господин и поздравил с приездом, а в самом селе меня окружила целая масса народа с волостным старшиной и сельским старостой и все кричали: «счастливого пути!». Там же построена часовня в память события 17 октября 1888 года. В Орловой остановился у старосты Шепелева.

6. Погода теплая. Таёт. Дорога до Камышенки хорошая, а дальше до Абатска скверная. Встретил много едущих матросов. Не доехав четырех верст до Абатска, меня встретил земский заседатель и пригласил остановиться на земской квартире. Там же ночевал ишимский доктор Беляев; очень разговорчивый господин, сообщил многое про прежних чиновников по крестьянским делам. Конь кажется утомленным. Вчера встретил на дороге старика, из разговоров с которым узнал, что он идет из Томской губернии пешком в Киев помолиться. Он вышел еще до Рождества из Томской губернии. Абатск большое селение. Две каменных церкви и одна деревянная кладбищенская.

7. Выехал, полагая, что тепло, оказался такой холод, что меня пробрало до костей. Тушнолову и Боровскую проехал мимо. Ветер страшно холодный. Подъезжая к Ишиму, меня встретил полицейский и провел на земскую квартиру, на которой, однако, места не оказалось. Пришлось остановиться на почтовой станции. Приезжало много любопытных смотреть коня. Пришел делопроизводитель от воинского начальника с приглашением заехать к нему. Был у воинского начальника, выпил там стакан чаю и вернулся на квартиру. Осмотрел коня и лег спать, но хозяин, напившись, бушевал всю ночь и не давал мне покоя. Ишим производит впечатление плохонького, но все-таки городка.

8. Встал с головною болью. Морозно и ветрено. По выезде из города, меня нагнал воинский начальник полковник Станкевич, желая проводить за городскую черту. По дороге в деревнях и селах встречал очень много пьяных. Причины тому не понимаю, в особенности в посту. Являлся волостной заседатель, предлагал свои услуги, если мне что-либо нужно, и приглашал на чашку чаю. В Голышманове остановился на земской квартире у Ширшова. Тут же заехал смотритель ишимского уездного училища Аристов, симпатичный молодой человек. Дорога начинает портиться. Все время служила, хлопотала и

подавала хозяйка дома и была совершенно здорова, а на следующее утро, в 4 часа, Бог дал ей дочь.

9. Дорога начинает очень портиться. Лужи. Конь опять не пил воды и кажется утомленным. Дорога холмистая. В Омутинской с завтрашнего дня начинается ярмарка. Съезд на нее громадный. Здесь меня встретил стражник, присланный из Ялуторовска. С волостным старшиною ходил по базару, смотрел лошадей и разные товары. Удивлялся дешевизне первых. Все время за нами следовала громадная толпа.

10. Погода теплая. Идет маленький снежок. Дорога частью скверная. Конь начинает в снегу проступаться. В одной деревне мужик спрашивал: «не со скотом ли я иду?» — Много глязящих по деревням. В Новозаимске остановился на земской квартире. Хозяйка старая дева. В доме порядок и чистота замечательные. Вечером к ней пришла девочка и заявила, что тятка ее послал посмотреть на расстригу-архиерея, которого сегодня привели верхом. Но меня хозяйка ей не показала. Конь опять не пил воду. Просто мука и беда с ним.

11. Погода опять теплая. Дорога сильно портится. Конь проступается. Проехал несколько деревень. Поразила меня очень деревня Падун, где водочный завод Поклевского-Козелл. Встретил очень много пьяных; вообще наблюдается в населении деревни сильный разгул. Местность от Падуна к Заводоуковской очень красивая. Есть много лесу. В г. Ялуторовске, при въезде, меня встретило много публики, среди которой были кавалеры и дамы, а также и посланный от воинского начальника с приглашением остановиться у него. Я поблагодарил, но отказался и проехал прямо на почтовую станцию. Городок этот незавидный. Здесь я переехал р. Тоболь по льду. В то время как я осматривал коня, приехал сам воинский начальник полковник Константин Алексеевич Павлов, который увез меня с собой обедать. Вся его семья была очень любезна со мною. Я заехал домой, а вечер опять провел у них. Полковница была так любезна, что прислала мне на станцию постель со всем нужным бельем, а также и корм для Серого. За это приношу ей мою самую сердечную благодарность.

12. Таёт, тает и тает. Конь проваливается. По выезде из Ялуторовска меня нагнал в санях воинский начальник с семьей, чтобы проводить. Дорога до того скверная, что трудно себе представить. В Богандикской остановился у Княжева. Хозяйка была с подбитым глазом. Опять любопытных видимо-невидимо. — В р. Пышме до того прекрасная вода, что ее за тридцать верст увозят в г. Тюмень в бочках. — Серый здесь был вознагражден за долгие лишения и пил вволю.

13. Идет снежок. Подморозило. Дорога лесом и все время под гору. Не доезжая 8 верст до города Тюмени, меня встретили два офицера верхами и один в экипаже: М. Д. Рончевский, у которого я и остановился переночевать, Киселев и Кондратович. Все они принадлежат к местной пароходной команде. — М. Д. квартирует у Ив. Андр. Ромашева. Здесь собралась целая компания. Были воинский начальник, заведующий пароходной командой, купец Карякин с семейством и много горожан. Один из присутствовавших, С. Г. Селиверстов, пригласил к себе на чашку чая и затем ездили с ним осматривать город. При въезде в Тюмень я в первый раз в жизни переехал рельсы железной дороги, которой никогда в жизни до того не видал. Вечером я не вытерпел и поехал на вокзал железной дороги посмотреть на отход поезда. — Оттуда заехал к воинскому начальнику, от которого вернулся домой.

14. Погода прекрасная. Провожали меня до монумента, воздвигнутого в память посещения г. Тюмени Его императорским Высочеством Г. В. К. Владимиром Александровичем. Провожали офицеры и прочие знакомые. Дорога хорошая. Все время идет от Тюмени березовая аллея. В Тугулыме остановился на земской квартире у Кочетова. Коню пустил насосы. Публики очень много во главе со священником.

15. Утро морозное. Дорога все время порядочная. На 4-й версте переехал рельсы железной дороги. В Марковой меня встретил стражник Екимов. Не доезжая 11 верст до Марковой, стоит столб с надписью: «Граница Тобольской и Пермской губернии». С этого пункта уже начинается Европейская Россия. На ночлег остановился в селе Горбунове у Захарова.

16. Утро довольно морозное. Дорога до Камышлова до того отвратительная, что трудно себе представить. Пылаевую, Чемрыжскую и много других проехал мимо. В Пылаевой встретили урядник, волостной старшина и староста. В Пышминой был базар и народу на улице была масса. В г. Камышлове остановился в номерах Дембовского, вечером приходил священник со всем своим причтом (человек семь) и много спрашивал меня.

17. Утром погода прекрасная. Затем поднялся холодный ветер, пронизывающий до костей. Дорога убийственная. Паршину и Белейку проехал мимо. В Грязновской остановился у Кащеева. Конь ест и пьет хорошо.

18. Погода и дорога очень не хороши. Не доезжая 12 верст до Белоярска, был встречен становым приставом Витковым, который пригласил к себе. Заехал к нему и выпил чашку чаю.

Как он, так и жена его весьма милые, радушные и гостеприимные люди. Улицы и двор пристава были запружены народом. Подъезжая к г. Екатеринбургу, я увидел очень красивую местность. Дорога уже до того испортилась, что ездят на телегах. При въезде в город меня встретил стражник и повел на квартиру в гостиницу, где не оказалось места для коня.

Пришлось искать по свету,
Где б оскорбленному коню был уголок.

В особенности после перехода в 70 верст. — Нашел приют как себе, так и коню, на вольной почте г. Михайлова, где был принят очень радушно управляющим этим трактом А. И. Малюгой и его приветливой и любезной женой. Здесь же познакомился с мировым судьей А. А. Ивановым, с которым вечером поехал на любительский концерт в благородное собрание, где расспросам не было конца. Там же познакомился с А. М. Галиным и многими другими. Концерт на меня решительно никакого впечатления не произвел. Выдающихся артистов не было, за исключением певца Давыдова.

19. Коня перековал на передние ноги. В этот день осмотрел Императорскую гранильную фабрику и музей, оставившие во мне самое приятное впечатление. Обедал у А. М. Галина и получил от него в дорогу сапоги и непромокаемую куртку.

20. Погода теплая. Сейчас же от Екатеринбурга начинается Урал. Местность довольно красивая. Провожать меня поехал любитель верховой езды Н. Н. Фетисов до Решет и дорогой потерял револьвер. В Билимбаевском заводе меня встретила большая масса народу, в особенности заводских детей. Вечером был у местного купца Кудряшева, где пил чай. Конь ест и пьет хорошо. Сегодня вступил в Европу.

21. Погода скверная. Снег идет крупинками. Дорога все время горами. Часто встречаю заводы. Население поражает бледностью лиц, вероятно, от влияния работ на заводах. Гровскую и Киргишанскую проехал мимо. В Шайтановском заводе замечательны по своей архитектуре церковь и памятник в бозе почивающему Царю-Освободителю. Сегодня переехал реку Чусовую. В Бисерском заводе меня встретил урядник со стражником и проводили на квартиру к Михалеву. Хозяйка, матушка Михалева, милая, заботливая и гостеприимная старушка. Сегодня встретил по дороге поселенца, сосланного в Сибирь за то, что он побил сельского старосту. Он сознался мне, что, сгорая тоской по родине, он идет пешком из Сибири в Рязанскую губернию. При этом спросив меня, не я ли то лицо, которое едет из Благовещенска в Петербург, он, на мой

утвердительный ответ, сказал, что по деревням везде обо мне рассказывают разные небылицы и сказки, называя меня чуть ли не Бовой-Королевичем.

22. Погода серая. Идет мокрый снег. Дорога все время с горы на гору. В Елышской остановился в довольно грязной крестьянской избе. Весь промок, а высушиться негде. Чувствуя себя очень скверно. Горы Кленовская, Бисерская и Шайтанская — очень большие. Голоден, а есть нечего.

23. Морозно. Утром замерзшие кочки и черен, а днем пропасты и грязь. В Ключевской остановился на земской станции. Сюда пришел ко мне ветеринарный врач Анисимов, занимающийся усовершенствованием пород лошадей на местном конском заводе. Осмотривал с ним этих лошадей.

24. Заморозило. Ехать трудно. Три версты меня провожал вчерашний ветеринар. В Сабарской меня встретил урядник, проводивший до г. Кунгура, подъезжая к которому, мне версты показались очень короткими. Местность живописная; большие рощи. В городе меня встретил любезный исправник Н. Х. Масалов, еще молодой человек; он провел меня к потомственному почетному гражданину В. Е. Фамильскому, где я и остановился. Я был очень обрадован, что попал к ним. Василий Евдокимович и супруга его Августа Степановна меня очень обласкали и о многом расспрашивали. Дочь их Александра Васильевна замужем за нашим полковым командиром Григорием Васильевичем Винниковым. Вскоре приехал городской голова И. К. Носков, который передал мне приглашение от городского общества откушать с ними завтра хлеба-соли в помещении городской управы. Вечером был у всенощной в городском соборе. Он очень старинный; пение хорошее. Собор весьма понравился мне.

25. Был у обедни, представлялся воинскому начальнику и ездил с визитами. Вернувшись домой, отправился вместе со своим гостеприимным хозяином, В. Е. Фамильским, на обед в городскую управу, где было человек пятьдесят. Во время обеда была послана моему командиру полка Г. В. Винникову телеграмма. С обеда вернулся домой, где и провел вечер.

26. Был в почтовой конторе и получил из Екатеринбурга каменную печать, заказанную мною там на фабрике. Осмотрев с В. Е. Фамильским его владения, завод, мастерские, кладовые и проч. Все это я нашел грандиозным, в блестящем состоянии и весьма интересным для меня с точки зрения новизны. Купил записную книжечку в довольно грязной лавочке Колпакова.

27. Выехал из Кунгура в сопровождении любезного исправника Н. Х. Масалова, доктора (с которым только что познакомился, но фамилию коего забыл), станового пристава и урядника. Первые двое проводили верст пять и вернулись, а становой и урядник проводили до границы своего района. Дорога большую частью ровная; местность безлесная. Большая слякоть. В Янычевской остановился на земской квартире у Епихина. Все приготовляются к празднику св. Пасхи. Поесть пришлось довольно плохо.

28. Утро прекрасное, а дорога грязная. От Янычевской до Перми очень много сел и деревень. По улицам глазеет много татар, татарок и ребятишек. На пути к Перми местность очень красива. По всей дороге ельник. При въезде в город меня встретил стражник и проводил на квартиру к воинскому начальнику, полковнику П. П. Дягилеву, который очень любезно предложил стойло для Серого, а меня проводил к исправнику М. А. Боролевскому, у которого я и остановился. — Хозяин довольно радушный, но жаль, что большой человек.

29. Утром был у обедни в церкви, где очень много было причастников. В церкви был поражен тучностью одного господина, который, как оказалось, отставной генерал-майор, бывший кавалергард. Затем представлялся пермскому губернатору на его квартире. Обедал у П. П. Дягилева, в обществе его милой и «тесной» семьи, состоящей, по крайней мере, из 30—35 человек. После обеда ездил с исправником осматривать город. Из выдающихся зданий отмечу дом на набережной, занимаемый железнодорожным контролем. Вечером ездил в домовую церковь и собор, в котором служил преосвященный.

30. Погода переменчива. То жарко, то холодно. В конце концов пошел дождь. Дорога убийственная, грязь по колено. Перед г. Оханском пришлось перебраться через р. Каму по плохому, непрочному льду, но совершенно благополучно. В г. Оханске остановился у Я. И. Иванова, заведующего делами П. И. Дягилева. Хозяин оказался весьма любезным и гостеприимным. Здесь познакомился с П. Ю. Макален, очень веселым господином, с которым вечером ходил в баню. Приезжал воинский начальник, подполковник Н. Д. Григорьев, который предложил мне вестового.

31. Конь выглядит хорошо. Утром поехал к соборному священнику отцу Иоанну и заявил ему о желании сегодня исповедаться, а завтра приобщиться св. Таин. Однако о. Иоанн отказал мне в св. причастии, сказав, что по уставу церкви я обязан посещать службы не менее трех дней подряд.

— Так и дождите об этом, — прибавил он, — своему начальству.

Я удалился, сказав ему, что уже последнее совершенно лично касается меня. — Город скорее похож на деревню. Везде грязь непролазная и к тому отвратительная; то снег, то дождь. Вот при какой обстановке приходится встретить Светлое Христово Воскресение. — Скучно. — Читаю газеты. В 12 ч. ночи был у заутрени. Богомольцев масса. — Разговляться поехал к П. Ю. Макален и был представлен его супруге. Домой вернулся в 3 часа ночи.

АПРЕЛЬ

1. Скучаю дома. Вспоминаю своих и мысленно с ними христилюсь. Приходили полицейские стражники с поздравлениями. Вестового пустил погулять. Заходили: начальник почтово-телефрафной конторы г. Смирнов и член земской управы г. Вологдин. Последний дал мне брошюру об оханском метеоролите и кусочек этого камня. Обедал у воинского начальника и был представлен его супруге.

2. Дорога безлесная и до невозможности скверная. В Острожском и Дубровском, а также в одной попутной деревеньке, народ устроил мне, от нечего делать, целые шумные встречи, благодаря праздничному и праздному времени. В селе Острожском видел красивый памятник Царю-Освободителю. В Сосновской остановился у вдовы крестьянина Гладкого, в доме которой находятся на стенах три металлических доски следующего содержания.

I. Его Императорское Величество Всемилостивейший Государь Император Александр Павлович, во время путешествия Своего 1821 года, октября в 3 день, изволил быть в доме села Сосновского — крестьянина Ивана Григорьева Гладкова.

II. Его Императорское Высочество Государь Великий Князь Цесаревич, Наследник Всероссийского Престола Александр Николаевич, во время путешествия Своего 1837 года, в 23-е мая изволил быть в доме села Сосновского, крестьянина Ивана Григорьева Гладкова.

III. Его Императорское Высочество Герцог Максимилиан Лейхтенбергский изволил быть в доме Ивана Григорьева Гладкого 4 сентября 1845 года.

Когда я выехал, глазеющих собралось много.

3. Дорога самая отвратительная. Сегодня проехал Пермскую губернию, началась Вятская. В Вятской губернии о содей-

ствии мне — ни малейшего намека и следа. Дебессы очень большое село. Попал на земскую станцию к какому-то мужику-вотяку, где встретил двух пьяных фельдшеров. Когда хозяин стал их выпроваживать, то один из них заявил, что он такой же полноправный посетитель, как и все остальные. Вскоре приехал ко мне начальник местной команды В. М. Благовещенский и очень любезно предложил мне остановиться у него. Я поблагодарил и отказался. Вечером был у него и вкусно поужинал. Он был так любезен, что прислал мне вестового. Чего только не было в вотяцкой избе, где я ночевал. Тараканы, клопы и блохи чуть меня не съели заживо.

4. Заморозило. Гололедица. Дорога все время горами. Когда растаяло, то образовалась грязь из липкой глины. В Игринском селении остановился у писаря Медведицына. Хозяйка замечательно добродушная женщина. Накормила, напоила и спать уложила. Там же видел бюст вятского преосвященного и какой-то дамы. Производство этих бюстов около города Глазова.

5. Когда я выехал, было тепло, но потом поднялся ветер и пошел снег. Дорога омерзительная. В селе Узинском остановился у крестьянина Ивана Обухова. Пьяненький, довольно разговорчивый. Овес скверный 50 к. пуд. Мука ржаная 75 к. пуд. Крупчатка куль (5 пуд) 12 р. 50 к. Сахар 6 р. 80 к. пуд. Керосин 1 р. 60 к. пуд. Дрова 65 к. сажен. Мясо 2 р. 50 к. пуд. Коню подтянул расшатавшиеся подковы. На ужин сварили какую-то бурду. Поел одного только мяса.

6. Погода хорошая, но холодная. Дорога становится лучше. Сентенскую проехал мимо. В Кожильской остановился у вотяка Кошменинского. У него очень грязно, хотя имеет большие средства. Закусить, кроме яиц, ничего нет. Нечистота, удущливый, смрадный запах в избе, грязное постельное белье, клопы, блохи и тараканы удручили меня всю ночь и не давали спать. Конь от скверной дороги утомляется.

7. Сегодня пять месяцев моего странствования. Мне кажется, что, кончив путешествие, буду скучать, до такой степени я уже смыкся с этим кочевым, цыганским образом жизни. Дорога холмистая и все как будто под гору. Сплошные леса. По всей дороге замерзшие кочки. Твердо. Коню идти больно. — Сюмсинское — большое село; в нем хорошая церковь; живут мировой судья и лесничий. Урядник приглашал напиться чаю. Я отказался за неимением времени. Село Мукиака мне очень понравилось; стоит на красивом месте и тоже имеет церковь. От этого села, в двух верстах переехал на пароме через реку Валу с Серым. Здесь меня встретил местный урядник и привгласил к себе переночевать. С удовольствием согласился, так

как все эти вотяцкие ночевки мне ужасно надоели. У него все так мило, чисто и хорошо. Жена его большая франтиха. В Вихоревой живут преимущественно староверы и по выражению урядника: «народ-разбойник».

8. Опять кочки. Погода очень теплая. Птички поют. На душе весело. До Большекильмезской дорога хорошая, а дальше до Арпорекской невообразимо скверная. Грязь по колена. Во время моего проезда звонили к обедне. По дороге встретил двух священников. Проехав Большекильмезское село, нагнали меня два мужика и просили похлопотать, чтобы им разрешили возить проезжающих, говоря, что начальство этого не позволяет и штрафует их.

9. Дорога немного лучше. Идет больше лесом и аллеями. Константиновку проехал мимо. Там цементный завод Юшкова, а в стороне картонная фабрика. В Мелецкой меня встретил урядник и много народа, бежавшего через всю деревню. Сегодня переехал с Серым на пароме через реку Вятку. В г. Малмыже меня встретила толпа разных званий и наименований, проводившая меня до конторы вольных почт, где я остановился на ночлег. Вымывшись, тотчас же поехал к воинскому начальнику, полковник Михаилу Федоровичу Курпякову, а оттуда заехал к исправнику г. Есипову. Вернувшись от исправника, убрал коня и пошел к воинскому начальнику обедать вместе с ним. Тут меня встретил протоиерей отец Василий и благословил просфорой. Вечером был у меня А. П. Русаков, инспектор тракта вольных почт и дал предписание заведующим станциями давать мне и Серому помещение вплоть до Казани.

10. Дорога лучше, хотя и идет с горы на гору. По пути к Казани все татарские поселения. Встретил несколько незнакомых русских, здоровавшихся со мной словами: «Здравствуйте, г. Пешков!» Меня это очень удивило. Станцию Янголовскую проехал мимо. От нее на расстоянии девяти верст граница Казанской губернии. Здесь меня встретил стражник и проводил до Кородувана. Остановился на почтовой станции, около которой меня встретил мулла и пригласил к себе на чай. Смотритель любезный человек. Вскоре приехал становой пристав А. К. фон Роткир. С ним пошел к муилле пить чай. Старик-мулла имеет шесть жен. У них теперь вот Рамадан, продолжающийся целый месяц. Старик сказал мне, что от восхода до заката солнца правоверные во время поста не должны, по закону, ничего есть. Таким образом эти постники наверстывают потерянное для еды время по ночам и упиваются до отвала.

11. Конь идет бодро. Утро прекрасное. Природа оживает. Птицы покоят. Растительность начинает зеленеть. По дороге

много гор и холмов. Метески-Малые проехал мимо. В Арске заезжал к становому. Закусывал у него и пил чай. У него познакомился с ветеринаром и священником. Послал в Острогожск телеграмму Н. К. Видовскому. По дороге к Чурилиной около Арска переехал с Серым речонку Казанку, через которую курицы могут переходить вброд. В пяти верстах по дороге к Чурилиной же находится красиво расположенная роскошное имение казанского городского головы Дьяченко. Остановился на почтовой станции в Чурилиной. — Цены: овес 30 ф. — 50 к., а сено 20 ф. — 20 к.

12. И день и дорога очень хорошие. По выезде из Чурилиной встретил станового пристава из Казани, сообщившего мне, что офицеры просят меня приехать в Казань к 2 1/2 часам дня, на что я сказал ему, что я вполне завишу от пути и не могу ничего определить вперед, но что чем раньше я приеду в Казань, тем для меня будет приятнее. В Казань приехал в 1 час дня. При въезде в город меня встретили исправник В. С. Марасанов, жандармский полковник Н. И. Гонгарт и его офицер А. Н. Рыковский и просили меня отправиться с ними в сад «Русская Швейцария», чтобы обождать юнкеров казанского училища, у которых назначена в этот день прогулка. Пришлось согласиться. Мы пришли в «Швейцарию» и расположились пить чай. В это время начали собираться в сад разные лица, по преимуществу военные, которые тут же со мной знакомились. В 2 1/2 часа пришли юнкера на площадь и в это же самое время я выехал, сопровождаемый разными офицерами верхами. Когда я издали приближался к строю юнкеров, то поспешил навстречу помощнику начальника штаба генералу Радзишевскому, ехавшему по направлению ко мне. Генерал приветливо поздравил меня с прибытием в Казань, и в это время раздался марш, исполняемый самими юнкерами. Я проехал по фронту и поздоровался с ними. Затем в сопровождении генерала Радзишевского, многих офицеров и очень большой толпы поехал на квартиру к В. С. Марасанову, который ранее еще пригласил меня остановиться у него.

13. Представлялся начальствующим лицам. В 4 часа был устроен офицерами Казанского гарнизона обед в офицерском собрании. Присутствовало 200 с лишним человек. Было произнесено много речей и отправлены телеграммы войсковому казенному атаману генерал-адъютанту барону Корфу и моему командиру полка Г. В. Винникову.

14. Утром был в Казанском соборе и отслужил молебен. Затем заехал в юнкерское училище и осмотрел его. Подковал коня на новые подковы в ветеринарном институте у Каллинга.

15. Был у обедни в Казанском женском монастыре, где служил преосвященный, а вечером поехал в театр — на концерт, исполнение которого было довольно слабое, за исключением пения студента Васильева, очень мне понравившегося.

16. При выезде из Казани с меня сняли фотографию на улице. Провожающих было много. Через Волгу переехал с Серым на пароходе. Меня поехали провожать верхами гг. Гонгарт, Рыковский и Андреевский до города Свияжска в 38-ми верстах от Казани, но г. Андреевский, который раньше должен был вернуться на службу, проехал только пятнадцать верст. Кроме них, провожали до Свияжска на тройке В. С. и Н. В. Марасановы. Все мы и ночевали вместе в этом городе. Свияжск имеет очень красивый вид. Он окружен со всех сторон водою. Здесь много церквей и монастырь. С исправником Н. К. Зaborовским ездил в древний монастырь поклониться мощам. Вечером все общество отправилось к Н. К. Зaborовскому, где провели очень весело время. Его три дочери, очень милые барышни, пели и играли. Конь пил и ел очень хорошо. Вода прекрасная.

17. Простившись с моими милыми спутниками, я поехал один в сопровождении стражника. Погода ясная. Через Свияжу переехал с конем на лодке. Дорога сухая, частью гористая. В Аккозине остановился на почтовой станции. Вода ключевая. Конь пил очень хорошо. — Крестьяне начали пахать. Показывается зелень.

18. Утро тихое. День жаркий. Жажда. По дороге много глубоких оврагов. Ямбулатову проехал мимо. Чебоксары городок порядочный, много церквей. Это столица чувашей. Жалко, что она стоит в котловине. Не доехав пяти верст до Чебоксар, меня остановил на мосту отставной офицер, со словами:

— Слава русскому оружию! Слава кавалерии! — И тут же попросил помочь ему, говоря, что ничего не ел. Я, конечно, посильно помог ему. Когда я подъезжал к самому городу, меня встретила старушка и сообщила:

— Мы тебя, батюшка, уж второй день ожидаем.

В городе меня встретил полицейский чин и передал приглашение воинского начальника остановиться у него. Поблагодарил за гостеприимство, но остановился на станции вольных почт. Публики на улице была необъятная масса, и ребятишки бежали по всему городу. Закусивши, поехал к воинскому начальнику, подполковнику Лягушину, лично повторить ему мою благодарность. По приходе был положительно очарован простотой и любезностью как хозяина, так и его супруги Екатерины Анастасьевны. Милые и трижды симпатичные хохлы. Пробыл у них до 11 часов ночи.

19. Выехал рано. Погода холодная. Ветер. Дорога частью лесом. В трех верстах от Старого Сундяря стоит громадный дуб-великан, прямой, как свечка. Он загорожен, и предание говорит, что императрица Екатерина Великая, проезжая мимо, обратила на него внимание и приказала сохранять. Не доезжая трех verst до Виловатого-Врага, меня встретил сотник Оренбургского казачьего войска Савостьянов верхом. Приехал он из г. Козьмодемьянска. Остановились на почтовой станции. Вечером ели уху, и сотник решил провожать меня до Нижнего Новгорода.

20. Погода хорошая. Дорога тоже. Г. Васильсурск стоит на горе. Вид превосходный. Встретил нас исправник В. А. Шигорин, прекрасный и любезный человек. В Васильсурске остановился на почтовой станции, где конюшня оказалась отвратительной, грязной и с недостатком воздуха. Одевшись, поехал представиться к воинскому начальнику, подполковнику А. С. Бернадскому; от него к исправнику отправился обедать. После обеда решили поехать на тройках в Пантелеимоновский монастырь, где был отслужен молебен и осмотрены монастырские общежитие и трапезная. Пение своеобразно и очень мне понравилось. Вид монастыря очень красивый. Тут же видели монаха-карлика, 38 лет, ростом в 1 аршин. Когда я возвратился домой, то ко мне тотчас же приехал воинский начальник и взял меня к себе. Его супруга весьма гостеприимно и любезно обошлась, играла на фортепиано и пела, так что время незаметно пролетело до полуночи.

21. День теплый. Дорога очень хорошая. Воротынец, Чугуны и Осташиху проехал мимо. В селе Лысково остановился в гостинице Ермолаева. Приезжали воинский начальник, полковник Кондаков и исправник, г. Порошин. Село Лысково — бывшее имение графини Толстой и похоже скорее на маленький городок. Был в церкви у всенощной, затем у воинского начальника и исправника. Хозяин гостиницы за квартиру и стол категорически отказался взять плату, говоря, что я его обижу, если буду настаивать на своем. Я невольно, не желая ни под каким видом обижать его, должен был примириться с этим вопросом и поблагодарить за русское гостеприимство, хотя в душе и был недоволен воспользоваться бесплатным пансионом.

22. Погода пасмурная, а потом большой дождь. Дорога глинистая и скверная. Ехали тропой. В Полянах встретил нас с сотником Савостьяновым штабс-капитан М. Н. Николаевский и становой пристав Иван Иванович (фамилию забыл). По дороге к Чернухе были буквально арестованы, но не именем закона, а во имя гостеприимства помещика Чеховского, кото-

рый «забрал» нас к себе ночевать, представил супруге и кор-
мил и поил как нас, так и коней наших, как говорится, *на
убой*.

23. Погода хорошая, но затем сильный дождь, прорвавший до костей. В Вестовой заехал на минуту к добродушному и милому становому Ивану Ивановичу, а затем пошли далее к Нижнему Новгороду. При въезде меня встретил старый амурец, ныне помощник полицмейстера г. Мецман, который на следующий день весьма любезно показал мне свой древний город. Командир полка, полковник Аккерман, сказал мне теплое приветствие. Публики на улицах, как в экипажах, так и верхами было множество. В сопровождении ее я проехал к губернатору Ник. Мих. Баранову, герою «Весты», от которого получил любезное приглашение еще заранее, при въезде в пределы Нижегородской губернии. Помещение мне было отведено совсем не по чину. При моем приезде самого генерала не было дома, но как только он возвратился, то сейчас же зашел ко мне и обласкал меня, а я, в свою очередь, сердечно поблагодарил Н. М. за оказанное им дорогое мне внимание. Вскоре меня пригласили к обеду, на котором присутствовало все его семейство.

24. Утром был в церкви. В 10 часов поехал с г. Мецманом. Поклонился гробнице Минина, видел шапку основателя Нижнего Новгорода и был в приюте вдов и сирот, устроенным на средства купцов Бугрова и Блинова, которым нужно отдать полную честь за сооружение такого грандиозного и крайне полезного благотворительного заведения, приютившего массу беспомощных бедняков. — Ночлежный дом также поражает своею чистотой и обширностью. Заезжал в церковь, которую посещал еще Великий Петр. Был в часовне, где есть целебный ключ, из которого пил воду.

В 4 часа генерал Баранов повез меня на обед в «Биржевую гостиницу», даваемый нижегородским купечеством. Обед прошел оживленно. Говорилось много речей. После обеда многие из участвовавших приезжали смотреть Серого.

25. Выехал в 7 ч. утра. Провожающих было очень много, в особенности на перевозе через Волгу на пароходе, куда взят был Серый. Много всадников провожало верхами. — Сотник Савостьянов вернулся домой, а штабс-капитан Николаевский едет дальше. От Нижнего Новгорода началось шоссе. По дороге к Залиной меня встретил помещик А. А. Турчанинов, очень симпатичный молодой человек, который и решил ехать верхом со мною до Москвы. Тут же встретили меня помещики гг. Рождественский и Тихвинский. Время в Залиной в крестьянской избе провели весело. Сегодня кончилась Нижегородская

губерния и началась Владимирская. От г. Мецмана на память получил сегодня серебряную нагайку.

26. Погода прекрасная. По дороге к г. Гороховцу переехали с конями через реку Клязьму. Народ встречал с хлебом-солью. Встретил Н. Н. Краснощекова, донского казака, пригласившего к себе. Так же был встречен, при въезде в г. Владимир, предводителем дворянства, генералом Кожиным. Около дома Н. Н. Краснощекова встретил исправника и снова получил хлеб-соль. Обедали вместе с Турчаниновым и Николаевским у Н. Н. Краснощекова, где провели прелестно время в обществе его двух милых дочерей. Подъезжая к городу Вязникам, нас встретил командир 33-го резервного батальона, старый сибиряк-камчадал, полковник Сысоев в сопровождении нескольких офицеров и сказал сердечное приветствие, а также пригласил разделить вечером в офицерском собрании товарищескую хлеб-соль. При въезде в город встретили все офицера этого батальона с хором музыки, которая и продолжала играть до моей квартиры в гостинице. Публики была масса. — Вечером был в офицерском собрании, где во время стола играла непрерывно музыка, говорилось много тостов и была послана телеграмма в Благовещенск моему командиру полка.

27. Выехал в сопровождении офицеров, хора музыки, большого количества публики, как в экипажах, так и пешком. Идет мелкий дождик. Штабс-капитан Николаев вернулся домой. Теперь едем с А. А. Турчаниновым. Остановились на ночлег в Дроздовой у крестьянина Воронухина. Корм для ко-ней скверный.

28. Погода хорошая, дорога скверная. В 12-ти верстах переехали Клязьму в имении Лебедевом. Не доехая до монастыря Боголюбова, нас встретили урядник и господин на велосипеде. В Боголюбском монастыре много народа. С 11-й версты от г. Владимира к нам стали подъезжать на встречу в экипажах, верхами, на велосипедах и на всяких других инструментах различные представители жителей города. Затем подъехала целая кавалькада офицеров во главе с командиром 11-го полка, 3-й дивизии, полковником Сергиевским, старым сибиряком. Тут же, в экипаже, с супругой полковника Сергиевского был бригадный генерал Тугентольд. Хор музыки играл во все время пути. Публики такая масса, что и представить себе трудно; все улицы были буквально запружены народом. Получил по дороге букет цветов. Проехал прямо в офицерское собрание. Полковник Сергиевский очень приветливо и отечески отнесся ко мне, объявив, что он арестует меня, так как должен завтра состояться обед, несмотря на то, что дневки в городе Владимире у меня не предполагалось. Закусивши, по-

ехал с поручиком И. И. Ляшковым осматривать город. Был в архиерейской церкви и в местном соборе, поклонился мощам Андрея Боголюбского, Георгия и Глеба и князя Александра Невского. Ходил на самый верх собора и там получил от строителя на память кусочек свинца и меди, сохранившихся еще со времен татарского ига. Осматривал странноприимный дом и казармы 11-го и 12-го полков. Вечером ко мне приходил московский корреспондент «Новостей дня» Л. С. Обольник, который намерен ехать со мной до Москвы. Вечером кто-то прислал мне букет. Получил от командира Донского № 1 полка бумагу, в которой он приглашает меня остановиться у них в Москве в офицерском собрании.

29. Встал рано и пошел в старинный собор св. Димитрия. Оттуда на крепостной вал и затем поехал представляться начальству, а в том числе и г. губернатору, генералу Судиенко, который представил меня своей супруге и двумя племянницам. Был у архиерея. — В 4 часа состоялся обед, в присутствии многих начальствующих лиц. Во время обеда мне была поднесена местным купцом В. И. Гончаровым вместе с просфорой форменная папаха. Оставалось принять и поблагодарить. В 8 ч. вечера был в театре, где давали драму Невежина «Вторая молодость», в которой участвовала на гастролях бесподобная артистка Императорских Московских театров госпожа Федотова и произвела глубокое впечатление своей художественной игрой. — В ложу, где я сидел, мне вдруг неожиданно подали конверт, неизвестно от кого, как сообщил слуга. Распечатав его, я вынул белый шелковый платок с вышивкой гладью на одном из углов следующего. «Д. И. 28 апреля 1890 г. Г. Г. Владимир». Это подношение и по сие время осталось для меня загадочным, и я желал бы очень узнать его отправителя. В тот же день мне был прислан на квартиру каменный образок трех Владимирских Святителей — тоже неизвестно от кого.

30. Проводы были с музыкой. Провожало много офицеров, генерал-лейтенант Витторф и командир 11-го полка полковник Сергиевский верст до двенадцати. До заставы шла громадная толпа народа. Во всех селах и деревнях народ радушно приветствовал меня. В селе Липках маленький мальчик, сын купца Аксенова, поднес мне коробку со свежей земляникой и этим милым и простым подарком растрогал меня до слез. На какой-то железнодорожной станции, название кой забыл, мне поднесли хлеб-соль с маленькой деревянной иконой. — Остановился в селе Петушки у Д. Н. Баканова. У него же познакомился с начальником железнодорожной станции И. Я. Суркиным, по просьбе которого все мы ездили к нему и провели очень мило время. Из Владимира поехал со мной поручик 11-го полка М. В. Акимов вплоть до Петербурга.

1. Утро прекрасное. Город Покровск проехали мимо. Встречал много публики. Получил телеграмму от г. Воронцова-Иванова с приглашением на обед членов Императорского московского скакового общества 4 мая. — Положительно по всем селам и деревням были встречи. В 15-ти верстах от Богоявленска встретила нас большая кавалькада, во главе которой был А. Ив. Морозов, владелец Глуховской мануфактуры. Затем любезно встретил городской голова Ф. А. Детинов, предложивший нам всем остановиться в его доме в Богоявленске, в гостинице «Москва». В городе нас встретила такая громадная масса самой разнообразной публики, что даже волною народа затерло полицейских чинов. После обеда ездил осматривать с Ф. А. Глуховскую мануфактуру, где работают 5500 человек обоего пола. Она производит впечатление отдельного, чистенького городка. Большая машина работает на 1200, но может работать и до 1400 сил. Оттуда поехал в фабричный сад, где играл оркестр, составленный из служащих г. Морозова. Публики собралась громадная масса.

2. Жарко. На пути все время бежит навстречу и старается пресечь мне путь разный народ. Тут и крестьяне, и фабричные, и все что угодно. Происходят забавные сцены.

Подъезжая к Горенкам, имение Гретьяковых, меня встретили три всадника, и один из них, управляющий этим имением г. Богородский, очень любезно пригласил нас всех остановиться на ночлег у него в имении. Матушка его и дочка, весьма милые и симпатичные, приветливо и гостеприимно ухаживали за нами. Время у них пролетело незаметно. Гуляли много в парке. Вечером приезжала графиня Орлова-Давыдова с сыном студентом и генералом Кузнецовым на четверке вороных и подробно осматривали Серого. Сюда же явился урядник от командира Донского полка для сопровождения меня в Москву. Много лиц приезжало с соседних фабрик и заводов, любопытствовавших посмотреть на нас.

3. Вскоре по выезде из Горенок, где составилась уже порядочная кавалькада, к Москве, меня встретило человек двадцать офицеров-казаков Донского № 1 полка. Познакомившись с ними, все время беседовал с есаулом Голубинским. Затем подъехал войсковой старшина Абрамов в сопровождении еще нескольких офицеров. Весь путь был уже усыпан встречающими из Москвы. Тут же виднелась грациозная амазонка с штатским кавалером. Не доехав верст 3-х до заставы, меня попросили остановиться, сняли фотографическую группу; тут Н. И. Пастихов передал мне стихи, прочитанные громко каким-то господином. У Рогожской заставы произошло буквально

столпотворение вавилонское; меня встретили: командир Донского полка, полковник Иловайский со своим адъютантом и многие другие с хорами музыки и песенников Донского полка. Все направились при неизъяснимом уличном шуме к Иверской Божией Матери, где я отслужил молебен и получил образок Богоматери. Шествие было до такой степени торжественное, энтузиазм публики дошел до такого апогея, что я был положительно нравственно подавлен и растроган до слез от этого непрерывного, величественного ряда самых сердечных заявлений расположения ко мне многотысячного моря публики среди древней русской столицы. От Иверских ворот мне предстоял путь через весь город до казарм Донского полка, и на всем протяжении этого пути овации ни на минуту не прерывались. Приехав в полк и переодевшись в сильно пострадавший в дороге, единственный мой мундиричик, я немедленно явился к командиру полка, который представил меня своему милому семейству. У него же я был представлен командиру бригады генерал-майору Гарденину, В. А. Хлудовой и познакомился с остальными присутствовавшими. Выпив стакан чаю, поехал представляться к московскому генерал-губернатору князю Владимиру Андреевичу Долгорукову, от него к московскому коменданту генерал-лейтенанту Унковскому, а также к командующему войсками московского военного округа, которого не имел чести застать дома, за отсутствием его из Москвы, затем к начальнику штаба генерал-лейтенанту Духовскому; по пути заехал с визитом к В. А. Хлудовой, которая произвела на меня самое приятное впечатление своей простотой и любезностью, и затем ко многим начальствующим лицам. Вернувшись домой, зашел освежиться с моими спутниками под руководством любезного г. Гиляровского в московскую баню, которая меня буквально поразила своей роскошью. Оттуда, зайдя домой, все вышли обедать в зал офицерского собрания. Обед был очень оживленный, и все офицеры отнеслись ко мне с истинно братским вниманием и радушiem, которые никогда не изгладятся из моей памяти. После обеда в саду казарм играла военная музыка и собралась масса публики, требовавшей меня на балкон.

4. Был у епископа, получил благословение от него, причем он дал мне на память свой портрет и книгу. Поехал в Кремль к графу Орлову-Давыдову, радушно принявшему меня; завтра-кал у него и осматривал под его любезным руководством Кремлевский дворец. В 6 часов вечера поехал на обед в Императорское скаковое общество, где при входе в зал вице-президент общества, кн. Дм. Дм. Оболенский, передал мне от имени общества большой серебряный жбан. Обед был крайне оживленный, и на нем была только одна дама, присутствие коей производило освежающее впечатление на все общество

кавалеров. Вечером поехал с некоторыми из обедавших и с донцами-офицерами в сад «Мавританию» слушать цыганский хор, а оттуда ненадолго заехали в сад «Эрмитаж», где публика меня так обступила, что я поспешил поскорее удалиться.

5. В 5 часов утра был на ипподроме скакового общества и любовался галопом кровных скакунов. Затем осматривал храм Христа-Спасителя и пришел в восторг от живописи наших родных художников. С купола собора поразительный вид на всю матушку Москву. От старости храма А. И. Боткина получил просфору и описание храма. Сегодня же получил серебряный жбан от В. А. Хлудовой. Обедал у А. Е. Каншина и вечером поехал было ко всенощной в храм Христа-Спасителя, но опоздал. Оттуда поспешил к Иверской, но и там уже, к сожалению, храм был закрыт. Вечер провел у полковника Иловайского в его милой и добродушной семье. С удовольствием слушал музыку и пение его дочери.

6. Выехал из казарм окруженный целою кавалькадой офицеров и многих штатских, причем военный оркестр играл прощальный марш, а народ весьма любезно кричал мне «браво» и «ура». До 17-й версты от Москвы народ массами провожал нас всех бегом. На 17-й версте, помолившись в часовенке, стоявшей на пути, простился с провожавшими меня братьями-донцами и их добрым командиром. Далее поехал в сопровождении только нескольких всадников, провожавших меня немногих верст, а также с милым спутником от г. Владимира М. В. Акиловым. Проехав верст 45, в попутном имении, нас встретило целое блестящее общество дам и кавалеров, собравшихся на загородный пикник. Тут мое положение было хуже Дона-Педро де-Гимойоза, так как мой невзрачный, дорожный вид и весь костюм, в сравнении с остальными, представлял самый «живописный» контраст. Однако спешиться, закусить, выпить стакан чаю и распрощаться все-таки пришлось поневоле. Оттуда поехали далее. В Подсолнечном встретила опять шумная и громадная толпа. Остановились у крестьянина на прекрасной квартире со всеми удобствами для лошадей. Сюда сейчас же приехали: кн. Чагадаев и г. Чариков с супругами; последний пригласил нас к себе на дачу обедать. Убравши коней, отправились на любезное приглашение, где весьма приятно провели время, гуляя после обеда в красивом саду, где упивались запахом цветущей сирени.

7. Выступили очень рано. Нас выехали провожать г. Чариков с супругой и двумя дамами в коляске. На пятой версте от Подсолнечной заехали всем обществом по приглашению кн. Чагадаева к нему и выпили по стакану чая. Не доехав 10 верст до города Клина, нас встретила тройка красивых савра-

сых лошадей, в которой сидели кавалеры и дамы, из коих одна была в турецкой феске. Кричали «браво» и провожали нас до самого Клина. При въезде в город получили приглашение от городского головы г. Фирсова заехать к нему на чашку чая, но, поблагодарив за гостеприимство, должны были отказаться за неимением времени и проехали г. Клин мимо. По городу и несколько верст далее нас провожало много экипажей. При въезде в Клин подъехал ко мне на рыженькой лошадке господин в черкесском костюме и отрекомендовался:

— Страстный любитель верховой езды, чиновник (такой-то)!

При этом, провожая меня далеко за околицу города Клина, все время напевал лихие казачьи песни.

При въезде моем в село Всесвятское, недалеко от станции Безбородовой, меня встретили 4 местных купца, сказавшие мне такие прочувствованные и безыскусственные слова, что задели меня за живое и прошибли до слез. В Безбородовой остановился у крестьянина. Квартирка довольно грязненькая. Помещение для коня очень удобное. Серый выглядит очень бодро и весело.

8. День очень жаркий. Не доезжая семи верст до г. Тверь, встретили нас городские жители в экипажах и воинский начальник. Здесь же неподалеку был выстроен эскадрон юнкеров Тверского кавалерийского училища, во главе с начальником его полковником Гершельманом и с хором песенников. У этого эскадрона меня приветствовал бригадный командир, генерал-майор Каульбарс ласковой речью и первый крикнул «ура», подхваченное юнкерами. Оттуда в сопровождении юнкеров, их любезного начальника, с хором песенников мы отправились прямо в юнкерское училище, где добрый полковник весьма удобно и радушно поместил меня в своей квартире, а Серому приказал отвести прекрасный денник. По пути к училищу встретил командира Драгунского полка с несколькими офицерами — драгунами и еще двух батарейных командиров. По приезде в училище был устроен в саду легкий завтрак, на котором начальник школы сказал прочувствованное слово. Во время завтрака были посланы телеграммы моему полковому командиру в Благовещенск и начальнику Иркутского юнкерского училища полковнику Федорову, где я воспитывался. Вернувшись к себе в сопровождении нескольких офицеров, был возбужден технический вопрос об удобстве, при верховой езде, туркестанских чембар, и при этом командир 2-й батареи подполковник Слезкин предложил мне, для испытания, красные чембары, привезенные им из Маргелана. Они оказались очень практичными, и я в них доехал до Ям-Московской Ижоры, то есть почти до Петербурга. В них я не мог въехать в столицу, потому что

они были не форменные. Вечером был приглашен на пикник Драгунского полка, где оставался очень недолго.

9. При выезде из города нас поехали провожать начальник училища, командир эскадрона юнкеров, оба батарейных команда и несколько драгунских офицеров. Проезжая мимо монастыря св. Николая Чудотворца, где был сегодня престольный праздник, зашел по пути в часовенку, помолился и приложился к образу. Затем с Акимовым направились дальше. При въезде в г. Торжок нас встретил корреспондент «Московского Листка» г. Рыскин и, передав мне стихи, привезенные им из Москвы, сообщил, что он будет сопровождать меня до Петербурга. В Торжке меня встретил гвардии штабс-капитан и просил заехать переночевать к нему в офицерское собрание. Я с удовольствием согласился. Там помещение для коней было отведено прекрасное, и мы с Акимовым отдохнули отлично. Вскоре нас пригласили обедать в офицерское собрание.

10. Утром довольно жарко. Нас поехал провожать поручик Фрейганг с хором песенников верст пять за город. Немного далее встретил ротмистра Цурикова, представившего меня своей супруге и дочери. За 12 верст до города Вышнего Волочка нас выехало встретить несколько экипажей, и в том числе добрая и гостеприимная Анна Дмитриевна Большакова, безапелляционно решившая, что мы ее гости и должны ехать прямо к ней, где уже готовое помещение, как для нас, так и для коней. По всему пути до города, равно как и в Волочеке, были несметные толпы народа, весьма шумно встречавшие нас. При въезде в город заехал в часовню и отслужил молебен, а затем отправились к радушной Анне Дмитриевне. При въезде на городской мост нас встретил оркестр музыки, проводивший нас до квартиры. Среди публики находилась дама, видимо, весьма интересовавшаяся Серым. Когда я убирал коня, явилось много любопытных взглянуть на него, в том числе и упомянутая выше дама-спортсменка, которая подробно осмотрела Серого и очень много о нем расспрашивала. Пообедав дома, благодаря любезности госпожи Большаковой, предложившей нам своего рысака, мы поехали на нем с Акимовым осматривать живописный город, утонувший в садах.

11. Выехали в 8 ч. утра. Провожающей публики масса. Много экипажей и вчерашняя дама-спортсменка в изящной амазонке верхом на рыженьком коне. Нас спрыснуло изрядным дождем. По дороге дети, во главе с учителем, кричали «ура». — Остановились ночевать в деревне Макарихе у крестьянина Михаила Федорова. Удобства особенных как для себя, так и для коней не встретили. Сегодня кончилась Тверская губерния и началась Новгородская. Утро холодное. Дорога отврати-

тельная. Камень на камне. Не доехая 7-ми верст до города Валдая, нас встретило целое общество во главе с городским головой Мих. Вас. Чуриным, приветствовавшим нас весьма тепло и поднесшим мне для Серого кожаную «ожерелку» с валдайскими бубенчиками. Остановились на квартире у А. В. Шишовой, у койей был предложен нам обед городским обществом, состоявшим из всей местной интеллигенции. За обедом было много тостов и речей. После обеда мы посетили Троицкий собор и часовню Якова Праведного, а затем проехали на громадной лодке, в сопровождении некоторых лиц, в том числе и местного исправника А. Б. Дьячкова, через озеро в Иверский монастырь, весьма живописно расположенный на лесистом острове среди Святого озера. Осмотрев его и помолившись, были приглашены на чай гостеприимным иеромонахом о. Павлом. Оттуда вернулись домой.

13. Прохладно. Выехал раньше обычновенного. В селе Яжелбцах встретили нас А. Б. Дьячков и В. В. Якунин и угостили жареной форелью и чаем. В Крестцах остановились у мелкого торговца на ночлег. Опять многолюдные встречи. Исправник г. Арбузов пригласил нас к себе обедать. У него встретили небольшое, но милое общество. При этом г. М. прочел стихи и дал их мне на память.

14. День жаркий. Дорога тяжелая. Выехали рано. Подъезжая к Бронницам, нас встретили несколько офицеров верхами. Затем бригадный командир, генерал-майор Бутенко, полковой командир, полковник Соколовский и еще множество офицеров. Они приветствовали нас весьма задушевно и пригласили остановиться у них в офицерском собрании. При выезде хор полковой музыки играл марш. Когда устроились с лошадьми, то сейчас же пошли обедать в сад, где в радушном обществе офицеров в высшей степени весело провели время. Полковые дамы также весьма любезно и внимательно отнеслись ко мне.

15. Утро жаркое. Не доехая девяти верст до Новгорода, начали встречаться экипажи. Затем появились верхами офицеры Выборгского полка. Остановился в гостинице Соловьева. Закусивши и оправившись, поехал к обедне и молебну по случаю празднования коронации Их Императорских Величеств, в Софийский собор. Осматривал древности этого храма. От страсти, г. Федорова, получил просфору и книжку «Историческое описание Новгорода». Тут же, в соборе, был представлен г. вице-губернатору А. И. Марголли и городскому голове г. Евдокимову и многим другим. По приглашению преосвященного Владимира, отправился к нему в архиерейский дом, где долго беседовал с владыкой и был очень обласкан им. Затем был

приглашен новгородским обществом в сад на обед. После обеда снимался в общей большой группе с присутствовавшими на нем в местной фотографии. Затем благодаря любезности командира Выборгского полка, полковника К. В. Церпицкого, состоялась поездка с хором музыки на лодках по Волхову в Юрьев монастырь. Осматривал древности этого монастыря: усыпальницу архимандрита Фотия и графини Орловой-Давыдовой, и был поражен богатством всего виденного. Вернувшись обратно домой, встретил сестру мою с ее мужем, приехавших из Петербурга, чemu не скажано обрадовался. Вскоре приехали офицеры и, несмотря на мои извинения, захватили и увезли меня на товарищеский ужин, данный офицерами Выборгского полка и резервного батальона в том же саду. К сожалению, не мог долго оставаться в радушном обществе гостеприимных офицеров, так как должен был вернуться к отъезжавшей сестре и проводить ее на вокзал.

16. Выехали в 7 ч. утра. Погода опять жаркая. Нас провожало несколько офицеров, полковник Дубяга и новгородский обыватель Н. И. Богдановский. На 12-й версте от Новгорода, в с. Витка встретили нас офицеры л.-гв драгунского полка, с хором музыки, и предложили, тут же на пути, позавтракать с ними. Приняв их любезное предложение, не мог, однако, на долго остановиться и, поблагодарив их за любезность и радущие, рас прощался с ними. Тут меня представили некоторым полковым дамам, которые обласкав Серого, украсили его букетом из ландышей. Подъезжая к деревне Каляшке, меня встретил лейб-гвардии атаманского полка хорунжий Н. Н. Краснов с четырьмя казаками и сердечно приветствовал. Остановились на ночлег в деревне Каляшках, на расстоянии 50 верст от Новгорода, в доме деревенского старосты, благодаря любезным заботам о нас становового пристава Н. М. Мигаловского, который сам руководил изготовлением нам еды. Серый идет бодро, помахивая головой.

17. Дорога хорошая. До Любани встречается множество дач и деревень. Подъезжая к Любани, был встречен л.-гв. Казачьего полка поручиком с командою охотников-казаков и передавшим любезное приглашение гвардейской казачьей бригады остановиться у них в офицерском собрании. В Любани встретил своего однополчанина, хорунжего Б. А. Соколова, приехавшего из Благовещенска на перекладных и провожавшего меня в день моего выезда 7 ноября. Очень обрадовался этой встрече. Переночевали в квартире становового пристава, в доме крестьянина Корчагина.

18. Выехали рано утром. По дороге много дач. В Ям-Московской Ижоре остановились у какого-то крестьянина. Вскоре

приехали из Петербурга войсковой старшина Гайтлев и есаулы Табунщиков и Сотников (муж моей сестры), которые передали мне приглашение начальника офицерской кавалерийской школы полковника Владимира Александровича Сухомлинова остановиться в этой школе. Через несколько минут после этого приехала целая кавалькада кирасир Его Императорского Величества с генерал-майором Таль и полковниками бароном Дризен и Степановым, в сопровождении охотничьей команды и хора трубачей. Командир полка генерал-майор Таль сказал мне несколько теплых слов, пригласил нас всех отобедать с ними тут же в крестьянской избе, где был уже сервирован стол. Обед и сервировка были привезены из Царского Села. Время прошло весьма оживленно. Неподдельное радушие и искренность офицеров меня глубоко тронули и остались во мне самое дорогое воспоминание навсегда о задушевном обществе кирасир. После обеда они тотчас уехали обратно, и я провожал их на казачьем коне за деревню.

19. Встал рано. Остается последний переход. По дороге к Петербургу, в сопровождении уже целой кавалькады, выехали в столицу. По пути, чтобы выждать время, воспользовались радушным приглашением одного помещика и заехали к нему завтракать, после чего отправились дальше. Недалеко от Средней рогатки нас встретил и приветствовал генерал Арапов. За ним появились последовательно: господин на велосипеде, маленький донской казачок, в форменной одежде, на форменном седле, верхом на крошечном пони и несколько гусарских офицеров.

Здесь оканчивается дневник. Дальнейшие сведения о встрече Д. Н. Пешкова 19 мая следующие:

Торжественная встреча Пешкова состоялась в 11 ч. утра у Средней Рогатки, на 12-й версте, где в ожидании амурского гостя собирались офицеры л.-гв. Казачьего и л.-гв. Атаманского казачьего полков в сопровождении полного состава офицеров Офицерской кавалерийской школы с ее эскадроном и хором трубачей и во главе с начальником ее полковником В. А. Сухомлиновым. Вскоре показалась вдали кавалькада всадников, среди которых можно было сразу отличить маленького Серого с его всадником в оригинальном дорожном костюме. Пешков ехал в сопровождении большой кавалькады. Хор трубачей заиграл приветственный марш, и кавалькада остановилась. Раздалось дружное «ура!» и «браво!» встречавших, и сотника моментально окружила масса блестящих кавалеристов, в числе коих находились командир л.-гв. Атаманского полка ген.-майор Греков, генерал-майор Арапов, депутаты: от военного министра подполковник генерального штаба Ермолов, от казачьих войск полковник Плотников и

много других. Все сердечно приветствовали его. Пешков верхом, совершенно растроганный, отвечал на все эти приветствия. Тут же находилось более ста офицеров гвардейских и армейских кавалерийских полков верхами, приехавших также на встречу. Массы народа толпились по Московскому шоссе и встречали сотника дружным «ура», задерживая его проезд, и вскоре показались щегольские экипажи с нарядными дамами и кавалерами. Вся кавалькада, при въезде в город, направилась по Боровой улице к казармам л.-гв. Казачьего полка, где в офицерском собрании был уже приготовлен завтрак. Первая здравица была за Государя Императора, затем за Августейшего Атамана всех казачьих войск и затем за амурского гостя.

Пешков произнес здравицу за процветание донских казаков как прародителей всех русских казачьих войск и глубоко тронул всех присутствующих задушевным и искренним тоном этой здравицы, причем он вдребезги разбил свой бокал. Из казачьих казарм Пешков выехал в сопровождении всего состава Офицерской кавалерийской школы, с ее эскадроном и хором трубачей и рядом с ее начальником в часовню Спасителя (домик Петра Великого). Кортеж направился по Невскому и Литейному проспектам, затем на мост Императора Александра II, берегом Выборгской стороны через Сампсониевский мост. В часовне он отслужил благодарственный молебен и оттуда, в сопровождении всей кавалькады, направился в Петропавловский собор поклониться гробнице в бозе почивающего Царя-Освободителя, создавшего Амурское Казачье войско. Из крепости все отправились обратно, тем же путем в Шпалерную, в здание офицерского собрания Офицерской кавалерийской школы, где был сервирован парадный товарищеский обед с хором музыки в честь сибирского гостя. Начальник школы полковник В. А. Сухомлинов провожал Пешкова рядом в продолжении всего пути. Тотчас по приезде Пешков прежде всего отвел сам своего коня на конюшню, осмотрел его, расседлал и поставил на отдых. Затем, оправившись, явился к обеду, на котором присутствовало более 250 человек. За обедом были произнесены начальником школы здравицы за Государя Императора и за Августейшего Атамана всех казаков, встреченные дружным, несмолкаемым «ура» и повторенным народным гимном. — Пешков произнес здравицу за Августейшего Начальника русской кавалерии Великого Князя Николая Николаевича Старшего, встреченную восторженно, причем его Императорскому Высочеству была послана в Чесменку следующая телеграмма:

«Офицерская кавалерийская школа, чествуя в своих стенах лихого кавалериста Пешкова, пьет здоровье Августейшего Руководителя русской кавалерии и горит желанием скорее представиться своему обожаемому Начальнику».

Полковнику Г. В. Винникову была отправлена в Благовещенск телеграмма следующего содержания:

«Офицерская школа, чествуя сотника Пешкова, шлет свои наилучшие пожелания молодецкому полку лихих кавалеристов».

В конце обеда офицеры кавалерийской школы поднесли Пешкову роскошный, массивный серебряный жбан с серебряным ковшом. На жбане нgravированы: его монограмма, числа выезда его из Благовещенска и прибытия в Петербург, с обозначением количества пройденных им верст.

Тотчас после обеда Пешков осмотрел своего коня и распорядился его кормом. До выбытия школы в Красносельский лагерь, Пешкову было отведено красивое и комфортабельное помещение в офицерском собрании.

На другой день получена ответная телеграмма от Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего:

«Очень благодарю за сочувствие, которое моя команда оказала лихому молодцу Пешкову. Сколько времени пробудет он в Петербурге? Желал бы его увидеть.

НИКОЛАЙ».

Его Императорскому Высочеству было доложено, что Пешков пробудет в Петербурге около месяца.

Из Благовещенска получена ответная телеграмма:

«Амурский Казачий конный полк свидетельствует сердечную благодарность родному по оружью обществу офицеров школы за радущие, оказанное нашему однополчанину сотнику Пешкову».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Свою поездку из Благовещенска-на-Амуре до С.-Петербурга Д. Н. Пешков предпринял с исключительной гипногической целью испытать выносливость лошади местной Амурской породы, а также и собственные силы — и, действительно, мы видим в этой беспримерной в истории поездке с берегов дальнего Амура до Невы, верхом на одной лошади, без провожатых, без багажа и запасного продовольствия, через все дебри, тундры и ледники отдаленнейшей Восточной Сибири — истинный кавалерийский подвиг.

Правительство, вполне сознавая заслугу Пешкова, предпринявшего за свой счет и риск эту необычайную и смелую поездку, справедливо обратило на него свое внимание и по приказанию г. военного министра генерал-адъютанта Банновского, молодому сотнику была устроена торжественная встреча в Петербурге, описанная выше.

Переходы в Париж в 1813 году, через Балканы в 1877 году, а равно замечательная поездка, совершенная в 1889 году кор-

нетом М. В. Асеевым верхом в Париж, достаточно доказали мужество, стойкость и выносливость русских военных людей и лошадей, но поездка Пешкова является неопровергимым и наглядным доказательством легендарной выносливости, силы, бодрости и крепости даже пятнадцатилетней русской кавалерийской лошади, а равно и молодецкой удали и железной твердости молодого русского офицера в долгой и мучительной борьбе с холодом, голодом, разными опасностями, лишениями и непреодолимыми препятствиями. Вот, что говорит, между прочим, по этому поводу *«Новое Время»* в № 5107 от 19 мая 1890 года:

На всем своем долгом пути молодой офицер встречал крайне радушный прием, возбуждая удивление в городском обществе, восторги в наших дамах и нечто вроде благоговения в простом народе. Интерес к неутомимому всаднику все более и более возрастал, по мере того, как он приближался к сердцу России. Во время пребывания в Москве, все московские газеты только и говорили, что о нем, а редакция одной из этих газет командировала с г. Пешковым своего корреспондента для следования в Петербург. После московских приемов, населением городов и местечек, лежащих между Москвой и Новгородом, Новгородом и Петербургом, охватила лихорадка нетерпения, желание поскорее увидеть редкого гостя.

В телеграммах ежедневно сообщалось о почетных приемах, устраиваемых г. Пешкову городскими обществами и офицерами полков, расположенных по пути его следования. За границей поездкой г. Пешкова тоже интересуются не только военные, но и вообще любители всякого спорта. Путешествие г. Пешкова представляет из себя тоже особенный вид спорта, оригинальность которого состоит главным образом в огромном расстоянии, пройденном в весьма краткий срок.

В Западной Европе нет таких расстояний, нет таких неудобных дорог, как у нас, да и климат там гораздо лучше, чем в той полосе, которой проезжал молодой казачий офицер.

С кавалерийской точки зрения поездка г. Пешкова безусловно замечательна. Уменье сохранить свои силы и силы лошади на таком огромном расстоянии говорит само за себя, и ничего нет удивительного, что военные везде чествуют г. Пешкова, как дорогого гостя. Что же касается русского общества, а в особенности простого народа, то для него, быть может, безотчетно соединяется с личностью путешественника представление, с одной стороны, об огромном пространстве нашего отечества, а с другой, что этот молодой казак проехал все это пространство, везде побывал, все видел, молился во многих церквях и монастырях и везде, на всем протяжении восьми тысяч верст народ, оказывается, говорит по-русски, молится одному Богу и повинуется единому русскому Царю.

Газета «Свет» от 23 мая 1890 г. помещает о поездке Д. Н. Пешкова следующие весьма верные соображения:

Внимание русского общества и печати сосредоточивает на себе сотник амурского казачьего войска Дмитрий Николаевич Пешков, с именем которого в сознании нашего народа возникает представление о несомненно героическом подвиге и о колossalном пространстве Русского Царства. Действительно, проехать на одной и той же лошади всю матушку Руслъ, от Охотского моря до Балтийского, составляет подвиг до сих пор во всяком случае небывалый. Трудность предприятия г. Пешкова далеко не исчерпывается громадностью сделанного им пути, превышающего 8000 верст, а заключается главным образом в климатических и культурных условиях тех местностей, среди которых он ездил один на своем Сером. В этом отношении подвиг сотника Пешкова следует разделить на 2 части. Первая половина пути от Благовещенска до Иркутска, где отважному офицеру пришлось преодолевать, посреди крайне редкого населения, при полном почти отсутствии хорошей дороги, самые страшные стихийные явления, каковы грозные бураны и метели, лютые морозы и т. п., составляет в действительности задачу феноменально трудную для исполнения, и собственно эта-то часть путешествия и вызывает наибольшее удивление. Остальной путь от Иркутска до Петербурга, хотя одинаково соединен со страшными трудностями, но во всяком случае не может быть поставлен в параллель с первым.

С точки зрения кавалеристов, поездка г. Пешкова имеет неоспоримо большое значение, как единственный до сих пор опыт выносливости лошади и всадника. В этом отношении двух мнений быть не может и все знатоки должны признать, что как сам Пешков, так и его лошадь совершили нечто в истории кавалерии еще не бывалое. Но кроме этой специальной, так сказать, технической стороны есть в подвиге Пешкова и другая, психологическая сторона, имеющая несравненно большую цену. Преодолеть все те трудности, которыми добровольно задался сотник Пешков, возможно только при таком закаленном железном характере, при такой непреклонной твердой воле, что обладание ими служит доказательством мощной исключительной натуры. Вот эти-то черты, напоминающие древнюю русскую удасть, и дороги в Пешкове русскому народу, который повсюду встречал его с искренним радушiem, как дорогого гостя. И черты эти не случайные: они присущи были исторически русскому народу во все времена, и пока русская земля будет давать таких крепких волею людей, до тех пор можно сохранить уверенность, насколько живуч, мощен и силен дух русского народа.

Заслуга Д. И. Пешкова заключается главным образом в том, что он воочию доказал: *во-первых*: фактическую возмож-

ность делать кавалерийские переходы в трескучую зиму, при сорокаградусных морозах, сыпучих снегах, буранах, метелях, застилающих глаза и проч.; *в-вторых*: выносливость лошади, совершающей при таких тяжелых условиях и затем — при совершенно новой, непривычной для нее климатической перемене в Европейской России, всего в течение 1169 активных часов — 8283 версты, при весьма кратковременных отдыхах, преимущественно в ночное время; *в-третьих*: возможность делать в трескучий мороз переходы в 86 1/2 верст в 9 час. 30 мин. (до Колывани), в 72 версты в 8 час. 30 мин. (до Козульской) и т. д. (см. таблицу маршрута); *в-четвертых*: возможность ехать при далеко не крепком телосложении и здоровье почти бессменно более полугода верхом, отыхая весьма короткое время и ухаживая за своей лошадью без всякой посторонней помощи; *в-пятых*: он дал военному ведомству современный, точный и испытанный кавалерийский маршрут до Благовещенска; и *в-шестых*: он собственным опытом бесспорно доказал возможность такого перехода, который до него считался совершенно неосуществимым.

ИЗ ПРЕБЫВАНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

В субботу, 26 мая, офицерская школа выступила в лагерь близ Дудергофа в Красное Село, и Пешков также ушел с нею. Ему отведено уютное помещение рядом с начальником школы.

В «Правительственном Вестнике» напечатано:

27 мая, в Петергофе, в Высочайшем Государя Императора присутствии, состоялся церковный парад л.-гв. Конногренадерскому и л.-гв. Уланскому полкам по случаю их полковых праздников.

По окончании церемониального марша, Его Императорское Величество изволил принимать представлявшихся, между которыми обращал на себя внимание известный сотник Пешков, удостоенный в этот день Высочайшей наградою орденом св. Анны 3-й степени.

Государь Император изволил милостиво расспрашивать сотника Пешкова об его службе и путешествии, а затем изволил приказать ему сесть на знаменитого Серого и подъехать ко дворцу.

После этого Их Императорские Величества направились к подъезду дворца, где изволили присутствовать при отосне штандартов и роспуске взводов, а затем изволили осматривать лошадь подъехавшего в это время сотника Пешкова.

После парада состоялся во дворце завтрак, к коему были приглашены присутствовавшие на параде начальствующие ли-

ца, командиры и все офицеры представлявшихся полков и прежде служившие в этих полках, командир и офицеры 8-го драгунского смоленского Его Величества полка, прибывшие с депутацией, и сотник Пешков.

Сотник Пешков имел также счастье представляться всем Особам Императорской Фамилии, пребывающим в Петербурге.

Поездка Пешкова, по Высочайшему повелению, зачислена ему в командировку.

В пятницу, 8 июня, в г. Царском Селе, в офицерском собрании л.-гв. Гусарского Его Величества полка, Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич и Великий Князь Николай Александрович, Августейший Атаман всех казачьих войск, изволил милостиво принять от сотника Пешкова подведенного его Императорскому Высочеству коня Серого, который и находится в Собственных Его Императорского Высочества конюшнях. После этого Наследник Цесаревич милостиво удостоил Пешкова приглашением на завтрак, состоявшийся в том же офицерском собрании в присутствии Его Императорского Высочества.

Д. Н. Пешкову Высочайше разрешен для отдыха шестимесячный отпуск, и 22 июня, в пятницу, он выехал в Палестину для поклонения в г. Иерусалиме св. Гробу Господню.

По возвращении из отпуска, сотник Д. Н. Пешков поступает в офицерскую кавалерийскую школу в С.-Петербурге.

Л. Гроссман

**БАРХАТНЫЙ
ДИКТАТОР**

СУБАЛТЕРН-ИМПЕРАТОР

Заграничные газеты сравнивали Лорис-Меликова с Мазарини, который сумел управлять Францией в самое смутное время при помощи примирительной и ловкой политики

Из некрологов 1888 года

Все тревоги оказались тщетными. Празднество державного юбиляра прошло без ожидаемых выстрелов, взрывов или бомбометания террористов. Двадцатипятилетие царствования Александра Второго расцветило сияющим Петербург мокрыми флагами, расставило за трехцветными драпировками балюстрад алебастровые бюсты коронованной четы, упорно осыпаемые тающим снегом, и с утра наполнило проспекты и набережные батальным гулом, грохотом и звоном. Салютационные орудия гремели над снежной поляной Невы, а соединенные хоры лейб-гвардии немолчно кидали в гнилостное марево февральской оттепели медные кличи маршей и кантат. С балкона над проездом ее величества царь в белом мундире кирасирского полка кланялся из-под шатра народу и даже — небывалый случай! — обнажил голову и долго сотрясал над чугунной решеткой своею гвардейскою каскою в знак полного единения венценосного вождя с благодарными сердцами верноподданных.

Правительство, жандармерия и столичные репортеры остались довольны празднеством. Ничто не нарушило установленного порядка. Целый день петербургское население с подобающим безмолвием и угрюмостью ликовало по улицам и площадям, сжатое тесной оградой из лошадиных морд и шлемов с конскими хвостами. Вечером зеленые шкалики прятнули по карнизам и колоннадам аршинные литеры «Боже, царя храни», а чадные плошки и газовые рожки вычертили в ночной мутни зыбкие царские вензеля, нещадно сотрясаемые порывами финского ветра. Согласно расписанию, волшебная иллюминация до самой полуночи поддерживала веселье петербургских жителей. Так и не осуществились зловещие предсказания о взрыве Исаакиевского собора во время обедни и разрушении дворцовой часовни под конец торжественного молебства. Словом, все удалось на славу. Никто не знал, что вокруг Зимнего дворца бродил весь день до поздней ночи смуглый юноша в клетчатом пледе с заряженным револьвером в кармане, жадно высматрива-

вая в парадной веренице выездов карету нового правителя России. Менее всего об этом догадывался сам граф Лорис-Меликов.

Нежданный повелитель судьбами целой империи был также доволен исходом тревожного юбилейного дня. С чувством глубокого удовлетворения подъезжал он наутро после празднества к Зимнему дворцу для очередного доклада государю. Карета обогнула площадь. Вдоль одного из пилasters фасада еще змеилась по штукатурке глубокая трещина от недавнего взрыва динамита под царской столовой. Граф с умилением взглянул на этот легкий след страшного разрушения: ведь это именно событие, это зловещее «пятое февраля», взорвавшее дворцовую караульную и поколебавшее царские покои, призвало к власти его, победителя Шамиля, истребителя ветлинской чумы и харьковской крамолы, возведя его в таинственный и грозный сан главного начальника верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия. Правда, для титула немного длинно. Строгий стилист Катков даже позволил себе иронически усмехнуться в очередной передовице «Московских ведомостей»: слишком, мол, громоздкое звание для власти, существующей действовать быстро, энергично и метко... Впрочем, в общей разговорной речи произошло обычное сокращение тяжеловесного чина: главного начальника называли всюду одним скжатым и властным словом, напоминающим одновременно Юлия Цезаря и Муравьева-вешателя: диктатор. Да, диктатор над сердцем государя...

Царственный юбиляр принял своего «ближнего боярина» (так успели прозвать Лориса ревнивые царедворцы) совершенно просто, в своей рабочей комнате, рядом с кабинетом. Александр, вступивший в седьмой десяток, начал сильно сдавать, осунулся, пожелтел, сгорбился. Поседевшие усы и мешки под глазами резко нарушали сходство с бравыми царскими портретами, развешанными во всех дворянских залах и волостных присутствиях империи. Скептические и зоркие вельможи уже величили вполноголоса монарха коронованной развалиной. Его отставленная фаворитка графиня Гендрикова открыто возмущалась в петербургских гостиных «старым рамоликом», за что и была выслана по высочайшему повелению в двадцать четыре часа из Петербурга. Царь нервничал, метался и падал духом. Он был совершенно запуган последними покушениями. Взрыв в Зимнем дворце потряс его старческий мозг. Он чувствовал себя окруженным заговорщиками и затравленным невидимыми убийцами. Он считал себя обреченным. Мертвенно стояли и стекленели его выпуклые глаза. Выцветающие густые бакенбарды не могли скрыть зловещей впалости щек. Внезапные припадки удушья прерывали его барственno непринужденный французский говор, а руки, заметно похудевшие и сморшившиеся, слегкаibriровали при жестикуляции, как у слабонервной женщины. Царь дряхлел. Бремя власти становилось для него непосильным.

— Eh bien, cher Михаил Тариэлович, nous avons traversé
ce périlleux девятнадцатое февраля...

Он устало и болезненно улыбался, чуть щурясь и слегка
приподымаая полулогончики тужурки, словно иронизируя над
этой нелепой феерией всенародного ликования, организованно-
го губернаторами и полицеймейстерами.

Диктатор приветливо и почтительно улыбался, не смея раз-
делять иронии своего августейшего собеседника и не считая
возможным лицемерно противоречить его чересчур откровен-
ному тону. Так великий наперсник багдадского калифа слав-
ный визирь Джффар-Барменид ответствовал безмолвной и
лукавой усмешкой на смелые шутки Гарун-аль-Рашида.

— О, эти возгласы черни перед домом моим, сотрясенным
от взрыва!..

Царь болезненно морщился. Вчера на балконе его упорно
сверлила мысль: не раздастся ли снова выстрел на площади,
как в прошлом году? Вспоминалась эта ужасная встреча в
апреле на страстной, у Главного штаба во время утренней
прогулки: прямо на него, стремительно и неумолимо, шел ги-
гантскими шагами высокий, худой, изумительно выпрямлен-
ный человек с узкими раскосыми хищными глазами, с
угрюмым бескровным монгольски-непроницаемым лицом под
малиновым околышем чиновничьей фуражки. Сразу понял —
убийца! Но едва успел отпрянуть, как длинная сухая рука,
сгибаясь шарниром, извлекла из кармана узкий блестящий ре-
вольвер. В смертельном страхе царь обращается вспять и бе-
жит, спотыкаясь и путаясь в длинной шинели, описывая
ломаную линию зигзагов (как полагается по пехотному уставу
при беглом огне противника), а за ним один за другим разда-
ются гулкие, резкие, четкие выстрелы — два, три, пять
раз, — и, озираясь, он видит, как огромный неумолимый, вы-
сокий и тонкий, как жердь, непонятный чиновник с круглой
кокардой на ярком бархате, хмуря свой смертный лик с глаза-
ми малайца, неумолимо несется за ним, поднимая револьвер и
иступленно щелкая на бегу тяжелым затвором... Вот и смерть,
никуда не уйти, этот настигнет. Бах-бах-бах... И все же бежит
юлою, потеряв фуражку, повелитель миллионов, помазанник
Божий, как заяц на травле, спасаясь от гибели неминуемой,
несется своими ревматическими ногами, сгибаясь и кланяясь
почти до земли, в предсмертном ужасе тщательно выполняя
устав полевой тактики и под огнем беспрерывно меняя пло-
щадь прицела. И недаром: подоспели жандармы, свалили злодея... Но от одного воспоминания об этом беге царь начинал
задыхаться.

Между тем Лорис успел развернуть свой портфель.

— Депеши губернаторов извещают, что юбилей вашего ве-
личества прошел на местах с неподдельным восторгом народа.
Из Киева, Варшавы, Саратова...

Царь вяло слушал и устало смотрел неподвижными ледяными зрачками на полномочного повелителя своей страны. Справится ли с крамолой? Ведь революция неуловима и неподатлива — это похоже турок и чумы... Враг невидим и вездесущ, регулярная осада немыслима. Это тебе не Цебельда и не Дербент! Самый храбрый генерал растеряется... А этот кавказский армеец совершенно ведь не знает Петербурга, Третьего отделения, подпольных нигилистов с Васильевского острова.

Он с легким скепсисом посматривал на своего премьера.

Лорис-Меликов был некрасив и тщедушен. Худое меднокожее лицо, словно хранящее следы дагестанских загаров, дряблые впалые щеки (подтачивала чахотка), мочалистые, висящие, чуть встрепанные бакенбарды на военный манер. Парадающие моржовые усы, вогнутая грудь, сухощавая долговязая фигура. Мясистый румянный нос эриванского винодела, гладкие прилизанные виски свитского генерала. Круглые черные блестящие глазки, близко поставленные, чем-то напоминали взгляд ручного кенгуру. И только умное, тонкое, вкрадчиво благосклонное выражение лица обличало в нем восточного краснобая с его мягким лукавством, изящной величавостью жеста и ласковой хитростью слова. Мaska азиатского дипломата с неугасимой улыбкой на устах и бдительной зоркостью в горящем взгляде. А в общем — какой же диктатор! Так, доктор, учитель, земский статистик... Но какой же боевой генерал, за воеватель, властитель, которому подчинены все ведомства, вся полиция страны, шеф жандармов и в сущности сам император!

Они разговорились. Диктатор развивал царю спасительные положения своей программы: ничего не меняя по существу, демонстрировать видимость реформ и, баюкая благонамеренные круги словесными преобразованиями, неумолимо душить крамолу...

— Поверят ли тебе эти развращенные безверьем и пропагандой «верноподданные»?

— Нужно создать вокруг каждого ощущение опасности. Врага склоняют на свою сторону угрозой неминуемой гибели. Чем серьезнее положение, тем необходимее создавать иллюзию своей силы и смертоносности для противника.

Из глубокого кожаного кресла взглянул на царя воитель, повелевающий армиями.

— В последнюю войну положение наше под Карсом было безнадежно. Турки заставили нас отступить от Ардагана и Баязета к нашим границам. Перед нами стал Мухтар-паша, в каждом пункте в полтора раза сильнее русских; за нами расстился Кавказ, волнующийся и тревожный: миллионное население Чечни и Дагестана в полном восстании, симпатии горцев на стороне Турции. Стоило протянуться единоверной руке в интервал русских войск, хотя бы в виде отряда кавалерии, чтоб пожар, раздуваемый религиозным фанатизмом, вспыхнул со страшной силой...

Он говорил отчетливым и чистым языком администратора и военного писателя, изощрившегося в стратегических сводках, приказах и донесениях, но с легким налетом восточных наречий. Некоторые звуки произносились с энергичным и резким придыханием, другие с неожиданным музыкальным смягчением, трети с необычной для русского слуха звонкостью. Сухая стилистика штабной реляции местами как бы вспыхивала звучными географическими терминами Закавказья и образцовый слог корпусного командира и свитского генерала экзотически оживлялся гортанными нотами и особой прянной сгущенностью гласных, произносимых медлительно и чуть нараспев.

Царь слушал внимательно. Традиционный милитаризм романовской фамилии внушал ему неподдельный интерес к воспоминаниям боевого генерала.

— Надо было во что бы то ни стало удержать Мухтара-пашу от наступления. И я стал настойчиво и неустанно тревожить его рекогносцировками, фланговыми атаками, частичными передвижениями и фальшивыми маршами. Я поддерживал в нем ложную уверенность, что не нынче-завтра он подвергнется общему нападению русских сил. Паша колебался, рычал, но не смел рискнуть на смертельный прыжок... Видимостью несуществующей опасности я задержал его, пока не подошли подкрепления — тридцать два свежих батальона! Решительно и уверенно я перешел в наступление. Мухтар был разбит на Аладже, Карс пал.

«Попросту подкупил турецкого коменданта, — вспоминал царь штабные tolki o воинских подвигах Лориса, — и, кажется, сумел вызвать смуту в крепостном гарнизоне... Но одно дело — вражеский фронт, другое — негодяй, идущий на тебя среди бела дня с пистолетом в руке... Сумеет ли этот хитрец предотвратить новый взрыв в Зимнем дворце?..»

Вспоминал с холодом в спине этот недавний вечер: только вошел в фельдмаршальный зал с князем болгарским и гессенским принцем, как все сотряслось: газ потух, стекла вылетели, померкли в золоте своих лепных обрамлений Румянцевы и Паскевичи, ледяной вихрь пронесся дымящейся струей вдоль фресок помпейской галереи, и дворец, разрываемый в темноте гулкой пальбой, заходил ходуном, как от страшнейшего землетрясения... Вот-вот все обрушится на три избранные головы... Шутка ли: шестьдесят пудов динамита, заминированных в самые стены его дома! Дальше некуда! Ведь, может быть, завтра, сегодня, сейчас этот паркет взлетит на воздух, эти своды рухнут, и будет он простерт на смертной койке, как тот ефрейтор финляндского полка, беспомощным безногим инвалидом — с раздробленными ногами и распоротым животом. О, эта ужасная смесь размолотых костей, растерзанного мяса, разорванных артерий и повисших лоскутьями мускулов...

Он не мог освободиться от страшного воспоминания о посещении гвардейского лазарета после взрыва. Высочайший обход

раненых нижних чинов из дворцового караула стоял ему чудо-вящего напряжения нервов. Он еле выдержал свой человеколюбивый подвиг и едва достоял до конца перевязки и операций. Эти выточенные ампутационные и резекционные инструменты хирургов, эти сплошные ожоги на лицах и спинах, исковерканные члены, обнажившиеся черепа, оторванные уши, рваные раны, — о, это было почти невыносимо: ведь сам он лишь волею случая избег такой же участи! Все эти молодые, здоровые человеческие тела, превращенные в кровавое месиво, вырастали в его сознании в неумолимую личную угрозу, в неотвратимый смертный приговор, произнесенный неизвестными инстанциями ему, неограниченному владыке над миллионами... Почти с раздражением вспоминал он слова митрополита Исидора в Исаакиевском соборе: «Царь царствующих ангелам своим заповедал сохранить возлюбленного своего, и ангелы сохранили его...» Уж если жандармы Дрентельна не оберегли, — какие там ангелы...

— Скажи мне, Лорис, как укротить этого невидимого, вседесущего врага, как овладеть этой дьявольской организацией? Как растоптать эту гидру?

Поражавший всегда своей сухостью, несмотря на сентиментальные фразы и удивительную способность проливать по заказу слезы, Александр, состарившись, заметно ожесточился. Он давно уже испещрял доклады своих министров, жандармов и судей короткими требованиями беспощадных осуждений и немилосердных кар, не допуская никаких смягчений и даже пользуясь монаршей прерогативой для повышения наказаний и увеличения числа смертных приговоров. При этом он чрезвычайно интересовался всеми деталями казней, требуя от губернаторов телеграфного описания всех расстрелов и повешений на местах. Слабеющими руками он цепко держался за власть и, предчувствуя приближение конца, нещадно и смертоносно жалил всех заподозренных, маскируя свое ненасытное властолюбие лицемерными заявлениями о своей готовности уйти, отречься, сложить с себя бремя, навсегда удалиться с княжной Долгорукой в солнечный Каир...

— Можно ли, посуди, править империей под угрозой ежеминутной гибели? Ведь это непрестанная засада, травля, охота на красного зверя... *On me traque comme une bête fauve.*

Слезные железы царя, столь легко раздражимые, пришли в полное расстройство. Вдоль густых бакенбард протекли две унылых старческих слезы.

Генерал с умиленным сочувствием взирал на своего расстроенного повелителя.

— Чтоб властвовать, государь, не худо начинать с ласки: народ та же женщина! (И на миг изнеженностю ханских сералей дохнуло от политической программы петербургского министра.) Недаром учили персидские шейхи: одаривай, и станешь владыкой над сильнейшими из мужей и прекраснейшими

из жен. (Он улыбался по-восточному приветливо и величаво.) Но в щедрости будь дальновиден: обеты да превысят даяния!.. Так и в политике, государь. Питая надежды благомыслящих кругов проектами реформ, мы сумеем изолировать революцию. Мы разоружим врага миражем государственных преобразований. Посулами и зароками мы привлечем на свою сторону всех этих малодушных говорунов. Мы удовлетворим их желание, мы увенчаем здание! Незыблемая самодержавная власть в основе, непоколебимая и грозная мощь всероссийского монарха, а по фасаду легкие выющиеся украшения — словно лепные арабески по карнизу медрессе — избирательные комиссии, заженосовещательные комитеты...

Казалось, он медленно ткал ковер подобно своим древним пращурам из горной Армении, вплетая в грубую холстину деловой речи цветистыешелковины своих восточных воспоминаний. В сухую терминологию государственного доклада неощутимо вплетались пестрые волокна яркой словесной пряжи, протягивающей свои нити к радужной ткани индийских песенников и арабских сказочников.

Но вся эта узорная роспись политической программы не смогла утешить воспаленный мозг императора. Царь видел всюду разверзающуюся почву, негодную для стройки. Он старался подавить в себе глухую тревогу перед надвигающейся отовсюду опасностью, пытался убедить себя в возможности исхода, хотел уверовать в доводы своего советника. Но смерть — неумолимая, насилиственная, вездесущая — казалось, заглядывала в окна, пряталась за портьерами, мелькала в огромных дворцовых зеркалах, протягивала свои невидимые руки к его горлу. Неустранимо и зловеще вставали в памяти минированные подкопы под железнодорожными насыпями, гуттаперчевые подушки с черным динамитом, спирали Румкорфа в дорожных сундуках, пироксилиновые шашки и жестянки с гремучим студнем, трубы с ртутью и гальванические батареи — вся эта дьявольская химия и физика конспиративных квартир, недавно обнаруженная полицией вместе с карандашными планами Зимнего дворца и грудой кинжалов и револьверов. А эти пилюли от ревматизма и одышки, присланные по почте из Парижа прямо на имя государя, которые едва не взорвали лейб-медика Боткина, проверявшего это новое целебное снадобье французского «доктора Сен-Жюста»... Адская изобретательность! Как уклониться от этих могучих и вездесущих смертоносных средств? Недавно в одном из подпольных листков он прочел дерзостное постановление о смертном приговоре, вынесенном ему, Александру Второму, каким-то таинственным и недосягаемым исполнительным комитетом воли народной. И после дворцового взрыва становилось неумолимо очевидным, что от намеченного удара ему некуда бежать, нечем обороняться, негде укрыться. Смертельная тоска заливалась грудь почти до тошноты. Нужно было найти исход во что бы то ни стало...

— Скажи, Лорис... На днях спирит Ридигер предлагал мне столоверчением избавить Россию от бунтовщиков. Уверял, что раскроет все их тайны, все шифры, все квартиры, все типографии... Как ты думаешь, а? Ведь спиритизм признан современной наукой...

Диктатор не без участия глядел в уставившиеся на него стеклянные глаза, словно застывшие в орбитах под действием неподвижной идеи.

— Есть, государь, вернейшие средства для раскрытия конспирации. Всех благомыслящих на службу правительству! Каждый домовладелец призывается секретно обслуживать власть под страхом конфискации всего имущества. У меня в Терской области в каждой сакле сидел свой агент. Как для факира, для меня не было тайн. Я знал обо всем до получения полицейских донесений и мог рассказать приставам в три раза больше, чем они успевали сообщить мне...

Царь с интересом вслушивался.

— И этим, ты полагаешь, возможно искоренить крамолу?

— Совокупностью средств. Приведением государственной полиции в гармонию с негласной гражданской охраной и одновременно постоянной игрою мнимых и фактических мероприятий правительства, создающих видимость обновления для вящего упрочения незыблемых основ.

«В сущности старая игра, — думал царь, — испытанная система, доведенная лишь до большей отчетливости и точнее выраженная».

— Никакой открытой и провозглашенной реакции, — словно возражая на его мысль, продолжал верховный начальник, — напротив — легкие посулы представительного начала. Демонстрация доверия обществу. Мы сократим число ссылаемых и усилим надзор и розыски, мы отменим Третье отделение и увеличим до небывалых размеров жандармерию. Мы раскинем невиданную сеть вездесущей разведки. И одновременно нещадным истреблением анархистов мы докажем силу власти и отторгнем от революции колеблющихся...

Диктатор повысил голос, но в это время речь его прервалаась жестоким кашлем. Бронхи его давно были слабы. Кашляя он сухо и резко, длительными и тряскими припадками, усы утирал скромнейшим полотняным платком и по привычке невольно взглядал, опуская в карман: нет ли кровавой прожилки в мокроте? Если была — бледнел. Не был трусом, не боялся турок, чумы, даже террористов, но весь сжимался от ужаса при мысли, что болен чахоткой.

Так два старика, хиреющие, немощные и уже далекие от жизни, пытались удержать в своих хилых руках судьбы империи.

Тяжело вздыхая, царь поднялся.

— Княжна ждет тебя к завтраку, Михаил Тариэлович.

И старики зашагали по лаку паркетов на половину фаворитки.

Дальновидный восточный дипломат сразу взял курс на сближение с фактической царской супругой — Екатериной Долгорукой, новой хозяйкой Зимнего дворца, все еще носившей неуместное звание фрейлины ее величества. Где-то в отдаленных покоях медленно агонизировала всеми забытая, чуждая новым вельможам и политикам, давно оставленная своим мужем старая императрица. Надменная, черствая и замкнутая, она не имела друзей. Бюллетени регулярно оповещали страну о ее кашле, температуре и колебаниях аппетита, но их никто не читал. Царь давно имел здесь же, во дворце, другую семью; новые придворные, не колеблясь, вступали на этот вернейший путь к монаршему благоволению. По извилистой стезе этих дворцовых успехов мягко ступал и новый правитель России. С женщинами он вполне был уверен в успехе своей дипломатии. Недаром всегда любил персидских эротических поэтов с мелодическими именами и чувственными прозвищами, вроде «жертва красавиц» или «утешитель гарема»... Охотно обольщал полковых дам лукавой декламацией:

Нам говорят, что в кущах рая
Мы дивных гурьи обоймем,
Себя блаженно услаждая
Чистейшим медом и вином.
О, если то самим предвечным
В святом раю разрешено,
То можно ль в мире скоротечном
Забыть красавиц и вино?

Женщины всегда легко подчинялись его влиянию, уступали его вкрадчивым манерам, покорялись магнитическому действию его огненных глаз и горячих речей. Эти вернейшие союзницы даже не раз способствовали его быстрому возвышению. И зоркий сердцевед (*«армянский шарлатан»*, по кличке придворных завистников) осторожно тешит заветные думы монарха далеким и неясным видением новой императрицы: «Ведь и основатель династии Михаил Федорович Романов был женат на княжне Долгорукой». И над смертным одром агонизирующей Марии Александровны, давно утратившей все признаки власти и влияния, вздымается в тончайшей словесной игре восточного мага легкий облик юной царицы, страстно любимой дряхлеющим императором. За это одно Александр всем сердцем привязался к своему сладкоречивому визирю.

По внутренней лестнице, соединяющей личные апартаменты его величества с комнатами княжны, они прошли в новую царскую трапезную.

Двух многоопытных старцев в генеральских сюртуках среди цветов, плодов и заморских вин встречала молодая женщина с тонким лицом и бронзовыми волосами.

ЧЕЛОВЕК В КЛЕТЧАТОМ ПЛЕДЕ

Тerror — в порядке дня.

Декрет Конвента 5 сентября 1793 года.

Карета диктатора с дагестанским горцем на козлах отъезжает от Салтыковского подъезда. Два терских казака с пиками у стремени скачут у задних колес. Мимо окон кареты мелькают, уплывая, дворцовая площадь, Морская, Невский. Выпитые бокалы токайского настраивают на созерцательный лад. Мягко укачиваются рессоры экипажа. Проносятся легкой вязью воспоминания.

Сорок лет назад по этим же плитам шагал он беспечным гвардейским подпрапорщиком. Предания о Лермонтове витали в кавалерийской школе и заражали юнкеров поэтическими легендами тридцатых годов. Только что между Машуком и Бештау пал от пистолетной пули этот армейский байронист, завороженный алмазными гранями Эльбруса. Кавказец Лорис бредил его строфами:

Направя синие штыки,
Спешат ширванские полки...

Ему даже казалось, что такие стихи должны пробуждать бодрость в марширующих колоннах, как полковой оркестр или стройный хор песельников. Сам стихов не писал, но подружился с молодым литератором — безвестным и нищим — Некрасовым. Поселились на одной квартире, где-то около Грязной, на тогдашней окраине столицы... Иногда голодали, но в общем было весело: на святки как-то Некрасов убедил его отправиться ряжеными в одну чиновничью семью в Измайловский полк. В костюмерной лавочке молодой альманашник превратился в венецианского дожа, Лорис в испанского гранда; платье остали в залог, уплата наутро. Но розвальни, закуска, выпивка... И вот трагический день рождества: в нетопленной квартире они дрожат и зябнут в своих коротеньких тогах и длинных чулках... Только к вечеру выручил какой-то приятель...

Генерал ухмыляется в сивую мочалу своих бакенбард и усов. Кто мог думать тогда, что один из них станет знаменитейшим русским поэтом, а другой — всемогущим диктатором Российской империи, полномощным властелином великой страны, пред кем склоняется и вежливо отступает в тень сам помазанник Божий?.. Пусть ревнуют вчерашние фавориты,

пусть в бессильной зависти величают его, как этот надменный Валуев, «Мишем Первым», — он сумеет тончайшей стратегией, умелыми диверсиями, искуснейшим маневрированием разрешить опасную задачу и вписать незабываемую страницу в летописи государства Российского. Он покажет себя достойным великого предка своего Мелик-Назара, получившего в шестнадцатом веке от персидского шаха Абаса дарственный фирман на древний город Лори. Далекий потомок наследственных приставов Лорийский степи в составе владений грузинских царей поднялся теперь на головокружительную высоту и стал полноправным вершителем судеб величайшего в мире царства. Биография генерал-адъютанта Лорис-Меликова превзошла все чудесные судьбы арабских сказаний... Недаром подпольные листки говорили о его «воцарении» в России.

Карета несется по большой Морской к углу Почтамтской, к дому Карамзина, где живет диктатор. По обеим сторонам экипажа скачут терские казаки, стеля лошадей по земле, взмахивая нагайками, хищно озирая снежный путь и шумным топотом пугая издалека и разгоняя пешеходов.

Вот и обиталище главного начальника верховной распорядительной комиссии. Карета замедляет свой бег, легкой рысью следуют за ней конвоиры.

— Отложить лошадей!

Генерал это крикнул с подъезда, поднимаясь на вторую ступеньку. Отъезжают казаки. Унтер-офицер, бросившийся на встречу графу, захлопывал дверцу кареты. Городовые у обеих будок вытянулись во фронт. Монументальный кучер тронул слегка лошадей.

В это время раздался гулкий револьверный выстрел.

Все на мгновение застыло — и вдруг обратилось к подъезду, где остановился, резко повернувшись вполоборота, ошеломленный диктатор, от которого быстро отпрянул человек в клетчатом пледе с дымящимся пистолетом в руке.

Еще несколько секунд — и толпа прихлынула к подъезду, и Лорис-Меликов с видом боевого командира молодцевато кричит: «Пуля меня не берет!» — а в десяти шагах, на мостках постройки, у самого угла Почтамтской, унтер и дворник, навалившись, безжалостно минут человека в клетчатом пледе и, вцепившись руками в густые волосы, волокут его мешком по тротуару.

Весть о покушении на главного начальника верховной распорядительной комиссии мгновенно проносится по Петербургу...

И пока в дом Карамзина на углу Большой Морской и Почтамтской спешно съезжается весь придворный и военный Петербург, сам наследник-цесаревич, великие князья, принц Болгарский и герцог Эдинбургский, все министры и посланники всех держав; пока в швейцарской подносы ломятся от не-

померного груза визитных карточек всего сановного мира столицы; пока в белой гостиной диктатор с улыбкой показывает умиленной толпе картечь, извлеченную из ватной подкладки шинели, и рваную прореху вдоль талии мундира рядом с клапаном правого кармана; пока английский посол лорд Деффери медленно и методически произносит свою не совсем удачную поздравительную остроту о том, что это первая пуля, задевшая зад графа, — все прочие он встречал грудью вперед, а никак не задом к противнику; пока лейб-медик Боткин настаивает на желательности тщательной пальпации и выстукивания, а весело возбужденный граф, сравнивая себя с неуязвимым Джамполатом армянского эпоса, уверяет, что он никак не убит, — в кабинете петербургского градоначальника идет спешный допрос человека в клетчатом пледе с бледным лицом и густыми волосами.

Он не скрывает своего имени: Ипполит Млодецкий, двадцати четырех лет, слуцкий мещанин.

Следователь по особо важным делам только к вечеру закончил следствие. От показаний арестованного повеяло на него странным миром и удивительной биографией. Из нищеты и сумрака литовского гетто — неодолимое влечение к просторам столичных аудиторий; из ешиботов и синагог неожиданное обращение к святодуховскому братству; над Талмудом и Библией упорные помыслы о технологическом институте; сближение с революционерами, как великое освобождение, и найденный, наконец, выход в большую всечеловеческую работу, ведущую к славе и подвигу. И вот стремительный и спешный бросок в эту великую будущность — револьвер, взятый в минском полицеистском участке, торопливо и неудачно разряженный во всероссийского диктатора.

— Не я, так другой, не другой, так третий, но Лорис-Меликов, назначенный на борьбу с революцией, будет убит.

Немедленно же по окончании следствия Ипполит Млодецкий был водворен в каземат Петропавловской крепости. Ровно в десять часов молодой и блестящий прокурор Петербургской судебной палаты Вячеслав Константинович фон Плеве, только что начавший большую государственную карьеру своим дознанием о взрыве в Зимнем дворце, утвердил обвинительный акт и препроводил его к главному начальнику верховной комиссии.

От центрального персонажа события, от самого «объекта покушения» зависело теперь дальнейшее направление всего производства.

Петербург, 21 февраля. Сего дня в 11 часов утра в здании военноокружного суда начинается полевой суд над преступником Ипполитом Млодецким, покусившимся вчера в два часа дня на жизнь графа Лорис-Меликова.

Полевые суды в эпоху последних Романовых преследовали единственную цель — придать произволу власти видимость законности, облечь в декорум правосудия укоренившийся правительственный обычай кровавой мести. Не только о каком-либо беспристрастии или справедливости не могло быть и речи, но и самый разбор обстоятельств дела здесь превращался в сплошную театральщину. Суд как бы являлся личным секретарем царя, придававшим окончательную форму предписанному свыше приговору. Общий приказ верховной власти о казни террористов получал здесь только юридическое выражение для данного случая: на основании такой-то статьи такого-то кодекса казнить таким-то способом тогда-то. Вне этих тесных границ никакие варианты не допускались. Обычная судебная борьба или состязание сторон не имели здесь никакого значения: все было незыблемо предопределено, и никакие новые обстоятельства судебного следствия не могли поколебать предустановленного смертного приговора. Молниеносная быстрота процесса устраивала всякую возможность смягчения участия подсудимых. Закрытые двери избавляли от малейшей ответственности перед обществом и печатью. Приговор вступал в законную силу немедленно же по объявлении и приводился в исполнение в двадцать четыре часа. Никакие апелляции или кассации не допускались. Единственное, что еще оставалось иногда подсудимому, это попытка обратить официальное издательство над собой в свою последнюю антиправительственную демонстрацию. Но ни о какой защите или спасении не могло быть и речи. Разбор дела неразрывно сливался с обрядом казни и как бы открывал ее.

Таков был и суд над Ипполитом Млодецким, открывший свои действия в Петербурге 21 февраля 1880 года в одиннадцать часов утра.

— Признаете ли себя виновным в покушении на жизнь главного начальника верховной распорядительной комиссии генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова?

Млодецкий в арестантском халате, окруженный конвойными, невозмутимо смотрит перед собой, не разжимая губ.

— Подсудимый, извольте встать и отвечать с должным почтением суду.

Арестованный не изменяет позы. Председатель нервно повышает голос.

— Господин поручик! Распорядитесь о выводе подсудимого из зала заседания. Суд будет продолжаться в его отсутствии.

Дежурный офицер отдает распоряжение. Конвойные смыкаются вокруг арестанта. Место за перилами пустеет.

— Унтер-офицер полицейской службы Чегрухин, изложите суду, как произошло покушение.

Гигантский городовой свидетельствует, что в момент выстрела он стоял рядом с будкой, отдавая честь, и смотрел

прямо в лицо его превосходительству, а потому не видел преступника.

Таковы же показания других очевидцев. Кучер, тронув лошадей, поворачивал выезд и когда обернулся на раздавшийся выстрел, то из-за угла кареты увидел только графа, воскликнувшего: «Пуля меня не берет!» Конвойный казак, отъехавший от экипажа, в виду благополучного прибытия генерала, уже взошедшего на парадный подъезд, подскакал лишь тогда, когда преступника втаскивали в швейцарскую.

Допрос трех свидетелей продолжался ровно семь минут.

— Господин прокурор! Считаете ли вы необходимым продолжать допрос свидетелей?.. Господин защитник?..

Стороны вполне удовлетворены полученными сведениями.

— Ввиду совершенного разъяснения обстоятельств дела суд полагает допроса остальных шести свидетелей не производить.

Состав присутствия переходит к осмотру вещественных доказательств. Члены суда, председатель, обвинитель и назначенный защитник служащий военного ведомства тщательно ищут разгадку судебной тайны в револьвере системы Бульдог центрального боя и в графском мундире с рваным отверстием у клапана правого кармана.

Изучив улики, суд занимает места. Стороны обмениваются краткими речами одинакового смысла. Чувствуется, что все торопятся закончить поскорее эту комедию трибунала.

— Перед уходом суда на совещание слово для последних объяснений будет предоставлено обвиняемому. Господин поручик, распорядитесь о приводе подсудимого.

Дежурный офицер возвращается с несколько растряяным докладом: подсудимый не идет в залу.

— Примените силу.

Место за перилами снова занято конвойными и арестантами.

Председатель громко и отчетливо прочитывает:

— «Петербургский военно-окружной суд в заседании своем от 21 февраля 1880 года определил слуцкого мещанина Ипполита Осипова Млодецкого, покусившегося в среду 20 февраля на жизнь главного начальника верховой распорядительной комиссии графа Лорис-Меликова, подвергнуть смертной казни через повешение».

Правительственная месть облечена в установленную предварительную форму судебного приговора.

— Ни о каком смягчении не может быть и речи, Михаил Тариэлович (и выпуклые глаза стекленели от ненависти). Власть должна показать себя во всей грозе своего величия. (Он старался походить в такие минуты на своего статного и грозного отца.) Необходимо ошеломляющее ответить всем этим подпольным извергам не только на их вчерашний выстрел, но и

на взрыв пятого февраля. Публичный обряд казни будет произведен в самом центре столицы. (Хрипловатый голос астматика возвышался почти до крика.) Данной тебе властью ты утвердишь как начальник верховной комиссии приговор суда. Я б охотно повысил кару на несколько степеней: чем страшнее мука казнимого, тем вернее обращение оставшихся на путь истины. (Голос падал, влажная поволока застилала выпуклые линзы под царскими веками.) Покойный Жуковский говорил, что в смертной казни — великое таинство очищения и спасения заблудшей души. (Слеза пала на белую эмаль нашенного крестика.) Никаких колебаний! Приговор привести в исполнение в двадцать четыре часа.

И крестясь плавным жестом перед огромным образом бого матери всех скорбящих, царь коснулся воздушным трехперстем своих наплечных вензелей.

— Завтра к этому времени виселица должна быть разобрана, и Семеновский плац примет свой обычный вид. С нами Бог! Да свершится Его святая воля...

ЗАВТРА ВИСЕЛИЦА

Он вспомнил горе и страдание, какое довелось ему видеть в жизни, настоящее житейское горе, перед которым все его мучения в одиночку ничего не значили, и понял, что ему нужно идти туда, в это горе...

Гаршин. «Ночь».

К вечеру весь Петербург уже знал о приговоре полевого суда.

«Завтра убьют человека, — эта мысль сверлила воспаленный мозг Всеволода Гаршина, — через пятнадцать часов молодая отважная жизнь оборвется...» Он вспоминал, что лишь несколько месяцев прошло с казни Соловьева, стрелявшего в царя на дворцовой площади, у главного штаба. — «Неужели же снова прольется кровь?...»

Он лихорадочно кружил по тесной меблированной комнате, задевая мебель и мольберты художника Малышева, своего сожителя. Тот давно уже спал, изредка лишь сквозь сон ворча на беспокойного друга. Ночь росла, сокращая краткий обрывок осужденной человеческой жизни, неумолимо приближая казнь. Вот пробило полночь, замер огромный дом, затихло движение по Большой Садовой. Только немолчно, упорно, неутомимо, мучительно-однотонно выпевают в торопливом ритме секунд две свои вечные нотки карманные часы на письменном столе. Легкий, еле слышный, едва различимый слухом вечный припев времени... О чем он твердит так неумолимо и упрямо? Вслушаться только в это легкое дребезжание и звенящее постукивание тонкого механизма, и кажется — тайна упорной мелодии раскрыта: «каз-нить, каз-нить, каз-нить»... Вот он ежесекундный приговор неуклонно текущего времени. Ни пощады, ни помилования, ни отсрочки... каз-нить, каз-нить...

Сколько — десять, восемь часов осталось до публичного удушения человека? Неужели же никто не посмеет вступиться за него?

Гаршин решается. Он садится к столу и быстро пишет короткое умоляющее письмо диктатору.

Он сам передаст его по назначению.

Черные улицы зимней столицы. Пустынно и холодно. Далеко до рассвета и тихо, как в склепе. Город вымер, и только

не спит где-то там в каземате доживающий свою последнюю ночь...

Прихрамывая и сутулясь, бредет одинокая тень вдоль газовых рожков Вознесенского проспекта по талому снегу и пле-щущим лужам. Тонут в мглистых завесах беспросветные громадыочных зданий.

Гаршин по-своему любит Петербург с его огромными зеркальными стеклами, отражающими метель и мрак, с завывающим бури над снежной равниной Невы и заунывным перезвоном курантов. Он знал петербургские древности (собирался писать роман о Петре). Ему мерещились подчас согнанные в грязь и ветры финского побережья бесчисленные работные и мастеровые люди, положившие многотысячной толпой свои кости в основу императорской резиденции. Он знал и другой Петербург — с оградами и львами, с оперенными шляпами и черными плащами, с гигантской аркой Росси и Фальконетовым конем, от которого в ужасе бежал по бесконечным проспектам безумный Евгений, грозивший медному истукану. Это был братский образ, близкий ему через полстолетие. Но больше всего он любил этот сегодняшний, самый подлинный, — его, гаршинский, Петербург с курсистками в маленьких меховых шапочках и студентами в клетчатых пледах, с военными в кепи и проститутками в длинных дипломатах, с художниками в крылатках и лохматыми террористами, — весь этот слагающийся на его глазах текучий, изменчивый, неуловимый город протекающего мглистого и неверного часа Российской империи.

Кутаясь и сжимаясь, до ужаса чувствуя свою затерянность и незащищенность в просторах огромной каменной пустыни, он быстро пересекает площадь. И словно в согласии с его любимым стихом испуганно боятся перед ним «газовых рожков блестящие сердца» и отчаянно мечутся под ударами ветра, сотрясающего стеклянные колпаки площадных канделябров.

Вокруг раскидываются чудовищные нагромождения зданий, где невидимо длится ночная лихорадочная жизнь административного центра государства. Экстременно переписываются срочные отношения, выются на клубном сукне многозначные цифры предутренних кушей, в резервах полицейских участков полусидя погружаются в дремоту скваченные на ночь беспаспортные, истерически всхлипывают на дальних островах утомленные скрипкиочных оркестров, и где-то в глухом ущелье далекого переулка дописывает сквозь астму и кашель страницу своего «Дневника» впалогрудый и бледный писатель.

С обычным больным напряжением и скрытым надрывом неслышно течет петербургская ночь накануне казни.

Вот и Почтамтская, вот и дом Карамзина. Опросы часовых, суровые отказы, подозрительные взгляды. Наконец согласие допустить к дежурному офицеру.

В просторной комнате, напоминающей штабную канцелярию, его принимает статный белокурый военный с густыми и длинными бакенбардами, почти сливающимися в окладистую бороду. Новое гвардейское поколение уже не подражало во внешности старому царю и старалось во всем походить на наследника-цесаревича.

Дежурный адъютант деловито и отрывочно, но, впрочем, внимательно и любезно, отвечает вошедшему:

— Ни о ком не могу в этот час доложить его сиятельству.

— Но мне совершенно необходимо лично вручить это письмо...

— Граф принимает по вторникам и пятницам, от двух до трех. В это время к нему может явиться всякий нуждающийся в нем.

— Но я сам офицер, раненный в последнюю войну. Я делил с генералом тяжесть последней кампании... Вы не верите? Я был ранен, хотите, покажу мой рубец...

— Не трудитесь. Но как бывший военный, подчинитесь приказу, полученному мною от моего начальника. В настоящий час невозможен прием незнакомого графу лица.

— Но, может быть, граф меня знает...

— Вы служили под верховным командованием его сиятельства?

— Нет, не пришлось. Но я — писатель... Гаршин...

Адъютант всмотрелся в бледное лицо и огромные глаза просителя. Что-то вспомнилось ему — разговоры молодежи, фотографии, афиши.

— Гаршин?

— Да, Всеволод Гаршин, прошу вас доложите. Это совершенно неотложно...

Офицер что-то сообразил и видимо догадался, в чем дело.

— Должен предварить вас, милостивый государь, — с удвоенной любезностью обратился он к просителю, — что доступ к начальнику верховной комиссии возможен в настоящую минуту лишь после предварительного осмотра одежды, белья и всего вообще посетителя.

— Обыскивать?.. Меня?..

Предстоящий унизительный обряд ужаснул его. Но испытуемое пронизывал его взглядом белокурый гвардеец, ожидая ответа. «Еще, пожалуй, решит, что я вооружен и потому уклоняюсь от обыска...»

Через несколько минут в тесной соседней горнице два унтер-офицера под надзором самого адъютанта и жандармского ротмистра тщательно осматривали платье, белье и обувь Гаршина, пока, полуоголый и босой, сжимаясь от холода, сидел он, стыдясь и дрожа, на швейцарской скамейке, слабонервный и хворый литератор, беззащитный и беспомощный перед четырьмя силачами в сапогах, мундирах и с оружием у бедер.

— Осмотреть подмышками... в подколенных сгибах... — деловито распоряжался ротмистр, — под нижней губою...

И шершавые закорузлые пальцы хладнокровно бегали по женски чувствительной коже писателя, шарили в карманах его шубы, выворачивали носки и энергично потряхивали потертой жилеткой.

Наконец надругательство кончилось.

— Будьте любезны подождать в канцелярии, — учтиво обратился военный к обысканному, — я доложу о вас графу.

Он поднялся наверх.

Несмотря на поздний час, Лорис-Меликов не спал. В туфлях и бархатных сапогах, в мягкой шитой бисером сорочке, в крохотной плисовой шапочке он сидел над бумагами: сквозь очки просматривал протокол военно-полевого суда, доклад командующего войсками о порядке завтрашней казни, рапорт коменданта Петропавловской крепости о сделанных приготовлениях к доставке преступника на место экзекуции.

Читая бумаги, он по своей стариинной кавказской привычке медленно перебирал крупные янтарные четки на крепкой и пестрой шелковинке.

— Писатель Всеволод Гаршин просит приема у вашего сиятельства...

— Писатель? Гаршин...

Дальновидный стратег сразу сообразил ситуацию. С писателями он чрезвычайно считался. Недаром был в юности другом Некрасова, знал наизусть Лермонтова, с восхищением приводил в разговоре комические афоризмы Салтыкова. Сам себя считал военным автором и отчасти историком. Опубликовал родословную кавказских правителей, записал под диктовку самого Хаджи-Мурата его необычайную биографию. Имя Гаршина помнил: лишь за три года до того в штабных кругах зачитывались военными рассказами этого волонтера дунайской армии. К тому же Лорис мечтал о тесной связи с печатью, о завоевании журнальных кругов.

— Вы вполне уверены, что это действительно Всеволод Гаршин?

— Ошибка невозможна, ваше сиятельство. Характернейшее лицо — глаза, борода... Личность не внушает ни тени подозрений... К тому же обыск не обнаружил никакого злоумышления.

— В таком случае приведите его сюда.

Лорис-Меликов накрыл документы о казни листом «Правительственного вестника», застегнул тужурку и снял очки. Он по обыкновению обдумывал тон предстоящей беседы: благожелательность, человечность, но одновременно стойкость и служение закону. Зашуршала портьера из темного сирийского шелка. Да, сомневаться нельзя было: перед ним стоял человек, смотревший смерти в глаза и пришедший молить об отмене

смерти. Это было лицо обреченного на гибель. Ужас ширил зрачки огромных лучистых глаз, и мольба о пощаде напрягала все черты, разлилась по лбу, по щекам, по губам, беспомощно полураскрытым. И вот воплем вырвалось из груди:

— Ваше сиятельство, простите преступника, стрелявшего в вас! Пощадите человеческую жизнь...

— Но вы ведь знаете, что не мне было дано судить его. Приговор военно-полевого суда произнесен.

— Вы сила, ваше сиятельство, а сила не должна вступать в союзе насилием, действовать с ним одним оружием...

— Мы действуем именем закона и во имя спасения государства. Писатель Гаршин должен понять меня: необходимо вырвать с корнем гибельные идеи, угрожающие бытию и цельности нашей великой родины.

— Вырвать с корнем?.. Да, вырвать с корнем мировое зло... Но не виселицами и не каторгами изменяются идеи.

— Чем же вы остановите убийц? — с невозмутимым спокойствием спросил генерал, медленно перебирая свои янтарные четки.

— Только примерами нравственного самоотречения. Простите человека, убивавшего вас, и вы обезоружите людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против вашей груди.

Старый генерал чуть-чуть усмехнулся не без горечи и скепсиса.

— Власть должна быть силою, друг мой, чтоб отечество продолжало существовать...

— Но не труп повешенного спасет Россию, ведь вы это понимаете, вы, человек власти и чести. Я умоляю вас, простите покусившегося на вас, умоляю ради преступника, ради вас, ради родины и всего мира...

— К сожалению, это не в моих силах. Только государю дано право помилования присужденных к смерти.

Он произнес это кратко и сухо, срезал по-военному фразу и решительно смолк. Неумолимая пауза подчеркивала категоричность и бесповоротность заявленного. Тишина стыла в огромном кабинете. Только бронзовые часы на камине короткими, четкими, ритмическими ударами выпевали в два такта немолчный припев неутомимого скорохода-времени: казнить, каз-нить, каз-нить...

Генерал бесстрастно и прямо смотрел перед собой. Над ним, на узорном персидской ковре поблескивали ятаганы и сабли, изогнутые мавританские шпаги и остроконечные щиты, нагрудные диски янычар с золотой инкрустацией надписей и граненые конусы турецких шлемов с висячими кольчугами. Под литыми ножнами и филигравными рукоятками, на рытом баркатистом ворсе, пылала восьмиугольная роза извилистого растительного орнамента, завивавшего свой

длинный стебель в арабески непонятного изречения. Цветок, казалось, выступал зияющей раной из пестрой шерсти мусульманских ткачей и под обнаженными лезвиями восточных доспехов словно сочился кровью над самой головой всероссийского повелителя.

Недвижный и неумолимый, он молча смотрел в глаза посетителю. Тот, казалось, только что понял нечто, прозрел в какую-то тайну. Лицо его озарилось догадкой. Он медленно, неслышно как-то привстал, бесшумно шагнул к столу, наклонился над гигантским бюро, задевая крылатых львов канделябра, и шепотом произнес, почти вплотную приблизившись к лицу генерала:

— А что вы скажете, граф, если я брошуся на вас и оцарапаю: у меня под каждым ногтем маленький пузырек смертельного яда, малейший укол — и вы мертвы...

Лорис открыто и широко улыбнулся (как был наивен этот восторженный юноша со своими угрозами!). Правитель России решил произнести в назидание историческую фразу:

— Гаршин, вы были солдатом, а я и теперь, по воле монарха, часовой на посту, как же вам пришло в голову пугать меня смертью? Сколько раз мы смотрели ей с вами в глаза!

Налет восточного акцента придал особую выразительность этой героической фразе.

Писатель медленно поднялся и отошел от стола. Он был тронут бесстрашным ответом старика, взволнован мелькнувшим воспоминанием войны и крови, оживившим нависшую угрозу смерти и вызвавшим в сознании простертые в небо изломанные руки виселиц. Он закрыл лицо, опустился в кресло и, не в силах сдерживаться далее, разрыдался.

Генерал сделал вид, что взволновался горем своего собеседника. Он весь наклонился вперед, заговорил тоном врача, стал успокаивать общими фразами:

— Ну полноте, полноте... Ведь этак вы расхвораетесь... Поберегите себя...

Но гость неудержимо вздрагивал от подступавших рыданий. Спазмы мешали ему говорить. Он мог лишь прерывающейся фразой повторять сквозь душившие всхлипывания, как плачущая женщина:

— Пощадите... Млодецкого...

Необходимо было решительным тоном прервать тяжелую сцену, вызвать нужным словом крутой перелом в собеседнике, с достоинством закончить томительный разговор.

И вот он встал, ласковый и мудрый, приветливый и лукавый, сладкоречивый и лживый азиатский дипломат.

— Обещаю вам сделать все, что в моих силах. Сам не имею права миловать, но буду просить государя об отмене казни.

Гаршин поднял лицо, омоченное слезами, но сияющее:

— О, царь исполнит вашу просьбу, я в этом уверен. Он поймет, он простит — довольно крови, довольно разбитых молодых жизней... О, вы единственный слуга правды в России! Вы спасете человеческую жизнь...

Диктатор дружески жал ему руку:

— Верьте, я хочу пройти сквозь эпоху политических кризисов, не забывая о гуманности...

И он открыто смотрел ему прямо в глаза своим умным и обещающим взглядом. Восьмиугольная роза персидского ковра светилась над ним пылающим сердцем.

Гаршин с блаженной улыбкой утешенного ребенка проходил по передней карамзинского особняка под вежливым и почтительным эскортом густобородого адъютанта.

А в это время на Семеновском плацу, как раз насупротив Николаевской улицы, при мигающем и беглом свете факелов, под окрики полицейских офицеров плотники из арестантов спешными ударами топоров воздвигали эшафот и сбивали в неумолимо четкую фигуру тонкие высокие черные столбы с поперечной перекладиной.

В это же время на станции Вишера, Николаевской железной дороги, официанты торопливо и тщательно приготавливали заказанный депешею из канцелярии московского генерал-губернатора обильный и горячий мясной завтрак с водками и коньяком для неизвестных и весьма важных пассажиров, следовавших курьерским поездом из Москвы. Это знаменитый палач Фролов, который за год перед тем с успехом выполнил приговор над стрелявшим в царя Соловьевым, экстренно доставлялся теперь жандармскими ротмистрами в Петербург для предстоящей новой работы.

ДОПРОС В РАВЕЛИНЕ

Вячеслав фон Плеве был казнен за то, что он двадцать лет тому назад заточил в каменные кельи Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей наших братьев по Народной Воле...

Летучий листок революционной России 1904 г., № 4

В тот момент, когда Всеиволод Гаршин выходил из карамзинского особняка на Большой Морской, в ворота Петропавловской крепости въезжала щегольская карета с зажженными фонарями.

Прибывший в ней молодой, но весьма важный чиновник судебного ведомства проходит с комендантом в Алексеевский равелин, в каземат, где доживает последние часы Ипполит Млодецкий.

Это прокурор судебной палаты Вячеслав Константинович фон Плеве, блестяще выполнивший дознание о взрыве в Зимнем дворце и очаровавший своим точным, исчерпывающим и неумолимым докладом запуганного императора.

Это — восходящее светило петербургской администрации. У него репутация холодного ума, железного характера, ледяного самообладания. Его прочат в директоры департамента полиции (барон Велио явно устарел и не соответствует новым требованиям крамольной эпохи).

Молодому прокурору палаты снова поручено задание высшей ответственности и первостепенной государственной важности: последний допрос террориста перед казнью.

Млодецкий не ждал этого посещения. Не зная точно, когда совершится казнь, он предполагал некоторое время после приговора провести спокойно, в полном уединении, без новых общений с обвинителями и судьями. Перед уходом из жизни он испытывал легкую отраду в воспоминаниях об иных своих жизненных встречах. Их было немного, и потому они казались особенно цennыми. Два-три лица, несколько бесед, возникавших со всей своей живостью из прошлого, отвлекали его от неотступно присутствующей мысли о предстоящем конце. Он не боялся смерти, но последние мысли свои хотел отдать жизни — этой короткой и бедной своей жизни, безрадостной, пустынной и все же неотразимо милой. Юношей в каком-то могилевском захолустьи он жил учителем в одной бедной еврейской семье. Патриархальный отец семейства всегда нуждался, сам побирался

уроками, но писал стихи, зачитывался Гейне и Берне, увлекался воспоминаниями и надеждами, рассказывал о Палестине и Париже, даже передавал подробности о своем посещении Виктора Гюго. Так странно было представить себе поэта с мировым именем рядом с этим захолустным меламедом... В семье было много детей — и вот запомнилась навсегда девочка-подросток с большими печальными глазами и неожиданным балладным именем Генриетты... Она так внимательно и благодарно слушала его беспорядочные уроки, так благоговела перед его поверхностной ученоностью! Уезжая, он думал: еще три-четыре года — и у него будет верная спутница жизни... О, великое счастье не быть одиноким в труде и борьбе! Ведь это путь к подвигам, к страстной, великой, героической жизни...

Он очнулся от визга тяжелого замка. Перед ним в сопровождении коменданта, жандармов и солдат стоял молодой и хмурый судейский с короткими черными усиками над сочными губами. Лицо его было бесстрастно-правильно, но в своей ледяной безупречности оно казалось самоуверенным до дерзости.

Он присел к столику, не снимая перчаток и фуражки. При тусклом свете чадящей лампочки необычайной и странной казалась эта лощеная и щеголеватая фигура под низкими, закопченными сводами каземата.

Спутники удалились. Снаружи у полуоткрытой двери стал часовой.

— Я буду краток, — деловито и сухо произнес судейский. — В качестве служителя закона я сосредоточу свое сообщение на правовой стороне вашего случая.

Он опустил на столик большой сафьяновый портфель с монограммой под дворянской короной.

— Пока государство еще не отняло у вас материального блага жизни, это высшее достояние может быть предметом разнообразных юридических соображений и действий. Об этом я и намерен условиться с вами.

— Никаких условий не приму и ни на какие сделки не пойду.

(После первого допроса, сейчас же после покушения, Млодецкий твердо решил не вступать ни в какие разговоры с властями. Этим определилась его позиция на суде.)

— В качестве революционера и, стало быть, политического деятеля вы не можете пренебрегать беседой с противником, особенно в такой критический для вас момент. Сообщество, именующее себя русской социально-революционной партией, стало за последнее время силой, с которой правительство по-своему считается. Вероятно, между вами уже распределены портфели, и, может быть, в вашем лице явижу кандидата в министры народного просвещения или путей сообщения или, может быть, общественных работ? (Все это говорилось без малейшей усмешки, неумолимо серьезным тоном.) Во всяком

случае вы не можете предвидеть последствий и выгод от разговора со мной как для вас лично, так и для вашего дела, для вашей партии, для ваших соучастников и соумышленников...

— Никаких соучастников у меня не было и нет. В жизни и в борьбе я был всегда одинок.

— Этика терроризма требует от вас такого ответа. Но если я скажу вам, что нам известно ваше поведение перед пятым февраля, когда вы бродили вокруг Зимнего дворца, заглядывая накануне взрыва в окна подвального помещения? А если вы сообразите к тому же, что вся обстановка взрыва указывает на существование целой группы заговорщиков, вы поймете наш интерес к тому, что вы могли бы сообщить нам...

— Вы даром тратите слова. Вы ничего от меня не услышите.

— Я не собираюсь вас уговаривать. Но мой долг служителя закона сообщить вам, что государь император обладает высокой прерогативой отменять смертную казнь даже в самую последнюю минуту, когда приговор уже публично прочитан осужденному. Я уполномочен передать вам, что в случае получения от вас достоверного и полного сообщения о лицах, пронесших динамит в царские покой и произведших взрыв в Зимнем дворце, вам будет дарована жизнь. Сообщаю вам это именем государя, — вы не можете не верить такому заявлению, которое я, впрочем, готов повторить в присутствии избранного вами свидетеля.

— Все это николько не интересует меня.

— Вы словно забываете, что политика — прежде всего расчет. Для члена партии, претендующей на смену власти в стомиллионной империи, было бы непростительным ребячеством пренебречь малейшей выгодой своего дела из-за сентиментальной фразы или мелодраматического жеста. Едва ли мы проведем друг друга подобной театральщиной! Но есть факты, о которых нам еще стоит потолковать. Взвесить их крупнейшее практическое значение и произвести обмен взаимными выгодами, хотя бы и ценою некоторых так называемых компромиссов, нам не только надлежит, но вменяется в прямую обязанность высшими интересами представляемых нами сторон. Вы нужны революции так же, как сведения, которые я жду от вас, нужны российской государственности. Ежели в вашем лице я вижу вполне зрелого политика, вы не станете возражать против целесообразности предлагаемой вам сделки. Она категорически диктуется текущим моментом как рациональнейшая мера, от которой участник борьбы, правильно понимающий ее внутренние законы и неизбежную очередность ходов, не имеет права уклоняться. Не стану говорить о личном значении ее для вас. Напомню только, что вам всего двадцать пять лет и перед вами вся ваша будущность. Не ошиблись ли вы двадцатого февраля, самоотверженно бросая себя на растерзание и погибель? Не долг ли ваш исправить эту страшную ошибку, пока еще не поздно?

Сообразите только, как это просто: несколько имен, написанных на этом листке, — и вы не будете корчиться в петле на площади перед тысячной толпой с разломанными горловыми хрящами и вывихнутым позвоночником...

— Да здравствует народная воля! — гулко пронеслось под сводами. — Вы и ваш император погибнете худшей смертью!

Прокурор палаты чуть изменил свою неподвижную позу, но тут же с полным хладнокровием уронил ядовитую реплику:

— Однако три дня назад, стреляя в начальника верховной комиссии, вы дали промах.

— Выстрел был верен. Лориса спас его панцирь под мундиром. Но смертный приговор партии неустраним. Все правительство царя будет истреблено вместе с ним! Вы все осуждены на гибель!..

— Вы прекрасно знаете, что верховная власть равнодушна к запугиванию со стороны революционеров, — произнес прокурор после некоторой паузы. — Слуги русского монарха стоят выше личного страха. Но вы упускаете из виду, что ваша деятельность чрезмерно опасна для вашего же дела, ибо она может вызвать в русском народе такое озлобление, пред ужасом которого побледнеет и сам революционный террор. Ведь вы по национальности евреи. Никакое крещение не вытравит из вас вашей крови. Не играйте же с огнем! Не доводите русский народ до отчаяния, не вызывайте его неудержимых стихийных сил на антитerrorистическую борьбу. Знаете ли вы, что останется от ваших затхлых местечек, от всех этих безуездных городишек и нищих кварталов, если гнев народа пройдет по ним карающим разгромом? Кровь и пух! Вы трупов своих не досчитаетесь. И вам как политику и революционеру я заявляю, что правительство применит эту меру и ответит на ваши выстрелы и подкопы массовыми избиениями вашей нации. Это входит ныне в программу власти, как слепой террор вошел в боевую программу вашего исполнительного комитета. Избиение евреев — испытанное средство для усиления государственной мощи и поражения смутьянов. Вы, конечно, верите, что я не просто угрожаю вам, а сообщаю вполне достоверные факты.

Он раскрыл свой портфель.

— В подтверждение моих слов могу сослаться на документы.

На столик легла довольно объемистая папка. При тусклом свете тюремной коптилки можно было различить каллиграфическую надпись писарской рукой:

Докладная записка прокурора палаты В. К. фон Плеве о борьбе с террористами путем насильтенного сокращения еврейского населения на юге империи.

— Доклад этот удостоился одобрения его величества и вызвал особый интерес наследника-цесаревича. Верховным правительством уже принято важнейшее решение. Оно не может не интересовать вас.

И, чуть полистав свою рукопись, он стал излагать основную идею своего проекта.

Нечто странное происходило с прокурором палаты. Натянутые ли нервы следователя начали сдавать на исходе бессонной ночи, угроза ли Млодецкого задела напряженное самолюбие азартного игрока, почувствовавшего приближение проигрыша, увлекла ли идея задуманной мести, или, может быть, опытный сыщик решил прибегнуть к последнему средству эмоционального воздействия на упорствующего слушателя, но только Плеве незаметно сменил ледяной тон допроса на затаенное воодушевление обвинителя и заговорщика. Бесстрастность доводов и замороженность слова уступили место некоторой взволнованности речи и даже сдержанной патетике выводов. Казенную анкету чиновника сменило образное красноречие реформатора, увлеченного размахом и перспективами своего государственного замысла.

Он даже чуть наклонился через стол к Млодецкому, как бы для более интимного сообщения.

— Без всяких указов и циркуляров мы создадим в мелкой и густой массе городских низов, всех этих приказчиков, трактирщиков, кучеров, лакеев, денщиков и дворников, неуловимое и непоколебимое убеждение, что имущество и личность еврея не пользуются охраной закона. Ничего не приказывая и официально не одобряя, мы внушим громилам уверенность, что погромы разрешены правительством и угодны царю. Мы возродим кровавые легенды и пустим возмутительные слухи. Наши губернаторы и полицеймейстеры будут молчаливо и бездейственно наблюдать за событиями, правительственные органы станут поощрять их невмешательство, знаменитые иерархи в посланиях к народу оправдают его месть и заострят его ненависть к жидаству. Мы пройдем по крупнейшим городам и разольем движение по целым губерниям. На ваши выстрелы в царя и его помощников мы ответим вам, господа социалисты из гетто, такою казнью, о которой тысячелетия ваши летописцы и виршеплеты будут проливать потоки слез, проклятий и жалоб. На единичные случаи вашего террора мы ответим вам неслыханным истреблением вашей расы. Мы покажем мощь самодержавной власти в ее верховном гневе и священной мстительности. Кровью еврейских женщин и детей мы впишем такую потрясающую страницу в историю Израиля, пред которой побледнеют все библейские lamentации о гонениях и терзаниях избранного племени.

На бледном выточенном лице Плеве угольками тлели большие чуть выпуклые глаза под лакированным козырьком судейской фуражки с литой аллегорией закона на зеленом бархате. И алчно раскрывались и шевелились под черными усиками его сочные губы, отчетливо и звучно произносившие свои отвратительные угрозы.

Плеве заканчивал ответственнейший допрос на трудном следственном приеме застрашивания и моральной пытки. Он обычно

делил следователей на четыре категории: формалистов, сыщиков, инквизиторов и художников. Но следователь высшего типа должен был, по его мнению, сочетать в своем лице всю классификацию и в течение допроса маневрировать всеми методами. Этой системой считал он возможным выследить все — вплоть до биения сердца. Начав, согласно теории, с холодного допроса и казенного розыска, он заканчивал жестокими угрозами, облеченные в эмоциональную форму отталкивающего прорицания.

— Этим молчанием вы обрекаете, может быть, тысячи ваших единоверцев на мучительную смерть. По Российской империи еще пройдут такие побоища вашей вечно возбужденной, беспокойной и назойливой нации, пред которыми побледнеют запомнившиеся человечеству весьма рациональные правительственные меры Ирода и Торквемады. Я заявляю вам это как государственный деятель, взвешивающий каждое слово: если вы не разоружитесь, мы сотрем вас с лица земли.

Млодецкий с отвращением смотрел в лицо своего следователя, гневно сжав губы. Пока тот говорил, он, слушая, невольно видел перед собой столы знакомые ему с детства захолустные местечки и городишки, тонущие в литовских и белорусских грязях, тесные улички, по которым суетливо движутся длинные черные сюртуки, порыжелые, засаленные и потертые, мелькают согбенные спины и понурые лица, лихорадочно плещут возбужденные руки под уныло вопрошающие интонации напевного и пестрого говора. Этот странный и печальный мир, вобравший в себя изнурительный груз тысячелетних воспоминаний о скиталячествах по трем материкам, весь замкнулся теперь в узкие границы между базарной площадью и молитвенным домом, словно отрекшись навсегда от новых кочевий, просторов и ожиданий. Сорок веков, Египет и Малая Азия, Испания и Нидерланды — все дряхлые предания и надежды укрылись теперь, изнемогая и мертвяя, в эти непроходимые кварталы, по которым Израиль северо-западных губерний упорно и безнадежно волочил в нищете и отречениях древние запыленные сны Халдеи и Вавилона. Сын слуцкого торговца ужасался этому глубокому застою мысли, ревниво отгородившей себя от бодрого шума современности и слепо хранившей окостенелые законодательства и поучения за ветхой бархатной завесой с вышитыми львами. Но изумляясь и возражая, он все же знал, что ему никогда не оторвать сердца от этой загнанной и униженной толпы, растоптанной горем и обидами, над которой вздымал теперь ужасающий кулак громилы лощеный петербургский чиновник, призванный стоять на страже государственного порядка.

Млодецкий поднялся. Большими шагами прошелся по камере.

— Ваша месть не страшнее вашей малости, — произнес он решительно и сильно, но с некоторым налетом напевных интонаций литовского гетто. — Вы считаете себя полновластными, и вы не знаете, что над вами уже произнесен смертный при-

говор. О, если б вы имели уши, вы бы слышали, как роются подкопы под вашими ногами, как закладывается динамит под насыпями царских маршрутов, как замыкаются батареи под сводами дворцовых подвалов. Вы думаете задушить невинных, и вы не понимаете, что гибель уже захлестывает вас... О, не было еще в истории палачей, более жалких и обреченных!

Не теряя спокойствия, но с явным недовольством, прокурор палаты поправил свои перчатки и продвинул подмышку портфель в знак наступления последней реплики.

— Итак, вы не намерены оставить эту нигилистическую риторику, — произнес он, брезгливо сощурившись. — В последний раз я спрашиваю вас, — прошу заметить, что в этот момент бесповоротно решается вопрос о вашей жизни и смерти, — сообщите ли вы мне имена ваших сообщников?

Млодецкий почти вплотную подошел к своему следователю. Тот даже несколько откинулся на своем табурете.

— Знаете ли, как ответил недавно на такой же вопрос шефу жандармов Сергей Нечаев, восемь лет томящийся в этой могиле? Вспоминаете? Нет? Он отвесил ему пощечину!..

Плеве порывисто встал и даже опрокинул табуретку. Он сделал два шага к дверям.

— В таком случае знайте, что завтра же утром вы будете болтаться в петле. Это не фраза и не угроза. Вам осталось жить не больше пяти часов.

И прокурор палаты, искусно сочетавший в своем лице инквизитора, сыщика и художника, торопливым шагом оставил каземат.

Млодецкий опустился на свою койку. Известие о немедленном приведении в исполнение приговора нисколько не встревожило его. Он был готов к смерти. Ему только было досадно, что последняя ночь опозорена этой отвратительной пыткой. И сквозь обиду невольно пробивалось наружу неуловимое, почти неосознанное удивление: казалось почему-то невероятным, что эти подвижные, уверенные руки, это здоровое молодое тело, эти зоркие и пытливые глаза через несколько часов застынут и омертвят. Инстинкт жизни почти подсознательно выбивался из-под волевого напряжения мысли.

Раздумье его было прервано тюремщиками. Последняя кружка чаю, предсмертное переодевание: грубое белье, арестантский черный армяк, уродливая бескозырка с наушниками.

На рассвете его вывели в тесный дворик равелина. У ворот чернела высокая, нелепая, громоздкая колымага на огромных колесах, тяжелая, как drogi, с повернутым назад сидением и подвешенной узкой лесенкой.

По шатким ступенькам он твердо взошел на позорную колесницу.

КАЗНЬ МЛОДЕЦКОГО

Царский юбилей был ознаменован виселицей. Какую едкую иллюстрацию царствования устроила судьба!

Из листка «Народной Воли» 1880 года.

Всеволод Гаршин бродил до утра по пустынным улицам. Он был счастлив. Особое, ни с чем не сравнимое блаженство ласкало его воспаленный мозг: сознание совершенного большого и благого дела, спасение молодой человеческой жизни, окрыляло его. Что литературная слава! Спасти своим словом хоть одного обретенного — вот величайшее счастье, выше которого нет на земле.

Уже совершенно рассвело. Улицы по-утреннему оживились. Суетливо сновали дворники, молочницы, газетчики. Прошли гимназисты, чиновники. По Невскому прозвенела конка. Он по-особому воспринимал эти раздражающие бубенцы пробуждающегося города —

Общественных карет болтливые звонки...

Этот стих его друга как-то по-братски, утешительным и ласковым голосом, примирял с жесткой суетой утренней столицы.

Задумавшись, он вышел к Николаевской. Откуда такая толпа народа на обоих тротуарах? Куда несет весь этот люд?

— Да поторопливайся, — раздалось сбоку, — небось, вся площадь запруженя, верхушки виселицы не увидишь...

Он содрогнулся. Виселица? Быть не может! Ведь диктатор дал ему слово. Впрочем, может быть, население еще не знает об отмене казни. Ведь такое не сразу становится известным. Они еще не догадываются, все эти чуйки, тулупы, салопы, шинели, какое счастье ожидает их! Прощение осужденного, спасение приговоренного к смерти! Не величайший ли это день в его жизни?

Гаршина вынесло с толпою из Николаевской улицы на главное место петербургских казней. Густые толпы заливали Семеновский плац вокруг голых черных и страшных сооружений в самом центре площади. Испуганными глазами он окидывает поле. Высокая, узкая виселица. Черный, отточенный по форме восьмидесятника столб, некрашеная деревянная платформа. На скамейке белый колпак и длинный холщовый халат.

Рядом дощатый гроб, окрашенный в черную краску. С попечной балки виселицы свешиваются веревка. Он с содроганием отворачивается. Пройти бы и стать в стороне. Но толпа клокочет тугой и плотной массой, суживая свои концентрические круги к зловещему центру плаца. Ему отовсюду закрывают пути, его сжимают и неумолимо влекут словно в узкое горло воронки, все ближе и ближе туда, к безлюдной и голой площадке смерти.

Вот уже четко различимы все части мрачного парада.

Вокруг эшафота замкнуто каре гвардейской пехоты. За ним ближе к виселице жандармский эскадрон. Впереди хор барабанщиков. Сдержаным гулом гудит на версту кругом океан человеческих лиц.

Людским потоком прихлынуло Гаршина к самой войсковой ограде. Вокруг ящики, бочки, скамейки — подножья для зрителей. Рядом, у самой военной изгороди, в малом прямоугольнике, охраняемом жандармами, несколько штатских в нарядных бекешах, в темных перчатках. Они внимательно оглядывают местность и заносят какие-то сведения золотыми карандашами в щегольские записные книжки. Это корреспонденты больших иностранных газет — «Фигаро», «Таймса», «Винер-Прессе». Гаршина почти вплотную прибило к этой малой площадке. До него доносится беседа журналистов.

— Сложное сооружение, — говорит по-французски господин с острой седой бородкой своему сухому, высокому, бледному спутнику с коротко подстриженными золотистыми усами, — ведь гильотина гораздо проще... Обрез для сигары.

— О, в Тауэре техника повешения на большой высоте, — отвечает англичанин.

— Если уж нужно непременно удушить человека, а не отсечь ему голову, — продолжает француз, — я готов предложить на столбцах «Фигаро» всем европейским правительствам испанскую гарроту.

— Это что же?

— Столб с железным кольцом. Повертывая ручку, сжимаешь винт и удавливаешь осужденного. Необыкновенно просто, чисто и быстро...

— А как производится операция?

— Связанного преступника сажают у самого столба. Накидывают на голову платок. Кольцо размыкается и охватывает шею. Несколько движений руки палача — и все кончено. Снимают платок с головы — фиолетовое лицо. Так в прошлом году казнили в Испании Оливу Монкасси, покусившегося на короля... Однако что там за оживление?

Гаршин, вслед за журналистами, поворачивает голову. Размыкается передний фас гвардейского квадрата. Подъезжает карета. Судейские чиновники неторопливо поднимаются по ступенькам малой эстрады. Впереди молодой невысокий, до-

вольно плотный человек в ослепительно белых перчатках, с каменно бесстрастным и строгим лицом под форменной треугольной шляпой. Седые члены магистратуры словно признают его своим начальником. С поднятой головой и нахмуренными бровями, крепко сжимая губы под короткими черными усиками, он твердо шагает по ступенькам платформы.

— Это молодой Плеве, прокурор палаты, — сообщает корреспонденту-англичанину его старший коллега француз. — Говорят, очаровал императора личным докладом о взрыве в Зимнем дворце. Скоро будет министром.

Гаршин уже слышал это имя восходящего фаворита. Жадно следит за его властным шагом. Вот он подходит к перилам. За ним судейские, пристава, окологоченные, жандармские офицеры.

«Очевидно, прокурор палаты и прочтет укав об отмене казни. Жаль, что такой суровый чиновник возвестит осужденному о прощении. Акты о помиловании должны были бы прочитываться женщинами...»

Снова передний фронт штыков перестраивается и образует проезд. Во весь опор несется извозчикья карета с городовым на козлах. Сквозь стекло виден внутри полицейский офицер. Вот он выходит у самой площадки, выводя за собой огромного, коренастого, атлетического мужчину в синей поддевке с тупым бородатым лицом.

— Это лучший палач у правительства царя Александра, — сообщает соседу француз, — бывший разбойник Фролов...

— О да, — флегматично отзыается англичанин, — этот грабитель стал теперь видным общественным деятелем России.

«К чему же палач, если помилование? Ведь Млодецкий прощен безусловно. Ведь слово диктатора — закон, пред которым склоняется сам царь... Верно, выполнят весь обряд и в последнюю минуту остановят палача. Так, кажется, водится...»

Рассеянный гул несметного человеческого скопища возрастает и ширится. Неистощимый людской поток устремляется на площадь сплошною черною лавою, словно стиснутый высоким ущельем Николаевской улицы.

— Везут, везут! — гулко разносится по плацу.

Позорный поезд выезжает на место казни.

Зорким взглядом художника ловит Гаршин мелькающие черты картины. Мелкой рысью проезжают: казачьи сотни, конвойирующие колесницу. Быстрым шагом проходит лейб-гренадерская рота. И вот медленно и скрипуче продвигается вдоль живых изгородей охраны окруженная цепью конных жандармов несуразно высокая, громоздкая черная повозка с особым возвышением и лестницей. К железным толстым прутьям скамьи спиной к кучеру привязан руками бледный человек в черном арестантском халате из толстого солдатского сукна. Маленькая круглая приплюснутая шапочка с несуразными висячими наушниками покрывает его голову. На груди его пока-

чивается черная доска с белоснежной кричащей надписью: *Государственный преступник*.

Лицо его в черном обрамлении халата и головного убора кажется бледным. Глаза беспокойно горят и оглядывают толпу, словно в поисках затерянных друзей. Сдавленная усмешка кривит угол рта. Голова не перестает лихорадочно двигаться — единственное, на что еще остается право и возможность у осужденного.

С бесконечной любовью смотрит Гаршин на юношу в черном халате. Волна нежности поднимается горячим потоком к сердцу и заливает все его существо. Так вот он, обреченный на смерть и спасенный мучительным подъемом его воли и мысли... Им возвращенный к жизни... Перед этим мальчиком еще годы труда, радостей, может быть, славы. Не высшее ли счастье возвратить человеку его право дышать и мыслить?

За колесницей наемная карета со священником. (По новому правилу, церковь сопровождает преступника на всем его скорбном пути к искупительной смерти.) За каретой ломовик (для отвоза гроба?). Бьют барабаны и взвизгивают флейты. Колесница въезжает в разомкнутое войско. Фронт немедленно смыкается.

Палач снимает связанного человека с колесницы. Он ставит приговоренного, как куклу, к восьмигранному позорному столбу на черном помосте. Раздается команда: «На краул!» Военные чиновники поднимают руки к козырькам. Исполнитель приговора сбрасывает с осужденного его ужасающую ермолку. Густые черные волосы Млодецкого чуть шевелятся на ветру.

На площади глубокая тишина.

Осрамительный обряд наказания выполнен. Градоначальник с рукой у козырька приближается к прокурору судебной палаты:

— Все готово для свершения последнего акта правосудия.

Плеве подходит вплотную к перилам платформы. Стиснуты брови под выступом треуголки. Еле разжимаются сочные губы под черными усиками. И вот учтиво звучит обращение прокурора к поручику гвардии:

— Прошу прочесть приговор.

Офицер шагает вперед и читает звонким голосом бумагу.

Гаршин настороженно слушает. «Сейчас раздастся отбой, и Млодецкого отвяжут от столба... Так было с Ищутиным...» Он слышал, что в некоторых случаях смертная казнь по высочайшему повелению заменяется обрядом политической смерти. Преступника приводят на эшафот и ставят под виселицу, совершая над ним все подготовительные действия, предшествующие повешению. Но в последний момент прочитывается высочайшее повеление, дарующее жизнь. Напряженным слухом Гаршин ждет формулы помилования. И вот отчетливо долетает до него последняя фраза протокола:

— «Приговор петербургского военно-окружного суда confirmed главным начальником верховной распорядительной комиссии».

Что-то обрывается и стремительно обрушивается в сознании Гаршина. Начальником верховной распорядительной комиссии? Возможно ли? Перед ним выступает из мерцающего сумрака ласковый, благосклонный, человечный и чуткий мудрец, утешающий его в горе и открывающий перед ним великую стихию сердечности и всепрощения, пока восемьмиугольная роза пылает над ним пунцовой лампадой, а бронзовые часы неумолимо отбивают свое: каз-нить... каз-нить... каз-нить...

Священник в спитрахили и с серебряным крестом приближается к осужденному. Последнее равнодушное слово благоденствующего человека к человеку, обреченному на удушье. Млодецкий во все стороны раскланивается с народом. С черной плахи звучит и разносится по площади молодой, отчетливый и спокойный голос:

— Я умираю за вас...

Резкая, повышенная, учащенная дробь барабанщиков прерывает осужденного. Пронзительно и надрывно визжат назойливые флейты.

Смертника возводят на возвышение под виселицей. Он молчаливо становится под поперечную балку, с которой свисает веревка. Слева палач, прямо платформа с властями, справа священник с крестом. Бородатый атлет в синей поддевке неторопливо облачает приговоренного в холщовый халат — длинную белую робу висельников. На лоб надвигается белый башлык, на шею накидывается петля. Арестанты-помощники поднимают осужденного на скамейку.

Все подготовлено для удушения. Барабаны сплошью дробью отбивают отходную преступнику.

Заплечный мастер подает условный знак. Один из арестантов осторожно натягивает веревку. Ястребиным взглядом, весь изогнувшись, следит огромный Фролов за медленным натягиванием струны, ожидая единственного нужного ему мгновенья... Гибкая линия между деревянной перекладиной и человеческой шеей выпрямляется...

И вот резким, решительным, отрывистым движением палач вышибает скамью из-под белой фигуры.

Дрогнула веревка, выпрямилась, натянулась, напряглась — и в воздухе закачалось человеческое тело.

Глухой, подавленный возглас прошел по морю голов...

Несколько мгновений повешенный борется со смертью. Судорожно движутся руки и ноги, словно ловя под собой исчезнувшую опору. Тело бунтует, и жизнь отчаянно спасает себя. Конечности мечутся томительно долго — восемь, десять, двенадцать минут, слабея и все еще дергаясь. Вот пробегают по

телу едва заметные судороги, медленные, волнообразные, с какой-то ужасающей выделанностью.

Это было почти невыносимо наблюдать по жуткой вкрадчивости последних замирающих содроганий.

(В минуты острого тревог мозг Гаршина работал всегда с поразительной ясностью: ужас не помрачал, а прояснял до холдной прозрачности мысль и память. Спокойнее всего он был на войне, среди крови и трупов. Спокойно рассматривал под Аясларом мертвое тело турка, подожженное казаками: черная бесформенная туша, вся в трещинах, обнажающих красное мясо, оскал белоснежных зубов на обугленных деснах, отвалившаяся ступни, оголенные кости. И как бесстрастно, с пристальной зоркостью медика или художника, в облаке едкого смрада, изучал он полусожженное тело, запоминая подробности и тщательно фиксируя в сознании вид ужасающего трупа. И так всегда: перед страшнейшими язвами жизни вспоминал страницы научных книг, препараты музеев. Начетчик в ботанике и психиатрии, он наблюдал, как исследователь, и определял, как ученый. Корчи повешенного словно распахнули перед ним анатомический атлас. Казнь была для него вдвойне ужасной.)

Расширенными зрачками следит он за метаниями тела в траурной оправе виселицы. Он видит отчетливо все, что совершается там под мешком, в башлыке, туго затянутом бегущей петлей. Недаром дружил со студентами-медиками, ходил в лечебницы на разбор больных, зачитывался клиническими руководствами. Теперь он зорко следит за движениями умирающего и точно знает: вот помутилось зрение казненного, зазвенело в ушах его, острыя боль пронзила глотку. Вот слух прорезан свистом, гул наполняет череп, в глазах трепыхаются молнии, ожогом пылает горло, свинцом наливаются ноги. Вот гаснет сознание. Судорожно сокращаются мышцы лица, по синебагровым щекам пробегают гримасы агонии. Веревка сжимает тисками горловые хрящи, зубы впились в язык, по губам протекла сукровичная пена...

...Отбиваются дробь барабаны.

И вдруг бурное, яростное дерганье всего тела, кидающее повешенного в диких полуоборотах слева направо, назад, вперед, словно мечущее агонизирующего в невообразимых пирамидах какую-то дьявольской пляски смерти. «Крепкая гладкая веревка, узел на самом затылке, — вероятно, разрывы сонных артерий, вывих позвоночника»... И вот сумасшедший круговорот опутанного тела, последние конвульсивные сокращения мертвящих мускулов — и все внезапно и резко прервано. Жизнь оборвалась под холщовым мешком. Труп наконец неподвижно повис.

— Вздернутый в одиннадцать часов восемь минут, осужденный застыл в одиннадцать двадцать, — спокойно констатировал корреспондент «Фигаро», следя за секундной стрелкой часов.

— Ровно двенадцать минут длилась агония, — заключил молодой англичанин, методически занося золотым карандашом цифру в карманную книжку.

Сильный ветер покачивал тело.

Но теперь оно болталось, как мешок, грузно и мертвенно, без малейшей внутренней дрожи. Человека не было. Трагедия кончилась. Колебался на весу закутанный труп.

Обрывается пронзительное tremolo барабанов.

Неподвижно, томительно долго, безмолвно и каменno стынут на своих местах судебные власти, гвардия, палач, арестанты. (Согласно распорядку, в течение получаса после повешения все пребывают на своих постах и обряд казни не считается законченным.) Перед десятитысячной толпой меж длинных черных столбов бесконечно долго висит, покачиваясь на ветру, мертвое тело. Носки башмаков ужасающее прямолинейно вытянулись к земле.

И вот раздается наконец приказ прокурора:

— Снять тело с виселицы.

Белую куклу опускают в дощатый гроб. Полицейский врач с кокардой и в больших голубых очках выполняет последнюю формальность: он подтверждает властям, что человек, провисевший сорок минут с петлею на шее, по состоянию его артерий и положению зрачков, действительно умер. Немедленно же прокурор палаты твердой поступью с высоко поднятой головой сходит с площадки и садится в карету. Распорядители казни оставляют площадь. Гроб заколачивается. Одноконная ломовая телега увозит тело казненного на дальнюю окраину.

Медленно растекалась толпа по переулкам, проспектам и улицам. Стучали топоры, сносившие эшафот (к трем часам по приказу площадь должна была принять свой обычный вид). Стуяясь и пошатываясь, брел по Николаевской улице Гаршин. Что-то болезненно надорвалось в нем, мучительно и страшно искалилось. Словно резнули по живому. Все почему-то вокруг теряло смысл и значение, становилось как-то странно пустым, бесцельным и неважным. Люди, коляски, конки? Так, какое-то бессмысленное мелькание чужого, отходящего, далекого и ненужного, звучание и плеск из другого мира. И только эта острыя боль, испуг и обида и страшный, огромный безнадежный вопрос, раскрытый как рана... Слезы подкатывали к ресницам, что-то сжимало горло. Хотелось плакать и чему-то недоуменно смеяться. Ведь бессмыслица всегда смешна! Он шел, бормотал, разводил руками, воскликнул и всхлипал. Неимоверно высокой и режущей нотой стыл в ушах неотвязный визг военных флейтистов. Брови приподымались с выражением невыносимого страдания. Губы шевелились спазматически, как у плачущего. Мальчишки по пути бежали за ним, передразнивая его жесты и заливаясь хохотом. Прохожие угрюмо оборачивались и сокрушению покачивали головами.

ДОМ ПОГИБАЮЩИХ

Теперь грозное время. Наступают такие минуты, что только сильные духом перенесут их.

Гаршин. Письма к матери.

Он лежал, прочно привязанный длинными рукавами смигательной рубахи к железным прутьям нумерованной койки. Припадок медленно проходил, смутные и яростные видения отступали перед более отчетливыми представлениями. Но в этом переходном состоянии действительные и верные образы еще искались до состояния мучительного, хотя и тихого бреда. Ему казалось, что рукавами гюремного халата он крепко привязан к железным брусьям позорной колесницы. Или длинными холщовыми полосами смертного савана он прикреплен к черному столбу эшафота. Длится нескончаемая публичная казнь.

— Вам не больно? — раздался над ним участливый голос.

Он раскрыл глаза. Над ним стоял человек в больших голубых очках.

— Кто это? — с испуганным недоумением спросил больной.

— Я ваш врач. Я пришел облегчить вам ваши страдания.

— Вы хотите... вы хотите определить по состоянию артерий и положению зрачков, что я, повешенный и провисевший с петлею ровно сорок минут, действительно умер?

«Мысль приобретает отчетливость, и речи возвращается точность, — подумал врач. — Воспоминание еще по-прежнему фиксировано, но уже заметно проясняется. Сознание еще во власти поразившей идеи, но уже успокаивается, наступает переходное состояние. Приступ проходит. Если б вызвать перелом — смех или слезы — мог бы наступить светлый промежуток...»

— Напротив. Я хочу освободить вас от вашего плена и вернуть вас к жизни, — весело сказал доктор. — Развяжите рукава больному, — приказал он своим невидимым спутникам.

У кровати появились два огромных человек с чужими и замкнутыми лицами.

«Это палачи», — подумал больной. Но он был так слаб, что ничему уже не мог сопротивляться.

— Это мои помощники, — сказал доктор, следя за взглядом больного. — Это фельдшер и сторож, которому поручено заботиться о вас. Ну вот, вы и свободны! (Узкий, горячечный камзол из плотной ткани освободил пленника.) Теперь наденьте туфли и халат. Вот так. Пройдитесь по комнате... Давайте побеседуем.

Он сел спиной к окну и стал внимательно следить за своим пациентом, начавшим медленно и нерешительно расхаживать по камере от своей койки до двери. Задняя стена комнаты, совершенно гладкая и белая, без окон и дверей и без всякой мебели заметно привлекала его тревожное внимание.

— Почему вы избегаете ходить в глубине комнаты? Ведь там вы в такой же безопасности, как и здесь у окна...

Больной мягко шагнул к врачу, согнулся, притаился и, указывая таинственно в глубь комнаты, почти шепотом начал говорить ему:

— Там, за этой стеной, живет старый граф, с которым у меня будет дуэль (и кроткое лицо больного вспыхнуло ненавистью). За нарушенное слово, за погибшую жизнь он ответит мне своею кровью. Дуэль на самых тяжких условиях, хотя бы на ятаганах — я готов! Я не боюсь смерти...

«Состояние мании еще не вполне миновало, — отмечал мысленно врач, — и все же возбуждение уже заметно спадает».

— Вы писатель, вы не созданы для убийств и кровавой мести, — твердо сказал он, — вы должны бороться мыслью и словом. В этом ваше призвание...

— Однако я проливал кровь вот этими руками, я — политический преступник. На моей совести изувеченные и уничтоженные жизни... Я был добровольным убийцей, никто не вынуждал меня идти на фронт, я сам призвал себя, я думал, что на войне можно жертвовать собою, не приобщаясь к убийству. Я стрелял вихревым огнем, обойма за обоймой, сотни патронов посыпались моей волей, моей зоркостью, напряжением моих мускулов в сплошную массу людей, столь же неповинных в бойне, как и я сам. От книг, от ботаники, от химии, от художественных выставок я бросился очертя голову в ложементы, чтоб стрелять в людей... Все мы палачи, все мы забрызганы человеческой кровью, все мы связаны круговой порукой смертоубийства.

«*Melancholia agitata*, — думал врач, — беглость мыслей и нагнетание жалоб...»

— Вы только доблестно исполнили ваш долг гражданина, — с невозмутимым спокойствием отвечал он больному. — Во время войны, когда гибли наши братья, вы не захотели быть в безопасности, вы пошли на гибель, жертвуя собой. Теперь же вы вернетесь к вашему труду. Вы скоро совершенно оправитесь от вашего нездоровья и напишете новый замечательный роман.

тельный рассказ. Я уверен в этом. Уже предвкушаю, как буду наслаждаться «Отечественными записками» с новой вещью Всеволода Гаршина.

Больной чуть улыбнулся виновато и беспомощно.

— Этого уже не будет. Я уже не могу ни служить, ни работать, ни писать... Я полный банкрот. Во мне все остановилось. Впереди нищета, болезнь, смерть.

— Болезни вылечиваются, работоспособность и бодрость возвращаются. (Голос врача звучал уверенной и правдивой интонацией.) Ведь вы — Всеволод Гаршин, вы слышите: Всеволод Гаршин, написавший «Четыре дня»! Вы знаменитый писатель. Россия полна вашей славой.

Речь звучала громко и властно и все же, как из другого мира, как из далекого прошлого, чуждо и безжизненно.

— Во мне сломалась пружина воли. Все напряженное, сильное, стремительное разбито во мне, распалось... я это чувствую. Остались обломки человека. Разве обломки могут творить, строить, бороться? Они могут только распадаться...

— Вы должны верить в себя, — все громче и решительнее раздавался голос врача, — вот вы уже возвращаетесь к жизни и, стало быть, к творчеству. Вы увидите — мы с корнем вырвем вашу болезнь...

И он сделал энергичный жест рукою, словно вырывал цепко ушедший в почву куст плевелов.

— Вырвать с корнем?.. Да, да, вырвать с корнем гибельные идеи... Вырвать с корнем из жизни источник зла — уничтожить человека, впитавшего в себя всю невинную кровь, все слезы, всю желчь человечества. Тогда все будет кончено, все спасено! Мир сразу освободится от всех виселиц, винтовок, окопов...

Он бессильно опустился на край своей койки и закрыл лицо бескровными и хрупкими, словно женскими, руками. Врач уже не возражал, не утешал, не успокаивал. «Пусть выплачется. Неподвижная идея разрешится слезами. Все, что накопилось и вызвало крайнее возбуждение мозга, найдет теперь выход...» И с профессиональной ласковостью психиатра он медленно гладил больного по его всклокоченным черным волосам, радуясь наступающему кризису. Периодическая мания приближалась к светлому промежутку.

Директор лечебницы для душевнобольных к каждому случаю своей практики подходил как воитель и сокрушитель страшных и гибельных сил: он вступал в борьбу с наваждением, с неподвижной идеей, с темным клубком мучительных и ложных представлений, завладевающих пораженным мозгом. Осмотрительно, осторожно, уверенно и неутомимо он сражался с этим тайным, вечно ускользающим врагом, упорно преодоле-

вая его неуловимость и гибельные влияния на ослабевшую психику.

Вот почему, как на войне, ему нужно было иметь побольше сведений о противнике: чем обильнее и полнее знание о неприятеле, тем вернее шансы на победу. Директор клиники был неутомим в установлении истории болезни. Он любил повторять изречение одного старинного медика: «Невозможно излечить помешательство, если не знаешь, отчего оно появилось». Лейденское издание знаменитой *«Nosologia methodica»* с перечнем главных факторов безумия нередко служило ему для раскрытия глубоких истоков душевного заболевания: опьяняющие напитки, страмоний, опий, белладонна, перемежающаяся лихорадка, головная водянка, истощение от животных страстей, жестокие удары судьбы — все явления, занесенные в архаическую схему южнофранцузского факультета, учитывались петербургским психиатром.

Когда Гаршина доставили в его клинику, он сейчас же приступил к самой тщательной анкете о своем знаменитом пациенте. Он опросил родных и друзей больного о всех обстоятельствах, предшествовавших заболеванию.

Друзья писателя с горячей готовностью пришли на помочь врачу. Угрюмый и сосредоточенный Глеб Успенский («самому бы не худо полечиться у нас», — подумал, слушая его, психиатр) сообщил, как он встретился с Гаршином в самый день повешения Младецкого в небольшом собрании литераторов: охрипший, с глазами, затопляемыми слезами, он рассказывал какую-то ужасную историю, не договаривая, плакал и бегал на кухню под кран пить воду и мочить голову... «Он охрип именно от напряженной мольбы, от крика милосердия», — пояснял Успенский.

Деловитый и спокойный Эртель обстоятельно изложил доктору, что после посещения Лориса Гаршину пришлось в довершение ужаса самому, глазами своими увидеть завершительный акт политической трагедии. Он рассказал и о том, как торопливо, с каким-то трепетным чувством испуга и отчаяния, в нервическом и болезненном беспокойстве, хватая себя за голову и словно стараясь вспомнить ускользающие и важные события, заступник осужденного террориста, беспрестанно вступая в разговор с каким-то воображаемым собеседником, покинул наконец Петербург.

Внимательному и неутомимому в своих розысках врачу удалось восстановить и ход дальнейших мытарств полуразумного Гаршина. Сам больной рассказал ему с таинственным и многозначительным видом, не договаривая и отчасти изъясняясь намеками, о каких-то странных похождениях в Москве, где он будто был задержан, причем должен был тайно выбросить свои деньги из кармана, кому-то был предъявлен... Переписка с московскими властями выяснила полностью этот смутный эпизод.

Оказывается, Гаршин, все еще чувствуя потребность заявить представителю власти свой протест против казни Млодецкого, решил высказаться перед известным обер-полицеймейстером Козловым. Все более утрачивая ясность мысли, воли и поведения, он избрал для свидания с начальником полиции фантастически нелепый способ: в публичном доме целый вечер уговаривал он женщин, после чего отказываясь оплатить счет. Его доставили в участок, где он потребовал личного свидания с Козловым. Допущенный в кабинет к обер-полицеймейстеру, он заявил ему, как и в ночь на двадцать второе февраля в карамзинском особняке на Морской, что только примерами нравственного самоотречения можно обезоружить врага.

Все последующее удалось установить лишь урывками, клочками, моментами. Гаршин метался по городам и усадьбам, то выдавая себя за тайного правительственный агента, то мечтая об издании своих рассказов под общим заглавием «Страдания человечества». Смертельная тоска изнуряла его. В скитаниях своих он добрался до Тулы, а оттуда пешком добрел до Ясной Поляны. Розовеющие сторожевые башенки въезда в усадьбу чем-то порадовали его. Толстой принял странника. Гаршин запомнил, что они говорили долго, сидя рядом на глубоком кожаном диване в рабочем кабинете яснополянского дома. Он изложил знаменитому собеседнику свои планы об искоренении страдания и устройстве всемирного счастья. Не оспаривая и не противореча, Лев Толстой одобрил его мечту. И тогда, убежденный в правильности намеченной миссии, Гаршин покинул яснополянский дом, купил у первого встречного крестьянина лошадь и с географической картой в руках отправился по Тульской губернии проповедовать мужикам уничтожение зла.

Поездку эту сам больной вспоминал радостно и с увлечением. Он был преисполнен планов и замыслов, он безгранично верил в свое призвание, он нес людям великое освобождение, он чувствовал себя могущественным и счастливым. Крестьянская лошаденка, покоряясь его веселым окрикам, бодро несла его полянами и перелесками, ветер освежал его воспаленный лоб, запах влажной хвои пьянил и возбуждал, как вино. Он словно разорвал упругим ударом крыльев крепкий кокон, опутавший его косную хризалиду, и безудержно отдавался теперь своему первому головокружительному полету. Это было как бы новым рождением, очищающим и блаженным. Его мысль и ощущения необычайно прояснились и обострились до поражающей зоркости. Казалось, весь мир покорно вступал в его власть и отдавался его напряженной воле. Пространства не было для него, время словно согласовало с его мыслью свое течение, он стремительно несся вперед вдоль оврагов и косогоров, все быстрее и быстрее, твердо зная, что он обновит жизнь и осчастливит человечество. Мысли проносились вихрем, пора-

жая стремительностью своего полета и радуя своим размахом и заразительностью. Целые поэмы стройно слагались и дружно теснились в его воображении, он понимал вдохновенную ярость гениальных творцов, он чувствовал себя равным величайшим из них, он знал, что для него нет невозможного. Это было полное и глубокое, ничем не омраченное счастье, которое даже нельзя было оплатить теперь годами мучений, затворничества и отчаяния...

За этим ослепительным озарением последующий ход событий терялся, спутывался, обрывался. И, наконец, всплыvalа откуда-то эта скомканная записка, набросанная растерянным, галопирующим по бумаге почерком. Гаршин из Орла сообщал своему приятелю:

«...Теперь я не вижу иного исхода для России, как в кровавой революции, центром ее я избираю Орел, генерал Дарagan на нашей стороне, и сам я иду в народ подготовлять восстание...»

Так из отрывочных рассказов друзей, из случайных признаний самого больного, из официальных сообщений и случайных записей выступала во всех своих темных истоках и непонятных переломах удручающая повесть об одном безумии, неожиданно получавшая такой мрачный и прерывистый отблеск от событий протекавшей политической истории.

Иногда в полутьме раздавалось короткое и странное слово:
— Тшик.

Оно звучало угрозой убийства, лязгом гильотины, скользким шелестом ножа по сонным артериям... Тшик! — и отваливается голова. Но из книг по ботанике он знал, что этим коротеньким словом в Индии называют млечный сок, вытекающий из надрезанных головок снотворного мака. Каждый цветок дает только несколько капель тшика. Их собирают в сосуды, отстаивают, сгущают и получают опиум. Драгоценное снадобье Востока, за которое велись войны могущественнейшими империями. Эти сухие коричневые горошины дают силу рабочим возделывать безбрежные поля при самом скучном питании и неумолимо палиящем солнце, они поддерживают скороходов, пробегающих тысячи верст с быстротою лошади, они погружают в сладостное забвение измученное и порабощенное население Небесной империи, отдающее ясность мысли, силу воли, крепость мускулов, сознание и жизнь за маленькие трубки с застывшим тшиком... Безумье, самоубийства, преступления — все зарождается на сырых циновках полутемных лавок забвения, кишащих угнетенными, нищими, замученными и раздавленными жизнью.

Этот хрупкий летучий цветок во всех его видах и колерах был хорошо знаком ботанику Гаршину. Он тщательно расправ-

лял в своих гербариях длинные стебли, покрытые зубчатыми листьями, и тонкие волоски гибкой цветоножки. Он с непонятной тревогой рассматривал огненные крестообразно поставленные шелковистые лепестки с траурным черно-белым пятном у самого основания. Эти легкие, трепещущие кровавые лоскутки цветочной ткани, казалось, вобрали в себя все горести, преступления и боли, порождаемые дурманным млечным соком ядовитого стебля. Злодейства из-за угла, бичи надсмотрщиков, смертоубийственные обманы торгашей, неумолимая алчность великих империй, колониальные экспедиции и гибель крейсеров, разоренные провинции и горы трупов — весь этот ужас истории, казалось, отстаивался в тончайших кровеносных венах безуханного шелковистого алоя венчика...

И вот выступает из пестрых растительных узоров бархатистого ворса странная восьмиугольная роза. Зловеще распустившись махровым цветом над головой диктатора, она вбирает в себя извилистыми стеблями всю обильную кровь эшафотов и казарменных плацев. Как она ярко тлеет и пышно распускается, разбухая и жирея на этой груде трупов! О неужели же не найдется смельчака, чтоб сорвать, растоптать и уничтожить этот цветок-вампир, раскидывающий свои кровожадные лепестки, как некий геральдический знак над головами властителей и палачей?

Среди предтеч и наставников своей науки старший врач высоко ценил знаменитого Филиппа Пинеля, основателя теории о наследственном помешательстве. В основных тезисах своего врачевания петербургский невропатолог неизменно хранил завет великого француза: «Нельзя не признать наследственной мании, когда видишь целые семейства в нескольких поколениях, пораженные этой болезнью...» Этих сведений о предках писателя директор клиники ждал от его матери.

Екатерина Степановна Гаршина, переводчица, педагог и журналистка, хранила в памяти обширный запас воспоминаний, преданий и сведений о родственниках и предках своего сына по обеим линиям. Обстоятельно и последовательно, но волнуясь и прерывая поминутно свой рассказ, она сообщила врачу патологию двух родословных.

— Бабка моя — молдаванка (вероятно, от нее унаследовал Всеволод горящие черные глаза и цыганскую смуглость), считалась странной и разгульной женщиной. Дед — отважный моряк, совершивший четыре кругосветных путешествия, не признавал своими сыновей молдаванки...

Врач внимательно слушал и методически заносил отметки в свои длинные разграфленные листы.

— Но гораздо хуже обстояло дело в роду Гаршиных. Теща мой был крутым и властным крепостником, он нещадно порол

крестьян, портил их девушки, пользовался правом первой ночи, боялся, сутяжничал, свирепствовал в своих собственных и чужих владениях, обливая кипятком фруктовые деревья соседей. В страстиях был неистов: жена его, умершая тридцати семи лет, рожала ему двадцать два раза; под конец помешалась. В семье считалось, что именно она внесла безумье в род Гаршиных.

Листы психиатра заполняются. История одного сладострастника и безумной приводит к обширному потомству неустойчивых и слабых организаций — ревнивцев, картежников, алкоголиков, людей вспыльчивых и страстных, неудержимых в своих разгулах и маниях. Все они кончали белой горячкой, сумасшествием, самоубийством.

— А как ваша личная семья?

— Покойный муж мой был кроток и слабоволен. Казался пришибленным и напуганным. Его даже называли Мишель Странный. Нередко мутился в уме. Тогда от нежности и ласки кидался в бурный гнев, писал проекты на имя государя, ища справедливости. Изобретал какую-то канатную железную дорогу.

— Это сказалось на его потомстве?

— Дети наши не все были здоровы. Сын Виктор, шестипалый, нервный, задумчивый, двадцати трех лет покончил с собой от несчастной любви к проститутке. Старший Георгий — талантливый адвокат, но сильно пьет, кутит, увлекается женщинами, славится неукротимой дерзостью, иногда говорит о самоубийстве. Всеволод же, самый кроткий и безгрешный из всех, уже вторично теряет рассудок...

— Когда впервые это произошло с ним?

— Еще в старших классах гимназии. Кто бы мог ожидать этого? Не было юноши более рассудительного, трудолюбивого, начитанного. Мечтал о медицинской академии, прекрасно играл на виолончели, зачитывался знаменитыми психиатрами! Он словно предчувствовал, что ему придется обратиться к их помощи. С детства тянулся к книгам, к растениям, все собирая, отлизывая, рукодельничал. Большиими удивленными глазами смотрел на мир...

И перед нею выступает черноглазый мальчик с тонкими чертами лица и лучистыми глазами, будущий поэт или художник, излучающий на всех окружающих свет и надежду. И вот он вырос, этот сказочный отрок, и стал затворником сумасшедшего дома, отверженцем в буром халате, с растерянным и злым выражением, среди помешанных и выродков с тулями, искашенными и бессмысленными физиономиями. Этот контраст обещающей юности и чудовищной среды желтого дома был так ужасен, что от одного этого сопоставления Екатерине Степановне перехватывало дыхание. Она чувствовала, что рыданье удущившим комком подкатывало и стыло в горле, что от своей

беспомощности перед этим отчаянием она не сможет даже здесь, при враче, овладеть своим горем и сдержать слезы... И как сын ее на больничной койке, она закрывает лицо бескровными и хрупкими руками.

Директор клиники выписывает на особых листках строгие латинские термины: *dementia*, *debilitas*, *suicidium*, *abusus in Bacohō*, *delirium tremens*. Какое грозное наследство!

— Доктор, есть ли надежда спасти моего сына?

— Он несомненно поправляется и снова будет здоров. Текущий период затмения пройдет, не оставив заметного следа. Сын ваш будет снова работать, писать, творить. Чередование между манией и меланхолией будет заполняться длительными светлыми промежутками. Но как оберечь его мысль от кровавых впечатлений современной политики, как преодолеть и ослабить грехи, пороки, несчастья и болезни предков, подавляющие это впечатлительное сознание невыносимым грузом ушедших трагедий, — на это наша наука, к великому прискорбию ее служителей, еще не может дать утешительного ответа.

...Как тяжелы эти скитания по сумасшедшем домам! Орел, Петербург, Харьков... Методы столичных врачей, следивших за новейшими течениями медицины, еще не привились в русских провинциальных приютах умалишенных. Здесь еще господствовали жестокие принципы старинной психиатрии. Медленно изживались традиции Бедлама и Отель-Дье, Бисетра и Сальпетриер — мрачных зданий-темниц с казематами и карцерами, решетками и тюремными затворами, где больных избивали, морили голодом, держали в железных наручниках, лечили внезапным ударом ледяной воды по обнаженному чреву, применяли суворость и угрозы как средства психотерапии. В тридцатых годах сумасшедший у Гоголя жалуется на удары палкой, обливание головы холодной водой, жестокое обращение, внушающее больному мысль о мучениях великой инквизиции.

Сабурова дача, лечебница для умалишенных под Харьковом, еще жила печальными традициями прошлого. Больничная прислуга подбиралась случайно, без необходимого отбора и особой подготовки. Помещение своей мрачностью и огромностью нисколько не отвечало угнетенной психике больных.

«Положение Всеволода становится с каждым днем хуже, — писала Салтыкову-Щедрину, моля о помощи, мать Гаршина. — Лечебница, где он помещен, скорее может быть названа местом предупреждения и пресечения. По совершенно бессмыслицейной жестокости, Всеволоду не дают ни бумаги, ни карандаша, ни газеты. Меня к нему непускают, хотя я переехала на дачу рядом с ним, и только раз случайно мне удалось увидеть

его в окно. О, Михаил Евграфович, если бы вы слышали его крик: «Мама!» — когда он увидел меня. Как он схватил через решетку мою руку своими исхудальными руками, как горько зарыдал. И через минуту два сторожа оттащили его от окна...»

Как-то на Сабуровой даче Гаршин стоял, ожидая ванны, в мрачном углу больницы, освещенном одним окном с железной решеткой куда-то в стену. Огромная пасмурная комната со сводами, с липким каменным полом, окрашенная темно-красною масленой краской. Вода с монотонным плеском струилась в каменную яму среди пола. Под это длительное звучание больной стал вспоминать детство среди родных, ранние свои купанья, ласку матушки. Неясно и отрывисто блуждало в памяти:

...И слушает, как падает струя
Из медных кранов в звучные бассейны
Широких ванн...

Вдруг сильный удар в грудь сбивает его с ног, и он падает на пол без памяти.

— За что ты меня ударил? Что я тебе сделал?

Гигант-служитель указывает на приготовленную ванну.

Не воспоминания ли о Семеновском плаце возникли в сознании больного Гаршина, как только попал он в обстановку лечебницы? Ванна с мрачными сводами, котел с целой системой медных трубок и кранов, огромный угрюмый сторож, мушка на затылке... «Что это? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним?...» И когда солдат грубым полотенцем, сильно нажимая, быстро сорвал мушку с затылка вместе с верхним слоем кожи, больному почудилось, что ему отрубили голову...

Медленно он приходил в себя. Возбужденность испуга и ужаса сменилась усталостью и безразличием. Гаршин, беспомощный и бессильный, бродил часами по саду или лежал, словно под тяжким свинцовым грузом, на своей больничной койке. Это было странное состояние. Казалось, под действием снотворного снадобья проносились с необыкновенной отчетливостью лица и встречи отдаленного прошлого. Словно опиум воскрешал перед ним отошедших людей и отзывающие слова. Ничто не было забыто. Память, напротив, прояснялась до последней степени в этом больничном одиночестве, сосредоточивалась на ушедших событиях и вычерчивала с поразительной отчетливостью все томившее в прежние годы его мысль.

Но надо всем господствовало одно страшное ощущение: он навсегда потерял себя. Тот, другой, отошедший — Всеволод Гаршин был силен, юн и прекрасен. Он писал короткие и потрясающие рассказы. И вот его нет. Есть больной № 37 в буром халате и туфлях, а иногда и в горячечном камзоле.

Больной, у которого нет будущего, у которого отняли навсегда время, который может только вспоминать и отчаиваться.

Неужели же это он — «любимый писатель молодежи», наследник Тургенева, кумир и надежда всей читающей России? Возможно, что это и было, но так давно, словно в какие-то доисторические времена, навсегда отодвинутые от него страшной катастрофой. Память еще хранила бледные очерки этой глубокой древности, смутной и легендарной, как младенчество. Теперь черная пелена окутывала его. Ощущимо и реально было только режущее чувство стыда и страдания, пустоты и безнадежности, подавленности и тупого отчаяния. Там, где-то идет борьба, плешиет жизнь, действуют и сражаются смелые люди с решительными жестами. А вокруг него — искашенные, уродливые, измученные и бес смысленные лица. Вопли и хохот, лай и молитва, выспренняя декламация и тихий плач. И буйные драки с грохотом табуреток, стуком мисок, звоном стекол, когда испуганные санитары отступают перед расходившейся оравой восставшей палаты. О, это море голов, нескожих и страшных! Стекленеющие глаза, коварные усмешки, перекошенные губы, тупые полумертвые взгляды. И он, знаменитый писатель, отброшен сюда, в этот самый унылый и ужасающий мир человеческой отверженности и подавленности...

— О вы, мучимые раньше меня, вас молю, избавьте... — шепчет он обескровленными губами, опуская на смятую подушку своей нумерованной койки измученную и воспаленную голову.

И вот вкрадчиво и медлительно доносится из дальнего угла камеры ласкающий и шелестящий голос.

— Пибоди и Мартини... Пибоди и Мартини... № 18635...
Пибоди и Мартини... Четырехлинейный калибр...

Странные слова долго звучат, баюкая и привлекая своей необычной звучностью... Что это? Пибоди и Мартини... Итальянцы, певцы, акробаты? Ах да! Система ружья, его собственная тяжелая и тонкая винтовка. Спутница по Бессарабии и Турции...

Да, винтовка Пибоди и Мартини № 18635 и над нею скелет в мундире. Война... Было время иллюзий, увлечений, веры в воинские подвиги. Детские впечатления. Отец служит в кирасирах. Запомнились в солнечной дымке раннего сознания огромные рыжие кони, гиганты в латах и белоголубых колетах, покрытые касками с конскими хвостами. Разговоры и героические анекдоты о Севастопольской обороне. Сборы мальчика в поход. Причтания няньки над восьмилетним новобранцем.

И вот студенческие годы. Газеты полны известий о кровавых истязаниях на Балканах. Гаршин заворожен ужасом болгарских событий. Какое значение имеют научные открытия,

когда турки перерезали тридцать тысяч безоружных стариков, женщин и ребят...

В начале мая рядовым из вольноопределяющихся 138-го Волховского пехотного полка Гаршин уже был в Румынии... Изнурительные переходы под палящим солнцем, жалтеющие посевы кукурузы, нивы, перебегающие с холма на холм, по вечерам зарева далеких пожаров: турки жгут болгарские деревни. Он читает о третьем плевенском бое: ««Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок...» И цифра растягивается бесконечной вереницей лежащих рядом трупов: «Если их положишь плечо с плечом, то составится дорога в восемь верст»... Рассказывают о подвигах Скобелева. Какое это имеет значение? «В этом страшном деле я помню и вижу только одно — гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории... Груды стонущих и копошащихся окровавленных тел...»

А все эти короткие, повседневные, потрясающие эпизоды? Молодой нервный доктор плачет при виде мучений солдат, вывозящих на себе вместо лошадей тяжелые артиллерийские орудия из непролазной грязи. Вывезли, наконец, батарею на гору: смотрят, а на дереве доктор висит. Или вот уборка мертвых с поля сражения: жирные трупы феллахов, раздутые от лежания на жаре; зловоние ужасное; черви копошатся мириадами; и среди разложившихся мертвецов — раненый солдатик, пролежавший в кустах четыре дня. А в офицерском собрании три полковника и генерал, все лысые, отплясывают кадриль и бешено канканируют под взглядом удивленных нижних чинов... Но пальба продолжается — надрывает душу длящийся скрежет гранат, фонтаном брызжет земля, засыпая на несколько сажен окружность...

Вот красавец-ефрейтор, голубоглазый с белокурой бородкой, только что весело пивший воду из колодца, нелепо валится ничком: осколок гранаты ударил ему в пах, вырвав внутренности... Вот и сам вольноопределяющийся Гаршин пытается вынести из схватки раненого солдата с бьющей волной крови из разбитого плеча — перед ним в двадцати шагах вырастает турецкая колонна. Удар, словно дубиной, в ногу — он падает, обливаясь кровью...

Кому нужны эти трупы, эти лазаретные фуры, эти братские могилы? Кто бросил эти массы в кровавую бойню? Александр, Горчаков, Осман-паша, Дизраэли? Что за дьявольская игра политиков и королей, бросающих миллионами жизней, как игорной ставкой?.. Где разгадка, в чем разрешение, где исход?

И здесь, на больничной койке, эти воспоминания о ложементах с трупами, о повозках с истекающими кровью, об оврагах разложения, о лазаретных корзинках с отрезанными

конечностями — все это странно сливается с виселицами Семеновского плаца и Смоленского поля, с удушеными и расстрелянными в казематах и на кронверках. Всюду неповинные смерти, бессмысленные гибели, нелепо льющаяся кровь...

Черный восьмигранник позорного столба. Золотящаяся треуголка прокурора. Туго натянутая струна от шеи к перекладине. Отчаянно взметнувшиеся в небо черные руки виселицы. Холм с осокой: доктор висит на ветке, удушенный — кем? прокурором, палачом Фроловым или может быть этим старым верховым военным с густыми бакенбардами и выпуклыми стеклянными глазами, проливающими обильные слезы на золотые пуговицы мундира, пока пробегают мимо царского коня, сотрясая винтовками и крича приветствия, солдаты дунайской армии, обреченные на смерть под Плевной, Рушуком и Шипкой? Какой кровавый и необъяснимый круговорот событий, выстрелов, взрывов, казней! Кто предводительствует этим безумным хороводом? Как задержать этот смертный вихрь?..

Через три года, вспоминая эти муки, он пишет короткий и гениальный, навеки неизгладимый из мировой литературы рассказ о великом безумце, решившем растоптать напитанные кровью всего болящего человечества зловещие цветы алого марка, чтобы вырвать с их цепкими стеблями все неистощимое зло мира с его дворцами и окопами, судами и лазаретами, желтыми домами и черными плахами.

МОРГАНАТИЧЕСКАЯ СУПРУГА

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность

Тютчев

Ровно через месяц после смерти императрицы царь неожиданно сказал Долгорукой:

— Петровский пост кончается в воскресенье, на этот день я назначаю наше венчание.

Необычайный роман вступал наконец в свою завершающую фазу. Беспримерный адюльтер, в течение двух десятилетий привлекавший острое любопытство русских гостиных и европейских политических канцелярий, вместе с напряженной бдительностью Третьего отделения и всех иностранных послов, должен был вызвать теперь взрыв возмущения в царской фамилии и ряд иронических заметок в зарубежной печати: бракосочетание шестидесятилетнего коронованного вдовца с его молодой любовницей через месяц после похорон старой царицы признавалось повсеместно небывалым династическим скандалом.

Но старый император, напуганный покушениями, торопился узаконить своих трех внебрачных детей, возводя в сан царской супруги бронзоволосую фаворитку, самодержавно владычествующую над его поздними страстями.

Александр Второй принадлежал к поколению русских людей, открывших культ осенней, закатной, старческой любви. Горчаков, Вяземский, Тургенев, Тютчев — все они в разной степени и в несходных тонах переживали жгучие и осторожные влечения догорающей чувственности. Царь возглавлял эту плеяду влюбчивых старцев.

Быть может, ему были знакомы прозрачные и томительные строки его гениального камергера о «любви последней, заре вечерней...»

Впрочем, это началось давно, на полпути его земного бытия. И началось необычайно, почти сказочно. Царю шел сороковой год, княжне Долгорукой — всего девятый. Новый император, лишь за год перед тем вступивший на престол, мчался на маневры в Волынь. По пути он остановился в имениении своего флигель-адъютанта Михаила Долгорукова. Когда вечером, окруженный свитой, царь докуривал сигару на веран-

де, внезапно перед самым домом у цветущих куртин появилась прелестная маленькая девочка, шаловливо разглядывавшая гостей, видимо, в нарушение полученного запрета. Александр обратил на нее внимание и задал ей шутливый вопрос. «Я хочу видеть государя», — отвечала девочка. Царь, продолжая забавляться, просил «даму» показать ему сад и долго прогуливался с нею под шелестящими тополями юго-западного парка. Наивные глаза и легкие движения девочки полоснули по нервам опытного сердцееда. Это было почти невероятно, но самодержец всея Руси, вступавший в пятый десяток, безнадежно влюбился в резвящегося ребенка.

Когда через два года разорившийся Долгорукий умер от первого потрясения, царь взял полтавское имение под императорскую опеку и отдал дочерей покойного в Смольный.

Сюда приезжал он следить за развитием красоты своей питомицы. В залах огромного и стройного здания, воздвигнутого на самой окраине столицы великим итальянским зодчим, продолжались сдержанные, наэлектризованные и уже подспудно романнические встречи царя с подрастающей девушкой.

И вот — конец обучению. Выход из классных зал стройного здания Кваренги. Прогулки с царем в Летнем саду, по аллеям Елагина острова, в лесистых окрестностях Петергофа. И, наконец, свидания в далеком бельведере — и на прощание рыцарский обет и державное слово: «При первой возможности я женюсь на тебе...»

Долгие годы непризнанной страсти на виду у всего мира. Собственный ключ от потайной лестницы в холостую квартиру царя — интимные комнаты Николая Первого. Совместные путешествия в летние резиденции. В Царском, в Петергофе, в Ливадии, в Биюк-Сарае, на курортах, в европейских столицах — всюду в соседних отелях и виллах рядом с царем поселяется княжна «с газельными глазами» (так запомнил ее внешность посол Франции при Николае Втором Морис Палеолог, представлявший в 1881 году французскую республику на похоронах Александра Второго).

Но после тяжелой и бессмысленной турецкой кампании, когда она, фаворитка под вуалью, сопровождает царя в Бессарбию, делит с ним трудности похода, утешает в неудачах и утирает его слишком обильные слезы, спутница императора считает себя вправе уточнить свое двусмысленное положение царской любовницы. Если венчание пока неосуществимо, то уже теперь вполне возможна открытая общая жизнь в Зимнем дворце. Подлинная супруга царя должна быть всегда и перед всеми рядом с ним.

Осенью 1878 года над апартаментами Александра Второго поселяется в Зимнем дворце Долгорукая. Больная императрица уходит глубже в свои покой догорать и умирать в одиночестве.

Но тут глухо восстают и объявляют тайную войну фаворитке великие князья. Им-то ясна игра дворцовой интриганки! Она мечтает о царской короне для себя и для своего сына... Она хочет отстранить от престола законного наследника. А от слабеющего старика, помраченного последней похотью, можно ждать величайшего безрассудства!

Завязывается скрытая, глухая, отчаянная борьба сторонников цесаревича с партией Долгорукой.

Каждый придворный обязан выбрать и решить, на чьей он стороне. Граф Шувалов, грозный шеф Третьего отделения, не пожелал променять Романовых на «этую девчонку». — «Поздравляю тебя, Петр Андреевич», — сказал ему на ближайшей аудиенции царь. — «Могу ли узнать, чем вызвано поздравление вашего величества?» — «Ты назначаешься моим послом в Лондон». Глава государственной полиции целой империи дрогнувшим голосом благодарит за эту замаскированную опалу.

Из всех царедворцев самый верный и ответственный путь, грозящий полным разрывом с наследником, царской семьей и всей могучей романовской партией, выбирает первый советник императора.

— «...При сем, объемлю мыслию различные случаи, которые могут встретиться при брачных союзах членов императорской фамилии и которых последствия, если не предусмотрены и не определены общим законом, сопряжены быть могут с затруднительными недоумениями, мы признаем за благо для непоколебимого сохранения достоинства и спокойствия империи нашей присовокупить к прежним постановлениям следующее дополнительное правило...»

Лорис-Меликов, читавший государю текст старинного манифеста, взглянул на царя сквозь свои золотые очки. Тот слушал с напряженным вниманием.

— «Если какое лицо из императорской фамилии, — продолжал свое чтение министр, — вступит в брачный союз с лицом, не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии, и рождаемые от такого союза дети не имеют права на наследование престола...»

— Когда был издан этот манифест?

— Ровно шестьдесят лет тому назад, ваше величество, в момент бракосочетания его высочества Константина Павловича с княгиней Лович.

Всплыли далекие образы ранних лет. Царь помнил в детстве своего дядю — страшного, обезьяноподобного, с тяжелой звериной челюстью и длинными висячими руками, почти бесногого, покрытого жесткой рыжей шерстью, урода и распутни-

ка, замешанного в какие-то кровавые романические истории, о которых только осторожно перешептывались по углам. Вспоминал его дикие юродства: устроил для любимой гориллы Машки из лиц своей свиты особый двор, целый штат обезьяньих гофмаршалов, шталмейстеров, сбершенков. Бдительно наблюдал за исполнительностью их шутовской службы и приходил в ярость от малейшего недовольства своей лохматой любимицы. И этот страшный человек, влюбленный в обезьянку, был мужем юной польки, по нежности и очарованию превосходившей всех знаменитых красавиц Зимнего дворца. Жанетта Грудзинская, получившая при венчании титул княгини Лович, обожала своего звероподобного супруга.

— Ты не помнишь подробностей бракосочетания дяди Константина?

Лорис ждал этого вопроса и был подготовлен к нему.

— Синод разрешил развод Константина Павловича с великой княгиней по силе десятого пункта духовного регламента. Манифест о даровании графине Иоанне Грудзинской титула княгини Лович был расpubликован только в царстве Польском. Так совершился лучший из браков, государь, — брак в честь феи Морганы.

— А кто венчал?

— Сначала православный священник в церкви королевского дворца, а затем католический патер в каплице замка. Но случай, непосредственно интересующий ваше величество, — любезно улыбнулся Лорис, — несравненно проще...

— О да, ведь она русская, из рода Рюриковичей! Благодарю тебя, Лорис, за твои разыскания, благодарю от имени княжны и от моего собственного.

Великий визирь отвешивает низкий поклон своему повелителю. Он чувствует, как крепнет под ним пьедестал власти и растет его влияние над личностью монарха. Неожиданной matrimonиальной диверсией он посрамляет соперников и утверждает свое господство.

О, недаром еще четверть века назад хитрый наместник Кавказа «полумилорд» Воронцов любил поручать молодому ротмистру Лорис-Меликову самые сложные дипломатические дела. Писал о нем военному министру Чернышеву, как о «достойном и очень умном офицере, к которому сам головорез Хаджи-Мурат питает любовь и уважение».

Будущий диктатор уже в пору его адъютанства славился изощренной гибкостью и лукавой остротою мысли. В напряженной боевой атмосфере, среди фанатической ненависти горцев, он блестяще выполнял труднейшие политические поручения, несмотря на природную склонность своих восточных контрагентов к тончайшему дипломатическому искусству.

Этот счастливый дар кавказскому генералу пришлося развернуть полностью в бурный и кровавый год его диктатуры.

Облеченный властью, какую знали в России только Бирон и Аракчеев, Лорис-Меликов был окружен ненавистью революционеров и завистью высших сановников империи. В подполье его называли волком с лисьим хвостом, в верхах — «армянским шарлатаном». Все эти Валуевы, Маковы, Победоносцевы не могли простить ему его первенствующей роли. Всю тайну завоевания сердец и вкрадчивого подчинения людей своему невидимому влиянию Лорис должен был сосредоточить на самом императоре. Всю изощренность своего тактического дара он приложил к запутанному роману старого царя, возбуждавшему сложнейшую игру вражды и подпольных интриг в царской семье и в придворных кругах. Эту напряженную партию диктатору необходимо было разыграть с изощренной политической виртуозностью, — от исхода игры зависело его пребывание у власти.

Он наметил точную линию поведения и уверенно вел ее. Пусть в придворных кругах тревожно перешептываются, а парижские хроники оповещают Сен-Жерменское предместье и мир о том, что царь позабыл в объятьях Долгорукой всю величественность своего сана. Лорис-Меликов осторожно и тонко играет на царской страсти, уверенно ведя события к намеченной и неизбежной развязке.

АКТ

Тысяча восемьсот восемьдесятого года, шестого июля, в три часа пополудни, в часовне Царскосельского дворца его величество император всероссийский Александр Николаевич изволил вторично вступить в законный брак с фрейлиной княжной Екатериной Михайловной Долгорукой.

Мы, нижеподписавшиеся, бывшие свидетелями их бракосочетания, составили настоящий акт и подтверждаем его нашими личными подписями.

Царское село.
17 июля 1880 года.

Брак в честь феи Морганы был обставлен глубокой тайной. Был выбран момент, когда все царское семейство находилось в разъезде. Обряд происходил в большом Царскосельском дворце тайком от караульных офицеров, от камер-лакеев, даже от дворцового коменданта.

В уединенном маленьком зале на столике красного дерева был устроен алтарь: свечи, кольца, чаши. Царь в черном сюртуке. Долгорукая в суконном цветном платье.

Согласно ритуалу, генерал-адъютанты Баранов и Рылеев держат венцы над их головами.

По распоряжению царя протоиерей большой церкви Зимнего дворца исключает из обряда обращение к брачующимся: «облобызайтесь».

Слово, данное в Петергофском бельведере, наконец выполнено: «Не император женится, — сказал он приближенным, указывая на свой черный сюртук, а частный человек, исправляющий старинную ошибку и восстанавливющий репутацию девушки...»

Екатерина Михайловна Долгорукая получает титул светлейшей княгини Юрьевской.

Но этот титул и это имя, сочетающее имена представителей двух родов — Романовых и Долгоруких, — кажутся царю недостаточными.

Ему ведомы честолюбивые вожделения своей подруги, и втайне он сочувствует им: он должен увенчать свою последнюю любовь императорской короной.

Мечты Екатерины Долгорукой о власти возникли и крепли постепенно.

С первых же лет роман фаворитки тесно переплетается с текущей международной политикой. Она становится поверенной и советчицей одного из крупнейших суверенов мира. Ей открываются сокровенные источники государственных тайн и правительственные интриг, от разрешения которых зависят судьбы империи и миллионы человеческих жизней. Она первая узнает коварные и убийственные планы коронованных распорядителей человечества.

В 1867 году в Париже Александр, приехавший на приглашение Наполеона III любоваться всемирной выставкой, освистан в Судебной палате французскими адвокатами, встретившими его негодующими возгласами: «Да здравствует Польша!» Когда в одной карете с Наполеоном он возвращается с Лоншанского смотра, в него, на всем ходу экипажа, стреляет поляк Березовский. Царь вне себя от возмущения. И когда вечером в Елисейский дворец через укромную калитку с угла аллеи Марини и улицы Габриэль является взъявленная фаворитка утешить оскорблённого венценосца, он сообщает ей, грозя бесцветными очами, что даст в свое время урок Наполеону и отплатит сразу этому проходимцу и за Крымскую кампанию, и за неумение охранить в Париже его священную особу.

И, действительно, летом 1870 года в Эмсе, где рядом с Отель де-Катр-Тур — местожительством царя, — живет в укромной вилле Долгорукая, готовятся грозные события. Мечтутся великие жребии, кидаются на карту судьбы государств, решаются народные кровопролития. Наступает час царской мести.

Четыре дня подряд длительно, неутомимо и в строгом секрете за квадратный стол богатейшего апартамента Отель де Катр-Тур садятся четыре старика: Александр Второй, Вильгельм Прусский, Бисмарк и Горчаков. Тихий Эмс еле пле-щет вокруг говором отдыхающих обитателей, напевом фонтанов и отдаленным звоном венских вальсов. А за квадратным столом, наклоняясь над штабными картами Европы и просматривая оперативные планы будущей кампании, где учтены все ситуации, взвешены все шансы и рассчитаны все ответные ходы противника, — четыре старца бесповоротно принимают кровопролитнейшую меру: Пруссия нападет на зарвавшуюся Францию и, при дружественном нейтралитете России, положит конец Наполеонову владычеству.

(Царь Александр ненавидит высокочку, проходимца, авантюриста на троне — Наполеона III. Ведь если бы не Крымская кампания, до сих пор Россия дремала бы под отеческой опекой монарха... Никаких реформ! Никаких освобождений! Чернь во власти просвещенного дворянства — без всяких комитетов и земств. В 1864 году царь даже мечтал устроить всенародные воинские празднества по поводу пятидесятилетия взятия Парижа. Международная демонстрация мощи русского оружия и одновременно вселенская оплеуха французскому правительству. Но Горчаков вовремя отговорил. Все-таки Париж брали пятьдесят лет тому назад, а Севастополь сдали вчера... Дал понять: не следует становиться в смешное положение...)

Через месяц в том же Эмсе прусский король отказывает в приеме французскому послу. Бисмарк редактирует провокационную депешу. На другой же день парижская толпа оглашает город негодящими криками: «В Берлин! В Берлин!...» Движутся армии, падает Седан, и прусские войска вступают в Париж. В кабинете Бисмарка знаменитый парижский адвокат Жюль Фавр, освиставший за три года перед тем Александра Второго, проливает бессильные слезы отчаяния, представляя пред лицом победителя разгромленную Францию.

Царь сообщает Долгорукой свои новые тревоги: его смущает ослепительная победа пруссаков. Нет ли в этом угрозы России? И когда через пять лет императорская Германия снова готовится броситься на Францию, царь мчится в Берлин помешать новой войне, уже грозящей его собственному могуществу. Долгорукая поселяется на Унтер ден Линден, в отеле рядом с русским посольством.

Здесь навещает царя в своем белом кирасирском мундире князь Бисмарк.

— Ваше императорское величество, Франция становится опасной для германского народа. Она оправляется слишком быстро. Ее нужно спешно обуздать, прежде чем она восстановит свое военное могущество. Не то, где гарантия, что через тридцать-сорок лет она не отторгнет от Германии Эльзас-Ло-

тарингию вместе с Саарским бассейном и не потребует контрибуции в двадцать миллиардов?

Но царь боится участия Эльзаса для своих Прибалтийских губерний. Великая Германия не вызывает сочувствия в правительствах соседних государств. Нужно вовремя остановить эту грозную волю к власти. Ошибка эмского соглашения на этот раз не повторится. Верховный вождь русской армии откладывается на спинку кресла и с холодной отчетливостью каждого слова сообщает рейхсканцлеру:

— В случае новой войны Германии с Францией, Россия не станет сохранять нейтралитет.

В приемном зале русского посольства на Унтер-ден-Линден протекают безмолвно мгновения. Длится пауза. История застыла и ждет. Два человека в военных мундирах с бесстрастной враждой молча смотрят друг другу в глаза.

И вот снова голос, решаются судьбы народов, течет своим током история.

Строитель германской империи обворожительно улыбается. С благодушием великого дипломата он любезно подносит царю примирительную реплику:

— Смею уверить, ваше величество, — ласково звучат басовые тембры искуснейшего оратора, — что германский император не имел в виду объявить в данный момент войну французской республике.

Царь встает и торжественным жестом жмет руку премьеру своего державного дядюшки. Отсрочена новая схватка европейских армий.

В тот же вечер на придворном балу Александр сообщает французскому посланнику при берлинском дворе: «Войны не будет».

Обо всех этих высших напряжениях международной политики, готовящихся взрывах, трагических усилиях, смертельных опасностях, назревающих катастрофах царь в ту же ночь сообщает Долгорукой. В течение долгих лет молчаливая, мало-заметная, скрытая в тени молодая женщина с бронзовыми волосами и газельными глазами посвящается во все важнейшие государственные тайны, наблюдает за возникновением огромных политических течений, следит за мировыми событиями в их таинственных истоках, присутствует при первых скрытых и грозных колебаниях исторических судеб. Она привыкает к дурманящей роли политической наперсницы царя. Она отвечает на его державные заботы, втягивается в эту игру международных столкновений, составляет себе симпатии и мнения, невидимо влияет и неощутимо направляет волю царя.

Она ощущает себя на головокружительной высоте неизмеримого владычества. И в этой разреженной атмосфере самодержавного могущества, в этих ледяных вихрях государственных интриг, все чаще и чаще охватывает ее душу гибельная отрава

страшного вопроса: не она ли, спутница и советница царя, предмет его обожания и мать его любимейших детей, является подлинной русской царицей?

Вопрос этот, однажды возникнув в сознании, уже никогда не покидает его.

Свадебное путешествие в Ливадию было обставлено интимно, но не без парадности. Новобрачных сопровождали видные сановники из личных друзей царя. Недавний начальник верховной комиссии, по собственному желанию «разжалованный» в министры внутренних дел, возглавлял царскую свиту.

Августовское солнце Тавриды смягчает сердце и расковывает язык, как сладостный сок южнобережных лоз. Лорис ощущает себя в ласковом охвате родимого зноя: солнечный блеск, аулы и горы, магнолии и каменные чалмы на магометанских кладбищах. Небо словно голубая мечеть в Тебризе. Уж не армянские ли нагорья, синея, уходят вдаль скалистыми отвесами, не виноградники ли Кахетии струят свой душистый сок в его бокал? — «Не порицай, мулла, к вину мое влеченье», — медлительно выпевается любимая газела, пока с блаженной улыбкой утомленный диктатор отвлекается от жандармских донесений, телеграфных сводок и газетных вырезок.

Кротость воздуха действует на всех. Царственный молодожен расположен к признаниям и задушевным беседам. На террасе дворца, лаская маленького шустрой Гогу, он роняет Лорис-Меликову в припадке старческой откровенности и жестокой обиды на своих гессен-дармштадтских сыновей, возмущенных скандальной женитьбой отца:

— Этот — настоящий русский, хоть в нем, по крайней мере, течет русская кровь!

Старый царедворец мгновенно соображает всю сложную диспозицию: царь тайно замыслил перемену в порядке престолонаследия. Не задумываясь, выученик Воронцова подает свою реплику:

— Когда русский народ узнает этого сына вашего величества, он восторженно скажет: вот этот поистине наш!

Царь самодовольно улыбается в свои надушенные подушки и мечтательно устремляет вдаль стекловидный взгляд. Сквозь темные обелиски кипарисов перед ним феерически сребрится морская скатерть. Кому суждено взойти после него на российский престол?

— У нас только государыня-цесаревна, ваше величество. России нужна императрица.

— Ты думаешь?..

— Ведь Петр Первый, разведясь с царицей Евдокией, короновал Екатерину. Почему бы великому правнуку не последовать примеру великого праплура?

Царь благосклонно принимает намек и ласково глядит в оливковое лицо своего премьера.

— Но только как обставить новую коронацию?

— Необходим манифест с историческими ссылками. Нужно обследовать московские архивы и документы департамента герольдии...

— Ты прав, Лорис. Пора жене моей сидеть на придворных обедах против меня, а не в конце стола между Ольденбургскими и Лейхтенбергскими.

Вице-император склоняет голову. Исход затеянной партии выступает перед ним с ослепительностью южного моря в траурной раме кипарисов. Никаких Александров Третых, — новая императрица Екатерина Третья, наследник-цесаревич Георгий Александрович. При них бессменный диктатор — светлейший князь Лорис-Меликов.

В аллеях парка и в залах Ливадийского дворца прочно завязываются узлы нового дворцового заговора.

Через неделю генерал-адъютант Лорис-Меликов удостаивается высочайшей милости и награждается императорским орденом апостола Андрея Первозванного. Это равносильно почетнейшему подарку Востока — халату и вазе с розовой водой. Диктатор созрел для высших государственных отличий.

ПРИГОВОР 26 АВГУСТА

Не хвались, государь, искусством
борьбы, юный Автандил искуснее тебя.

Руставели. «Барсова шкура».

Жизнь продолжалась. Смерть бодрствовала. Власть устрашала. Художники метались и теряли рассудок. Боролся с подступающим сумасшествием Глеб Успенский, мучительно ощущая, как вся низость жизни одолевала светлую силу его творящей личности. В отдельных кабинетах «Малого Ярославца» задыхался гениальный Мусоргский, вызвавший недовольство царской семьи народными сценами своих непризнанных опер. Вином заливал свою глубокую безнадежность поэт Фофанов. Последние горестные сарказмы бросал из своего одиночества в глухую современность старый Салтыков.

Прокуратура действовала. Казематы наполнялись. Заключенные пытались собственными силами предупредить в своих камерах исполнение официального приговора. В июле Лорис-Меликов писал из Царского села цесаревичу о необыкновенном количестве самоубийств среди политических — арестованные вешались на простынях и полотенцах, отравлялись раствором фосфора, вскрывали себе вены. Диктатор был смущен количеством этих добровольных казней.

Императорский кат Фролов продолжал палачить на площадях и кронверках царской столицы.

В декабрьском листке «Народной воли» было напечатано:

4 ноября в 8 ч. 10 м. утра в Иоанновском равелине Петропавловской крепости повешены социалисты-революционеры Александр Александрович Квятковский и Андрей Корнеевич Пресняков.

«...Правительство убило их тайком, в стенах крепости, вдали от глаз народа, перед лицом солдат. Какое соображение руководило палачом? Почему Лорис-Меликов, смаковавший смерть Младецкого на Семеновском плацу, не задушил и этих всенародно?.. Не потому ли, что народ берется за ум? Не потому ли, что настроение масс таково, что грозит собственной шкуре начальства?..»

В том же номере помещено краткое сообщение:

«Исполнительный комитет заявляет, что произведенное в прошлом году под г. Александровском и подготовленное под Одессой покушение на жизнь царя произведены по инициативе его, Исполнительного комитета, согласно с общим планом, установленным осенью прошлого года, с целью приведения в исполнение смертного приговора над Александром II, постановленного Исполнительным комитетом 26 августа 1879 года».

— Революция обезглавлена, ваше величество.

Так начал свой очередной доклад царю граф Лорис-Меликов в первую субботу великого поста 28 февраля 1881 года.

— Это сообщение департамента полиции, государь, имеет историческое значение. Все, что сообщено мне нынешней ночью, будет иметь огромные последствия для успокоения государственной жизни. Вчера вечером арестован глава шайки террористов, готовивших покушение на священную особу вашего императорского величества. Его зовут Андрей Желябов.

Министр перелистал сшитые документы довольно объемистого полицейского дела.

— Как ваше величество изволит судить по обилию материалов, злодей давно уже состоит под наблюдением высшей жандармерии. Верховой полиции удалось установить ряд крайне подозрительных действий арестованного, клонящихся к несомненной подготовке злодейского покушения. В Одессе он сошелся с лейтенантом Рождественским и заметно интересовался действием мин и торпед. Пристально наблюдал за опытами с взрывчатыми веществами. Отправлялся с матросами на рыбную ловлю за город и с чрезвычайным вниманием следил за тем, как эти военные рыболовы кидали в стаю скумбрий пироксилиновой шашкой, легко подбирая всплыvавшую на поверхность оглушенную добычу. Очевидцы передавали, что при этом у него раздувались ноздри, глаза готовы были выскочить из орбит и весь он дрожал от удовольствия... И вот этот якобинец возымел дьявольскую мысль приложить артиллерийскую технику последней войны к революционному террору.

Лорис вынул из папки последний, самый свежий документ.

— Вчера вечером полиция производила арест одного подозрительного лица в меблированных комнатах Мессюро на Невском против Аничкова дворца. Из комнаты вышел чрезвычайно красивый высокий человек лет тридцати с волнистой черной бородою и спокойно направился к выходу. Дверь была заперта. Он вынул револьвер. Его тут же обезоружили. Держал себя дерзко и насмешливо; заявил, что в другом месте сумел бы отстреляться и уйти от ловцов — «знаю, мол, что

я лакомый кусок для правительства». Относительно револьвера сострил, что он ему обошелся дешево, так как был куплен вместе с целой партией оружия. Когда в доме предварительного заключения прокурор заявил ему: «Я вас помню по делу 1874 года, вы Желябов», — тот с усмешкой ответил: «Ваш покорнейший слуга»... Он не скрывает, что руководил подкопом под полотно железной дороги под Александровском при проследовании вашего величества минувшей осенью из Ливадии.

Начальник верховной комиссии по охране государственного порядка с глубочайшим удовлетворением закрыл свой портфель и заключил свой доклад:

— В одном злодей несомненно прав: он представляет собой лакомый кусок для правительства. Без Желябова его преступные сообщники не представляют серьезной опасности. В его лице разгромлена вся банда. Отдельные выступления уже не страшны. Из предосторожности я взял бы на себя смелость рекомендовать вашему величеству воздержаться от завтрашнего выезда на развод. Но не может быть сомнения, государь, что пресловутая Народная воля растоптана.

Царь весь в слезах обнял своего спасителя. Тот благоговейно облобызal монаршую руку.

Вечером придворные при выходе из малой церкви Зимнего дворца приносили говевшему монарху поздравления по поводу причащения царской семьи святых тайн.

— Поздравьте меня вдвойне, — благосклонно отвечал своим камергерам император, — Лорис сообщил мне, что главный террорист арестован и преследовать меня больше не будут.

В это время в пустынной квартире у Вознесенского моста молодой техник-изобретатель с двумя помощниками осторожно и точно орудовал своими изощренными приборами. Ярко горели лампы, трещал камин, и терпкий удущливый запах реял по комнатам. Стол был заставлен ретортами, банками, бутылками. Бесшумно пылала спиртовка, и нервно подрагивали аптекарские весы. Техник устанавливал в прочной жестяной коробке сложную систему стеклянных, медных и каучуковых трубок, наполняя их серной кислотой, бертолетовой солью и гремучей ртутью. Установив иочно закрепив всю систему тонких канальцев, он подвесил к внутренней стеклянной соломинке тяжелую свинцовую гирьку и наполнил всю коробку нитроглицериновым студнем. Изобретенный аппарат смерти был заряжен. (Ровно через месяц прокурор Муравьев сообщал особому присутствию сената: «Действие этих снарядов неотразимо, их устройство основано на такой системе, в которой составные части друг друга продолжают и восполняют, исключая всякую возможность неудачи...») С чрезвычайной предус-

мотрительностью, размеряя шаги и движения, химик поставил свой механизм на прочный мраморный стол в глубине лаборатории. Затем он посмотрел на часы и торопливо принялся за дальнейшую работу. Перед ним стояли еще три пустые жестянки, ожидающие такого же наполнения.

— Точно соблюдайте формулу, — сказал он помощникам, — радиус взрыва до двух сажен с разлетом заряда в диаметре на двадцать сажен! Не забывайте основных уравнений. Смерть проверим высшей математикой...

Техник работал в тишине и, видимо, в полной неизвестности. В Петербурге действительно очень немногие знали, что молодой лаборант Николай Иванович Кибальчич был изобретателем выдающегося летательного аппарата и нового вида разрывных снарядов необычайной точности и разрушительной силы.

Кальфурния умоляла Цезаря в день мартовских Ид не идти в сенат: в храмах гудели щиты, среди улиц Рима окотилась львица, всю ночь бушевала гроза, — средь облаков, в огне, сражались всадники, и кровь лилась на Капитолий. А главное — носились глухие толки о заговоре сенатских аристократов на жизнь диктатора.

Неизвестно, думала ли об этом ровно через 1925 лет в первый мартовский день унылой северной зимы светлейшая княгиня Юрьевская, упрашивая Александра Второго воздержаться от выезда в манеж на воскресный развод. Но она уговаривала его с настойчивостью римской матроны. Уже два воскресенья подряд царь уступал ее настоянию и пропускал военные церемонии.

Именно потому Александр считал необходимым на этот раз появиться перед гвардией. Тем более, что глава анархистов был схвачен и шайка его обезглавлена. К тому же развод от любимой части — лейб-гвардии саперного батальона. Наконец царь соглашался миновать Невский и Малую Садовую, где, по слухам, готовился подкоп. Он готов был ехать необычным путем — набережной Екатерининского канала: «Полиция настороже, и казачья охрана не выдаст».

— Но только, чтоб обратный путь не повторил первонаучального маршрута, — предостерегала Юрьевская, следуя указаниям своего предусмотрительного друга Лориса.

Царь не возражал.

До отъезда он успел подписать два важных государственных акта. Ровно в половине одиннадцатого он скрепил своей подписью указ правительствуему сенату о созыве комиссии из выборных всех губерний. Он решился наконец осуществить двадцатилетний проект о призывае к участию в правительстве гласных от земств и городов. Лорис-Меликову удалось вырабо-

тать формулу, ни в чем не стеснявшую самодержца и никому из призванных не предоставлявшую власти, при внешней видимости народного представительства. Правда, в интимном кругу старый царь сравнивал новую меру с роковым призывом нотаблей при Людовике XVI. Но Лорис убедил его, что созыв законосовещательной комиссии откроет возможность государю короновать княгиню Юрьевскую — и это устранило все колебания. Одновременно с проектом опубликования нового закона об «общей комиссии» министр изготовил текст манифеста овенчании морганатической супруги императрицей. Этот акт был интимно дорог Александру. Срок опубликования его еще не был окончательно установлен, но самый вопрос был решен бесповоротно. Царская подпись размашисто и радостно скрепила секретный документ о новой русской царице.

Ровно в полдень доложили о приезде его императорского высочества. По заведенному воскресному обычаю прибыл в Зимний дворец со своим губернером-англичанином старший внук царя, двенадцатилетний Никс, первенец цесаревича Александра. Подросток был миниатюрен, уклончив, застенчив. Гладкий проборчик, вытянутый уточкой носик, малый рост, неуверенность движений, ускользающая улыбка. Таким ли полагается быть будущему самодержцу? Старый царь недоверчиво оглядывал внука. «То ли дело Гога? Юный богатырь! Никс же весь в мать, в малокровную датскую родню. В нем ничего романовского, — крупного, статного, властного. Таковы ли его отец, дед и прадед?..»

Он подошел с внуком к большому зеркалу в вычурной раме позднего рококо. Перед ним во весь рост стоял в мундире лейб-гвардии саперного батальона, с прусским орденом *rou le théâtre* на шее, большой и дряхлеющий император всероссийский. Он созерцал свое отражение с тем условным, издавна сочиненным выражением лица, которое по-актерски вызывал в себе всегда перед зрителями: смесь величия и благосклонности, непрступности и милости. Это была трудная мимика, вся сотканная из контрастов — не то что гневный лик и ледяной взор покойного отца. Освободитель должен был приветить сквозь грозу, преобразователь — обращаться с недосягаемой высоты престола к сердцам верноподданных. Александр стремился оживить свои стеклянные зрачки лучом высочайшей приветливости и смягчить свою тяжелую маску чуть заметным предвестием улыбки. Но густые усы, брови и бакенбарды придавали пасмурную суровость его холодному облику, и никакие старания не могли оживить искрой сочувствия смертельную бесцветность его неподвижного взгляда.

Царь любовался собою около минуты. В общем был доволен своей выпрекой и видом, — никакой лысины, мало седины. Красные лацканы оживляли восковидную плоть обвисающей кожи. Не согбен, не сутул. Строен и гибок. Ревматизм и одыш-

ка — пустяки. Лейб-медик Боткин предсказывает еще три десятилетия: там когда-нибудь в 1910 году он, престарелый монарх, опочиет... Но где-то глубоко тайный червь невидимо и упорно подтачивал эти успокоительные мысли. Постарел, стал слаб, дряхлеет с каждым днем, гаснут желания, изменяет память, падает энергия, теряется вкус к жизни... Что это — старость или, может быть, уже конец?

Из вычурной рамы на него смотрели в упор водянистые выпуклые глаза, неожиданно оживленные выражением смертельного испуга. Он отвел взгляд от своей бледной маски. Снизу мальчик украдкой взирал на строгий облик деда. Тот заметил его в зеркале, изумился: прямое потомство — и как не похож! А между тем их роднит общность призвания, быть может, одинаковая жизнь и смерть венценосцев...

Он отошел от зеркала. Взгляд скользнул по большому семейному портрету. В пышной бронзе под императорскими регалиями на вершине рамы стоял во весь рост, сверкая ботфортами с рыцарскими раструбами, дед царя — Павел Первый. Тяжеловесная корона огромной несуразной шапкой сдавливалась впалые виски под прусскими буклями бледнолицего монарха, а брыжжи туго охватили своим кружевным кольцом царскую шею, увенчанную цепью огромного мальтийского креста.

Никс, вздернув утиный носик, пристально всматривался в смертную маску своего казненного пращура. В дворцовой гостиной стыла тишина.

После легкого завтрака царь равнодушно простился со своим будущим преемником. К часу дня в шинели саперного ведомства и с бобром вокруг горла он вышел на дворцовый подъезд.

Пасмурное снежное небо повисло над городом. Черно-лиловые тучи тяжеловесно клубились над бронзовыми конями гигантской арки. В нависшем сумраке багровые стены Главного штаба, казалось, сочились темной старческой кровью. Вспомнился страшный чиновник с узкими глазами малайца, настигший его в прошлом году у стен этого кровавого здания.

Синий новомодный экипаж с голубыми басонными шнурами, сверкая зеркальными стеклами, золотыми шифрами на дверцах и резными коронами над хрустальными фонарей, подкатил, подрагивая и лоснясь, к подъезду.

Ровно в час без четверти Александр Второй отъехал от Зимнего дворца. Царская карета, как колесница приговоренного к смертной казни, была окружена казачьим конвоем.

По воскресным дням глава русской медицинской школы Сергей Петрович Боткин никуда не выезжал и никого не принимал. В этот день отдыхал он от клиник, аудиторий, анатомических театров, санитарных комитетов, приемов и консилиумов. В своем домашнем черном бархатном пиджаке,

общитом широкой тесьмой, он погружался в кресло и медленно читал русских поэтов. Брат известного художника и даровитого автора «Писем об Испании», знаменитый терапевт раз в неделю отдавал дань своим фамильным художественным склонностям. Над элегиями и подражаниями древним он отрадно забывал анатомию и патологию, окраску рвот и густоту каловых масс, чумные бубоны и сифилитические язвы. Он пересаживался от письменного стола, над которым висели портреты великих учителей — Рудольфа Вирхова и Клода Бернара, — в глубокое кресло у далекого столика под черным бархатом рембрандтовской гравюры. Отодвигая в сторону медицинские журналы и курортные рекламы, он неспешно развертывал небольшие томики стихов. Особенно любил он тешить усталую мысль воздушными кантиленами своего зятя Афанасия Афанасьевича Шеншина, почтительно доставлявшего ему из своих яблоневых садов новые тетради лирических творений.

В это воскресенье Сергей Петрович, по заведенному обычаю, безмятежно и недвижно докуривал сигару, блаженно растворяясь в напевной стихии магического словесного скрипача. Его ритмично покачивали волнообразные звуковые течения:

Но в свежем тайнике куста
Один певец проснулся вешиний,
И так же песнь его чиста
И дышит полночью нездешней...

В это время, вопреки запрету, в кабинет постучались. Курьер из Зимнего дворца экстренно явился за лейб-медиком его величества.

Через час императорский штандарт, неизменно веющий над Зимним дворцом, медленно опустился до половины флагштока.

В это время знаменитый клиницист подписывал в царском кабинете исторический бюллетень:

«Сего 1 марта в 1³/₄ дня государь император, возвращаясь из манежа Инженерного замка, где изволил присутствовать при разводе, на набережной Екатерининского канала, не доезжая Конюшенного моста, опасно ранен, с раздроблением обеих ног ниже колена, посредством подброшенных под экипаж разрывных бомб. Один из двух преступников схвачен. Состояние его величества, вследствие потери крови, безнадежно».

Официальное сообщение несколько продлило жизнь и сознание царя, стремясь затушевать факт его убийства на уличном тротуаре с размозженными ногами и растерзанным телом. Во дворец он был доставлен с еле заметными признаками жизни, почти трупом. Мундир лейб-гвардии саперного батальона был разодран в клочья. Почти ни следа от брюк и сапог — одна сплошная окровавленная масса из мускулов, кожи и костей. Лейб-медик Боткин еле расслышал предсмертные пузырчатые хрипы агонизирующего.

Правительственная легенда сохраняла хотя бы декорум более соответственного медленного умирания царя в своем дворце, среди врачей, родных и духовенства, после принятия святых тайн, по всем правилам православной кончины.

Отложив бесполезные инструменты и отерев окровавленные руки, царские врачи подписывали акт смерти, составленный Лорис-Меликовым.

Толпа молчаливо заливала Дворцовую площадь.

С балкона над Салтыковским проездом генерал-адъютант возгласил о перемене царствования.

Над Зимним дворцом ширококрылою ночною птицею разевалось черное знамя.

На вороном коне с траурной сбруей императорский герольд в черном бархатном кафтане с белоснежными брыжжами, в широкополой шляпе с загнутым назад пером выезжает на шумные перекрестки столицы.

У него на груди и спине горят шитые золотом царские короны и высоко вздымаются в протянутой руке серебряный жезл с червонным орлом.

За ним — верховой сенатский секретарь в перьях и бархате в сопровождении взвода кавалергардов с четырьмя трубачами, вздывающими в небо свои горны, повитые крепом.

Развивая свиток, герольд возглашает обитателям Невского и Садовой, Васильевского и Коломны, Семеновского полка и Галерной гавани, что священные останки в бозе почившего венценосца будут перенесены из Зимнего дворца в собор Петра и Павла в такой-то час такого-то числа.

В это же время Лорис-Меликов убеждал нового императора обнародовать указ о созыве выборных депутатов в законодательную комиссию.

— Это вернейшее средство, ваше императорское величество, изолировать революцию и обессилить террор. Новому царствованию подобная мера сразу придаст характер передового движения века. «Когда идет караван, не отставай», — поют зурначи моей родины. Такая диверсия вернее всего упрочит власть в руках единодержавного монарха.

Для разрешения важнейшего вопроса об органическом изменении государства новый царь повелел созвать совет министров под своим личным председательством в ближайшее же воскресенье.

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обладая восточным лукавством, он не обладал принципами Маккиавеля, а потому власть безгранична была ему не по силам.

Из газет 80-х годов

Граф Лорис-Меликов в полном генеральском мундире с голубой лентой и звездою ордена Андрея Первозванного на груди, весь сверкающий и пестрый, как воитель с персидской миниатюры, приветствует в малахитовом зале Зимнего дворца виднейших государственных сановников и ближайших царских родственников.

Предстоит первое заседание совета министров под председательством нового царя Александра Третьего.

Вдоль медно-зеленых стен с жестким ледяным блеском колышутся и переливают красками облачения военных, морских и гражданских чинов. Шитые золотом мундиры камергеров, серебряющиеся муаровые ленты Белого орла по жилетам, пестрая эмаль и чеканные узоры орденских знаков мерцают и вспыхивают вдоль жилковатых глыб зеркально отполированной гостиной. Среди парада и блескания одежд выделяется своей монашеской строгостью один только черный глухой мундир обер-прокурора святейшего синода.

Министры и князья охвачены смутной тревогой и томительными опасениями. В Петропавловском соборе под парковым балдахином, раскинутым во всю ширину церкви, на высоте гигантского катафалка еще лежит среди бархата, горностая и регалий недельный труп старика с густой кисеей вокруг нагрированной головы и тяжелой порфиroy, перекрывшей раздробленные голени. От всей эпохи реформ остался только мертвец в преображенском мундире, искусно препарированный для показа толпе знаменитыми анатомами медико-хирургической академии.

Новая власть еще не упрочилась на зыбкой почве, сотрясаемой взрывами. Все запуганы грозными толками и зловещими вестями. Носятся смутные слухи, что в самый день погребения Александра Второго будут произведены покушения на молодого царя, на принца Уэльского и кронпринца прусского. Сорок восемь человек, переодетых извозчиками, откроют в четырех

местах перекрестную стрельбу. Зимний дворец окапывали рвом; секретная полиция распространяла сведения, что землекопы успели перерезать семнадцать проволок от мины. Какие-то таинственные личности приобрели певческие кунтуши для проникновения в собор к моменту отпевания.

Собравшиеся сановники еле вступают в беседу. Все подавлены значением и смыслом предстоящего совещания. Все чувствуют, что сегодня решатся судьбы возникающей новой эпохи, определится направление целого царствования, устанавливаются вехи, по которым отныне двинется русская история. Два три часа корректного собеседования представителей династии с виднейшими «мужами совета» решат общий ход верховной политики и на долгие десятилетия предопределят участь много-миллионной империи.

Ровно в два часаober-гофмаршал осведомляется от имени его величества, все ли приглашенные налицо.

У входа, меж малахитовых колонн, появляется грузная, словно выточенная из многоголовой гранитной глыбы, огромная фигура в генеральском сюртуке с белым Георгиевским крестом на шее. Густые длинные бакенбарды почти сливаются в окладистую бороду. Новый царь, тяжеловесно ступая по паркету шагом командора, приглашает собравшихся перейти в залу заседания.

Малиновая гостиная вдовствующих императриц превращена в конференц-зал Государственного совета. Вдоль длинного стола, перекрытого пурпуром, усаживаются в глубокие гамбсовы кресла военные, гражданские и морские сюртуки, переливающие красками и лучами. Наискось против царя чернеет глухой мундир ober-прокурора.

Упирая в генеральский воротник свою бороду, новый царь исподлобья озирает собрание. (Этот упрямый наклон головы заслужил ему в великокняжеской среде прозвание «бычка».) В душе он считает состав совещания чрезвычайно пестрым и разнохарактерным: кряжистый старец Строганов, принесший в шестое царствование свою преданность династии, и баловень успехов Валуев, щеголяющий своим дутым европеизмом; верный слуга монархии Маков и либеральный пролаза Абаза; а главное — вернейший оплот алтаря и трона Победоносцев рядом с этим армянским акробатом, решившим ограничить на западный лад самобытную власть Романовых. Не первый ли долг монарха — придать единый тон и цельный облик палате своих советчиков? Александр Александрович считает себязнаком русской истории и древностей (любил романы Загоскина и Лажечникова). Он склонен придать глубоко национальный характер программе нового царствования и навсегда покончить с космополитизмом и конституционными бреднями.

— Господа! — раздается сдержанный, почти робкий голос, и новый император не без смущения дебютирует в своем совете

министров. — Я собрал вас сегодня для обсуждения вопроса в высшей степени важного. Граф Лорис-Меликов докладывал покойному государю о необходимости созвать представителей от земств и городов. Мысль эта в общих чертах была одобрена покойным батюшкой, но...

Перед царем проекты рескриптов, плотно прижатые массивным серебряным пресс-папье, весом в несколько фунтов: слон изогнутым хоботом вздыпал на воздух дубовый ствол (было известно, что наследник-цесаревич считался любителем стариинного серебра русской чеканки). Огромной рукой он легко отодвигает тяжеловесную безделушку с пачки государственных актов.

Перелистывая всеподданнейшие доклады диктатора о введении народного представительства в империи и пробегая взглядом по журналам совещаний и проектам правительенных сообщений, он заключает свое вступление многозначительным выводом:

— Но вопрос не следует считать предрешенным. Прошу вас высказать мне ваше мнение относительно всего дела, никаколько не стесняясь.

Точка зрения нового царя на «конституцию» известна всем участникам совещания. На заседаниях у Александра Второго наследник решительно представлял реакционную оппозицию, открыто иронизируя над планом привлечения в состав правительства «неудобных крикунов и адвокатов».

Вступив на престол, он твердо решил пресечь либеральные планы петербургских сановников. Сторонник монархической диктатуры, поклонник системы своего деда Николая Первого, адепт сильной власти во что бы то ни стало, он повернет Россию обратно к эпохе воинствующего самодержавия, влиятельного дворянства, авторитетной церкви, тайных судов и безмолвствующей печати. Российская империя не есть достояние ищущих популярности политиков, она была и остается вотчиной дома Романовых, по-отечески жалующих и карающих своих подданных, не спрашивая на то мнения земств и городов или согласия своевольных министров.

Но на восьмой день своего царствования, в напряженной и смутной атмосфере переходного момента, под страшной угрозой новых террористических актов, среди активных сотрудников покойного государя, еще занимающих все главнейшие посты, он считает необходимым лавировать, выжидать и маневрировать.

Царь предоставляет слово автору проекта — графу Лорис-Меликову.

Бархатный диктатор еле скрывает свое волнение. Такой ответственной и решительной партии ему еще никогда не приходилось играть. На карте стояло все: судьба государства, участь его конституции, стиль и тема новой власти, самый вопрос об его дальнейшем участии в правительстве.

Он знает, что политические враги уже бросают ему за спиною обвинения в смерти государя. В него мечутся осуждения и укоры за упущения, недосмотры, послабления. Борзописцы монархических листков прозрачно намекают на лиц, облеченные высшими полномочиями и вносящих одним росчерком пера, под влиянием прелестниц заморского происхождения, смуту и брожение в общество: «...Упитанные, в блаженном состоянии, как накурившиеся опиумом, они, не ведая сами, что творят, думая только об эротических наслаждениях, забыли Бога, забыли святой долг, охрану монарха, спокойствие стомиллионной страны...» Необходимо отразить эти удары из-за угла и одним решительным ходом опрокинуть клеветников и завоевать победу. Так отчаянный игрок в последний раз идет ва-банк с револьвером у виска.

И вот вкрадчиво и спокойно, ласково и с предполагаемым приветом к каждому участнику совещания граф Лорис-Меликов, блестая своим парадным облачением, обращается к высокому собранию.

С траурной нотой в голосе называя покойного государя, министр напоминает, что в самое утро трагического дня, за три часа до своей смерти, Александр Второй подписал доклад Лориса о созыве комиссии.

— Не есть ли это подлинное завещание почившего императора и притом завещание, кладущее последнюю черту на общий характер его царствования, совершившего важнейшие преобразования в быту всех сословий России?

Лорис знает: он окружен врагами. Во всем собрании только два-три участника сочувствуют его идее, но из личных соображений они не станут бороться за нее и даже сделают все, чтобы сорвать его дело.

Двадцать три слушателя бесстрастно внемлют вчерашнему диктатору, еле скрывая под масками ледяной невозмутимости сложную борьбу противочувствий. Лорис говорит свободно и выразительно, но легкий налет тифлисского диалекта невыносим для строгого уха петербургских бюрократов. С полу презрением внемлют они этому провинциальному, ставшему верховным правителем Российской империи.

Слово для обсуждения доклада царь предоставляет старейшему участнику совещания, девяностолетнему Строганову. Родившийся при Екатерине Второй, он дожил до восшествия на престол Александра Третьего. Сын знаменитого красавца барона Строганова, воспетого Байроном и убедившего Геккернов стреляться с Пушкиным, Сергей Григорьевич приобрел двойную славу выдающегося археолога и бессердечного эгоиста. Участник Бородинского сражения, вступавший с Александром Первым в Париж, соратник Шишкова в борьбе с идеями декабристов, он весь теперь как-то выцвел и обессилен: волосы, лицо, глаза — все истощено и словно изъедено

старостью. От прежней скульптурности и медальной прямолинейности черт сохранились только их крупные размеры — мясистый нос, тяжелый подбородок, выпуклые аркады бровей. Вялый мох прикрывает сморщенную плешь этой человеческой руины — обвислые усы, остатки височных зачесов. Тяжело опускаются над стекленеющими зрачками расслабленные веки, и беспомощно отвисает тяжелая старческая губа, придавая всему лицу выражение гадливости и отвращения. Всем существом своим он знает: сегодня его последнее выступление на государственном поприще. Смерть уже держит его в своих цепких лапах. Ему уже ничем не удержать последних сладостных капель иссякающей жизненной влаги: вот протечет сквозь пальцы и вся прольется... Никакие лейб-медики не помогут! Коллекции ваз и монет, собрания полотен и эстампов, рукописи и инкунабулы — все эти бесценные сокровища, собранные почти за вековую жизнь, навсегда выпадут из его беспомощных рук. Как он понимал теперь кардинала Мазарини, который в агонии велел взвести себя в свою картинную галерею и горько плакал, прощаясь с любимыми полотнами. Перед этой личной драмой — как пусты и незначительны все эти государственные совещания! Надлежит ли ему из разверстой могилы давать советы правнуку Павла Первого? Ему ли, знаявшему таких государственных деятелей, как Державин, Кутузов и Аракчеев, совещаться с этими мальчишками — Абазой, Посытом и Маковым? Современник разделов Польши, он должен обсуждать новейшую крамольную затею об ограничении самодержавия. Знаменитый нумизмат прерывисто дышит и тяжело опирается на костыль своими узловатыми и жилистыми руками.

— Граф Сергей Григорьевич, — почтительнейше продолжает царь, — ваш государственный опыт нужен мне в эту трудную минуту. Я хотел бы услышать мнение вернейшего слуги моего деда.

Его государственный опыт? Трудная минута? Хорошо же, он высажется в последний раз. Он сокрушит этих ненавистных царских слуг, делающих государственную карьеру на либерализме и революции. Со всей старческой озлобленностью, обостренной безнадежными недугами и подступившей смертью, он обрушивается на проект вчерашнего фаворита, пытающегося спасти свою власть и влияние преступной ломкой исконных государственных форм Российской империи.

— Мера эта вредна, — сердито и хрипло кричит подданный шести государей, яростно играя седыми ключьями бровей, — с принятием ее власть перейдет из рук самодержавного монарха в руки разных шалопаев, думающих только о своей личной выгоде. (И он гневно стучит костылем о паркет.) Это путь к конституции, которую я не желаю, ваше императорское величество, ни для вас, ни для России.

Гневные вскрикивания старца звучат упрямым брюзжанием. Министры безмолвно и с полным безразличием внемлют этому человеческому обломку шести царствований.

Нарушая томительную паузу, царь обращается к Валуеву:

— Граф Петр Александрович, вы, вероятно, пожелаете высказать ваш взгляд.

Хладнокровный и скептический граф Валуев поворачивает к царю свой горделивый облик английского пэра. Ученик и сотрудник Сперанского, он ценит западные формы высшего управления. Зять поэта Вяземского, он тоже принадлежит отчасти литературе, как полемист, публицист и даже романист на великосветские темы. Ко всем правительенным кризисам он подходит с иронической критикой и дальновидной усмешкой. Он собственно конституционалист, но так как в данный момент обсуждается не его проект, а программа его опаснейшего соперника — «Мишуля Первого», «ближнего боярина», «вице-императора», к которому старый премьер питает жестокую ненависть, он равнодушно и плотно сжимает свои тонкие гладко выбритые губы. Все происходящее представляется ему пляской над бездной: почва зыблется, зданию угрожает падение... Более чем когда-нибудь царская власть кажется ему призраком, готовым разлететься от малейшего дуновения. Первое марта вскрыло ему всю тщету самодержавия. Византийские регалии, статуты о престолонаследии, манифеста и циркулярные ноты державам, — оказывается, все это вековечное и незыблемое вдребезги разлеталось от удачной химической формулы соединения динамика с гремучекислой ртутью. Стеклянные трубочки разрывного снаряда казались не более хрупкими, чем самый титул всероссийского императора. И все они, члены правительства с европейскими именами,казалось, бледнели, таяли и гасли от этого густого облака ядовитых газов, развернувшихся веером по набережной Екатерининского канала. Да уж не марево ли все это историческое заседание? Не в последний ли раз опустили они, фантомы былого, в эти массивные гамбсы кресла малиновой гостиной свои призрачные тела властителей под бдительными взглядами исторических портретов Романовской династии, словно начавшей клониться к упадку и гибели?..

Глухой голос председателя продолжает аргументировать свое приглашение:

— Ведь вы, граф, возглавляли комиссию по рассмотрению проекта о созыве гласных.

Валуев словно встряхивается. Он должен вступить в тончайшую игру правительенных комбинаций. Даже на распадающихся обломках власти нельзя давать соперникам возможность обойти себя.

Против него, по ту сторону стола, как у вражеского барьера, переливает орденами и лентами пестрая фигура лукавого ази-

атца. Холодный Валуев ненавидит этого удачливого соперника, который сумел за год своего пребывания у власти достичь того, в чем сам он безуспешно уговаривал царя в течение двадцати лет. Ловкий временщик, в чаду выпавшего ему случая, играя на дешевой популярности и пользуясь неразборчивыми средствами своих восточных воздействий на женщин, сумел овладеть утомленным мозгом старого императора, заключив теснейший союз с княгиней Юрьевской. Актер и плагиатор, он похитил идею валуевского проекта, чтобы разыграть, как на подмостках, роль великого преобразователя России. Но настала пора срезать этого факира. Слегка взмахнув тонкими бакенбардами, Валуев отгоняет марево своих исторических созерцаний. Призванный к действию, он сокрушит противника.

— Вам, государь, небезызвестно, что я давнишний автор, могу сказать, ветеран рассматриваемого предложения. Оно было сделано мною в несколько иной только форме — в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году, во время польского восстания...

Бесстрастным тоном спикера Валуев устраняет Лорис-Меликова от всякого прикосновения к «его» реформе. И, покончив с ненавистным соперником, оратор в двух-трех фразах заключения погребает самый проект.

— Что же касается вопроса о своевременности издать это положение (и Валуев скептически подчеркивает «своевременность»), то... разрешение этого вопроса должно зависеть исключительно от державной воли вашего величества.

И, завершив интонацией безнадежности свой отзыв, председатель комитета министров многозначительно смыкает свои тонкие губы лорда-канцлера: искуснейшим приемом, ни в чем не изменяя своей программе, но каждым словом подрывая позиции соперника, он хоронит конституцию Лориса.

По правую руку царя другой «либерал» — дядя царя, генерал-адмирал Константин. Угрюмо и мрачно он словно прячет лицо в густую бороду и скрывает взгляд под мерцающим пенсне. Первый инициатор конституционных проектов в России, великий князь не станет поддерживать меликовский проект: минута слишком опасная. Он знает, что политические противники уже привели в движение стариные клеветнические мифы о притязаниях его, Константина, на русский престол как старшего сына императора (ведь Александр Николаевич родился, когда отец его не только не был царем, но даже не носил титула наследника). Этот вздор имел некоторый успех в сферах, когда Муравьев-Виленский вел следствие по делу о покушении Каракозова и пытался привлечь в качестве обвиняемого «тайного претендента на российский престол» — Константина Николаевича. Говорили в то время о целой партии великого князя. И вот эта нелепая легенда снова пущена в ход кликой интригующих царедворцев. Старший родственник нового императора,

патриарх романовской фамилии ощущает себя на опаснейшем подозрении у молодого царя. Он не уверен в завтрашнем дне. Сохранит ли он начальство над морским ведомством и председательство в Государственном совете? Оставят ли его вообще в Петербурге? И вот он решает историческим анекдотом добить ставку соперника на успех и влияние.

— Покойный мой отец, дед вашего величества, неоднократно говорил мне, что любимою поговоркою императора Александра Первого было: «Десять раз отмерь, а один раз отрежь». Мне кажется, что поговорка эта как нельзя более применима к настоящему предмету первостепенного государственного значения.

И, напомнив собранию, что он — сын Николая Первого, старейший из Романовых, заканчивает свое короткое и убийственное слово.

На защиту Лориса поднимается один только старый Милютин.

Знаменитый военный министр заметно постарел и осунулся. Он словно сгибается под грузом своего многообразного государственного опыта: борьба с кавказскими горцами, кафедра в военной академии, восстановление суворовского культа и коренная реформа русской армии — сколько заслуг, знаний и подвигов! И, словно чувствуя свое право на решающий голос в собрании, стариk суворо и почти повелительно заявляет молодому царю:

— Предлагаемая вашему императорскому величеству мера совершенно необходима. В начале царствования новый монарх должен заявить народу свои намерения. Покойный государь по вступлении на престол предпринял ряд благих преобразований. К несчастью, выстрел Каракозова остановил их исполнение. Все в России затормозилось, почти замерло, повсюду стало развиваться глухое недовольство. Только в самое последнее время возникли предположения, рассматриваемые нами теперь. Им сочувствуют все благомыслящие люди, весть о них проникла за границу...

Царь с явным неудовольствием слушает поучение. Наконец, нарушая обычные формы заседания, он прерывает оратора:

— Да, но император Вильгельм, до которого дошли слухи о том, будто батюшка хочет дать России конституцию, умолял его в собственноручном письме не делать этого...

Тон остальным речам дан этой репликой высочайшего председателя. Срывается вихрь сокрушительных доводов, откровенно развертывается борьба за власть. Министры как бы состязаются в отстаивании абсолютной монархии: ограничение самодержавия приведет Россию к гибели, в смутное время нужно укреплять власть и искоренять крамолу.

Но речи их бледны и трафаретны. Необходим последний удар для окончательного решения великого вопроса о будущем

царствовании. Нужно страстное слово и сокрушительный аргумент высокого красноречия.

И вот поднимается сухой человечек в черном глухом мундире, с изможденным лицом необычайной бледности, опущенным короткими седыми бачками и с резко оттопыренными ушами. В лице его застыла пугающая мертвенностъ. Казалось, мумия в тонких овальных очках шевелила скопческими бескровными губами, изрекавшими необыкновенно точные и законченные фразы на чуть старообразном и чрезвычайно выразительном, почти художественном языке. Политическая речь звучала как проповедь с амвона, расцвеченная словесными узорами древних риторов.

Это был любимый учитель нового царя, недавно лишь выдвинутый Лорисом на пост обер-прокурора святейшего синода — Константин Петрович Победоносцев. Он заговорил с чрезвычайным волнением, почти в трагическом тоне, быть может, намеренно приподнятом и напряженном.

— Ваше величество, по долгу присяги и совести я обязан высказать вам все, что у меня на душе. Я нахожусь не только в смущении, но и в отчаянии. Как перед гибелью Польши говорили: «*Finis Poloniae*», так теперь едва ли не приходится сказать и нам: «*Finis Russiae*»... Да, мы накануне гибели России!

Так же как Лорис, Победоносцев прекрасно понимает: сейчас решается вопрос о том, кто поведет нового царя, кто станет фактическим владельцем России в наступающую эпоху Александра Третьего. Уже целую неделю он искусно, исподволь, настойчиво и осторожно пытается овладеть мыслью и совестью молодого императора. Когда ночью первого марта, среди всеобщего смятения и паники, Александр с истерическим рыданием обнял своего давнишнего наставника, тот с суворостью духовника призвал его к покаянию: все ли предпринял в свое время наследник для спасения отца? Взрыв на Екатерининском канале — не есть ли это преступное попустительство сына? Не повинен ли новый самодержец в особого рода отцеубийстве?.. Не умеющий возражать и спорить, грузный питомец Победоносцева бледнел, терялся и чувствовал себя совершенно ошеломленным потрясающим обвинением обер-прокурора. Тот же действовал наверняка: он понимал, как гигантски вырастал его моральный авторитет в глазах осужденного им сына убитого монарха, он ожидал, что именно к нему обратится слабовольный цесаревич за руководством его на троне. Крупная и рискованная игра! Но только этим победишь «армянского фокусника», который уже пытается опутать своими кознями сына загубленного им императора.

Приподнятое вступление искусно подготовляет взвинченность остальной речи Победоносцева. Выходец из среды духо-

венства и кафедральных словесников, он вносит в политическую речь богослужебную выспренность и густую расцвеченненость архаизмами и славянизмами. Обер-прокурор проповедует, обвиняет, кликушествует.

— Новому царю опасность грозит отовсюду: беды от разбойника, беды от сродника (он кидает гневный взгляд на генерал-адмирала), беды от лжебратии (и молниеносный взор сквозь тонкие очки испепеляет Лориса).

По-своему Победоносцев ненавидит всю эту толпу сановников, считая ее бесчувственной, страшной и подлой. Власть извратилась, измочалилась. Нужна решимость, сила.

Оратор разгорается. Вспыхивают и пылают от возбуждения его огромные хрящеватые уши, словно вобранные в себя все его существо. («Константин Петрович даже глядит на человека ушами», — говорили чиновники синода.)

— При соображении проекта, предлагаемого науважение вашего величества, сжимается сердце. В России хотят ввести конституцию, орудие всякой неправды, источник всяких интриг!

Опытной кистью изощренного витии он рисует картину страны в результате четверти века реформ.

— ... Открыты повсюду кабаки, и бедный народ, предоставленный самому себе, стал несчастной жертвой целовальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков. Были открыты земские и городские учреждения, в которых разлагольствуют вкрай и вкось о самых важных государственных вопросах, вовсе не подлежащих ведению говорящих. И кто орудует в этих говорильнях? Люди негодные, безнравственные, между которыми видное положение занимают лица, не живущие со своими семействами, предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, ищащие популярности и вносящие во все всякую смуту...

Лорис слушает с отвращением и почти с испугом: «На свою беду уговорил покойного государя сделать этого ханжу обер-прокурором синода. Недаром восточный опыт предостерегает от безволосых, жидкобородых, безусых, плешивых, вот как этот мертвец в сюртуке...»

Между тем светский глава православия (русский папа, как его называли в парижских газетах) распаляется пафосом обличения. Он громит новые судебные учреждения, он чернит свободную печать, разносящую во все концы необъятной русской земли хулу и порицание на власть.

— И когда, государь, предлагаю учредить по иноземному образцу новую верховную говорильню? Теперь, когда прошло лишь несколько дней после совершения самого ужасающего злодеяния, никогда не бывавшего на Руси, когда по ту сторону Невы, рукой подать отсюда, лежит в Петропавловском соборе непогребенный прах благодушного царя...

Пред взорами всех выступает загrimированный труп в газетовом гроту, перекрытый порфирий, под гигантским золотым шатром царской усыпальницы.

В finale своей речи Победоносцев решается снова потрясти душу державного председателя тяжкой укоризной, внушиТЬ ему мысль о его ответственности перед страною, историей и своей собственной совестью. Прямо смотря в лицо царю горящими сквозь тонкие очки глазами, он словно обрушивает на его голову страшнейшие обвинения:

— ...Все мы ответственны за это ужасающее преступление. Все от первого до последнего должны каяться в том, что так легко смотрели на совершившееся вокруг нас, все виновны в том, что не сумели охранить праведника. Кровь его на нас и на чадах наших. Клеймо несмыываемого позора легло на нас. Согрешихом, господи, согрешихом и крайнего твоего отвращения достойни сотворихомся...

Смущенно и растерянно огромный плотный человек в генеральском сюртуке с белым эмалевым крестиком на шее глубже упирает густые бакенбарды в свой гранитный торс. Под взглядом обвинителя он виновато опускает свои выпуклые глаза и заметно бледнеет.

— Сущая правда, — произносит он слабым голосом, как пойманный преступник, — все мы виноваты, я первый обвиняю себя...

В этой сгущенной атмосфере обвинений и покаяний производит свое последнее слово граф Лорис-Меликов. С ним происходит нечто странное и почти пугающее его. Он пытается с воодушевлением суммировать продуманные и верные положения своей программы, столько раз признанные и хвалебно оцененные печатью, обществом, министрами, покойным царем. Ведь даже сам наследник-цесаревич, впервые теперь внемлющий ему с высоты царского сана, не раз ласкал и приветил его за мудрость и такт его государственного руководительства. И вот эти признанные страной и утвержденные правительством разумные и неопровергимые принципы спасения России звучали теперь как-то странно и неубедительно, почти фальшиво и нелепо. Взрыв ли на Екатерининском канале своей детонацией глушил полнозвучность либеральных провозглашений министра, борьба ли за власть, яростно и цинично развернувшаяся в сегодняшнем совещании, сбивала его с твердого пути, царь ли смутил своим молчанием и полунаемками, или, быть может, этот ужасный обвинитель с белыми бачками на мертвовой голове леденил его мысль своей враждой и ненавистью, — но только Лорис-Меликов чувствовал, что речь его, несмотря на всю свою очевидную логичность и целесообразность, как-то поразительно никнет и почти глупеет. Он уже ощущал себя как полководец, безнадежно проигравший генеральное сражение, но еще обязанный отдавать бесцельные приказы и возгла-

шать команды к наступлению, бросая последние остатки своих сил на неминуемую смерть.

Всем присутствующим ясно: все совещание — скрытый поединок Лориса и Победоносцева. Встретились наконец у барьера и сразились насмерть чувственный армянин и строгий ритор православной аскезы. Один — весь в лентах, звездах и параде, угодник женщин и любитель кахетинского, другой — с угрюмым обликом чернеца, отшельника и постника. Боевой генерал, герой Дербента, Карса и Эрзерума, победитель Шамиля и страж Хаджи-Мурата — противостоял в блеске и громе своей воинской славы профессору гражданского права, похожему на иеромонаха с иссохшим посохом в костяной руке. Верховный арбитр поединка, исподлобья и чуть наклонив по-бычыи свою массивную голову, выказывал явное предпочтение духовно-политическому красноречию придворного богослова перед либеральными возглашениями российского парламентаризма, неожиданно облечеными в ориентальную оправу гортанных интонаций и красочных метафор.

Враги диктатора торжествуют: вчерашний временщик терпит явное поражение. Соперники и завистники уже испытывают затаенное и сладчайшее злорадство. Валуеву и генерал-адмиралу ясно, что проект чужой конституции провален и заслуга исторических реформаторов России еще не отнята у них. Все испытывают радостную и смутную тревогу от предвидения больших и важных перемен в составе высшего правительства: каждый намечает сложные комбинации, клонящиеся в его пользу, и предвидит новые личные успехи и достижения от предстоящего «движения воды».

— Мы можем окончить заседание, — глухо раздается голос председателя. — Благодарю вас, господа.

И крупной мясистой кистью руки император опустил тяжелого серебряного слона на пачку государственных актов.

Первый верховный совет Александра Третьего закрывался. Он ничего не постановлял, не приказывал, не утверждал. Собрание не выносило никакой резолюции. Даже дальнейший план правительственных действий не формулировался. И все же всем было ясно: программа верховного управления империей определилась. Сенаторы и министры, переходя из малиновой гостиной в малахитовый зал, соображают, взвешивают и заключают: путь к дальнейшим реформам отныне закрыт; обратный ход правительства решен; реакция установлена как принцип властования. А главное, громоздкий и тучный Александр Третий уже нашел вдохновителя, идеолога, сподвижника и руководителя нового царствования. Лорис, Милютин и Абаза уже в отставке. Фактическим правителем Российской империи становится маленький сухой человек в тонких очках с мертвым лицом, оттопыренными ушами лету-

чей мыши и выделанным словом византийского стилиста, сумевший ошеломить мозг молодого монарха грозным призраком отцеубийства.

Дипломатический курьер французского министерства иностранных дел молодой Морис Палеолог, экстренно посланный 2 марта Бартелеми де Сент-Илером в Петербург, запомнил погребение Александра Второго. Представитель республиканской Франции был изумлен театральной пышностью обряда: гул всех колоколов, отряды конной гвардии, вереница церемониймейстеров, ордена и царские регалии, знамена и мечи городов и областей, тяжелая императорская корона, сверкающая бриллиантами, рубинами и топазами на высоко поднятой золотой подушке; а там, за митрами и византийскими ризами митрополитов и архиереев, представляющихся взору иностранца движущимися иконами, медлительно колышется погребальная колесница, влекомая восемью вороными лошадьми в траурной сбруе с белыми сultanами. Гроб, покрытый мантией из горностая и золота, окружен по углам четырьмя генерал-адъютантами, а колесницу эскортируют тридцать пажей с пылающими факелами.

Тяжеловесно катила погребальная процессия свои пестрые человеческие волны вдоль черных драпировок балконов и креповых уборов фонарей. Маршалы и конюшенные офицеры сменялись литаврщиками и трубачами, гербоносцы и знаменщики — гренадерами и скороходами, святейший синод и дипломатические представители — купечеством и земством. Колыхались на ветру зажженные свечи духовенства, и вспыхивали на парче подушек династические короны двенадцати поколений — от казанской Иоанна Грозного до погребальной Николая Павловича. Медленно шагала любимая лошадь царя, лейб-пферд императорская, под богатою попоною ведомая двумя штаб-офицерами в мундирах и в трауре. По-оперному выступали средневековые латники — верховой в позолоченном панцире на узорном чепраке с обнаженным мечом у плеча и пеший в черных латах с опущенным мечом при эфесе, обвитом дымным флером.

— За этим театральным кортежем ждешь картонного мертвеца, — замечает Палеологу секретарь французского посольства Мельхиор де Богюэ.

В день погребения собор пыпал огнями. Императорские регалии на горностае и малиновом бархате напоминали грозные образы и возрождали страшные события из истории государства Российского. Сибирская корона малолетнего Иоанна Алексеевича и польская императрицы Анны словно хранили предания кровавых интриг петербургского барокко; грузинская — императора Павла напоминала о первом мартовском

цареубийстве, таврическая наподобие шапки Мономаха венчала ужасающий лик Петра после казней, военных разгромов и смертоносных строек. На золотых подушках с серебряными кистями вспыхивали ордена и медали всех империй и королевств, вырывая из чужеземного прошлого легенды и мифы, военные бюллетени, исторические анекдоты и политические биографии: персидский орден Льва и солнца, испанский — Золотого руна, великобританский — Подвязки, ганноверский — Гвельфов, французский — Святого духа, португальский — Христа невидимо развертывали старинные притчи, сказания и реляции. Мусульманский Восток и католическая Европа переливали лучами и красками в геральдических изображениях целого бестиария орлов и львов, соколов, слонов и носорогов рядом с эмалевыми миниатюрами знаменитых воителей и безвестных подвижников внутри крестов, звезд, комет и солнц.

Отпевание закончено. Военные и сановники медленно подымаются под гигантский балдахин на ступени высокого катафалка. Красный тюль окутывает голову мертвца, слегка скрывая раны и ссадины на посиневшем лице. Подготовленное знаменитыми хирургами и подкрашенное придворными куаферами, оно и под вуалью выступает страшной маской в рассеянном свете бесчисленных свечей. Нижняя часть тела перекрыта пышной пурпурной мантией.

Рыцарской поступью всходят на верхний уступ катафалка принц Уэльский Эдуард и кронпринц германский Фридрих.

Наступает очередь дипломатического корпуса. Послы со своим персоналом приближаются к раскрытыму гробу. Но в этот момент главный церемониймейстер князь Ливен подает им знак остановиться и поворачивается к ризнице.

Из глубины церкви показывается министр двора Адлерберг, поддерживающий молодую женщину под длинной креповой вуалью.

Она подымается неверными шагами по ступеням катафалка и, отбрасывая черную завесу, выполняет последний погребальный обряд. Парадная толпа в глубоком безмолвии любуется тонким лицом с газельими глазами и бронзовыми прядями под густым крепом.

«Из всех впечатлений о моем пребывании в России, — записал через сорок лет Палеолог, — наиболее ярко сохранилось у меня в памяти мимолетное появление в крепостном соборе княгини Юрьевской».

Внешность морганатической супруги Александра Второго, поразившая царя еще в облике десятилетней девочки, оказала на молодого парижанина впечатление более сильное, чем весь императорский Петербург с нарядным великолепием его траура и блеском военных парадов перед новым всероссийским самодержцем.

КАНДИДАТ В МИНИСТРЫ

*Юноша спросил у святого мудреца Джияфара:

— Учитель, что такое жизнь?

Хаджи молча отвернулся грязный рукав своего рубища и показал ему отвратительную язву, разъедающую его руку.

А в это время гремели соловьи, и вся Севилья была наполнена благоуханием роз.

Гаршин.

«Муравьевы делятся на тех, которых вешают, и на тех, которые вешают», — определил судьбу своего рода знаменитый усмиритель польского восстания, заклейменный историческим прозвищем «Муравьева-вешателя».

Молодой его родственник, товарищ прокурора и доцент по кафедре уголовного судопроизводства Николай Валерьевич Муравьев твердо решил избежать участия злополучных членов своей фамилии и безусловно примкнуть к ее благороднейшей половине, хотя бы ценой службы для эшафота.

Последнее, впрочем, никак не смущало его. Прокуратура считал он своим призванием. Было известно, что блестящий юрист был в жизни сух и даже жесток: говорили, что вогнал в могилу отца грубым требованием у него отчета в распоряжении наследством, оставленным знаменитым дядюшкой графом Муравьевым-Амурским. Был прямолинеен, строг, настойчив, неумолим. В обвинениях и карах видел личную цель и стремился к ней с нервною страстью. Обвинительный исход громких процессов считал делом чести; оправдания переживал как тяжелый удар, почти как болезнь. Из предков больше всех уважал Муравьева-Виленского: сотни виселиц, тысячи сосланных. С ненавистью вспоминал своих крамольных родственников — Муравьевых-Апостолов, Михаила Бакунина. Охотно сообщал сослуживцам и ближайшим начальникам, что в гербе его рода — меч и черный орел. Был сторонником сильной и грозной власти, пронизывающей все направления жизни в стране.

С кафедры учил своих слушателей: «Суд должен быть прежде всего верноподданным проводником самодержавной воли монарха». — «А как узнать ее в делах сомнительной виновностью?» — раздался как-то вопрос с одной из студен-

ческих скамей. — «Неколебимо карать всех, посягающих на достоинство правительственной власти — вот безошибочное толкование монаршой воли». — «Но так ведь можно засудить и ни в чем неповинных», — с намеренной наивностью возразил слушатель. Доцент строго прищурил свои узкие, чуть раскосые, «муравьевские» глаза: «Подобными расспросами вы уже невидимо колеблете государственный порядок». — «А раз вы, как товарищ прокурора, не предаете меня за это суду, — с серьезнейшей миной возразил студент, — то тем самым вы, очевидно, нарушаете самодержавную волю монарха».

Лектор молча проглотил неслыханную дерзость, поняв, что имеет дело с нигилистом. Ограничился извещением инспектора студентов.

Прокурорскую деятельность Муравьев считал наиболее отвечающей своим крупным ораторским данным. Уверенный в своих средствах, он вводил новый тон в государственное красноречие. В традициях русской обвинительной кафедры было строгое и холодное изложение фактов, сухая и бесстрастная система доказательств, ледяная и четкая цепь умозаключений. Пафос и лирику, страсть и драматизм, образ и эмоцию представители стоячей магistraturы в новых судебных учреждениях с ироническим пренебрежением предоставляли адвокатам, наемным судейским словесникам, ловцам гонораров, ремесленникам и жонглерам закона. Себе же они оставляли только логику и сарказм.

И вот молодой Муравьев вопреки традиции решил ввести художественные приемы знаменитых криминалистов в прокурорскую речь. Всех этих светил защиты — Урусовых, Спасских, Куперников — он решил поражать их же собственным оружием. Творческий пафос, изобразительный дар, остроумные реплики? Так этим же будет блестать и обвинение. Николай Валерьевич в высокой степени развел в себе способность к картинности в изображении преступления, к драматизму в характеристике подсудимых, к афористической формулировке выводов и увлекательной страстью заключений. Нет красноречия, если нет восхищения слушателей! И вся эта артистичность словесной лепки получала тем большую силу и действенность, что речь его строилась по строжайшим правилам риторики, заранее продумывалась во всех подробностях, планировалась с тщательностью чертежа и расчислялась по точным параграфам уголовного кодекса.

Молодой Муравьев принадлежал к тому поколению русских судейских чиновников, которое пришло на смену первому призыву либеральных реформаторов шестидесятых годов. Программа его предполагала возврат к монархической диктатуре Николая Первого и реставрацию дворянских прав и преимуществ во всей их «екатерининской» цельности.

Мой предок Радша службой бранной
Святому Невскому служил,

— любил цитировать знаменитую родословную Николай Валерьянович на том основании, что Муравьевы, как и Пушкины, происходили «от мужа честна именем Радша». При этом второй стих особенно и многозначительно акцентировался.

Не имея призвания к «службе бранной», поздний потомок Радши решил посвятить себя высшей политике.

Весьма рано Николай Валерьянович стал оставлять свою ученую и судебную работу для поручений государственного характера. Недавно был он командирован в Париж с важнейшей секретной миссией: во что бы то ни стало добиться от французского правительства выдачи крупного террориста Льва Гартмана, организовавшего под Москвою осенью 1879 года покушение на царский поезд. Государственный преступник скрылся за границу, но был опознан и арестован в Париже. Молодой Муравьев напряг все усилия, чтобы вырвать из французских тюрем новую жертву для петербургских виселиц. «Право убежища — это право укрывательства и безнаказанности убийц», — убеждал он республиканских министров. Правительство Жюля Гриви колебалось. Слишком важно было, при откровенных вожделениях Бисмарка, сохранить дружбу России. Но левая печать подняла энергичную кампанию в защиту неприкосновенности эмигрантов. Престарелый Виктор Гюго выступил на защиту заключенного. Гартман был освобожден. Товарищ прокурора Муравьев безнадежно проиграл свою первую политическую ставку.

Вскоре ему предоставили возможность реабилитации. Именно ему, выдающемуся судебному оратору, прошумевшему обвинителю червонных валетов и всех уголовных знаменитостей последнего пятилетия, было предложено выступить прокурором в особом присутствии правительствующего сената по делу об убийстве Александра Второго.

Удача подобного выступления определила бы всю будущность молодого судейского. Но труднейшее испытание чрезвычайно усложнялось рядом случайных обстоятельств.

Десятого марта под вечер прокурор палаты Вячеслав Константинович фон Плеве экстренно пригласил к себе Николая Валериановича.

— Большая победа следственной власти. Задержана одна из главных участниц покушения. Молодая женщина лет двадцати семи. Только что лично допрашивал ее. Сразу поставил в тупик, оглушив ее последними разоблачениями Рысакова. Созналась во всем: принадлежит к партии Народной воли, принимала участие в покушении первого марта. Полагаю, что с этим арестом полиция завершила свое задание: все злодеи в наших руках...

— Поздравляю в вашем лице государственную прокуратуру. Непоколебим закон, в силу которого преступивший не из-

бегнет карающего меча. Обвинительная власть всегда счастлива в правом деле. Как фамилия задержанной?

— Софья Перовская. И представьте, дочь члена совета при министерстве внутренних дел, бывшего петербургского губернатора.

— Софья... Перовская?..

Муравьев был изумлен и даже несколько растерян. Это не ускользнуло от зоркого взгляда Плеве.

— Вы, вероятно, пожелаете, Николай Валерианович, участвовать в дальнейших допросах арестованной.

— В зависимости от общего хода следствия. Не думаю, чтоб это вызывалось необходимостью.

— Но ведь в допросах Желябова, Михайлова и Геси Гельфман вы приняли непосредственное участие?

— Полагаю, что этим пока исчерпываются мои следственные обязанности. Копии же допросов прошу доставлять мне без промедления.

В карете Муравьев соображал: «Несомненно она... Сонечка Перовская, двадцати семи лет, дочь губернатора...» Впечатление детства неожиданно заслонили все обстоятельства дела о цареубийстве. Товарищ прокурора вспоминал.

Отец его — Валерьян Николаевич Муравьев был в начале царствования псковским губернатором. К нему-то и был назначен на должность вице-губернатора потомок Алексея Кирилловича Разумовского, сухопарый чиновник Лев Николаевич Перовский. Фамилию вел от подмосковного имения Перово, где венчалась веселая царица Елизавета со своим придворным певчим. Семьи двух начальников губернии жили рядом. Сад Перовских граничил с усадьбой губернаторского дома. Молодое поколение приезжей семьи подружило с Николинькой Муравьевым. Вместе разъезжали в коляске, запряженной мулом (вдовец-губернатор ни в чем не отказывал единственному своему ребенку), переправлялись через пруд на пароме. Общность детских забав навсегда связала его самой прочной сердечной связью с детворою соседей — Машенькой, Колей, Васютой и светловолосою Сонечкой.

Вот почему известие об аресте Софии Перовской в первую минуту сильно смущило Муравьева. Он слишком понимал обязанности прокурора в предстоящем деле и единственно возможный смысл обвинительного заключения. Что-то дрогнуло в его холодном сердце. Неужели же ему придется требовать смертной казни для этой прелестной белокуренькой, резвой и смелой девочки с открытым и решительным взглядом необыкновенной прозрачности и с легкой складкой настойчивости у сжатых губок. Недаром презирала куклы и любила только воинственные забавы мальчиков. По-мужски защищалась от нападений братьев. Он вспоминал елку у Перовских, каток на реке Великой, санный бег вокруг зубчатого «детинца», чтение

вслух английской книжки. Детские балы, танцмейстер со скрипачом, матросская пляска: Сонечка в белом кисейном платье плывет перед ним с розовым шарфом в руках... И эти гладко расчесанные волнистые волосы над высоким чистым лбом, спадающие шелковистыми прядками на фильтр-англэ кружевного воротничка.

Не без тревоги прочитывал он все сведения, получаемые из прокуратуры. Вячеслав Константинович Плеве срочно и во всех подробностях сообщал ему по мере хода допросов все результаты следствия. Дополнял в обворожительной личной беседе все акты и допросы. Сомнений не оставалось: дочь действительного статского советника и бывшего псковского вице-губернатора Софья Львовна Перовская была одной из важнейших преступниц по делу 1 марта.

Из следственных опросов выступали и различные обстоятельства прошлого подсудимой. Муравьев не без интереса следил за развертывающейся перед ним биографией подруги его детства. Сличал показания, просматривал справки жандармов и опросы арестованных. Поразительная судьба! Добровольно ушла от счастливого быта девушки-аристократки, от придворных балов и дворцовых приемов, от ласки императрицы и поклонения блестящих гвардейцев, от будущей праздной, изящной и пышной жизни под панцирной защитой древнего титула и придворного звания. Жила как отшельница, всех поражала монашеской суровостью, отречением и жертвенностью самосожигателей. Из губернаторских гостиных ушла в народные школы, в земские больницы: спала на досках. Была простой сиделкой при деревенских больных, бинтовала, лечила, ухаживала. Заведывала больничными бараками. Свою красоту, породу, утонченный вышею культурою ум, облагороженный изысканным европеизмом характер она унесла в нищету и безвестность, в дикость и грязь, в глухое убожество вшивых ребят и хворых крестьянок. Неслыханно... и возмутительно! Так это — русская дворянка?.. Отпрыск знатного рода, она берет на себя слежку за выездами царя? Предводительствует металышками? Прокурор Муравьев чувствовал, как все его существо преисполняется гневом и ненавистью к этой сословной отступнице, перебежчице в стан заклятых врагов правительства, предательнице их общего дворянского дела. Среди врагов это, конечно, опаснейший! Это соратница позорных отщепенцев муравьевского рода — всех этих Апостолов и Бакуниных, «Муравьевых, которых вешают»...

Три дня уже длилось судебное следствие. С кафедры своей, прямо перед собою прокурор Муравьев три дня уже видел за барьера, на длинной скамье, под охраной обнаженных лезвий, среди пяти других подсудимых тонкую, белокурую молодую женщину в черном гладком платье, с белым воротничком и нарукавничками, с глубокими светлыми глазами необычайной

прозрачности, округлыми детскими щеками и чуть заметной складкой непреклонной решимости у крепко сжатых губ. Спокойно и безразлично смотрела она из-за загородки подсудимых на своего блестящего и грозного обвинителя. Бесстрастно и кратко отвечала на его вопросы. Надеялась ли на сердце и память живого и бойкого Николиньки Муравьева? Или с презрением относилась к его званию прокурора особого присутствия, облеченному высшим правом требовать смертных казней для революционеров и настаивать на их полном истреблении?

Сегодня закончилось следствие. Завтра начало прений. Речь прокурора особого присутствия.

Ночью в своем кабинете, отпустив секретарей и кандидатов, в полном и глубоком уединении Николай Валерианович в последний раз обдумывал свое завтрашнее историческое выступление. Ведь слова, которые он произнесет через десять часов по этим вот заметкам и документам, прозвучат на весь мир. Ведь каждая фраза его будет прочитана царем, всеми членами императорской фамилии, министрами, сенаторами, учеными, военными, всей страной. Через несколько часов, завтра, 28 марта, между одиннадцатью утра и ночи, он определит навсегда свою судьбу: министр юстиции или же — жалкий провинциальный член судебной магistraturы... Стоило напрячь до последней степени свои способности, вызвать искусственный подъем мысли и воли, развернуть потрясающую программу государственной власти. Он мог наконец использовать свой пост публичного обвинителя для мощной политической пропаганды и выступить перед всей страной взыскателем высшей кары во имя геральдического меча и черного орла Муравьевых.

В последний раз он просматривает документы и распределяет заметки. Задача чрезвычайно усложнялась непрерывным всероссийским конкурсом красноречия на ту же тему. Уже в течение целого месяца епископы, протоиереи и архимандриты, губернаторы, городские головы и предводители дворянства не переставали состязаться в речах о событиях 1 марта. Необходимо было в этом неудержимом потоке духовного и гражданского красноречия установить рекорд и произнести перед всей страной незабываемое слово.

Общий принцип обвинения был ясен. Судебная речь против цареубийц должна совместить провозглашение государственной программы высшего дворянства с поминальной хвалою почившему императору. Речь будет одновременно судебной, политической и парадной. Как ораторы древнего Рима, он произнесет свой панегирик императору.

Государственные моменты завтрашнего выступления заострены и отшлифованы до степени крылатых формул. Во вступительной части — «всеобщий плач отечества, потерявшего так неожиданно и так ужасно своего незабвенного отца и пре-

образователя. Через всю речь проходит основной мотив о «вековой русской преданности престолу». И наконец проповедь воинствующего монархизма отливается в высокопарные ритмы заключения с надрывным возгласом о «ныне вступившем на царство августейшем вожде». Согласно основному принципу Муравьева, речь прокурора прежде всего выражает волю монарха и служит самодержавию.

Но она должна служить и судопроизводству. По системе своей Муравьев разрабатывал строжайший план обвинительной атаки, четко разделенной на главные части. Каждый раздел заносился конспектом на особый лист: главные мысли, ударные слова, юридические выводы, статья свода. В остальном полагался на свой дар слова. Только зacin и концовка прорабатывались заранее во всех деталях. Запоминались почти буквально. Вся речь свободно отливалась в законченные и стройные формулы в самом процессе судоговорения, ответвляясь от тезисов сжатого плана и сохранив горячность и непосредственность импровизации. Обвинение цареубийц было расчислено и размечено, как логарифмическая таблица. Листы-разделы речистройной стопкой лежали перед ним на письменном столе. Он тасовал, раскладывал, перечитывал, дополнял свои сводки сжатой заметкой, острым речением. На отдельные листы спешно набрасывал узловые афоризмы, сигнальные формулы, остроконечные фразы: «Преступление, которого не знает история человечества...»; «Новая общественная формация интеллигентных убийц...»; «Это не факт, это история, господа сенаторы...»; «Покушение Засулич и Соловьева — это пробные взмахи расходившейся руки убийц»; «У них софизм и цинизм, у обвинения — неотразимые, еще дымящиеся кровью факты».

Такие изречения заполняли страницы конспектов. В последний раз Муравьев пересматривал свою будущую речь, застесненную на просторные и четкие карты.

Первый лист — вступление, второй — изложение события, третий — анализ улик, четвертый — психологический портрет Рысакова, пятый — Желябов, шестой... Но шестой лист, шестая карта в колоде прокурорских инвектив еще не заполнена. Это абзац о Софье Перовской.

Факты собраны. Но какое освещение придать им? Как истолковать роль и деятельность этой необычайной участницы цареубийства? Не ослабить ли здесь обвинения, не сократить ли эту часть речи?

Муравьев задумывается. Он не может отделаться от одного странного впечатления. С прокурорского пульта он заметил сегодня в местах для публики старую даму. Что-то ударило в голову: кто это? Где он видел эти крупные черты лица, этот взгляд, эту восточность выражения? Из-под черной маленькой шляпки свисали седеющие пряди, и большие, еще достаточно

молодые глаза смотрели на него внимательно и пристально, почти умоляюще. Вдруг вспомнил: Варвара Степановна Перовская, псковская вице-губернаторша. Как постарела за двадцать лет! Неузнаваема... Да, несомненно вот этими руками, беспомощно сведенными теперь у борта салопа, она как-то под вечер обсушивала и одевала его, когда он, резвясь, свалился с парома в пруд вице-губернаторского сада. Наливала коньяк серебряной ложечкой в чашку горячего чая, чтобы вернее предотвратить простуду. Сама поила его и давала наставление бонине (ведь матери не было, он никогда не знал ее, умерла от родов при его рождении). До сих пор, когда слышал случайно, нередко в речах знаменитых защитников, патетические возглашения о материнской любви и заботе, представлял себе Псков, диванную в мезонине, Варвару Степановну и жгучий, пахучий и крепкий чай, глотаемый с серебряной ложечки... Он всматривается — никаких сомнений. Те же глаза, ласково убеждавшие его когда-то выпить всю порцию горячего питья, теперь обращали к нему невыносимо мучительную мольбу, последнюю, отчаянную, почти невероятную, словно уже вобравшую в себя весь ужас смертельного часа. И Николай Валерианович, нахмурившись, отвел свои раскосые глаза от мест для публики и наклонил ниже свою тяжелую голову к заметкам и выпискам... «Закон должен бесстрашно вершить свое дело», — автоматически двигались в сознании привычные юридические афоризмы. — «Меч правосудия да примет вертикальное положение над головою преступника»... Но большие, измученные, горящие глаза упорно глядели на него, словно моля и заклиная...

Он просматривает доставленное ему на днях тюремное письмо Софии Перовской к ее матери. Снова быстро перечитывает отдельные абзацы.

«... Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения, поступать же против них я была не в состоянии. Поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоящее мне. И единственно, что тяжелым гнетом лежит на мне, это твое горе, моя неоцененная, это одно меня терзает, и я не знаю, что бы я дала, чтобы облегчить его»...

Прокурор размышлял, взвешивал, соображал, заключал.

Главная виновность подсудимой Перовской не подлежит сомнению. Но в высшем круге знают о давней близости их семей. Кое-кто осторожно и тонко намекал на возможность высочайшего помилования для некоторой части обвиняемых: прокурор мог лавировать, стущать или ослаблять краски...

И самому ему ясно: что бы там ни было, а ведь Софья Перовская для него, для всего состава суда — свой человек.

Среди предков и родственников сколько у нее министров, губернаторов, градоначальников, генерал-адъютантов, членов Государственного совета. Она принадлежит к лучшему цвету того сословия, которое представлено за этим подковообразным судейским столом под гигантским императорским портретом. Она сродни этим сословным представителям. Ведь граф Перовский был попечителем покойного наследника-цесаревича. Все прочие обвиняемые — из крестьян, рабочих, мещан, духовенства, одна она — дворянка. С этим никак нельзя считаться. Суд ведь обязан щадить высшее сословие в стране.

И потом — казнить женщину! Ведь этого еще не бывало в России... Казнили Разиных, Пугачевых, Пестелей, Муравьевых, Каракозовых, Млодецких, — но женщина еще ни разу не всходила у нас на эшафот. Как на это посмотрит Европа? Не раздадутся ли во всяких «Фигаро» и «Таймсах» новые окрики о дикой свирепости российского медведя?

Все это необходимо учесть. На суде разить атаку против прочих пяти — здесь именно сосредоточить несокрушимую силу ударов — и, может быть, обойти, облегчить, ослабить обвинение Перовской? Ведь можно маневрировать так, чтобы она как бы выпала из общей цепи аргументов, неожиданно отступила в тень, осталась на втором плане.

Да, все бы это было возможно и даже отчасти желательно — если бы только... быть уверенным в воле молодого царя. А что если он требует смерти для всех шестерых обвиняемых? Не будет ли речь прокурора провалом, если он неуклонно и прямо не приведет к шести виселицам?

Никогда еще диалектика предстоящего обвинительного слова не растравляла такой мучительной проблемой логику, совесть и правосознание товарища прокурора Муравьева. Никогда еще накануне ответственнейшего выступления главное задание речи до такой степени не оставалось для него неразрешенным, лихорадочно бросая его мысль к полярным выводам — от милости и снисхождения к обвинению и казни. Нужно было спешно остановить этот размашистый маятник. До начала судебного заседания оставалось каких-нибудь шесть часов.

Чтоб освежить уставшую мысль, Муравьев поднялся и подошел к зеркалу. Как в студии Сары Бернар, в рабочем кабинете прокурора высилось гигантское трюмо, во весь рост отражавшее его сухопарую и гибкую фигуру. Здесь разучивались ответственные моменты судебных речей и запоминались жесты, позы и взгляды. На него глянуло из палисандровой рамы тяжелое, округлое лицо с плоским угрюмым лбом и широким хищным ртом, — голова тигра с мертвой хваткой железных челюстей. Боковые канделябры отбрасывали своими трехсвечниками яркие лучи на этот бледный и массивный облик с пронзительно испепеляющим взглядом сквозь татарскую

прорезь век, нервно сжатый теперь предельным напряжением мысли, тщетно пытающейся разрешить задачу непреодолимой трудности.

В переполненном зале палаты, под доносящийся сквозь огромные окна гул толпы на Литейном, начал свою обвинительную речь Муравьев.

Он поднялся уверенно и прямо. С высоты быстрым взглядом окинул знакомую картину судебного зала. За выгнутым гигантским столом в орденах и цепях — сенаторы высокого присутствия. Слева на высокой скамье в деревянной ложе, словно в узкой раскрытой коробке, тесно сжавшись, сидят вряд шесть подсудимых. Вокруг обнаженные лезвия сабель и медные каски жандармов. Внизу, у подножья скамьи, белоснежные пластроны и черные плечи адвокатов. Под траурным балдахином в углу гигантский портрет Александра Второго. Сбоку сословные представители — в руках перчатки, цилинды и каски с сultanами. Рядом алтарь и пышная ряса священника. В центре зала обыкновенный будничный стол, установленный вещественными доказательствами — свертками, банками, пачками. За перилами плотная масса чиновной публики.

Он чувствует непомерную трудность задачи: этот живой, изменчивый, многоликий и неуловимый густок мыслей и воль нужно теперь захватить и включить в один поток Цицеронова слова.

И вот с твердой решимостью, громким и воинствующим голосом, не приберегая сил и тона для дальнейших подъемов, угрожая с первых же слов и властно призывая к мести, обратился прокурор к членам особого присутствия.

— Господа сенаторы и сословные представители! Призванный быть на суде обвинителем величайшего из злодеяний, когда-либо совершившихся на русской земле, я чувствую себя совершенно подавленным скорбным величием лежащей на мне задачи.

Прокурор действительно необычайно бледен. Иссиня черный бархатный воротник мундирного фрака выделяет бескровную белизну его тяжеловесной и широкой маски Чингис-хана. Повелительный голос выбирает лирическим волнением. С первых же слов обвинитель устанавливает характер предстоящей речи, он ищет «яркого и могучего слова», он хочет ударить по сердцам судей.

— Трудно, милостивые государи, быть юристом, слугою безличного и бесстрастного закона в такую роковую историческую минуту, когда и в себе самом и вокруг все содрогается от ужаса и негодования, когда при одном воспоминании о событии первого марта неудержимые слезы подступают к глазам и

дрожат в голосе, когда все, что есть в стране верного своему долгу, громко вопиет об отмщении...

Словно стремясь сдержать обуревающее его волнение, прокурор переходит к изложению обстоятельств дела. Пафосом фактов он ошеломит сознание слушателей. Драматически и почти театрально рисует он картину взрывов на Екатерининском канале. Кое-где фантазирует, сгущает краски, восполняет воображением пробелы созидающей легенды. Он даже сочиняет момент, когда «опечаленный повелитель русской земли» якобы «наклонился над истерзанным сыном народа».

Наступает момент для грозного и величественного жеста, тщательно разученного перед палисадовым трюмо прокурорского кабинета.

— ...Когда миновали острые мгновения народного ужаса, первой мыслью России было: кто же виновник страшного дела? И я считаю себя счастливым, что на этот грозный вопрос моей родины могу смело ответить и суду и слушающим меня согражданам: вы хотите знать цареубийц? — вот они!

И размашистый жест трагического гнева словно мечет смертоносную молнию от прокурорского пульта к ложе подсудимых.

Властность движения обращает все взгляды в направлении, указанном прокурором. Весь огромный зал палаты, переполненный военными, чиновниками, судебскими, штатскими, женщинами, оборачивается, как один человек, и жадно смотрит за полированную ограду скамьи подсудимых: там, спокойно и молчаливо, вытянуты в ряд шесть голов — вихрастый юноша Рысаков, спокойный и благообразный Михайлов, остробородый Кибальчич, с головой молодого ученого, крохотная Геся Гельфман и мужественный красавец Желябов, напоминающий античного мудреца или русского витязя — не то Платон, не то Микула Селянинович; посреди — белокурая женщина с детским овалом лица, ясными глазами и властной линией у губ — Софья Перовская. Все шестеро уже охвачены неумолимым кольцом смерти. Несколько сот человек, уверенных в своей жизни и будущности (не для них же эшафот и казематы!), молча взирают на шестерых обреченных. Неумолимая черта отделяет страшным неравенством самодовольную и полноправную толпу судебного зала от маленькой горсточки безнадежных смертников, тесно сжавшихся за перилами узкого деревянного ящика. Торжественный трибунал чем-то напоминает бойню.

Между тем Муравьев от вступления и наррации переходит к аргументации обвинения — анализу улик и характеристике виновников. С рассчитанным эмоциональным подъемом он приступает к психологическому портретированию преступников.

— ...Из кровавого тумана, застилающего печальную святыню Екатерининского канала, выступают перед нами мрачные облики цареубийц...

По залу внезапно проносится неудержимый раскат веселого хохота. Все повертывают головы к скамье подсудимых. Сидящий с краю красавец с длинными волосами и окладистой бородой заразительно хохочет в лицо прокурору, откинувшись на спинку высокой и узкой ложи обвиняемых. Всем своим видом он словно опровергал казенную формулу о своем «мрачном облике» заговорщика.

Муравьев на мгновение застывает. Нарастающий пафос обвинения сорван непредвиденной дерзостью. Это момент, когда знаменитые ораторы находят убийственную реплику и произносят историческую фразу. И заполняя неприятную паузу незначащими вставками: «Меня останавливает на минуту смех Желябова», «Я решаюсь еще раз подвергнуть общую печаль его глумлению», — Муравьев напряженно ищет сокрушительной ответной формулы для мгновенного посрамления противника. И вот прорезает сознание сокрушительная антитеза. Оратор напряженно выдвигается вперед и решительно срезает безразличное наполнение речи негодующим возгласом:

— Ведь когда люди плачут, Желябовы смеются.

За полуциркульным столом легкий ропот одобрения. Сенаторы в цепях и орденах оценили историческую реплику прокурора.

Сплошным потоком низвергается и льется возмущенная речь государственного обвинителя. Сменяются карты-конспекты на прокурорском столике. Разобраны, обрисованы, разоблачены, осуждены и уничтожены «капатичный, безвольный, растерянный Рысаков», «революционный честолюбец и театральный агитатор Желябов, весь задрапированный в свою конспиративную тогу»... Из-под кипы листов выступает шестая карта.

Еще за несколько часов перед тем не заполненная записями, теперь она сплошь насыщена конспективными заметками, подчеркнутыми тезисами и многозначными цифрами уголовных статей.

(Рано утром Муравьев был вызван к министру юстиции Набокову: точно узнал волю царя о всех шестерых подсудимых. Сомнения отпали, колебания устранины, все выводы отчетливы и резки.)

Перед каждым абзацем речи, переходя к новому обвиняемому, прокурор мечет сквозь свои монгольские веки угрожающий взгляд на скамью подсудимых. Словно пригвождает глазами очередного преступника к позорному столбу государственного осуждения.

Только что он пронизывал взглядом скуластое лицо Рысакова, густо покрытое сине-багровыми пятнами глубочайшего потрясения. Это был самый одинокий человек в судебном зале и, может быть, во всем мире: судьи безжалостно влекли этого первого металышка на виселицу, товарищи возмущенно от-

шатнулись от погубившего их предателя. Софья Перовская не протягивала ему руки. И сквозь глубокий ужас своей обреченности и отверженности он, казалось, жадно ловил последние клочки надежды спасти свою молодую и сильную жизнь, безнадежно и безвозвратно от него ускользавшую.

И вот — шестая карта. Мгновенно и грозно оглядывает прокурор через зал молодую белокурую женщину с чертами ребенка и строгими глазами. Двадцать лет назад Николенька Муравьев впервые увидел этот прозрачный взгляд сквозь изгородь губернаторского сада. С холодным мужеством он в последний раз глядит теперь в эти серые зрачки, обреченные угаснуть через сорок или шестьдесят часов по его настоянию и требованию.

— Рядом с Желябовым, — раздается неумолимо разящий голос обвинителя, — соединенная с ним прямыми и крепкими узами, стоит Перовская — как и он, зачинщица и главная виновница злодеяния.

Муравьев не смотрит в публику. Но он чувствует на себе молящий взгляд старой женщины с восточными глазами, уводящими его в ласковое марево детства. Отгоняя рой возникающих воспоминаний, он продолжает неумолимую линию обвинительного слова:

— Происхождения она дворянского, родом из хорошей семьи, дочь родителей, занимавших в обществе почетное место, женщина, имевшая полную возможность получить прекрасное образование...

Голос модулирует на сдержанных, почти сочувственных нотах. Следует беглое изложение революционного прошлого Перовской, участие в покушении 1880 года: ей была предоставлена почетная в революционном смысле роль наблюдать за приближением императорского поезда и дать сигнал, по которому должна была сомкнуться убийственная цепь гальванической батареи. Еще ответственнее ее роль 1 марта: перед тем, как выходить на злодеяние, нужно было сообщить участникам в точности время, место и способ действия, нужно было нарисовать план, нужно было расставить бойцов, и это последнее дело приняла на себя Перовская.

Волна ораторского прибоя невероятно вздымается. Страстная амплификация нарастает, железные челюсти крупного хищника широко размыкаются, словно готовясь перегрызть горло примятой жертве.

— Мы можем представить, что этот заговор употребляет средства самые жестокие, самые возмутительные, мы можем представить себе, что женщина участвует в этом заговоре. Но чтобы женщина становилась во главе заговора, чтобы она принимала на себя распоряжение всеми подробностями убийства, чтобы она с циническим хладнокровием расставляла металличиков, чертила план и показывала, где им становиться, что-

бы женщина, сделавшись душой заговора, бежала смотреть на его последствие, становилась в нескольких шагах от места злодеяния и любовалась делом рук своих, — такую роль женщины обыкновенное нравственное чувство отказывается понимать...

Отвращение и ненависть рвутся из каждого слова и словно влекут на позорную колесницу, на плаху, выдают обреченнную жертву палачу. Последнее клеймо позора на эшафотное мясо! И вот — заключительные выводы. Уже без пафоса и страсти, размеренно и словно ударяя, как молотом, каждым словом по сознанию своих слушателей, ритмически покачивая в такт периодам своей грозной головой бульдога, Муравьев подводит итоги обвинению:

— На основании всей совокупности данных судебного следствия, на основании приведенных мною доказательств виновности подсудимых, я имею честь предложить вам произнести о них безусловно обвинительный приговор. Безнадежно суровы и тяжки последствия, определяющие ту высшую кару, которая отнимает у преступника самое дорогое из человеческих благ — жизнь, но она законна, необходима, она должна поразить преступников цареубийства.

Среди глубокой тишины завороженного зала опустился в кресла прокурор особого присутствия.

Сенаторы и сословные представители восхищены смертносным патриотизмом обвинительной речи. В чиновной публике ропот восторга. Муравьевская школа патетического красноречия и политической пропаганды отстояла себя. Судьи полностью подтверждают надежду прокурора на «грозный смысл их согласия с выводами обвинения». Великое испытание выдержано с исключительным блеском: министр юстиции и генерал-прокурор Набоков уже имеет верного преемника.

КРЫЛЬЕВ! КРЫЛЬЕВ!

...И направит человек свой первый полет на хребте гигантского лебедя, наполняя вселенную изумлением и славой.

Леонардо да Винчи.

В ночь на 30 марта присяжный поверенный Герард, назначенный особым присутствием сената в защитники Кибальчича, спешно прибыл в дом предварительного заключения на Шпалерной, где содержались подсудимые.

Лишь за несколько часов перед тем была объявлена резолюция сената, присуждавшая всех обвиняемых к смертной казни через повешение. До полуночи длилось совещание адвокатов, лихорадочно искавших путей для спасения своих подзащитных. Немногими часами исчислялись последние сроки обжалования приговора. Малейшее промедление могло стоить жизни шестерым осужденным.

Комендант проводил адвоката в камеру заключенного.

Кибальчич в буром халате сидел за чадной тюремной плошкой над листом бумаги с чертежами и вычислениями. Несмотря на шум и движение, он продолжал высчитывать, набрасывая эскизы и записывая выводы. Начальство и стража оставили их вдвоем.

— Еще не все потеряно, — сказал адвокат, торопливо сбрасывая на скамью свою медвежью шубу и привычным жестом выпрявляя из-под фрачного рукава манжету с щегольской запонкой. — Будьте только моим союзником и не отказывайтесь от необходимых шагов. Нужно действовать и притом быстро, без колебаний, без малейшей рефлексии. В нашем распоряжении всего только сутки для кассации.

Герард находился в состоянии того особого возбуждения, какое вызывает обычно в адвокате смертный приговор, вынесенный его подзащитному. Это был первый случай в практике знаменитого криминалиста. Участник громких процессов — фон Зона, нечаевцев, «польского дела», он еще ни разу не слышал для своих клиентов приговора «повешения» или «расстреляния». Весь проникнутый теперь сознанием возложенной на него огромной ответственности, петербургский юрист остро ощущал необходимость бороться и действовать, чтоб навсегда отвести от себя возможные укоры в проигрыше по недосмотру

человеческой жизни. Ораторский турнир защитников уже сменился труднейшим состязанием в искусстве вырвать обреченную жертву из рук палача. В этом последнем акте политической защиты высшие соображения гуманитарной этики неотделимо переплетались с обычной профессиональной спортивностью в погоне за крупным успехом, надолго утверждающим приоритет счастливого имени в сословье и публике.

— Коллеги мои уже предприняли ряд весьма важных шагов. Герке представляет Муравьеву от имени Геси Гельфман заявление о ее беременности — это должно приостановить казнь. О Софье Перовской, как о дворянке, приговор до обращения его в исполнение будет представлен через министра юстиции на усмотрение государя. Унковский и Хартулари уже подали на высочайшее имя ходатайства Рысакова и Михайлова о помиловании. Шансы на успех огромны: молодость обоих, неопытность, прежняя безупречность поведения, наконец, все-подчиняющее влияние Желябова.

— Хорошо, что ко мне неприложим этот аргумент, — довольно равнодушно заметил заключенный, как бы заранее отводя от себя возможность аналогичной защиты.

— Я все же считаю необходимым действовать в том же направлении и от вашего имени. Прокуратура и жандармы относятся к вам сдержанно, без всякого раздражения и озлобления; вы ученый, философ, теоретик, не агитатор, не метальщик, не убийца, и это действует на них примирительно. Подавать кассационную жалобу бесполезно, но необходимо сейчас же составить прошение на высочайшее имя о помиловании. Садитесь и пишите, я сегодня же ночью передам его.

— Неужели же вы хоть на миг допускаете, что нас помилуют?

Герард понизил голос, но как бы подчеркнул интонациями и мимикой особую важность сообщаемого:

— Создается, представьте, целое общественное течение в вашу пользу. Вчера в зале кредитного общества один молодой профессор публично требовал для всех судимых помилования. Весь город сегодня только об этом и говорит... В заключение лекции он выпрямился и возгласил: «Царь может и должен простить шестерых безоружных... Не то мы отстранимся, отречемся от него...» И представьте, тысячная толпа, наша петербургская, холодная, осторожная, эгоистичная толпа вынесла его на руках с криками: «Амнистия! Помилование!..»

Сам Герард, с лощеным своим обликом столичного адвоката, был, видимо, взволнован этой стоустою мольбою Петербурга о наэлектризованной массе людей, заливающей накануне казниочные улицы города с требованием пощады шести молодых жизней. Присяжный поверенный не был лишен артистического нерва, и драмы жизни вызывали невольное выбрирование его художественной натуры. Друг по правоведению поэта Апухти-

на и композитора Чайковского, он слыл виртуозом декламации. И теперь излагал он событие с тонкими модуляциями голоса, проникновенно и как-то интимно-театрально.

Но Кибальчик скептически пожал плечами.

— Это приведет только к новым арестам и к новым триумфам Муравьева...

— Однако этот самый Муравьев не без почтительности отзывался в своей речи о вашем лекторском таланте и знаниях. Это огромный шанс для нас.

Химик Народной воли слегка усмехнулся.

— Ну уж если Муравьев признал меня вразумительным лектором, вы не откажетесь, я надеюсь, прослушать мой последний доклад?

Он протянул Герарду прошнурованную тетрадь, раскрытую на странице с чертежами и цифрами.

— Это о новом изобретенном мною летательном снаряде.

На листе были вычерчены заштрихованные окружности, соединенные прерывистыми линиями пунктиров и обозначенные крупными латинскими литерами и римскими цифрами. Стрелки указывали направление небесных кораблей по этой схеме межпланетного полета.

Герард еле взглянул на тетрадь.

— Прежде всего нужно сохранить вам жизнь. Это первый мой долг, как вашего защитника.

— Это как раз второстепенно, — невозмутимо возразил арестованный. — Но для человечества бесконечно важно получить мой проект воздушного аппарата. Он откроет новую эру в отношениях живых существ. Он уничтожит пространство и соединит планеты.

— Но ведь завтра приговор будет объявлен в окончательной форме, а после завтра в пять часов пополудни истечет срок для обжалования. Нужно спасать себя, — поймите вы меня.

— Нужно спасать мысль. Нужно сообщить людям тайну преодоления законов притяжения. Открыть им секрет летающей машины тяжелее воздуха. Дать им возможность заселить своим потомством весь млечный путь. Вы скажете — фантазия? А я укажу вам на эту железную вязь литер и цифр, неумолимо ведущую к завоеванию пространства и времени. Вот это короткое уравнение промчит человечество сквозь синь ледяных пустынь к неимоверному блеску Арктура и Веги. Этой нерасторжимой формулой я научу людей высшему счастью — переноситься из одной солнечной систему в другую. Вы не верите? Ознакомьтесь с этим докладом, вы согласитесь со мною.

«А ведь прав Муравьев, — думал Герард, — в нем несомненно гибнет отличный лектор»...

Но, не беря рукописи Кибальчича, он извлек из портфеля тяжелую папку с бумагами.

— Вот документ поважнее для вас в данную минуту, — строго произнес он, разыскав нужный листок, — «За принадлежность к означеному выше тайному обществу и за злоумышленное соучастье в посягательствах на священную особу государя императора... особое присутствие правительствующего сената определяет... (он пропустил несколько строк) сына священника Николая Ивановича Кибальчича, двадцати семи лет... лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение». Я не скрываю от вас: есть еще время бороться, но промедление здесь воистину смерти подобно.

Кибальчич слегка пожал плечами.

— Ну не все ли равно, скажите, что виселица, что каторга? Нет уж, лучше просмотрите эту рукопись. Как это там у вас говорят: не отказывают в последней просьбе, что ли?

Герард, уступая, неохотно взял тетрадь.

«Находясь в заключении, за несколько дней до моей смерти, — прочел он первые строки, — я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении».

Зашитник читал под нервирующий аккомпанемент своих неотвязных процессуальных соображений: сегодня оглашена резолюция, завтра приговор будет объявлен в окончательной форме, тридцать первого истекает кассационный срок, первого апреля — его могут повесить. Ему остается жить два дня и три ночи...

«...Если же моя идея, после тщательного обсуждения учеными специалистами, будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью. Поэтому я умоляю тех ученых, которые будут рассматривать мой проект, отнести к нему как можно серьезнее и дать мне на него ответ как можно скорее»...

Герард с удивлением взглянул на своего подзащитного: за несколько дней до казни этот человек был поглощен своим научным открытием и мечтал об ученом диспуте с инженерами, астрономами и пиротехниками.

— Вам трудно читать мой почерк? — поинтересовался Кибальчич. — Оставьте, я лучше объясню вам. Тайну воздухоплавания разрешит двигатель. Но какой? Пар непригоден: процент тепловой энергии ничтожен. Паровая машина тяжела. Электродвигатель требует опять-таки паровой машины. Мускульная сила человека неприложима: нельзя смастерить воздушную машину по типу птицы. Леонардо ошибался. Вы понимаете меня?

Несмотря на грозную неотложность судопроизводственных ходов и предельное напряжение нервов, Герард невольно был

тронут этой непоколебимой верностью осужденного своим научным гипотезам.

— Я совершенно понимаю вас, — произнес он ласково. — Но в таком случае, какая же сила применима к воздухоплаванию? — спросил он с живым любопытством, стараясь, быть может, в последний раз порадовать приговоренного.

— Этого никто не знает, кроме меня. Но я скажу вам. Это — медленно горящие взрывчатые вещества.

Изобретатель развернул лист с чертежом.

— Это чрезвычайно просто. Взгляните: цилиндр, прикрепленный к платформе. Все. И с помощью этого снаряда вы можете отделиться от земли. Перенестись на Сириус, Венеру, Марс, Луну. Нет больше пространства!

— Допустим. Но как же приводится в действие этот аппарат?

— Взрывчатые вещества при горении образуют газы огромной энергии: фунт пороху взрывает глыбу в сорок пудов. Нужно только замедлить и продлить мгновенную силу взрыва — и задача полета разрешена.

— И вы открыли способ регулировать действие взрыва?

— Вот он. Видите эту свечу, установленную по оси цилиндра. Это порох, спрессованный под большим давлением. Он медленно горает. Горячие газы наполняют цилиндр и давят на его верхнее дно. Если это давление превосходит вес платформы и воздухоплавателя, прибор поднимется вверх. И тогда он несется стремительно и неудержимо, достигая вскоре космических скоростей. Вы соображаете, к чему это приведет нас? Тысячелетние бредни человечества о перелете в другие миры на конях, на крыльях гигантских кондоров, на колесницах, даже на хвосте кометы — осуществляются теперь с помощью этого простого цилиндра.

Он быстро обвел тупым концом карандаша контуры своего рисунка.

— Только облечь эту полую свечку непроницаемым узким футляром из тугоплавких металлов, — и бескрылая птица пронесет человечество через бездны заатмосферных пустынь.

Сурово и пристально всматриваясь в чертеж, Герард с трудом вникал в смысл вычерченных гипербол и парабол. Сквозь эллипсы и стрелы теорем ему навязчиво мерещились неумолимые прямоугольники виселиц и напряженная линия веревки, охватывающей это молодое, поросшее черной бородкой горло, еле прикрытое теперь воротом арестантского халата. Он отложил в сторону тетрадь.

— Ну а теперь позвольте все же напомнить вам, что, если мы не будем действовать сейчас же со всей энергией, приговор войдет в законную силу... Через пятнадцать часов он будет объявлен в окончательной форме.

— Он не сможет поколебать незыблемой верности этих вычислений.

И бывший студент института путей сообщения, приговоренный к смерти за цареубийство, любовно наклонился к своим концентрическим кругам и пунктирным овалам. В профиле его было нечто твердое и четкое, как в контурах его чертежей и знаках его уравнений.

Спор становился безнадежным. Изощренный судебный dialectик пустил в ход последний довод:

— Но послушайте, Кибальчич, приходилось же вам обращаться от ваших надзвездных сфер к земле, к борьбе, к текущей политике... Почему же теперь вы не хотите видеть страшнейшей из реальностей?

— Потому что она не страшна. Математика избавляет от страха смерти. Более того — она обращает на служение людям. Вот почему я изобрел корабль-ракету и стал техником социально-революционной партии. В этом нет противоречия, — напротив, стремясь завоевать миры, нельзя забывать о бедствиях своей планеты. Принося в дар человечеству все солнца вселенной, нужно прежде всего стремиться избавить его от угнетения и приниженности. Пусть выпрямится. Выше голову! Больше воздуху в грудную клетку... И затем — крыльев! Крыльев! Для завоевания космоса, для овладения солнечной системой...

Металлические глаза Кибальчича, казалось, вбирали в себя излучения миров, в орbitах которых витала его мысль.

— Вот почему я создал воздушное судно для перелета через бильоны верст и одновременно изобрел разрывные бомбы абсолютной и неотразимой безошибочности. Я избавил мою родину от лицемернейшего из деспотов и оставляю в дар человечеству разоблаченную мною тайну завоевания космоса. Стоит ли, скажите, жалеть о двух-трех десятилетиях своей жизни?

На этот раз Герард слушал внимательно.

— Но если есть возможность спасти себя, преступно, со-гласитесь, пренебрегать этим. Ведь перед вами, быть может, еще сорок-пятьдесят лет, ведь это целая вечность.

— Для перелета в системы других звезд потребны тысячелетия...

— Ваши логарифмы съедят вас. Бросьте вы их на два дня. Умоляю вас, сегодня же ночью пишите письмо на высочайшее имя.

Он набросил на плечи свою тяжелую шубу и накрылся меховой шапкой. Прежде чем выйти, он долго и крепко жал руку Кибальчича, словно стремясь влить в него свою волю. Еще два-три дня и — чудовищный Фролов накинет на это умное лицо с горящими глазами непроницаемый капюшон...

— Послушайте, Кибальчич, я верю, что мне удастся спасти вас. Но я хотел бы иметь союзников, чтобы сломить ваше упорство. Я еще не видел никого из ваших родных — назовите мне их, кто из них здесь в Петербурге? Я хотел бы повидать их.

— У меня нет родных.

— Но, может быть, невеста, подруга?

— Никого.

Кибальчич задумался: мать, сестра, любовница? Промелькнуло в памяти смутно и мимолетно ощущение тепла и безмятежного блаженства где-то в кроловецких рощах на тучном черноземе Черниговщины. Вспомнились беспечные и резвые содружества буйных школяров под шелестящими тополями семинарского сада. И эти людные молодые кружки, где чернобровые девчата отважно готовились к свержению петербургского правительства под хоровые раскаты гайдамацкой песни: «Гой, не дивуйтесь, добрые люди, что на Украине повстанье...»

Он положил свои руки на плечи адвокату и долго смотрел ему в глаза. Оба чувствовали, что, при всем различии их прошлого, их судьбы, их жизненного дела, они теперь чем-то неоштумно сближались — адвокат в белом галстуке и смертник в арестантском халате. Правовед и секретарь сената, ставший знаменитым криминалистом, и этот черниговский попович, строитель первого небесного корабля, артиллерист революции и моряк вселенной, оба стояли перед лицом смерти, невидимо присутствовавшей при их тюремной беседе. Как бы ни были различные сроки их вступления в неумолимый круг уничтожения — два дня или два десятилетия — не все ли это равно перед вихрем эпох в ледяных межпланетных пустынях? И это почувствовали оба, долго глядя друг другу в глаза в тесной полутемной и душной каморке, куда был заключен на оставшиеся часы жизни этот завоеватель звездных пространств, мысливший мирами и овладевший бесконечностью.

Кибальчич медленно опустил руки.

— Сохраните проект мой и, когда настанет время, доведите его до сведения людей. Желаю вам дожить до первого полета на моей птице!

Он как-то по-юному улыбнулся своему защитнику. И на мгновенье этот математик и мятежник, этот укротитель комет и виртуоз нитроглицериновых препаратов показался Герарду беспечным мальчиком, утомившимся от беготни по рощам и почти бессознательно ждущим притока бодрости от чьей-то мимолетной ласки.

Но это длилось всего секунду. Брякнули ружья часовых. Комендант появился в дверях. И когда Герард в последний раз оглянулся при выходе, человек в буром халате уже склонял, хмурил брови, свой твердый профиль к хрупкому рисунку, которым повелительно был прочерчен путь из грязи и крови планеты Земли в алмазные лучи и ледяные просторы эфирного океана.

ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР

Ваш Великий Инквизитор произвел
на меня сильнее впечатление — мало
что я читал столь сильное

Победоносцев. Письмо к Достоевскому

В ту же ночь обер-прокурор святейшего синода, замуровавший в своем кабинете, среди гражданских кодексов и святоотеческих творений, тщательно выписывал спешное и страстное послание.

«Ваше императорское величество!

Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развертились, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить вашему величеству извращенные мысли и убедить вас к помилованию преступников».

Он задерживает на мгновение перо, ищет ошеломляющего аргумента и отсутствующим взглядом озирает кабинет.

Вокруг полумрак. С легким стрекотанием мерцают в углу неугасимые лампады. Золотятся ризы святителей и тиснения переплетов на увесистых фолиантах профессорской библиотеки. Богатейшая коллекция чужеземных и отечественных кодексов, тщательно собранных знаменитым правоведом у лейпцигских и лондонских букинистов, блещет тонкими литерами и римскими цифрами корешков на темном дереве массивных полок. Под сафьяном и пергаментом крепких крышек сосредоточено все, что выработано за пять тысячелетий изворотливой мыслью законников о цепком удержании собственности и страшных карах за нарушение установленных запретов. Он любил изощренную казуистику этих древних диалектиков вместе с законченной отчетливостью и блеском их непрогрешимых латинских формулировок. Сам он, словесник и ритор, был также в статьях и речах «элегантиссимус», как тот изящный и пышный средневековый истолкователь Пандектов, что получил для потомства навеки этот женственный предикат, достойный венчать изнеженных Меценатов или Петрониев...

Наряднейший! Да, речью блистающей, стройной, изысканной и до краев напоенной тонкой отравой несокрушимых со-

физмов любил облекать он свои аргументы в сенате, считая, что именно так должны сгущаться в параграфах сводов беспощадные санкции злодейств против власти верховной. В неумолимые, четкие и твердые изречения надлежит облачать высочайший государственный гнев, некогда низвергавшийся на главы преступников страшными карами аркебузирования, колесования, сожжения, четвертования, рвания клещами или заливания горла расплавленным свинцом. Все эти членовредительства, пытки, расправы и смертоубийства заключены теперь в бесстрастные распоряжения декретов, статутов, артикулов и уложений, вытянутых многотомными шеренгами на дубовых полках придворного педагога.

А рядом, в углу у окна, раскинулся целый костер хрустальных светилен под кипарисовым деревом, эмалью, финифтью и золотом древних икон. Из келий, часовен и пустынь, с Афона и Крита, стеклись сюда, в кабинет петербургского богослова, эти трехстворчатые деисусы, волхвы и архистратеги в панцире риз и броне драгоценностей, залитые бенгальскими отсветами многокрасочных лампад.

Здесь среди блеска, лучей и мерцаний в самом углу чернело огромное изображение спаса нерукотворенного, выписанного искусствнейшими кистями новгородских изографов.

Недавно лишь, сидя здесь между письменным столом и древним портретом чудотворца, покойный ныне Достоевский читал ему по корректуре Русского Вестника гневный монолог девяностолетнего инквизитора к основателю проповедуемого им учения. Слабым голосом, сквозь дым крепкой папиросы, покашливая и напрягая свои хрупкие голосовые связки, знаменитый мастер психологического романа с тончайшим искусством трагического актера вычитывал эту ошеломляющую обвинительную речь железного властителя к вечному мечтателю и утописту. И с проницательной экспрессией, прожигающим шепотом, словно вливая все свое существо в эту огненную инвективу, отчетлисто произносил слабогрудый писатель неслыханные обвинения грозного и премудрого владыки.

«Завтра же это послушное стадо по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать»...

Казалось, самый надорванный голос чтеца присуждал к смерти. Словно аудитор с плахи Семеновского плаца прочитывал приговоренным царскую конfirmацию: «Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. *Dixi*».

Слушатель был смущен этой потрясающей страницей.

— Сильно! Сильно! — повторял он бесцветными губами (щурял глаза сквозь очки, словно пристально всматривался в ускользающую мысль), — но знаете ли, Федор Михайлович, тут допущена у вас какая-то ошибка.

— Это новая формация русского атеизма, — раздался в ответ жаркий шепот утомившегося чтеца, — ведь философское опровержение провидения всеми нынешними уже оставлено, зато отрицается смысл мира, тысячелетние сокровища всемирной истории — государство и церковь.

Внезапный зловещий огонек вспыхнул за тонкими стеклами Победоносцева.

— А ведь знаете, многое тут у вас отдает богохульством, — не без коварства и тайны, но с грозной какой-то догадкой произнес он, жадно всматриваясь в глаза своего гостя. И огромные хрящеватые уши вспыхнули от затаенного гнева.

— А помните ли, Константин Петрович, о ком Каиафа первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: он богохульствует?

— В осанне вашей давно уже чую кощунство, — продолжал подозревать и грозить сенатор.

— Дайте время... — закашлялся глухо и тряско писатель. — Будет у меня и опровержение богохульства... в июньской книжке... прочтете...

Но опровержения так и не последовало. Тщетно придворный богослов просматривал за утренним завтраком, меж двумя заседаниями или в придворной карете, новые выпуски московского обозрения. Богохульство оставалось неопровергнутым. И ничего сильнее этого разгрома евангелия покойнику уже не довелось сказать. Так и ушел внезапным и быстрым горловым кровотечением — и не в вере ушел, в колебании. Почему же теперь такой страшной правдой дышит его тогдашняя мысль?

Он продолжал, заглушая тревогу, писать императору:

«Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийцу отца вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих ослабленных умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется».

Мщение? То ли слово? Ведь блаженны милостивые... О, вечные соблазны невыполнимой книги! И зачем только ревностные ученики записали в своих канонах и посланиях эти неосуществимые заветы опаснейшего фантаста и передали их векам, как норму поведения и правила практической жизни?

Он подошел к огромному образу. Долго и пристально всматривался в древнее творение новгородских иконописцев. Казалось, безмолвно и напряженно вел с ним беседу.

— Ты хочешь внушить мне, что в этом письме моем к императору ложь и софизм? Благоворить ненавидящих нас и молиться за нас обижающих — этого ждешь от меня, о тончайший из риторов? Нет, ошибаешься — не безумством заве-

тов твоих будем обуздывать бунты, строить церковь твою и крепить всемогущество кесаря.

Он вытянул вперед блестящий в свете лампад остроконечный свой череп, строго и пристально глядя в темный левкас новгородского образа.

— Да, бесспорно, покойный писатель был прав: ты мешаешь нам. Невыполнимостью нравственных своих афоризмов и зовом к несбыточным подвигам ты подрываешь всякую власть. Да, он был прав, инквизитор поэмы: мы, первосвященники и правители, пастыри буйного и трусливого стада, мы ненавидим тебя. Две тысячи лет ты смущаешь нас безумьем утопий своих. Мудр, премудр был Понтий Пилат, освободивший разбойника Варавву и казнивший тебя позорною и грозною казнью. Ибо что есть разбойник? Угроза дюжине купцов... Ты же подтасчивал ядом смертельной доктрины целые армии, разваливал в прах непобедимые фаланги, рушил могучие царства, и величайшие в мире империи хирели и проваливались, как от дурной болезни, в бездонные пустоты твоего страшнейшего парадокса. От тебя пошли все эти лжеучители, от которых ныне считается кровавыми ранами власть самодержцев всей Руси и шатается на адамантовых своих основаниях сама православная экклезия. О как был прав в тот вечер над исчерканными корректурами ясновидец-писатель в своей богохульной и громоносной истине! Да, мы не любим тебя, ты пришел нам мешать. И если бы сегодня, двадцать девятого марта в год тысяча восемьсот восемьдесят первый со дня рождества твоего в Вифлееме иудейstem ты появился в священном граде Петра подрывать своими нагорными проповедями еще неокрепшую державу молодого императора, если б ты сошел в наши темницы или замешался в толпу площадей в холодные утра нещадных и мудрых возмездий наших, я сам разыскал бы тебя под землею или на стогнах града и отдал бы собственной властью приказ о твоем расстрелянии. Ибо пасомому нами стаду в сотни миллионов голов даем мы угрозой и казнью сытость и сон, которые ты отнимаешь у них уже два тысячелетия...

И, возвратясь торопливыми шагами к столу, он стремительным почерком приписал окончание.

«Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сердца ваших подданных. Я, русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради бога, ваше величество, — да не проникнет в сердца вам голос лести и мечтательности.

Вашего императорского величества верноподданный
Константин Победоносцев».

Из кресла своего, не вставая, торжествующим взглядом окинул он безмолвствующего своего собеседника там в углу за серебром цепей и узорочной россыпью лампад. Новгородский искусствник вложил в глаза своего мыслимого портрета необычайную выразительность и пронизывающую силу живого взгляда. Но в упор проницая холодным своим оком лик древней картинны, обер-прокурор последними доводами заключал свой обвинительный монолог.

— Ты думаешь смутить меня противоречием меж проповедью и делом моим? Меж словом твоим, возглашенным пастырями церкви, мною ведомой, и мечем, разящим главы непокорных? А ты позабыл, что я законник и логик? О поверь, мы найдем толкование, мы выкуем формулу... Слушай: сам же ты принял казнь, а стало быть не отверг ее, а следственно и нам заповедал не гнушаться ею... Вот что возгласим мы с амвонов, пока палачи будут душить на площадях столицы смертельных врагов наших. Мы покажем тебя, о беспомощный вития галилейский, неожиданным и неправдоподобным — мужественным и грозным, могучим и карающим. Мы согласуем с расплывчатой книгой твоих апостолов смертоносные параграфы наших военно-полевых уставов. И за нами пойдут сто миллионов безмолвствующих и оробелых, которым мы обеспечим казнь шестерых сладчайшее право в глухой тишине предаваться их тайным порокам, бездумью и спячке.

И не снижая век под тонкими овалами стекол на трупей своей голове, бесстрастно и прямо смотрел в зрячий очерк древнего богоизбранного верховного глава православия, смиренный наставник царей и ныне «волею божьей» водитель величайшей империи мира.

На следующее утро обер-прокурор, согласно обычаю, получил свое письмо с пометкой на верхнем поле:

«Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеют прийти никто и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь. А».

Раннее апрельское утро. Солнце и ростепель. На Семеновском плацу, как в 1826 году на кронверке Петропавловской крепости, приготовлены пять¹ веревочных петель. Удушителю Соловьева и Младецкого предстоит большая работа.

Прокурор фон Плеве в треугольной шляпе и белых перчатках наблюдает с эстрады за обрядом.

¹ Ввиду того, что Геся Гельфман оказалась беременной на четвертом месяце, исполнение приговора над ней было отсрочено; через несколько месяцев она умерла в тюрьме.

«В 9 часов 20 минут, — запротоколировал официальный отчет, — палач Фролов, окончив все приготовления к казни, подошел к Кибальчичу и подвел его к высокой черной скамье. Смерть постигла Кибальчича мгновенно: по крайней мере его тело, сделав несколько слабых кружков в воздухе, вскоре повисло без всяких движений и конвульсий...»

«...Перовская была казнена третьей. Сильно упав в воздухе, когда палач отдернул скамью, она вскоре повисла без движения».

Только в десять часов представители прокуратуры оставили площадь. Пять черных гробов на ломовых телегах двигались по Николаевской улице.

В арсенальной зале Гатчинского дворца, среди чучел и рогов животных, убитых на охоте Александром Вторым, молодой император в генерал-адъютантском мундире и с голубой лентой датского ордена Слона через плечо уже готовил в тесном кругу своих родственников воинствующий манифест о незыблемости самодержавной власти.

Героическая эпоха русской революции уходила в подполье на четверть века.

ХУДОЖНИКИ

Здесь, смотря на поденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека.

Гаршин. «Художники».

Блещет на мольберте свежими сгустками масла большой туго натянутый на подрамок холст. На выцветшем фоне голубеньких обоев, под округлыми портретами Шевченко и Некрасова, молодая женщина у рояля, двое детей и сутулая старушка застыли, пораженные внезапным появлением странного гостя: в комнату вошел обнощенный и болезненно истощенный высокий человек с пасмурно горящим взглядом затравленного зверя. За ним тысячи верст и долгие годы изгнания...

Илья Ефимович Репин заканчивает картину «Не ждали».

Он не один. Напротив у окна за столом, перекрытым блестящей белой kleенкой, позирует дочь его, рыженькая девочка Вера, исподлобья глядя удивленно куда-то вбок голубыми глазами и смущенно скривив повисшую с высокого стула ножку.

Из кресла в глубине мастерской опытным взглядом мастера следит за работой художника, пощипывая седеющую бородку, артиллерийский полковник. Это служащий при петербургском патронном заводе известный живописец Николай Александрович Ярошенко, один из столпов товарищества передвижных выставок.

Из глубины мастерской, пристально вглядываясь в изображенную группу, то отходя, то бесшумно приближаясь к мольберту, беллетрист и художественный критик Всеволод Гаршин внимательно изучает новую картину автора «Бурлаков».

Гаршин давно полюбил художников. Их мир считал целебным для себя и болезненно врачующим глубокие душевые язвы. Искусством сам он боролся с подступающим безумием. Нередко спрашивал себя, почему это психиатры еще не додумались лечить своих больных живописью, музыкой, стихами? Вместо изоляторов, не лучше ли было бы отвести в лечебнице комнату под картины? Игра красок, переливы тонов, мерцания одежд, радость улыбок — Леонардо, Ботичелли, Перуджино — и тут же арфы, орган, цитры... И кажется, мрак рассеялся бы

и не понадобилось бы никаких горячечных рубашек и привинченных коек.

Репин, заканчивая подмалевку деталей, охотно и бойко беседует. Веселый художник слегка подшучивает над собственными темами.

— Вот за последние годы, глядите: сходка террористов, исповедь, арест — еще ли мало гражданственности? Ведь художник у нас только иллюстратор идей. Вон Крамской похваливает картину — какой, мол, «интересный рассказ»... Да ведь это почти оскорбление живописцу! (Он горячо и нервно накладывает краски на полотно.) В Париже слово ли тератор в академиях Монмартра считается оскорбительным, им клеймят художника, не понимающего пластического смысла форм, красоты в глубоких сочетаниях тонов...

Артиллерист удивленно подымает брови. Он, выученик Чернышевского и Добролюбова, рад общественной теме новой картины Репина. «В красках должна светиться мысль восстающих», — в этом полковник давно был уверен. Сыл нигилистом. Недаром недавно, когда управление патронного завода пыталось дать ему важное секретное поручение, в военном министерстве был поднят вопрос: удобно ли поручать дело первостепенной государственной важности человеку, написавшему «Заключенного», «Студента», «Курсыкту» и «Литовский замок»? — «Я пишу то, что дает жизнь в данное время и что будущее занесет в историю», — отвечал Ярошенко. — «Ну, а зачем вы писали Перовскую и Засулич?...» В последнее время художник мечтал об отставке.

— Я теперь не могу никуда уйти от моего «Кочегара», — произносит он наконец в ответ на шутливые жалобы Репина. — Мне кажется, на этом должна сосредоточиться русская живопись: на новой, на будущей, на растущей силе...

Гаршин чрезвычайно любит «Кочегара» Ярошенко. Он запомнил навсегда, как этот художник-инженер водил его по цехам чугунолитейного завода, разъясняя ему среди грохота, огня и дыма сложные процессы металлургического производства. Гаршин был поражен всей обстановкой этого разрушительного ремесла, пожирающего людей и калечащего жизни. Черные прокопченные стены, пылающие жерла калильных горнов, вой машин и визг ремней, ослепительно накаленные глыбы металла, взлетающие на цепях в черноту и чад мастерских, огненные потоки жидкого чугуна, рассыпающегося каскадами искр, а вокруг закаленные огнем, полуобнаженные и лоснящиеся потом, словно выплавленные из несокрушимого материала их труда, мускулистые, загорелые, обожженные литейщики и кузнецы — все это было необычайно, чудовищно и грозно. Здесь, среди наковален, котлов и печей, мнущих и льющих чугун, как воск и воду, Ярошенко показал ему последнюю категорию рабочих, подпирающих изнутри руками и

грудью котельные стенки, пока кузнец наколачивает снаружи пудовым молотом раскаленную добела заклепку на острие гвоздя, сшивающего железные листы. Жадно всматривается Гаршин в этого обреченного, по-художнически запоминая му-чительный образ скорчившегося в три погибели, одетого в лох-мотья, задыхающегося от усталости человека. Он зорко разглядывает всклокоченную и закопченную бороду, бескров-ное лицо, по которому струится пот, смешанный с грязью, жилистые надорванные руки и лохмотья на широкой и впалой груди. Он пристально следит за жестоким ходом котельного ремесла, неизгладимо вычерчивая в памяти этот дьявольский чертеж: «Постоянно повторяющийся страшный удар обрушива-ется на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе...» И Гаршин понимает теперь, что, написав «Кочегара», Ярошенко уже навсегда ушел от невинных сюжетов, академических тем, пейзажа и жанра. Этот неслыханный «вопль, вложенный в полотно», должен звучать теперь из всех картин и страниц. С мужеством большого художника Ярошенко вступил на этот труднейший и еще не испытанный путь. Он вызвал этого мускулистого рабочего из душного темного завода, чтоб он ужас-нул своим видом чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Зоркий живописец словно внушил неведомому труженику: «Приди, силой моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трэны, крикни им: я — язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком. Убей их спокойствие, как ты убил мое...». Так по-нимал писатель это изображение приземистого силака с узло-ватыми мускулистыми руками, с уверенным, спокойным и решительным взглядом. И в возникающем споре он становится на сторону Ярошенко:

— Я думаю, что формула «искусство для искусства» умер-ла в нашу эпоху...

— Вспомните Пушкина, — усмехается над своей палитрой живописец, — цель поэзии — поэзия...

— Но так говорить мог один только Пушкин, — волну-ясь, возражает Гаршин. — Его цельная художественная на-тура ни в одном из стремлений своих не могла сделать ошибки...

— Ну а ваши любимцы — Флобер, Меримэ?

— Вы помните у Пушкина: «что нужно Лондону, то рано для Москвы»... В России может иметь успех и право на суще-ствование только писатель-учитель, только художник-пропо-ведник. Вот ваши «Бурлаки» — первая социальная картина у нас. И я кланяюсь вам как величайшему художнику моего времени...

— Вы бы еще ниже поклонились, если б знали мой перво-начальный замысел: я собирался изобразить контраст этих за-

пряженных людей и нарядного общества, которому бурлаки уступают дорогу... Но закон построения картины спас меня от такой проповеди.

— Однако здесь вы дали этот контраст, — и какой силой дышит ваша картина!

Он подошел к широкому полотну на одной из стен мастерской. Знойный июльский день. Солнце обливает прямыми лучами разношерстную толпу, сопровождающую чудотворный образ. Губернские именитости, купцы, духовенство, разряженные барыни, полицейские, мужики, нищие, юродивые шествуют и плетутся за носилками, отягощенными массивным золотом иконы, под пестрыми красками хоругвей... Вся Россия с ее чревоугодниками и взяточниками, нагайками и тугими бумажниками, полицейскими и огромной безмолвствующей сермяжной толпой, где мелькает подчас бледное лицо горбунамечтателя, — какое благообразие, чинность и принарженность... и как чудовищно!

— У нас еще немыслимы такие художники, — задумчиво произносит Репин, — как Мессонье или Фортуни, художники жизни и формы самих по себе. Крестный ход увлек меня своими красками — солнечным воздухом и ослепительным летним небом, золотом крестов и окладов, яркостью риз... Какой роскошный материал для великой декоративной живописи, для зрелищной радости! А меня хвалят за поднятые нагайки стражников и толстые брюха купеческих старшин...

— Ты отрицаешь право живописи на мысль? — удивляется Ярошенко. — Не этим ли живет в наши дни искусство?..

— Друг мой, однажды, под впечатлением одной из наших выставок, я случайно натолкнулся на сформованный обломок из фронтона Парфенонского храма. Фрагмент представлял только уцелевшую часть плеча. Это была такая высота в достижении полноты формы, изящества, чувства меры, что я забыл все... И прежде всего мои собственные картины на эти современные темы...

Он говорил о них почти с презрением. В студии, за мольбертом, с кистью в руке, он был по-детски откровенен. Вспыхивало из-под наносного и временного исконное существо его художнической природы. Это был мастер, достаточно беспечный к идеям и тенденциям, но чрезвычайно впечатлительный к запросам зрителя, к последним новинкам, к волнующим темам дня, ко всему, что будит внимание, приковывает взгляд, оживляет беседу, вызывает толки и споры. Революция, подполье, аресты, казни влекли его к себе как острая, большая, раздражающая тема эпохи. И он писал своих террористов, пропагандистов и нигилистов, арестованных и ссыльных, замученных и пытаемых, с отвлеченным, расплывчатым, неопределенным сочувствием к этим жертвенным героям. Но было известно, что одновременно он нисколько не отвращался от власти, породив-

шай этих мучеников и отверженцев. С таким же художественным прилежанием, как и своих «Бурлаков», писал он Александра Третьего на приеме волостных старшин в Петровском дворце. Революция, молодые силы, растоптанные жизни несколько не мешали ему принимать заказы министерства двора, вице-президента Академии художеств, великих князей, наследника-цесаревича и даже самого царя.

«А знаешь ли, братец, когда грянет революция, неизвестно еще, на чьей стороне ты очутишься», — насмешливо бросил ему недавно скептический приятель, рассматривая красные знамена, желтые венки и синие блузы его «Митинга у стены коммунаров». Художник растерянно промолчал.

— Чистое искусство, — мучительно приподымает брови Гаршин, — какой это манящий, мерцающий, увлекательный и гибельный обман! Когда-то я придавал значение этим чисто художественным затеям. Помню, восхищался «безукоризненной техникой» Семирадского. Можно ли подняться выше? Золото сосудов блестит у него словно позолоченная рама картины, перламутровое сидение на паланкине императора как будто вырезано из настоящей раковины. Теперь понимаю: какое ребячество!..

— У Семирадского, может быть, — иронически усмехается Репин, — ну а у Тициана, у Тьеполо?

— Все это чужеземцы, нарядные, прекрасные, далекие. Я ищу родного, близкого, моего искусства. Я люблю теперь Сурикова... За образами его дикими, суровыми — я ощущаю жестокий драматизм древней Руси. О, дайте этой боярыне Морозовой, дайте ее вдохновителю Аввакуму власть — повсюду зажглись бы костры, воздвиглись бы виселицы и плахи, рекой полилась бы кровь. Вот трагический мастер, совершенный в своем искусстве, могучий в своих замыслах...

Репин пристально всматривается своими зоркими чуть прищуренными глазами в прекрасную голову своего посетителя. Он оставил палитру и кисти и отошел от мольберта: на сегодня довольно! Верочка радостно спрыгнула с высокого стула и повисла на трапеции, привинченной к архитраву входа в мастерскую. С резвой песенкой, утомившись так долго изображать дочь сосланного, она раскачивается широкими и мерными размахами, на мгновение исчезая и снова радостно влетая в студию. Художники продолжают беседу.

— Глядя на вас, я только что нашел, Гаршин, разрешение давно томившей меня задачи, — произносит Репин, всмотревшись в лицо писателя. — Вы, не зная того, помогли мне. Я хочу писать вас для одной исторической картины.

— Из эпохи татарского ига?

— Нисколько. Почему же?

— Меня часто принимают за татарина. Вообще за восточного выходца... Вероятно, благодаря моей смуглости... Со мной

неоднократно на улице заговаривали татары, армяне и евреи на своем родном языке.

— О нет, восточность ваша обруслая... Сказочная немножко, но отчасти древнерусская, вот как вся эта узорчатая резьба, эта Азия в Москве, эти шатры, и купола, и терема... Вот туда-то я и хочу ввести вас.

— В качестве кого же?

— Вы будете позировать мне для царевича Ивана, старшего сына Иоанна Грозного...

— Что общего у наследника Грозного с больным петербургским литератором?

— Представьте, есть. В вашем лице меня давно уже поразила его обреченностъ. Это то, что мне нужно для моего царевича.

— Но ведь он был властен, жесток, своенравен, весь в отца?

— Я изображу его в момент жертвенный и погибельный. В ссоре с отцом он вступается за правое дело. Он высказывает всю правду безумному самодуру... И вот, остроконечный посох вонзается в висок царевича. Он шатается, падает, лицо обескровлено, взгляд гаснет. И тут-то в изверге пробуждается отец. В отчаянии он бросается к трупу и в ужасе, уже сознавая себя сыноубийцей, пытается страстными поцелуями вернуть жизнь убитому, бессмысленно зажимая скрюченными пальцами рану с хлещущей кровью...

Слушатели взволнованы рассказом художника.

— Когда возник у тебя этот замысел? — спрашивает наконец Ярошенко.

— Как-то в Москве, два года назад, в один из вечеров я слышал новую вещь Римского-Корсакова — «Месть». Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване. Это было в тысяча восемьсот восемидесят первом году. Событие первого марта всех взволновало. Какая-то кровавая полоса прошла через этот год... Я работал завороженный... Мне минутами становилось страшно...

— И все же мне кажется у Гаршина нет ничего общего с царевичем Иваном, жестоким, своеольным, сладострастным...

— Ты прав, конечно, и я еще не раз изображу эту голову. (Он подошел к писателю и почти обнял его, с нежностью всматриваясь в его истощенные черты и удивленные глаза под скорбно приподнятыми бровями.) Когда-нибудь я еще изображу вас, Гаршин, в самую великую минуту вашей жизни — в ночь вашего прихода к диктатору, когда на Семеновском плацу уже возводилась виселица. Вам не привелось отвести от осужденного руку палача, но вы сделали все, чтоб спасти жизнь приговоренного к смерти. Вы пережили с ним его казнь. Вы

сами взошли на плаху. И я изображу вас в лице юноши, осужденного на смерть... Палач уже занес свой изощренный меч для отсекновения четырех голов. Но премудрый старец останавливает его руку. И вот младший осужденный — юноша или отрок с вашим встревоженным и светлым лицом — следит с исступленной надеждой, как беспомощно опускается рука казнящего...

В это время шум тяжелого предмета и пронзительный крик испуга заставил всех обернуться. Верочка сорвалась со своей трапеции и, растянувшись на паркете, с разбитым носом и окровавленным лицом, задыхалась от отчаянного вопля...

Все кинулись к дверям. Откуда-то спешили женщины с графинами и полотенцами. Девочку подняли. Вода уже пропитывала чистую холстину...

— Подождите, не трогайте, не трогайте! — бросился к женщинам Репин.

Он жадно всматривался в текущую из носа струю крови, словно стремясь запомнить этот оттенок алого потока, протянувшегося по атласистой белой коже...

Девочка перестала плакать и, казалось, поняла отца. Женщины застыли с намокшими полотенцами в руках...

— Ну, теперь довольно, будет, вытирайте, — произнес художник, все еще словно завороженный видом крови.

И отошел, словно очнувшись, с полуулыбкой.

— Такие случаи нельзя упускать. Пригодится для Ивана Грозного...

К этой исторической картине готовились долго и по-особому. Сам Репин кроил черный подрясник для царя и розоватый с серебристым отливом халат для молодого царевича. Следил, как шили яркие синие штаны с цветочками. Сам расписывал бирюзовыми завитками высокие рыжие сапоги с загнутыми носками.

Менялись модели. Художник Мясоедов с хищным профилем, с большой когтистой лапой ястреба. Какой-то старик с улицы, истощенный и замученный, с остановившимся бесцветным взглядом. Так слагался и вырастал под кистью художника венчанный сыноубийца, возмущенный неслыханным ужасом содеянного и непоправимого.

Гаршин позировал по очереди с другим натурщиком. В последнее время хворал, не ходил в мастерскую у Калинкина моста, без него довершалась работа. Впервые законченное полотно увидел на выставке.

Картина была выставлена в отдельной комнате в самом конце анфилады. Толпа скрывала от глаз входивших весь низ полотна. Когда наконец Гаршин пробился к свободному пространству, он весь затрясся и скватил за руку своего спутника:

— Зачем столько крови?..

В последний раз он видел еще только эскиз будущей картины. Теперь же он был поражен этой законченностью, полностью, подлинностью ужаса. На сдвинутых, скомканных, смятых узорчатых коврах, грузно придавленных двумя телами, блистали тяжелою россыпью крупные, свежие, только что скатившиеся капли крови, застывшие цельными рубинами на сухом ворсе ткани. Они были налиты и выпуклы, как зерна жемчуга на розовом шелку царевичева кафана. А несколько дальше, за темно-блестящим увесистым посохом-копьем разлилась застывающая лужа. И свежие алые потоки, густея и запекаясь, текли из виска, сквозь пальцы Грозного вдоль бледной щеки сына, широко раскрывшего безжизненный, невидящий, уже застилаемый пеленою смерти огромный, прекрасный глаз, из которого только что вытекла эта последняя стекленеющая слеза. Вот скатится и скользнет мимо этой нежной, истонченной девичьей шеи царевича... Вот ослабеют руки отца, и свалится тело... И померкнет этот столбенеющий дьявол с огромными, длинными топырящимися ушами, этот отшельник, изможденный безумным видением, с втянутыми щеками и впалыми висками, словно покрытый кровавым потом от безнадежно запоздалого приступа отеческой любви, раскаяния и ужаса.

— Зачем, зачем столько крови?

Из этих густых и липких потоков, бьющих из пронзенного виска и заливающих щеки прекрасного юноши с лицом Всеиволода Гаршина, возникали представления об иных кровопролитиях. Историчность картины гасла — из минувшей трагедии выступала окровавленная и бьющаяся в судорогах современность, восстающая и грозящая, израненная и агонизирующая. Не Александровская слобода с разгулом и яростью Грозного, а петербургские кронверки и плацы с виселицами и плахами. Не царевич в розовом кафтане, — юноши в клетчатых пледах, девушки с гладкими висками, молчаливые, строгие, непоколебимые в своей воле и в своем мученичестве. О них думал Гаршин перед страшной группой отца и сына, схваченных последним смертельным объятием.

Публика раздвинулась. По толпе прошел оживленный ропот. Перед полотном стоял, величественно и снисходительно созерцая новый шедевр, плотный высокий генерал в пышных усах и бакенбардах, брат царя — Владимир, меценат и собиратель картин, главнокомандующий войсками гвардии и президент Академии художеств.

Рядом с ним, почти вплотную прикасаясь к его мундиру, рассматривал сквозь тонкие очки полотно Репина бледный человечек с широко оттопыренными ушами и мертвенно застывшим лицом, отороченным короткими седеющими бачками. Ровным выделанным голосом церковного проповедника он делился своими впечатлениями с высокопоставленным зрителем.

— Я с трудом сдерживаю отвращение, ваше высочество. Репин всегда стремился к голому реализму, к обличению и дешевенькому протесту. А эта картина его просто отвратительна... (Президент академии сочувственно кивал головой.) — И к чему тут Иоанн Грозный? Заметьте: только для обличения и посрамления представителя верховной власти. Для снискания аплодисментиков в среде анархистов и нигилистов. (Победоносцев заметно распался.) В картине нет ни мысли, ни идеала, ни историзма, — одно жалкое пресмыкательство перед террористами: вот, мол, вам, кесари земные, любуйтесь и действуйте. Не выставлять бы следовало подобные полотна, а сжигать на площади рукою палача.

Гаршин уходил с выставки смущенный и подавленный. Он остро ощущал теперь, что современное искусство не есть целительное средство от безумия. Как жизнь, окружавшая его, оно сочилось кровью, дышало борьбой, звало к мести и гневу. Не Ботичелли и Перуджино, не арфы и цитры, не херувимы и мадонны, — восстание, убийство, право на жизнь и смерть, на власть и господство, великие бунты и казни — все мучительные взрывы мысли, раздиравшие в кровавые клочья политическую современность, волновали великих художников и запечатлевались в их творческих видениях. И не то ли искусство только и обладает высшим правом на существование, которое отмечено этой острой болью эпохи, зияет ранами мимоидущей истории, отвечает полным голосом на встревоженный зов нового поколения, властно пришедшего к жизни и борьбе?

Гаршин знал: он должен пересоздать себя как писателя, неумолимо вырвать из сердца мечтательность и обильную кровью современности вытравить из сознания свою женственную склонность к фантастическим притчам и отвлеченным сказаниям. Когда-то он собирался дать полную волю этому опасному влечению, хотел написать том волшебных и мудрых легенд, чтоб посвятить его своему «учителю Андерсену». Он издавна любил погружаться в эти вымыслы великого ирониста о свинопасе и трубочисте, о гречихе и штопальной игле, о журавлях и диких лебедях, об оловянном солдатике и девочке с серыми спичками. Перелистывая книжку в пестрой, как волшебный фонарь, обложке, он сквозь готические очертания образов прозревал родное, близкое, свое: картины прошлого, воспоминания своей личной жизни. Страницы Андерсена словно вызывали из упłyвшего времени какие-то незабываемые эпизоды, получавшие новый смысл и раскрывавшие свое затянутое значение от прикосновения к ним великого сказочника. Гаршин узнавал себя в этих игрушечных героях, так глубоко захваченных жестокими драмами жизни. Иногда ему казалось, что сам он мог бы восклкнуть, как фарфоровая пастушка, достигшая с трубочистом края трубы и впервые увидевшая

сквозь слезы бесчисленные крыши города и небо со всеми его звездами: «Это слишком много. Этого я не в силах выдержать. Мир слишком велик!» Теперь он знал, что этот пугающий своими размерами и загадками мир он должен принять целиком, чтобы рассмотреть зорким взглядом художника все его язы и отразить их в своих страницах. От сказок Андерсена — к хронике сегодняшней газеты, к беглым сообщениям подпольных листков, к прокламациям и отчетам политических процессов. Теперь он понимал, что в годину Желябова и Перовской нужно быть их современником и единомышленником, чтобы творить великое в искусстве и оставить такой же бесстрашный след в нем, как эти герои действия в жизни и политической истории своей страны. Да, нужно быть потомком тех людей, что пережили и Марата и Шарлоту Кордэ, и всю великую революцию. Нужно победить в себе эту расслабленность и вялость мечтателя и сказочника, фантаста и духовидца, бессильного и беспомощного петербургского Гамлета. Нужно быть самому способным на такой поступок! И только тогда станешь художником, могучим и действенным, имеющим высшее право на отражение жизни в искусстве и на воссоздание из крови и ран современности великих героических образов ее вождей и творцов. Он знал теперь, что настоящий художник лишь тот, кто жертвует своими замыслами и склонностями во имя повелительных зовов эпохи. Время готовит каждому поэту грозное испытание — только пройдя через него и отрекшись от себя, находишь свое высшее «я» в бурях и стонах своей поры. Нужно писать не те книги, которые хочешь, а те, которые требует от тебя проносящаяся история. Только этим поднимешь свое робкое художество на высоту незабываемого и неумирающего. Если же тебе не под силу это великое испытание времени, то и весь талант твой останется вне жизни и безжизненным. Брось свои сказочки, если твоя израненная эпоха, вся в кровавых клочьях, бессильна поднять твои вдохновения... И Гаршин чувствовал, что перед ним вырастала новая, огромная задача, на разрешение которой уйдет вся его жизнь.

«СМЕРТЬ ПОДХОДИТ ТВЕРДЫМИ ШАГАМИ»...

Мы бы назвали его *passiflora*, цветком страдания, выросшим на почве, обагренной кровью, под темными небесами смутного времени.

С. Андреевский.

В один и тот же год скончались диктатор и писатель. В 1888 году зимою в Ницце, на вилле Коринальди, истощенный долголетним бронхитом и чахоткой умер человек, утвердивший 21 февраля 1880 года смертный приговор Младецкому и в ту же ночь лицемерно утешавший рыдающего Гаршина.

Он умирал медленно, томительно, годами. Признанный партией Победоносцева ответственным за убийство Александра II, он навсегда отошел от власти. Он знал, что в Гатчине очень довольны тем «qu'op a retrouvé le самодержавие» и что его уже никогда не призовут к государственному кормилу. В Петербурге его забыли, и только родной Кавказ еще втихомолку производил с патриотическим тщеславием его опальную фамилию армянского аристократа, некогда облеченнюю мировой известностью. С горестной улыбкой вспоминал он напевы родных ашугов:

Лишь Аарат не забывает
О славе скрывшейся моей...

В добровольном изгнании, в одиночестве заграничных курортов, он вспоминал краткий срок своей диктатуры и саркастически расценивал деятелей нового царствования. Вынужденное безделье истощало и обессиливало отставного вице-императора. Врачи сменяли друг друга у его постели, ставя противоречивые диагнозы и полемизируя на консилиумах. Легкие, бронхи, порок сердца? Экзема разъедала истощенную кожу. Смерть подходила лукаво и обходом, словно применяя к нему свою собственную стратегическую систему.

Но мысль работала по-прежнему бойко и кипуче. Лишенная привычной военно-политической почвы для распоряжений и действий, она обращалась к прошлому и наново переигрывала давно разыгранные партии. Полулежа на веранде, Лорис больше вспоминал теперь, созерцал, возрождал ушедшие лица, события и речи. Там где-то далеко, у истоков сознания, в начале бытия расстилаются солнечные нагорья, шумят скудные

чинаровые рощи, высятся точеные грани Алагеза. Как странно от этих раскаленных плоскогорий перенестись в прохладные коридоры Московского института восточных языков и слушать с кафедры анализ наречий и говоров, недавно лишь сочно и звонко звучавших ему с эриванских и тифлисских улиц. Его влечет к этим знайным пределам Персии и Турции, где длится десятилетиями особая, восточная, авантюрная и нарядная война, сулящая молодому офицеру верное поприще героических набегов и воинской славы. Вчерашний гвардейский корнет отважно сражается в горных чащобах, у бурных речек, под градом вражьих пуль. Предводитель удалых партизан, татарских охотников и курдов-чертопоклонников, он с дьявольским бесстрашием занимает дагестанские аулы и яростно преследует передовые отряды великого имама. В Чечне соперник Шамиля, непобедимый и обузданный Хаджи-Мурат поверяет ему, молодому ротмистру, подробную летопись своих воинских подвигов, восхищая вчерашнего гродненского гусара своим диким талантом кавалерийского вождя. И странная дружба, по-восточному с щедрыми дарами и благоговейной нежностью сближает пленного наездника с адъютантом Воронцова.

Но упорная борьба с горцами продолжается. Неуловимо видоизменяются соотношения сил, ломается линия фронта, раскрываются предательства аманатов и хитрейшие козни на-ибов. И вот в Тифлис, в штаб-квартиру Воронцова, с передовых постов прислана для показа народу на базарной площади отрезанная голова Хаджи-Мурата. Запекшаяся кровь резко вычерчивает контуры губ, недавно еще величаво излагавших Лорису военную биографию бесстрашнейшего из дагестанских партизан и произносивших ему с величавой улыбкой мусульманской вежливости изысканные и трогательные приветствия.

Все эти батальные эпизоды прошлого особенно волновали старого командира среди безмолвия лимонных рощ и солнечной дремотности Ривьеры. Сколько отваги и хитрости, изворотливости и умения, расчетливости и риска в напряженных и бурных страницах его военной хроники — в упоительной блокаде Эрзерума и отчаянном взятии Карса! Сколько движения, переходов, наступлений, набегов, вихревого огня! И как неподвижно теперь это медленное, тяжелое и сладостное угасание у фиалковой полосы Средиземного моря под шатровыми пальмами бульвара Караборель. Какими, однако, быстрыми маршрутами дефилирует жизнь...

Впрочем, за русскими газетами он следил внимательно. Как старого опытного игрока, его занимали ходы и действия его преемников. В России невидимо и полновластно царил Победоносцев. Смиренный и вкрадчивый сенатор,озвещенный по его представлению в обер-прокуроры синода и воспаривший в знаменитом совещании министров на небывалую высоту влияния, так и пребывал на ней,расстилая зловещую тень над

всюо необъятою страной. И сам тяжелоплечий император спокойно шагал своей слоновой поступью за этим единственным вожаком, подозрительно и жадно вперявшим в свинцовые будни эпохи свои пронзительные глаза ночных хищника. Он был страшен в своем одиночестве, этот византийский стилист с мертвенно-бледным лицом и исступленно сжатыми губами. Словно над пустыней парил он своими бесшумными крыльями. Давно скатились в могилу или опалу знаменитые государственные мужи прежних царствований — Строганов, Милотин, Валуев. Покорно и льстиво восходила к власти вся эта обещающая молодежь восемьдесят первого года — Муравьевы, Плеве и Витте. Шла другая пора, которой бархатный диктатор уже не принадлежал и не был нужен.

Оставалось одно: медленно растворяться в этом весеннем воздухе приморских Альп, под ласковыми дуновениями мистраля. Какая дурманящая слабость! Не последний ли это апрель в его жизни?

Неторопливо разрывает он свежие бандероли полученной почты: средоточие его дум и ожиданий все там же — в этом громоздком, сыром, печальном и торжественном городе, где, бывало, без копейки в кармане беззаботно блуждал он кавалерийским юнкером по Грязной и где мгновенно протек исторический срок его безграничного владычества над целой империей — этот головокружительный и странный год государственных предначертаний и великих реформ, в одно мгновение взорванный шальной жестянкой Кибальчича.

Запах петербургской газеты чуть пьянил его, но содержание столбцов угнетало и расстраивало. Придворная хроника, правительственные распоряжения, списки назначений и наград, циркуляры и тарифы, законы об иноверцах и уставы церковноприходских школ — все это настойчиво твердило ему о неустанной и упорной отмене малейших остатков его политической программы. Кликушествующий победитель поединка 8 марта с мрачной настойчивостью утверждал свою победу.

В отделе внутренних известий привлек внимание обстоятельный некролог:

«Сегодня, в четверг 24 марта, утром скончался один из наиболее талантливых молодых писателей Всеволод Михайлович Гаршин. Смерть его поразила всех своей неожиданностью и трагическими подробностями. В субботу утром он упал с лестницы с высоты четвертого этажа вниз в пролет. С этого дня и до сегодняшнего утра покойный не приходил в сознание. Окружающие полагают, что Вс. М. покусился на самоубийство в припадке душевной болезни, которую он уже издавна страдал... Поранения, полученные покойным при падении, были очень тяжелы. По рассказам близких соседей, у него оказались переломы костей в нескольких местах.

Наиболее тяжелые фазы его болезни приходились к началу весны, и настоящая весна была последней тяжкой весной его жизни».

Лорис задумывается. Странная, незабываемая ночь возникает перед ним во всех своих тревожных подробностях. Лишь накануне скользнула по нему пуля Млодецкого. Но целая кипа бумаг уже возвещает о неумолимой развязке: рапорт петербургского полицеймейстера о возведении виселицы, телеграмма московского генерал-губернатора об отправке скорым поездом в Петербург палача Фролова, последнее сообщение коменданта крепости о подготовке позорной колесницы для заключенного. И вот на темном шелку портьеры бледное измученное лицо: «Ваше сиятельство, пощадите человека, стрелявшего в вас!» Через восемь лет все еще звучат в памяти рыдания, мольбы и угрозы безумца, трогательного без сомнения в своем заступничестве, но совершенно безнадежного для голоса рассудка. Потребовалась вся изощренная опытность старого дипломата и стратега, чтобы кое-как успокоить и выпроводить этого больного мечтателя, предлагавшего среди вихря взрывов и выстрелов обуздать анархию мерами нравственного самоотречения. И вот трагедия раненного сознания, мучительно метавшегося в эту зловещую ночь, разрешилась смертельным прыжком с четвертого этажа в пролет лестницы.

Газетная заметка сводила к нескольким строкам сложную и запутанную сеть событий, взволновавших своим исходом в марте 1888 года литературные круги Петербурга.

Гаршин умер внезапно и быстро. Но смерть давно уже приближалась к нему «твёрдыми шагами». Он занимал в это время плохонькую квартирку с крутой и грязной лестницей в самом верхнем этаже большого доходного дома, в угрюмом переулке, недалеко от Невского. Возвращался зловещий приступ недуга. Он знал — теперь это навсегда. Тогда, после Сабуровой дачи, после петербургских и орловских лечебниц, еще могло наступить исцеление, еще не все было потеряно, он еще мог вернуться к жизни. Теперь же не было возврата. Подавляющим грузом нагнетались тяжелые, больные воспоминания. Он, знаменитый писатель, — конторщик в гостинодворском отделении Анноловской писчебумажной фабрики... Автор «Четырех дней» — секретарь съезда представителей железных дорог... вечный обитатель сумасшедших домов... Он, учитель людей, — в смирительной рубашке под опекой грубейших санитаров психиатрических лечебниц, смешной и жалкий выкидыш жизни.

И все вокруг, казалось, соответствовало этой внутренней беспросветности. Смерть протягивала над страной свои серые крылья, как сплошной балдахин над царской усыпальницей.

На Невский проспект в феврале 1887 года выходили шесть студентов. Двое несли под шинелями какие-то тяжести, а третий под мышкой толстую книжку в переплете, самый обыкновенный лексикон. На корешке золотое тиснение «Терминологический медицинский словарь Гринберга». Переплет из толстой папки, оклеенной зеленой мраморной бумагой. Но если тщательно изучить медицинский справочник, то обнаружится, что внутренность книги вырезана, а оставленные края листов склеены меж собой и свинчены шестью винтами, в пустое же пространство внутри книги вставлена жестяная коробка, в ней же три фунта белого, магнезиального динамита. Свободное пространство между папками переплета и жестянкой наполнено свинцовыми пулями-жеребейками, начиненными азотнокислым стрихином. Словарь предназначен для царского экипажа.

Первого марта студенты были арестованы. В середине апреля они предстали перед судом особого присутствия сената. А 8 мая, в четвертом часу утра, в Шлиссельбургской крепости товарищ прокурора Щегловитов приводил в исполнение приговор сената о казни государственных преступников — Шевырева, Ульянова, Осипанова, Андреюшкина и Генералова...

Это страшное, кровавое, неотвратимое, казалось, ползло на Гаршина отовсюду: из газет, иллюстраций, разговоров, даже подчас из угрюмого безмолвия уличной толпы. Цикл непрерывно возвращался: жест гнева и бунта — и беспощадно растоптаные молодые жизни. За покушениями — виселицы. Где-то раскидывался своими махровыми лепестками гигантский цветок-вампир, жадно вобравший в себя всю кровь злещей годины. Эпоха тяжело дышала на него своим отравленным дыханием и словно требовала от него приобщения к своей борьбе, к своему отчаянию и гневу. В молодости, десять лет перед тем, он без раздумья бросился в войну. Он проболел лихорадкой своего времени, он пролитой кровью купил себе право отразить в искусстве величайшую тему своего времени. Теперь он должен был бы так же беззаветно броситься в революцию, отдаваться великому течению современности, принести ему в жертву свою жизнь и кровь и, может быть, до наступления гибели ослепительно и окончательно отразить в своем слове героическую схватку двух смертельно враждующих миров...

Но прошедшее десятилетие легло невыносимым грузом на его мысль и волю. Он чувствовал, что ослабел под этим гнетом кровавой эпохи и всех изнурительных бредов своего потрясенного сознания: никнет его писательский дар, изменяет художническая зоркость, улетучивается его прежняя влюбленность в жизнь, все застилается убийственным равнодушием и тупой усталостью. Этими ли слабеющими руками вычерчивать трагические облики борцов, преображающих историю? Ему ли,

обессиленному болезнью, изваять могучие фигуры новых людей, которые воздвигнут своими мускулистыми руками прекрасный и мудрый мир человеческого братства? Художник окопов и лазаретов, он был бессилен запечатлеть в своих страницах этих незаметных подвижников конспиративных квартир, подпольных лабораторий и тайных типографий. Он сумел в свое время обвести неизгладимыми контурами мимоидущие облики рядового Иванова и капитана Венцеля. Но Желябов, Млодецкий, Ульянов, Перовская, — как запечатлеть в слове образы этих великих обреченных? Как изобразить эту длящуюся трагедию целого поколения, отброшенного от школьных аудиторий в безнадежность темниц, виселиц, эшафотов? Эта неиссякающая кровь, хлещущая вокруг него жадными потоками, снова затемняла перед ним видение мира, застилала свет, раскрывала все шлюзы стихийному напору ужаса и отчаяния. Подступающее зло накатывалось отовсюду, опустошало душу предчувствием холода и раз渲а, этого смертного разложения мысли, обрекавшего его на долголетнее прозябанье живым трупом, замуророванным в склепы психиатрических лечебниц. Попасть опять в эту страшнейшую из тюрем, снова променять свою светлую славу писателя на казенный номер сумасшедшего дома и бурый арестантский халат, от друзей и молодежи быть насильно отброшенным в это мертвое море перекошенных и бесмысленных лиц — о, лучше размозжить череп о плиты грязного пола лестничной клетки! Лучше гибель, чем это медленное удушение горячечным камзолом.

«Смерть уже не подкрадывается ко мне, а подходит твердыми шагами, шум которых я ясно слышу в бессонные ночи, когда мне становится хуже и меня больше мучит и болезнь и воскресающее былое...»

Так записал он когда-то, и теперь эти строки казались ему записью его текущего дневника, предсмертным признанием и последней жалобой.

За несколько дней до смерти он провожал ночью гостя из квартиры своей до самого подъезда. На одной из площадок он остановился, взял спутника за рукав пальто и осветил свечой широкий пролет лестницы.

— Неужели вас не тянет броситься туда?

Внизу на площадке стояла печка, ветер врывался сквозь еле притворенную дверь на лестницу, тени блуждали по стенам и густели в углах. И, высоко поднимая свечу, Гаршин пытливо и пристально всматривался в зияющую темноту огромными блуждающими глазами, словно ища там невидимого друга-избавителя. Сам он как-то весь покернел и казался одичалым со своей лохматой гривой Авессалома.

— Что с вами, Гаршин, вы плачете?

Гулко и странно звучали в пролете лестницы отрывистые фразы, разорванные глухими всхлипываниями.

— О, если бы нашелся друг с характером... который бы покончил со мною из жалости... когда я потеряю рассудок...

Наутро его нашли разбитым и стонущим на нижней площадке. Его перевезли в хирургическую больницу. В палате он впал в бессознательное состояние. Без крика и бреда он погрузился в глубокий, невозмутимый сон, длившийся пять суток. Бледное лицо в черном обрамлении среди белизны наволок, простынь, повязок со льдом уже казалось выточенным для надгробного камня. Стиснутая рука, не отрываясь, лежала на груди чуть слева, где в развороте сорочки еще краснела еле затянувшаяся ранка от ушиба при падении, вероятно, об угол печки... Еще одно пророчество поэта о своей смерти: Ленский в окровавленном сугробе, Попришин в колпаке умалишенного... И вот — красный цветок, унесенный безумцем в могилу.

СОДЕРЖАНИЕ

Жан-Луи Гуро
СЕРКО

3

Д. Пешков
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

148

Леонид Гроссман
БАРХАТНЫЙ ДИКТАТОР

209

Жан-Луи Гуро
СЕРКО

Дмитрий Пешков
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Леонид Гроссман
БАРХАТНЫЙ ДИКТАТОР

Редактор *A. Финкельштейн*

Художественный редактор *И. Марев*

Технический редактор *Г. Фатюхина*

Корректор *T. Волкова*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г.

Подписано в печать 12.03.99 г.

Гарнитура Таймс. Формат 60×90¹/₁₆.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 21.0.

Уч.-изд. л. 22,84. Заказ № 286.

ТЕРРА—Книжный клуб.
113093, Москва, ул. Щипок, 2, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ТОО «Макет».
141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ТАЙНЫЙ

В книгу вошли произведения, повествующие о России конца XIX века. Невероятное конное путешествие с Дальнего Востока до Петербурга, предпринятое казаком Дмитрием Пешковым, описано в романе Ж.-Л. Гуро «Серко» и «Путевых заметках» самого Дмитрия Пешкова. В романе Л. Гроссмана «Бархатный диктатор» жизнь самодержавного Петербурга 80-х годов изображена через призму восприятия главного героя — российского писателя Всеволода Гаршина.

ИСТОРИИ

ISBN 5-300-02586-0



9 785300 025861